

4
**НОВЫЙ
МИР**

НОВЫЙ МИР

1937

4

1937

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Ч Е Т В Е Р Т А Я

А П Р Е Л Ь

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 7

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главлита В—9627. Объем 18 печ. лист. по 64.000 экз. Одано в набор 19/V—37 г.

Подписано к печати 4/VI—37 г. Тех. ред. С. Кривцов. Тир. 70.000. Зак. 922.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ:

	Стр.
1. АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ. — Военные повести	5
2. АЛ. СУРКОВ. — Баллада о каптенармусе	44
3. ПАВЕЛ УСЕНКО. — Казачий дуб, стихотворение	45
4. АНАТОЛИЙ ГАЙ. — Стихотворения	46
5. МАТЭ ЗАЛКА. — Добердо, роман, продолжение	50
6. СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ. — Стихотворения	110
7. ПАВЕЛ НИЛИН. — Золотые руки, рассказ	114
8. С. ШИПАЧЕВ. — Стихотворения	137
9. П. СЕВЕРОВ. — Морские встречи	138
10. КУРМАНАЛИЕВ ЮСУП. — Стихотворение	158
11. БАЙСАЛБАЕВ АБДЫ. — Стихотворение	159
12. ДЖУМАЛИЕВ СУРАМТАЙ. — Стихотворение	160
13. ИВ. КРАТТ. — Каюр, рассказ	161
14. <u>ИВ. СКЛЯРОВ.</u> — Казачка, рассказ	168

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

15. И. ЭКСЛЕР. — Москва—Волга	180
16. ЕВГЕНИЙ ЮНГА. — Конец Ольской тропы	192
17. Э. ВИЛЕНСКИЙ и М. ЧЕРНЕНКО. — Полярник Георгий Ушаков	222

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

18. АН. ВОЛКОВ. — Художественное наследие Герцена	250
19. П. РОЖКОВ. — О программах ИКП литературы	267
20. Е. СИКАР. — Новая жизнь в парме	272

БИБЛИОГРАФИЯ:

21. ЛЕВ ГЛАДКОВ. — И. Ильф и Евг. Петров. «Одноэтажная Америка»	278
22. В. Е. ЛЬВОВ. — В. Ф. Миткевич. «Основные физические воззрения»	280
23. Е. ТАРАТУТА. — А. Барто. «Стихи»	282
24. Н. СЛАВЯТИНСКИЙ. — Тобайас Смолет. «Приключения Перегрина Пикля»	283
25. Ю. КАЛАШНИКОВ и Б. РОСТОЦКИЙ. — А. Волков. «Поэзия русского империализма»	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

Военные повести

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ

1. ТАВРИЧЕСКИЕ ДНИ

1

По-над Днепром, между Бериславлем и Каховкой, у восточной стороны понтонного моста, Климент Ворошилов и Семен Буденный смотрели переправу. Бекеши их и курчавые шапки с цветными верхами покрылись звездочками изморози. Было студёно, клубился туман, рассвет занимался недружно. Спешенные, Ворошилов и Буденный стояли впереди штабных, на пригорочке, покрытом осенней мертвой травой; за их спинами кони, сблизясь мордами, глодали мундштуки и дышали друг другу в ноздри.

Днепр выслан был льдом, таким хрупким, что не пройти и гусю. Дивизия за дивизией Первая Конная растягивалась на правом берегу, текла мимо штаба и ступала на шаткий мост. Бревна, ломая лёд, с шипеньем погружались в черную, как брага, воду; бешено крутились воронки; на копыта коней кидались волны, лизали бабки и трусливо стекали меж бревен моста, оставляя на них разорванную пену. Туман едва позволял видеть простор ледяной реки и рыжие берега, окоченевшие в холоде рассвета.

Поток конников на мосту казался бесконечным. После трехнедельного марша от польских фольварков до чистеньких приднепровских хат люди успели отдохнуть, побрили щеки и приоделись. Разрывая туман, перед глазами Ворошилова и Буденного плыли серые папахи и кубанки, желтые, синие и красные башлыки. Посверкивали на них позументы и твердые кисточки. Из-под новых ши-

нелей, полученных на пунктах, высовывались зеленые штаны, подбитые ватой.

Буденный со своего пригорка осматривал полки: нет, молодая Первая Конная не старела ни в боях ни в походах! Ее люди душили беляков под Царицыном и Воронежом, они ходили на Майкоп, на Владимир-Волыньск и Бердичев и, в боях со шляхтой, продвигались по желтым стырям Польши, по ее гречишным полям, по ее зеленым лужочкам, где, брошенные панями, невинно паслись картавые гуси и розовые подсвинки. Польские мужики прятались от мобилизации по оврагам. Их бабы таскали на красные бивуаки горшечки-двойки, потчевали бойцов молоком, приводили сбежавших из постерунек «канареек» — деревенских жандармов в толстых желтых кантах. «Канарейки» кричали пустыми голосами: «Прошу жителя!». Первая Конная ходила под Варшавой, и там, на Висле, она утвердила великую славу свою и оставила рядок братских могил, куда опустили бойцов, убитых французскими пулями: они жили, как однокашники революции, и померли, как ее солдаты.

Буденный любовно оглядывал полки свои. Ноги расставил широко, руки сунул в карманы, отороченные смушкой. В стеклах полевого бинокля, ремешком подтянутого к воротнику, светилось туманное небо. По небу низко пролетела ворона, и две маленькие вороны тотчас же пролетели в стеклах бинокля. Поблизости громко и единодушно ударил оркестр. Капельмейстер, помахивая ладонью, то поворачивался к войскам, то оглядывался на ревущие трубы, на зве-

нящие медные тарелки и упруго бьющий барабан.

Почетные знамена и штандарты развернулись над полками.

— Здорово, четвертая! — высоким голосом закричал Буденный, поднимая руку в кожаной рукавице.— Хорошо ли навернем этому белому гаду?

— Не впервой, товарищ Буденный! — откликнулись свежие голоса из рядов.

— Здорово, лихой четырнадцатый!

Поворачиваясь к Ворошилову, Буденный наклонял голову; высоко поднятая для приветствия рука его неподвижно торчала в воздухе.

— Привет бойцам тридцать шестого!

— Здорово, доно-ставропольцы!

Бойцы дружно отвечают вождям армии. Широкое «ура», перекатываясь, тонет вдаль.

Начдив Тимошенко оторвался от колонны и подскакал к штабу. Грузный, губы толстые, лицо широко и мясисто. Отрапортовал: дивизия сыта и одета, интересуется наломать барону шею. Ворошилов улыбнулся ему одними глазами. Отъезжая, Тимошенко тронул коня, из-под копыт взвились твердые комочки земли. Вслед за ним подскакал начдив четвертой, маленький и сухой Ока Городовиков. Новое казачье седло скрипело под ним.

Неумолчно, брызжа медной музыкой, работал оркестр, по конным рядам катилось «ура» людей.

Около полудня началась переправа артиллерии. На мост, гремя колесами, вехали легкие орудия без зарядных ящиков. Мост прогнулся, хохлатые волны перекатывались по нему из края в край. Прислуга плечами подпирала орудия, чтобы их не заносило на сторону. Лошади рвались из постронок. Люди скользили на мокрых бревнах, сцепившись руками в спицы колес. Где-то, как сыч, запела, загукала колесная втулка.

Молодой паренек с обожженными холодом щеками, всплеснул руками, сказал: «О, мать свята!»—и, сорвавшись, полетел в Днепр. Голова и руки его скрылись под водой. Поломанный ледок заколыхался на черной волне. Поплыла по течению его мерлушковая шапка.

Спустя минуту, проломав головой лед, парень вынырнул в пяти саженях от моста. Под водой он изловчился скинуть тулуп и сапоги и теперь, выплывшая воду, широко и машието поплыл к левому берегу, кулаками ломая хрупкий ледок. Ржаные волосы облепили его серьезное и сердитое лицо.

— Куда плывешь? — закричали с моста. — К мосту держи! До берега не вытянешь!

— Под мостом... засосё-от! — прокричал парень, продолжая плыть.

Вскоре он вылез на левом берегу, дрожа, сел на камешек и стал сламывать ледок, примерзший к его белью. Ему было холодно и обидно. Он затосковал по тулупу и сапогам, выданным ему в Посаде Бережеговатом, — новенькие, душевная забота республики.

Не вынесши тоски, он запел, едва ворочая застывшими губами:

Ты не пой, соловушка,
Горькая головушка...

Легкие орудия прошли, но тяжелые пришлось снимать с передков и тащить на руках. Туман начал рассеиваться, и теперь вдоль моста далеко были видны кучки людей, сцепившихся, будто в драке, скользящих и падающих. Мост скрипел, скрежетал. Высоко над плечами поднимались темные круглые дула орудий; к ним, будто мокрые листья к стене, прилипли распяленные ладони людей. Кой-где негромко запели «Дубинушку», пели слаженно, с чистым подголоском, с органичным рокотанием басов. По реке открылся ледоход, на мост лезло «сало». Ветер не утихал, и слышно было, как волны влажно шлепают по бревнам.

2

Доктор Кашеев, человек не старый, но сумрачный, ехал с сестрой милосердия Чайкой на рессорной тачанке.

Это была заслуженная, почтенная тачанка, прошедшая на своем эластичном ходу из края в край всю Польшу и бывшая в огненном окружении под Замостьем. Когда-то на этой тачанке разъезжал по своим торговым делам никола-

евский немец-колонист, кулак, и это он расписал спинку пухлыми красивыми амурами с крылышками, прозрачными, как у стрекоз. За время переходов амуры поблекли, но все же на их розовых щеках еще можно было разглядеть ямочки, выписанные с полным знанием предмета.

Сестра Чайка в опрятной шинели и большой белой папахе сидела рядом с доктором, дула в кулачки. Маленькое и молодое, но уж сплошь морщинистое лицо ее было разноцветно: на остреньких скулах тлел румянец, щеки были синие, а круглый подбородок белый. Подняв глаза, она увидела на пригорке, среди работников полевого штаба, Ворошилова и Буденного. Ее глаза заморгали, блеснули зубы.

Командарм и член Реввоенсовета по-прежнему стояли плечо к плечу, здоровались с проходящими частями. Было уже совсем светло; в небе гнались лохматые, как медведи, облака. Лицо Ворошилова розово, правую ногу откинул, всю тяжесть крепкого и сильного тела перенес на левую. Сжатые в кулаки и красные от ветра руки бросил вдоль бедер. Над широко посаженными глазами поднялись и выгнулись густые брови в капельках тумана. Чайка жмурилась, глядя на этих людей, она смеялась и мурлыкала. Буденный чуть выше Ворошилова, поуже в плечах, худей лицом. Выдавались скулы, усы, две резкие складки на переносице, глубокая ямка на бритом подбородке.

Сейчас мимо них тянулись лазаретные тачанки, прошла фура с холстяным шалашом; на шалаше крест из красного ситда. Фельдшера и врачи закричали горячо, но недружно.

Ездовой на тачанке ударил вожжами коней, фура понеслась вскачь, колыхаясь, как бочка на волне, громадные колеса с грохотом запрыгали по бревнам моста.

— Здорово, лазареты! — закричал Буденный весело.

— Смерть барону! — ответно закричал ездовой, высунул из шалаша кудрявую голову, играя мелкими яркими глазами.

Чайка, схватив Кашеева за колено, закричала «ура». Грохот колес разрывал ее голос. Она обернулась, свесилась с тачанки. У нее заломило шею. Румянец сошел со щек, лицо сделалось так же бело, как ее папаха.

Кашеев взял ее за плечи и посадил возле себя. Она нагнулась, пряча под полой шинели посиневшие ручки. Папаха сползла на лоб, по ветру разметались ее стриженные соломенные волосы.

— Ну, ну, — хмуро сказал доктор, — поднимите-ка, мамзель, воротник. Этакий ветер с Днепра, контра лютая!

По своей незлобной, но бессмысленной привычке говорить людям ненужную правду, он хотел сказать ей что-нибудь вроде того, что вот, дескать, командарму сейчас не до вашего писка, мамзель. Но он вспомнил, что в Бережеговатом она все три дня провалялась в жару на овчине, — и удержался.

Сердитыми руками он поднял ей воротник и сел так, чтобы загородить от ветра. Над Днепром совсем низко висело серое, клубящееся, жгучее, холодное небо. Черная вода, поднявшись волнами, катилась на мост. Среди волн вдруг показался низко стриженный лиловый и круглый затылок, потом плечи с золотистыми погонами и тремя звездочками на них. Покачиваясь, труп медленно и важно плыл на спине и вскоре стукнулся затылком о бревно моста. Кашеев успел разглядеть длинный нос, неестественно белый на землистом и широком лице. Где-то выше по Днепру шли бои.

Тачанка медленно продвигалась по мосту, ветер свистел в спицах ее колес. Чайка привалилась плечом к плечу Кашеева. Он видел ее пунцовое ухо в белом пушке и часть пылающей щеки: у Чайки снова был жар.

Он понял, что жалеет ее нечужой, мучительной жалостью и выбранил себя за то, что в Посаде Бережеговатом плохо осмотрел ее. В Бережеговатом он либо спал тяжелым, как гиря, сном, либо возился с приемкой лазаретных медикаментов, либо, пряча беспокойство, насмехался над Чайкой: «Извольте отвергать помощь лекаря? Так-сэс! Извольте

ломать дурака? Тэк-сэс. Помрете, как болонка в лесу, милая моя. И похоронить вас некогда, просто вышвырнем на дорогу, будете лежать, показывая распад тканей, фу ты, какой запах, — очень красиво!».

Он неловко обнял Чайку за талию. У девушки давний туберкулез, а сейчас, несомненно, начинается тиф. Ее зрачки расширились, стали величиной с гризеник. Чорт его знает, неужто он успел привязаться к этому полуробенку с лицом бойкой старушки?

Тачанка выбралась, наконец, с моста и мягко пошла по черной дороге, выбитой прошедшими здесь частями войск. Лазаретные лошади у Кашеева все были на-подбор: сытые, сильные строевые лошади, которых он умел отбирать из трофейника, выменивал у крестьян, ловил вместе с санитарями на полях славы. На лазаретных коней всегда зарисовывали командиры эскадронов и полков; о том, что у Кашеева боевые кони, доносили начдиву.

Кашеев брал начдива под руку, говорил несимпатичным голосом:

— У меня характер шершавый, его трудно вынести. Я злой человек. Но если тебе сегодня разворотит в бою живот и ты, выкинув кишки на землю, будешь корчиться на линии огня, то далеко ли я тебя уволоку на кляче? Удивительное дело, до чего вы все интеллигентны! Поди ты к чорту, начдив, срам тебя слушать.

— Ладно, ладно, — начдив, дергая на плечах ремни, сдавал позиции, — не ругайся, Кашей! Экой ты неприятный человек.

— Я злой человек.

— Экой ты неприятный человек; я с тобой деликатно, как с барышней, а ты, как пес.

Лазаретные тачанки медленно продвигались в хвосте 11-й дивизии. Туман развеялся, открылась степь. За широким задником лазаретной фуры, передвигавшейся впереди, Кашееву не видно было дивизии, растянувшейся в направлении Каховки.

Ездовой, обернувшись, сказал с задором:

— Так вот это и будет, значит, баронская земля, товарищ главный врач. Покопытим эту землю, позвоним клинком!

— Ты свое отзвенел, Фомин. Голень у тебя перебита, два пальца на твоей руке я изъял. Пускай другие позвонят.

— Все это так. Ну, а при случае?

Лицо Фомина залилось краской. Он сказал, что 11-ю и 14-ю дивизии двигают левее Каховки. Особая останется позади, 4-я выйдет правее. Он говорил так авторитетно, будто в кармане у него был оперативный план штаба. Бездействия он не терпел. Однажды, после разгрома белых под Царицыном, случилось затишье; время было дурное, худокормица, лошади мучились чесоткой. Фомин пошел к Буденному, сказал: «Смирно, Семен Михайлович, затеял бы войничку какую, разве мало осталось врага на полушариях света?». Парня этого сильно покалечил поляк, но он не верил в совершенную свою инвалидность и полагал, что в ездовых пребывает временно.

Фомин раскрыл рот, снял шапку, прислушался, сказал, что бьют пушки. Действительно, среди разноголосой песни колес можно было различить далекие и гулкие удары. Фрунзе вел бой с противником, вышедшим из крымской бутылки в степи Северной Таврии.

Доктор слушал эти удары и держал за талию Чайку. Тело ее заметно тяжело. Она закрыла глаза.

Далеко впереди лазарета пели бойцы.

Фомин, уловив припев, надел шапку, подхватил гитарным голоском:

Грянем славу трубой
По армии боевой...

Сказал:

— Что ни новая территория, то и новая песня! А барышня-то, уважаемая Чаечка, не захворала бы на мертвый конец?

— Помрет эта барышня сегодня в ночь, — раздраженно проговорил Кашеев. — Кровохарканье при высокой температуре и симптомы сыпного тифа означают начало конца. Смерть бывает мучительна и безобразна. Легкое отно-

шение к смерти так же противно в человеке, как его боязнь двухвосток.

Чайка боялась двухвосток, и это Кашеев знал.

— Ну, это врешь, товарищ Кашеев, — сказала Чайка сквозь бред, — я не умру.

3

Она появилась в 11-й дивизии весной двадцатого года, и Кашеев недружелюбно поглядел на ее лакированные театральные сапожки, на длинную шинель, рукава которой болтались, как пустые, и на свежее, мешанковатое личико, густо запудренное. Взгляд ее светлых глаз был ясен и цепок, речь быстра, смех звонок. Тогда у нее еще не было морщинок на лице. Она сказала, что родом из Омска, казачка, работала в госпиталях во время немецкой войны, актриса.

Дивизия стояла под Бердичевом, у местечка Дзюнково. Густые массы белополяков в составе трех дивизий обрушились на нее. На полях зеленым огнем горели озимья, и боевой дым бесшумно тянулся над землей. На шляху в лужах, слепя глаза, кипело солнце. Стиснутая поляками, одиннадцатая пробивалась на Дзюнково. Гремели пулеметы. За млыном, в тени широких неподвижных крыльев, Кашеев раскинул свои тележки. Он сбросил шинель, с его волосатых рук ручьями сбегала чужая кровь. Чайка сидела на корточках и маленькими руками бинтовала бойцов. В глазах ее горели искорки. Она работала проворно, ловко и смело. На лаковые сапожки ее навяз чернозем.

Тележки уже были полны ранеными, доктор закровавленной рукой подез в карман, вытащил кондукторский свисток и, сунув его в зубы, засвистел. Тележки тронулись. Передняя лошадь присела на заднюю ногу, оскалила зубы — ее ударила пуля. Доктор засвистел еще раз. Ездовые выпрягли лошадь, взяли за оглобли. Доктор засвистел. Тележки тронулись, увозя раненых в тыл.

В отряд притащился командир 66-го полка Лобачев, посмотрел на Кашеева дымными от боли глазами и повалился

на землю. Кашеев разрезал его штаны.

— Тащить осколок не стану. Будет заражение крови.

— Тащи! — сказал Лобачев. — Некогда трепаться.

— Не стану я тащить, не хочу твоей смерти. Вот придут тележки, поедешь в тыл, там мы тебя разрежем и прополощем.

Лобачев скрипнул зубами, лбом уперся в мягкую землю. Капустница села на его спутанные и смоченные потом волосы. Кашеев вышел за млын и стал глядеть на горизонт, затянутый медленными облаками: у горизонта шумел бой. За спиной Кашеева Лобачев сказал с легким рыданием:

— Ты его раскачай. Ты его сильнеехвати. Осилить?

Оглянувшись, доктор увидел Чайку. Она стояла на коленях над Лобачевым, упершись левой маленькой ладошкой в его голое бедро, и правой рукой раскачивала осколок снаряда, торчащий из раны. Осколок блестел на солнце, как бриллиант. Зубами Чайка закусил нижнюю губу, уголки ее губ приподнялись, все лицо сморщилось.

Из раны свежо и ярко выхлестнула кровь. Чайка повалилась на спину, держа в руке осколок.

Кашеев подошел, она мутно посмотрела на него и травой стала стирать с осколка кровь.

— Если этот лоботряс помрет, я тебя повешу, женщина, — сказал Кашеев, произнося слово «женщина» так, словно бы говорил «гадюка». Он нагнулся и, вынув из сумки Чайки пузырек, зубами вытащил пробку и вылил иод на рану Лобачева.

— Мамо мое, мамо! — сказал Лобачев. Кровь отлила от медных висков его.

О Чайке Кашеев подумал: «Девчонка хватиста».

Она уже не пудрила лица, и кто-то в полку дал ей солдатские сапоги; бойцы и санитары глядели на нее уже весело. Фамилия ее была не Чайка, а Горюшина, имя — Клавдия. Чайкой ее прозвал

комэкс Китайцев, длинный, щеголеватый, русоволосый парнишка из студентов. Он возил с собой гитару, повязанную ленточкой. Вечерами он садился на землю, сложив свои длинные ноги, как штатив, глядел выпуклыми глазами на Клавдию, щипал струны и пел неустойчивым, гнущимся голосом:

Но что ж это? Пуля! Нет Чайки прелестной,
Она умерла, несравненная, ах!
Пронзил ее в сердце охотник безвестный,
Усы закрутил да и скрылся в горах.

Вскоре польская пуля пробила Китайцеву сердце.

И если раньше доктор словно бы не замечал Чайки, то теперь она его стала словно бы не замечать, и это доктору было обидно. В эти месяцы непрерывных боевых передвижений, когда под копытами Первой Конной покорно бежала земля, у доктора отросла жесткая и сильная борода пыльного цвета, и в эту бороду доктор бурчал свои длинные монологи о том, что мало у него под рукой знающих людей и что мало перевязочных и всяких иных медицинских средств и что есть такие особы женского пола, которым бы учиться да учиться, а не трепаться по армиям.

Но Чайка работала быстро и дерзко. Хрупкое тело ее было легко, выносливо. Первая Конная совершала свои марши, а лицо Чайки покрывалось загаром и пылью, и взгляд у нее стал твердеть и сапоги не набивали больше на ее маленьких ногах мокрых пузырей.

Она работала за пятерых мужчин и слушалась доктора, но, когда не бывало работы, она не любила быть с доктором вместе, и он с непонятным ему самому беспокойством следил за тем, как она садится в кругу бойцов, вынимает из рта соседа окурок и, потягивая дым, поет вместе с бойцами песни о шумной грозе революции.

В одной из польских деревушек, расположенной на берегу Збруча, кавалерийский польский отряд налетел на лазаретные тачанки. Кашеев снял с руки белый нарукавник с красным крестом и, помахивая им, поплеывая сквозь зубы,

медленно пошел навстречу всадникам, бьющим из винтовок по тачанкам. Кавалерист толкнул его грудью лошади. Кашеев полетел на землю, не выпуская из рук красного креста. Ослепительно сверкнула в глазах Кашеева ярко вычищенная шпора кавалериста.

Санитары, животами легши на дно тачанок, били по полякам из маузеров и винтовок. Пыль стояла столбом. Мимо Кашеева, подняв крылья и открыв клюв, торопливо прошел перепуганный гусь.

Кашеев сел на дороге, бранясь, крича по-французски, что на войнах нападать на лазареты нельзя.

Здесь, не веря своим глазам, в туче пыли он увидел Чайку верхом на лошади и с блистающей шашкой в руке. Шинель сползла с ее плеч и, полой зацепившись за стремя, волочилась по дороге. Чайка подняла коня на дыбы. Размахнувшись всем телом, она ударила шашкой по голове поляка.

Доктор крикнул.

Пока он поднимался на ноги, бой утих, польский отряд на рысях удалялся в сторону Збруча, офицер с раскрытым черепом хрипел в пыли.

Чайка слезла с седла и, держа в руке повод, подошла к офицеру, прислушалась к замирающей жизни, свистящей в его горле, и махнула рукой.

— Аккуратно ты его, — сказал Кашеев.

Горящими глазами Чайка поглядела на доктора и на белый нарукавник, который он еще зажимал в своем кулаке.

— Да уж не тряпочками отбиваться от них, сволочей! — с ненавистью сказала она, облизывая губы.

Вот такая она была, эта девушка из Омска! Порой она вызывала в нем страх, порой ядовитое, злое любопытство. В общем, отношение его к ней было путаное, а поэтому не товарищеское, не простое. Кашеев убедился: она была способна полоснуть шашкой живого человека и хладнокровно вытереть клинок о свою юбку!

Спала она, как мужик, густо всхрапывая: во сне с уголка ее пухлых накусанных губ (имела привычку кусать губы) стекала на щеку слюна. Вместе с тем

она знала слова чародейской нежности. Винтовку она называла «дальнозорочкой». Тяжело раненые бойцы были у нее «неживуши». Своему верховому коню и всем коням вообще она говорила: «лошадушка-лошадà».

Так, работая рядом, они прошли всю Польшу. Они вместе стояли под Варшавой, слушая, как гремит генеральный бой и снаряды ложатся в синюю Вислу. Их путь был одинаков. И одной родине, найденной заново, они служили с одинаковой готовностью умереть.

Но вот под колесами тачанки шуршат пески левого берега Днепра. Холодом, промерзлой травой веет с таврической степи. Сумерки густеют, темная глубина степи необятна, и почему-то кажется: необычайно громадный черный кот сворачивается там клубком, собираясь спать под морозным небом, урчит и черными лапами скребет землю.

Голова дивизии уже вошла в Каховку. Брешут собаки. Слышны голоса желонеров. Чайка спит, прислонясь плечом к доктору, и щека ее пышет ему жаром в лицо.

Колонна тачанок останавливается среди степи. Ветер шуршит песком.

— Ночевка в Каховке, — говорит ездовой, оборачиваясь к доктору. — Я ж говорил. Не верили! Чаечку нужно поселить в теплое место.

4

Двумя перешейками, Чонгарским и Перекопским, Крымский полуостров пришит к континенту. Последний белый стервятник, барон Врангель привел на полуостров изрядно поредевшие, но отборные части деникинских армий. Их было двадцать пять тысяч, и эта голодная, озверевшая, прошедшая огонь и воду орда сидела в крымской бутылке, заливая раны, огрызаясь на перешейки, молясь Пилсудскому, бомбардирующему Киев, не веря ни чоку, ни вздоху, — орда, привыкшая убивать и грабить и готовая на все.

Орда расположилась на полуострове, под бездонным небом Юга, и жрала. До

корней обглаживала она землю полуострова, опустошала его виноградники, резала барашков и жирных степных волов. Вместе с вооруженной ордой на союзных транспортах прибыли в Крым из Новороссийска толпы деникинских сановников и семьи их; толпы интендантских воров и семьи их; толпы членов всяческих совещаний и семьи их. По шатким трапам, поживаясь под легкими форменными шубками, спустились на крымскую землю перепуганные воспитанницы институтов для высокородных девиц: в те годы их таскали по всем щелям огромной страны, где еще чадила душа белой России.

Актрисы с цыганскими серьгами в ушах, с перстнями и кольцами на пальцах, заселяли ялтинские гостиницы. Подняв воротник пальто, гулял по набережной расстрига и публицист Григорий Петров. Спекулянты всех чинов и талантов, с глазами нечеловечески пустыми, насквозь прожженные лихорадочной наживы, покупали комнаты и коньяк, продавали коньяк и бриллианты, дорогих женщин и твердую валюту. По улицам курортных городков, как ночные сторожа на пустыре, бродили профессора и журналисты, знаменитые адвокаты и напуганные иереи в цветных подрясниках, безработные шулера, банковские и акцизные чиновники.

Всем этим людям, оглушенным громом эвакуаций, нужно было жрать, работать или мошенничать, «спасать Россию» или в сторонке дожидаться ее спасения. Но прежде всего — жрать! В умелых и опытных контрразведках на полу и стенах не простывала кровь, но задавленные и голодающие рабочие пугали не только тем, что молчат, но и тем, как умирают под пытками. В лесистых горах, ошетинясь винтовками, бродили партизаны. С побережья ночами были видны их дерзкие костры. Генерал Слащов с лицом в голубых отеках, похожий на резиновое, надутое воздушное чучело, сияющим голосом требовал, чтоб на улицах вместе с коммунистами вешали спекулянтов. Мерцающая пьяными от кокаина глазами, он кричал, чтобы у буржуазии отнимали деньги и драгоценности. Он желал служить белому делу,

сокрушая его фундамент. Митрополит в проповедях своих утешал верующих, говоря, что всемилостивый господь избрал Крым своей резиденцией на оплеченной, оскверненной и залитой кровью земле. В армии и особенно в штабах шла глухая война между заслуженными стариками и молодежью, хлебнувшей хмелья скоропалительных карьер.

Барон Врангель был помещик и монархист, армия его пела царский гимн, но крушение Деникина, его личного врага и соперника, стояло перед глазами, и Врангель издал «земельный закон», по которому помещичья земля «уступалась» крестьянству. Земля эта уступалась не даром, а за выкуп, рассроченный на двадцать пять лет.

Врангель был честолюбец и хищник, и хитер, как лиса, и он знал, что половина крымских крестьян безземельны и гнут спины на кулацких землях и виноградниках, чтобы не умереть с голоду. И он знал, что этой бедноте, которую нужда сосала, как солитер, не на что покупать помещичьи земли. Крестьяне, владевшие землей, сидели на карликовых наделах в среднем по полдесятины на хозяйство, и этим крестьянам тоже не на что было покупать землю. Землю могли прикупить только кулаки, малочисленная деревенская верхушка, шедшая за Врангелем.

Но земельная «реформа» звучала пышно для заграницы.

Врангелю нужна была заграница. Он думал отсидеться в Крыму, за укрепленными перешейками, и при помощи Англии добиться почетного мира с Москвой.

Но, чтобы отсидеться в Крыму, нужно было прокормить двадцать пять тысяч войска и сто двадцать пять тысяч едоков растрепанного, голодного, распутного и жадного тыла.

Двумя перешейками, Чонгарским и Перекопским, Крымский полуостров пришит к континенту. И Врангель полез за перешейки.

Войска были сведены в четыре корпуса. Донцы и кубанцы — белое казачье, осатаневшее вдали от родных станиц, — растеряли своих коней в отступлениях. Врангель создал из них пехоту. Веко-

вые конники, стесняясь пешего строя, впоследствии отчаянно дрались: за коней и, между прочим, за «неделимую Россию».

В начале июня белая армия, прочищенная и отдохнувшая, показала в цветущих степях Северной Таврии. Это были отборные части, пенка белых армий, надежда недобитого буржуазно-феодалного класса, каленые головы-резы.

Марковцы в белых фуражках и малиновые дроздовцы шли по колено в степной траве, вдыхая запах мощного плодородия: за миллионнотонным урожаем 1920 года. Раздувались ноздри и чесались отдохнувшие руки, и опять, как под Харьковом, под Киевом, под Тулой, вставала над горизонтом и махала им платком боевая белая удача.

На левых рукавах корниловцев эмблема: щит из голубого шелка, по нему белый череп со скрещенными костями, мечи и красная разрывающаяся граната.

Кто расписан, как плакат?
То корниловский солдат.
Жур мой, жур мой, журавель,
Журавушка молодой.

Степь, залитая солнцем, льстиво ложится под ноги. Она цветет молочаями и диким маком, беленой и желтым горичцветом, она пахнет медовым запахом лета, и любовно и нежно, как мать, расчесывает ее голубой гребешок ветра. За пшеницей! За святой Русью! За подарками благодарного... умиленного...

Жур мой, жур мой, журавель,
Журавушка молодой!

Десанты в районе Мелитополя, у деревни Кирилловки. Десанты на Кубани и Дону. Сильные заслоны на крымских узьнах, поддержанные флотом. Братское целование с Махно, который со своей бандой чертолесит в тылу 13-й армии красных.

Пугая журавлей и глуша голоса степи, над безмерными пространствами Северной Таврии потянулись самолеты, и тени их крыльев плыли, ныряя, в сол-

нечных травах степей. По грунтовым дорогам, гремя колесами, пошла артиллерия. Кулаче с иконами повалило к околицам — встречать разноцветных ландскнехтов барона. Уже катились по степи рассказы о коннице генерала Бравовича, который собрал и посадил на седла людей, продавших дьяволу душу. И если не поднимались ни Дон, ни Кубань, если еще не дотягивались руки до каменноугольного бассейна, то Северная Таврия уже находилась под властью белых и вынуждена была отдавать барону и свои золотые скирды, и свои ковровые пространства, и сыновей под винтовки, и дочерей под офицерье.

Против Врангеля стояла 13-я армия, измотанная непрерывными боями.

За зеленым столом «правительства» Врангель, положив на держак шашки длинные пальцы, говорит о священной тяжести власти, которая давит его плечи. Продовольственная вылазка из крымского мешка уже не тешит его. Он видит карту России, опять стянутую паутиной фронтов. Серебряный паук (серебряные гозыри и шашка) сидит на Крымском полуострове и ждет новой добычи.

Советская республика все силы отдавала польскому фронту. По стране, разоренной империалистической и гражданской войнами, шатались в обнимку два родных брата: голод и тиф. С переборами работали железные дороги, на запасных путях ржавели поездные составы, и Европа считала дни, когда закончится «безумный опыт российской революции».

5

«Основной задачей настоящего времени является окончательная ликвидация Врангеля в возможно короткий срок».

Это был голос страны, это была директива главкома С. С. Каменева. Командующий Южным фронтом издает свой первый приказ по армиям, обложившим Северную Таврию. «Врангель должен быть разгромлен, и это сделают армии Южного фронта».

Леденеющие степи должны увидеть последнюю судорогу вооруженной

контрреволюции. Здесь, на широкой земле Таврии, издохнет серебряный паук, вылезший из Крыма, чтобы ткать металлическую паутину фронтов.

«Красноармеец, раздави Врангеля!»

Врангель стоит, опершись флангами своих армий на побережья Черного и Азовского морей. Упругой дугой он выгнул двухсотверстный фронт от Херсона и по Днепру до Никополя, на восток до Орехова, на юго-восток до Бердянска.

«Крым должен быть советским!»

Вплотную легли на дугу фронта красные армии: от Херсона до Каховки 6-я, у Никополя 2-я Конная, дальше по фронту 4-я и 13-я.

Задача: уничтожить живую силу врага, не дав ей уйти перешейками в Крым.

Фронт еще тих. Еще не топчут побитой первым морозом стеклянной травы звонкие копыта конницы. Еще не взрывают земли тяжелые удары снарядов. По утрам над степью висят туманы, к полудню солнце разводит их, и тогда в ясном небе видны клинья журавлей, летящих за море. Фрунзе ждет Первую Конную с польского фронта.

В осенней распутице, на лошадях, изнуренных боями и маршами, поредевшая, но не ослабевшая, боевая красавица революции, — она идет через кишашие бандитскими шайками районы. Прячась в лесах и складках земли, Черный Хмара поливает ее из обрезов. Над нею веют боевые штандарты, пробитые острыми пальцами пуль. Осенняя грязь летит из-под ее копыт, и в плоских лужах отражаются мохнатые животы копей, стремена и подошвы бойцов.

За ней несется мировая слава, и польские военачальники, зашивая дыры на мундирах, потрясенно пишут книги о ее блестящих маневрах, о силе ее удара, о ее боевой воле и о ее бешеной рубке. Она идет с боем, круша бандитов, и перед нею тяжелый, раскисший на дождях семисоткилометровый путь.

4 октября на привале Ворошилов и Буденный, сблизив шапки, читают телеграмму. Листок дрожит в их руках, потрескавшихся от ветра. «Крайне важно изо всех сил ускорить передвижение вашей армии на Южный фронт. Прошу

принять для этого все меры, не останавливаясь перед героическими. Телеграфируйте, что именно делаете. Предсовоборона Ленин».

17 октября на голом плацу подле станции Знаменка строится 4-я дивизия. Светит чуть тепленькое, заметио стареющее солнце. Тополя пускают по ветру свернутые лодочками листья. Полки строятся после сорокакилометрового марша, но люди и лошади свежи.

Вдоль фронта медленно катится машина. Кузов и крылья окрашены в защитный цвет. На радиаторе красная ленточка. В машине, опираясь рукой на плечо шофера, стоит человек в сером свитере. Лицо энергичное и вместе с тем доброе, глаза сильные. На голове у него черная сукоцная фуражка, покрытая пылью. Свободной рукой он снимает ее, взмахивает над головой.

Он приветствует части Первой Конной. На солнце блестят клинки, выхваченные из ножен.

По фронту катится:

— ... ур-ра... Калинину!..

Машина заворачивает у фланга. Парад. Полки скачут перед членами правительственной делегации. Песчаная пыль накидкой накрывает плац. В желтой пыли несутся лошадиные бабки, усаженные репьями и забрызганные грязью. Михаил Иванович снимает очки.

Нагнувшись, он говорит соседям:

— Сразу видно: дышали порохом люди. Какие молодцы! Это наша армия, плоть от плоти, кровь от крови...

Как бы заволоченные туманом, летят перед его глазами башлыки и папахи, вытянутые конские морды, шашки, гудящие воздух, плещущие гривы и желтые трубы горнистов. Протерев стекла, он снова надевает очки. Буденновцы вихрем проносятся мимо правительственной делегации.

Гремит оркестр.

— Наша армия, рабоче-крестьянская, — говорит Калинин.

Потом, дергая фуражку за козырек, он стоит возле Ворошилова. Он долго ехал степью, много выступал на митингах. Запылился, обветрил.

— Передам Ильичу и правительству, — взволнованно говорит Калинин, — сам видел... сила! Сила! А с бароном надо спешить. Партия требует, страна ждет...

В Посаде Бережеговатом, вблизи Днепра, — последняя ночь перед выступлением. Трое суток стучали походные кузницы, ковали лошадей. Армейские летучки раздавали полкам снаряды и патроны, новые шинели и папахи, сетки для овса. Дивизионный врач Кашеев достал себе свежего коня в седых яблонках. Готовили фураж. Ночами палили костры. Приказа еще не объявляли, но каждый знал, что Первая Конная пойдет гулять по тылам Врангеля.

Ночью в штаб, один за другим, валили начдивы и военкомы. Комнатка тесна. Надышано, накурено. Горят две лампы, поставленные на кирпичи. Перед Буденным вода в ковше. В ней отражается его подбородок и шея, зажатая воротом гимнастерки. Пестрая кошка трется о сапог Ворошилова. Он нагибается, широкой ладонью проводит по ее выгнутому хребту. В полумраке из шерсти сыплются голубые искры. Начдивы толпаются у стола. На темном лице Оки Городовикова горят твердые маленькие глаза.

Начдив одиннадцатой Морозов мнет пальцами остренькие усы; он бронзов, как и Городовиков, у него большие черные глаза. Из-за головы его поднимаются раскидистые плечи военкомдива Бахтурова, балагура, стихотворца и песенника.

Ворошилов. Как дела, Семен Константинович?

Тимошенко. Первая и вторая бригады получили всё. В полках идет раздача. Задержка в третьей: запоздали выслать на станцию лошадей.

Ворошилов. Плохо. Затянули до темноты, ночью будете бойцов канителить. Плохо. Завтра выступать, людям нужно выспаться. Ты почему не последил, товарищ Грай? Чем у вас в третьей бригаде занимается военком? Звезды считает?

Грай. В третьей бригаде обозы слабоваты, товарищ Ворошилов.

Ворошилов. Почему не выделили из других бригад?

Тимошенко. Все сделано, Климент Ефремыч. Грай выслал военкомбрига на приемку. Я послал помначштаба и приказал первой бригаде выделить пятнадцать подвод, — она ближе к лутчкам. Через два часа подводы будут в полках.

Недалеко от полночи Ворошилов и Буденный обходят части, расположенные в Бережеговатом, они слушают библейский храп бойцов, хруст овса на широких лошадиных зубах и ночные шумы громадного боевого лагеря. Не в первый раз поднимать им эту несокрушимую силу навстречу белым армиям, навстречу бою и победе.

Ночь густа и слепа, костры потушены, под ногами, как стеклянные пробирки, хрустит промерзшая трава. Близок Днепр, за ним — степи, их студеный осенний простор, белые армии, Перекоп и Турецкий вал, оплетенный проволокой.

В Севастополе, в бухте, ревет ветер, в черноте ночи качаются огни тральщиков и броненосных кораблей, ветер доносит свистки вахтенных дудок. На кронштейне фонаря, посреди города, качается повешенный неизвестный, на нем рваные штаны, он бос; ветер крутит его тело, и пальцы ног, фиолетовые в свете фонаря, царапают столб.

Еще слишком рано, чтобы спать, еще открыты кабаки, в игорных клубах над лысынями экстра-бюрократов, над прическами дам и над погонами военных, как дирижер оркестра, возвышается крупье с подведенными сухими глазами.

Барон Врангель не спит, он недавно ужинал с французами. Сейчас в круглом зале Морского собрания тишина. И густой мрак. Горит только одна лампа на столе: бронзовая голая дева подняла на ладонях светильник.

Барон держит на столе большие белые руки.

Против Врангеля сидит вз'ерошенный попик, имени которого не сохранила история. Известно лишь, что он тщедушен и стар. С помятых щек его спадает борода пивного цвета с проседью. Под

его почти безумными глазками висят мешки. Он держит сухие руки поверхнаперсного креста, сжат и нахохлен, и немного страшен в этой темноте и в этой тишине.

Сидит сова на печи,
Крылышками треплючи,
Оченьками лоп, лоп,
Ноженьками топ, топ.

Так, в далеком младенчестве, пугала барона старая тетка-генеральша с мужским мясистым носом, спартанка по жизни, суевка по душе. Еще в то время генеральша говорила, что над жизнью барона тяготет рок. Судьба. Рок. Сова с желтыми, немигающими глазами.

Оченьками лоп, лоп,
Ноженьками топ, топ.

— Борьба честолюбий, — говорит Врангель, глядя на свои белые руки, — измена друзей, лихорадка спекуляций и легкой наживы... Кому верить? Мой крест тяжел. Но я иду до конца. Бог и ваши, отец, молитвы помогают мне. Счастливое начало операции в Северной Таврии говорит за то, что житница России будет в наших руках.

Духовник сидит неподвижно, всхоленный и хищный, как сова. Врангель мыслит историческими аналогиями. Он мнит себя собирателем земли Русской. Свой город Тафрос он построит на исторических путях. Когда-то дань скифских полей — хлеб и скот, мед, меха и шкуры, ясный янтарь и рабы с крепкими волосатыми плечами — шли в Грецию через крымское побережье. Крым — страна изобилия и удачи. Хан Менглы-Гирей, здоровенный татарский мужик с медными скулами, военачальник и баловень судьбы, восстановил древний ров, чтобы охранять Крым от набегов степных кочевников. Он был могильщиком Золотой Орды. Что? Красные части будут смяты в степях Северной Таврии или разобьются о Турецкий вал на перешейке. Могильщик революции, — так вчера писал о Врангеле льстивый публицист с эсеровским прошлым. Что? Немного мрачно? Но еще лучше написать: палач революции.

Он примет и это звание. Палач революции. Русский Менглы-Гирей. Что?

С в я щ е н н и к. Жестокие и кровавые битвы предостоят нам, ваше превосходительство. Как духовник вашего превосходительства, я имею к вам совет.

В р а н г е л ь (раздраженно: он не любит советов). Я слушаю вас.

С в я щ е н н и к. Иереи тех сел, на которые будет наступать Красная армия, должны выйти навстречу ей с иконами и хоругвями. Вслед за иереями пойдут женщины, дети, старики. Войска вашего превосходительства будут наступать в тылу крестных ходов. Красные не смеют стрелять в детей, женщин и служителей церкви христовой. На территории вашего превосходительства скопилось много иереев, преданных богу и белому воинству. Их нужно разослать по селам фронта. Проповедь их зажжет сердца сельских прихожан. Я, ваше превосходительство, одинок на этой земле, единственный сын мой, убогий, отрезан от меня фронтами, а невеста его, девушка, соблазнена красными в их политическую веру. Мое место на фронте. Продумайте, ваше превосходительство, мои слова, ибо время не ждет.

Врангель молчит, не смея поднять глаз на духовника. Он его боится? Он боится всякого, кто умен, и всякого, кто хитер, и всякого, кто инициативен. Он любит свою славу и трепещет перед ней, верит в свой рок и боится его.

Сидит сова на печи,
Крылышками треплючи...

Он поднимает глаза на духовника и говорит сухо:

— Подайте мне докладную записку.

6

Весь конец октября в степях Северной Таврии шли ожесточенные бои. Маневрируя, Врангель лучшими своими частями вел смертную игру, не веря в то, что игра уже проиграна.

На рассвете 30 октября части 11-й кавалерийской дивизии повели атаки на Агайман. Рассвет был седой, мороз усилился, земля звенела под копытами, как медь. Лазаретные фуры остановились

на шляху, покрытом веселыми кристалликами инея. Ветер хлопал холстяными стенками повозок.

Чайка провела ночь в фуре, в сладком бреду и безудержной говорливости. Она то падала в цветные бездны, то видела нездешние края, то радовалась звездам, валившимся с неба прямо на ее сеник.

К утру вместе с гулом артиллерийской пальбы к ней вернулось сознание. Вместе с сознанием вернулась телесная слабость. Она откинула полог и увидела на шляху первых раненых; Кашеев с помощью санитаров перевязывал их.

Несколько человек, уже получивших помощь, сидели на обочине. Между ними ходил ездовой Фомин, слушал их, как детей, и гремел перед ними жестяной коробочкой с махоркой. Раненые были возбуждены и наперебой рассказывали о пережитом.

— Каменева, Ивана Ефремовича? Полкового командира? — кричал Фомина большой, широкий, тяжелый конник. — Христос с тобой, Фомина, ведь это мой командир был! Я у него командовал третьим эскадронном. Под ним лошадь была раздернута на восемь частей. Я сам отнес его в тыл, а он уж, батюшки, не дышит. Он мне дорожку отца, ты пойми это!

— Я это понимаю, — сказал Фомина, — успокойся.

— Третьего дня стоят против нас марковцы, но боя еще нет. Но и тем, и этим друг друга видать, и даже видать, как те и эти зазябши. Иван Ефремович трогает своего коня и прогуливается вдоль фронта противнику назло. Командир-беляк тоже не стерпел и тоже выехал перед фронт. Они вглядываются каждый в каждого, и что ж ты думаешь? — командир-беляк есть ротмистр семнадцатого черниговского гусарского полка Залевский, а Иван Ефремович Каменев у него служил денщиком при империализме. Они с'езжают на двести шагов. Тот вынул наган, а товарищ Каменев обнажил клинок, и ведут между собой разговор.

— Конечно, поговорить им интересно, — сказал Фомина.

— Очень интересно. Беляк отвечает товарищу Каменеву: «Ты — говорит, — забыл, как чистил мне сапоги и убирал моих лошадей? А теперь командуешь полком? Я всех вас перестреляю и перевешаю! У вас командир конницы Буденный, поди, спроси у него, сколько он на своем веку навозу вычистил?». Иван Ефремович отвечает ему: «Оба мы с ним мало навозу вычистили, если ты, ротмистр Залевский, еще на свете живешь!».

— Это здорово он ему ответил.

— Здорово! — в восторге захлебнулся раненый. — Ротмистр за наган, только не успел и двух выстрелов сделать, как головы его не стало от клинка Ивана Ефремовича. Поквитались, значит. Возвращается наш Каменев к полку и поет: «Ой, яблочко, куда, красивое такое, котисься?». Вскоре подается команда: полк в атаку! От белого полка остался один пух. Но в этом бою погиб Иван Ефремович.

Второй раненый, немолодой, весь в жесткой щетине, стонал, полусидя на земле. У него не было ноги, и одна из шгганин его лежала на изморози, плоская, как полотенец.

Между стонами он сказал:

— А мне в этой атаке — ногу... Иван Ефремович перед своей смертью поставил командиром четвертого эскадрона товарища Лашкевича. Ногу мне сорвало снарядом, я лежу себе на земле, а нога висит на коже. Здесь мимо мелькает товарищ Лашкевич, и я ему кричу: «Товарищ Лашкевич, разве не видишь?». Он на-скаку, не говоря слова, оубает меня и отрубает ногу напрочь. После этого я приобретаю маневренность и доползаю до врача Кашеева. И теперь я, благодаря товарищу Лашкевичу, вместе с тобой лазаретную махорочку курю.

Чайка осторожно спустилась с тачанки и пошла мимо раненых к Кашееву. Тело у нее было легкое и слабое, виски будто точили жучки. Не дойдя пяти шагов, она села на землю, и странное безразличие наполнило ее душу. В трещинках губ выступила кровь. Она смотрела, как Кашеев бинтует раненых, как помогают ему санитары.

Артиллерия вдруг перестала бить, по степи покатился крик людей, наши пошли в атаку. Шум боя был строен и организован. Он начался монотонно, потом разросся; теперь казалось, что где-то треснула земля, и этот шум выносится из ее щели.

Кашеев оглянулся на Чайку. На его пальцах блестела свежая кровь. Краешек подбородка у него тоже был вымран в крови.

— Фомин! — закричал Кашеев. — Засунь дуру в фуру и лупи в нее из чего хочешь, если опять высунется. Сейчас мы берем Агайман. Как возьмем, оставим Чайку в Агаймане, она мешает работать.

«Дуру в фуру! — с холодным возмущением повторила Чайка. — Дуру в фуру, сам ты дурак!». Но вскоре она поняла, что не говорит ничего этого и даже не думает, а лежит спиной на дороге, лицом в белое небо, и слова тяжело и низко летают над ней, как голуби. Фомин взял ее на руки и понес. Она видела две широкие жилы, вздувшиеся от напряжения на его шее. Ее тело вдруг обрадовалось собственной слабости и безволию, хотя умом она этого не могла понять.

Это был уже не бред, но такое бессилие, что мир ее опустел, как брошенная жильцами комната, и это был какой-то белый обморок, который длился так долго, как хотел. Ей чудилось, что она плавает в молочной реке, и ей захотелось выплыть на кисельные берега, но она не в силах была этого сделать и, погруженная в молочную воду, покорно отдавалась своему бессилию.

Затем пришли видения. Она долго и горячо разговаривала с бывшим женихом своим, оставшимся в Омске. Жениха звали Нестором, но люди и она вслед за ними называли его почему-то женским именем, Настей, хотя был он немолод, бородат, злобен и хром. Настя в прошлом был человек богомольный; его отец, городской протоиерей, ушел к белым на юг. Настя никуда не уходил, но в революции вдруг стал видеть один беспорядок и часто писал Чайке на фронт испуганные и жалкие письма.

Очнувшись, Чайка увидела неширокую, очень чистенькую комнату, печь, в которой трещали дрова, и небывало ясные стекла в окнах. Кашеев стоял возле нее в сатиновой синей рубахе и клал ей на голову мокрый бинт. По его отросшей и принявшей красный оттенок бороде Чайка поняла, что не видела его, по меньшей мере, сутки.

— Мы в Агаймане? — спросила она виновато.

— Кой чорт — сказал Кашеев, — мы уже взяли Отраду.

— Сильные бои?

— Кой чорт сильные, — сказал Кашеев, через мокрую тряпочку поглаживая ее виски, — это мало сказать, сильные. Вторые сутки не спим. Начдив одиннадцатой, Морозов, убит во время погони за белым броневиком. Убит военкомдив Бахтуров. Вы очень слабы, дайте, я расскажу вам что-нибудь веселое. Меня, знаете, укусила тифозная вошь.

— Почему знаете, что тифозная?

— Это я говорю из оптимизма. Если не тифозная, то мне же будет сюрприз.

— Я, наверное, не выживу, товарищ Кашеев. — От бессилия Чайка не смогла улыбнуться. — У меня есть письмо неотосланное. К бывшему жениху. Возьмите в моем сундучке и отошлите.

— Можно, — сказал Кашеев, выдвинул из-под кровати ее деревянный поцарапанный сундучок и, открыв его, поверх платья сразу нашел исписанную четвертушку клетчатой бумаги. Держа четвертушку в руках, он посмотрел на Чайку. Прямо на него уставились ее глаза, расширенные, блестящие и невятные. Оттого, что лицо ее пылало, оно показалось ему красивым. Ее неожиданная красота смутила его, и он подавленно спросил:

— Ведь ты, Клавдия Горюшина, не была замужем?

— Нет.

— Я тоже... замужем не был, — сказал Кашеев и вдруг, раскрыв рот, бесслезно и безутешно зарыдал, письмо Чайки прыгало в его дрожащих руках, и таким, плачущим, он вошел в ее бред и навсегда остался там жить.

Бред ее был жесток. Кашеева сменил у постели Фомин. Кашеев пошел в хату, отведенную под лазарет, и в работе, которую он делал быстро и смело, он немного забылся и отошел от своих мыслей.

Спустя час он вернулся к Чайке. Она не металась, но бред ее продолжался. Рука ее, сильная и маленькая, была сжата в кулачок. Кашеев сел к столу, разгладил четвертушку бумаги и спохватился, что не знает адреса бывшего жениха Чайки. Он начал читать письмо, волнуемый темным чувством ревности, а также думая найти в письме адрес жениха. Почерк у Чайки был прямой и быстрый, мысли по-фронтовому резки.

«Настя, не жалею я тебя больше, — читал Кашеев, — зачем нам писать друг другу, зачем канителиться? Ты, как был, так остался, а я Врангеля бью. Ты мне прислал в письме цветок, который вместе в степи сорвали, а ты засушил его в книге. Ты его, наверное, прислал, как нашу любовь. Ведь ты угадал. Любовь наша и есть такая засушенная, я эту любовь-цветок потеряла между пальцами, и нет ничего!

«Я тогда уехала из Омска не спраста. Я видела, что ты красно говоришь, а от революции в погреб прячешься, как от засухи. Перестала я тебе верить еще тогда, а ты думал, что ты мной командуешь.

«Когда отец твой уехал к белым, помнишь, мы сидели с тобой в его кабинете. Ты мне говорил, что в революции нашел бога. Ты мне говорил, что, как поповский сын, сызмала видел всю неправду людскую, весь обман, и поэтому ты не захотел к белым. Но ты остался не поэтому, а потому, что боялся сдвинуться с места. Ты революцию захотел дома пересидеть, как бурю с градом. Теперь ты всё по кумушкам ходишь да пишешь мне тыловые сплетни. От сплетни недалеко до плохого дела.

«Ты мне ясен, как дезертир. У нас за последнее время дезертиров совсем не стало. Но дезертиры бывали разные: дезертир по несчастью и дезертир-пособник Врангелю, бандит-зеленый. И

вот эти бело-зеленые делают нам налеты шайками, на маленький обоз, отнять винтовку, если кто идет один, украсть барана, ограбить мирных жителей под видом красноармейца, реквизировать что-либо под видом комиссара, и жужжат они тем дезертирам по несчастью: пойдём с нами в лес, чего служить, в лесу лучше. Трусам и кто привык жить легким наживом, тем нравится, и они остаются у зеленых. Во время добровольной явки прошло через наш полк двести человек. Часть мы решили оставить в полку. Они нам говорят: дайте мы пойдём в наступление. И несут службу, и мы уверены, что верные будут красноармейцы. Наши красноармейцы на них, действительно, злобу считают, и есть, за что. А теперь, раз пришли, то их пустили в свои ряды, а злоба будет до тех пор, пока они, действительно, покажут себя на деле. Когда заслужат, тогда их окончательно примут к себе, и они будут верными людьми.

«А ты, Настя, чем заслужил? У меня к тебе одна фронтовая злоба осталась. Ты меня не суди, и писем ты мне не пиши. Будь здоров, Настя. Худа тебе, как человеку, не желаю, а, как дезертира революции, тебя не прощаю во веки веков, и если стакнешься с белыми, то пощады от меня не жди.

Клавдия Горюшина».

7

Вечером 30 октября Врангель понял, что разгрома красных на Каховском плацдарме не будет. Он понял, что в степях Северной Таврии не снимет урожая победы. Он пил черный кофе из крошечной, похожей на скорлупку, чашечки; в его ушах от бессонных ночей стоял гул, и он силился расслышать в нем шаги военного счастья; но шаги этого счастья замирали вдали — оно удалялось в сторону красных.

Чашку за чашкой Врангель пил кофе.

Вера в себя не покидала его. Группы его войск маневрировали в степях, вышибая пробки на дороге к перешейкам. Принесли донесение от духовника, полное религиозного неистовства: духовник

писал с фронта, что крестные ходы не удаются. Врангель успел забыть и о крестных ходах, и о духовнике. Детский спектакль! Что? Последний день принес белым тактический успех, несмотря на то, что операция из степей перебра-сывалась на перешейки.

Медлительность некоторых частей Красной армии позволила Врангелю обрушить все лучшие свои силы на Первую Конную, зашедшую в его тылы. Генерал Кутепов, человек тяжелой руки, самодур и вешатель, силою двух пехотных и трех кавалерийских дивизий прорвался к Отраде и, с марша срезав нашу четвертую дивизию в Рождественском, около трех часов пополудни появился у ветряных мельниц Отрады.

Заговорили все десять батарей его артиллерии. Скованная морозом, скользкая и гладкая степь ложилась, как автострада, под колеса его броневиков и блиндированных площадок. Самолеты сыпали бомбы с неба.

В момент налета белых в Отраде находился только Первый полк Особой бригады, полештарм и реввоенсовет. Марковцы, дроздовцы, терско-астраханцы и кубанцы ворвались в село с юга. Вдоль белых хат, вдоль палисадов и огородов закипел уличный потолкучий бой, и несравненная его музыка огласила седую от мороза окрестность.

Пуля ударила в окно хаты полештарма, во все стороны по стеклу брызнули косые трещины. Буденный, Ворошилов, начполештарма Лецкий, военком Абгаров кинулись на улицу.

Бой кипел вдоль хат. Неслись кубанские казаки, пригнув к холкам коней обшитые гозырями широкие груди. Картаво кричали текинцы. Поперек улицы вытянулся наш увязший между хатами обоз. Буденный увидел коня, вставшего на дыбы, рвущегося из оглобель, на поводках его, мотая пятками, висел ездовой. Буденному доложили, что на южной стороне села врангелевская конница взяла в шашки конную батарею Особой.

Кутепов захлестнул Отраду петлей. Низко над головами — виден был прищуренный глаз пулеметчика — с ревом

пронесся неуклюжий, истыканный пулями самолет. Улицу накось прошила пулеметная очередь; люди легли на землю, и многие не встали.

Буденный в бекеше, Ворошилов в мохнатой бурке и полештарм Лецкий били из маузеров, и пули их методично, ровно, будто на стрельбище, вынимали казаков из седел. Прямо перед собою Ворошилов увидел ладно сбитого коня, будто голого; видны были скульптурные пучки его мышц. Офицер в черкеске закинул шашку за левое плечо и, развернувшись всем корпусом, ударил Ворошилова. Жужжа, шашка завязла в бурке Ворошилова. По офицеру одновременно выстрелили Буденный, Горячев и командир эскадрона Десятников. Три пули пробили его, и, помирая, офицер так и не узнал, чья пуля была смертельна. Он упал в мерзлую пыль, полы черкески задралась, обнажив его тонкие ноги в щегольских сапогах. И лошадь его остановилась над ним, будто только и ждала минуты, когда всадник сойдет с седла и даст ей покой.

Командарм собрал вокруг себя полк и пошел на прорыв к Особой, через мельницы. Уже было темно, но бойцы узнавали штаб, и среди гула битвы здесь и там были слышны голоса:

— Ворошилов!

— Буденный!

— Ура! — закричал полк.

И эта горсть людей, которых они вели, чтобы перешагнуть порог смерти, стала металлическим тараном; короткого удара его не смогла бы выдержать никакая сила.

Вместе с темнотою завязался свирепый и беспорядочный рукопашный бой, озаряемый пламенем занявшегося скирда. В едва мутнеющее небо взвивались пучки горящего сухого сена. Боец обхватил руками текинца, оба полетели на мерзлую землю. Буденный перешагнул через них и наклонился, чтобы помочь бойцу. Но текинец уже задохся в сильных тисках, а боец всё не отпускал его горла и сипел: «Д-даешь Крым, с-собака!..». Длинная казачья пика дрожала, воткнутая в ствол тополя;

расщепив дерево, она свалилась на землю. Стоны и хрипы и звон холодного оружия оглашали воздух. Но в самом шуме боя уже можно было уловить слитный и организованный ход его, и, когда полк пошел на прорыв, Буденный знал, что либо прорыв удастся, либо будет смерть, а что третьего выхода не будет.

Опрокинув белых, полк пошел на соединение со своими. Казаки, грабившие хаты, выскакивали из окон и дверей, вытаскивая мешки, сундуки, охатки платья, шитые полотенца, содранные с красных углов. Один, длинноногий, запутался в женской панёве и повис на подоконнике, ругаясь срамно и дико. Шашка ссекла ему затылок, и казак затих, вытянув руки.

Полк Савченко врубился в эскадрон белых. Огбитые обозы жались к хатам, чтобы не мешать бою. Бой вырвался из села, красные рубили бегущих. Совсем вблизи от Буденного прошла тачанка с амурами на задке. Тачанкой правил щуплый, дикий человек: длиннополая одежда, маленькие руки, острая бородка летит по ветру. На дне тачанки, не чужая жизни, сидел ездовой Фомин. Он увидел Буденного, закричал потерянно:

— Товарищ Буденный, меня ихний поп в плен везет!

— А ты дай ему в морду! — усмеялся Буденный.

Ездовой приподнялся в тачанке, развернулся и дал попу в морду. Поп упал на сиденье, затылком в доску с пухлыми амурами, и поднял, как дохлая птица, согнутые руки к груди. Ездовой остановил лошадь; дрожа, глазами стал искать Буденного и не нашел. Бой затихал за селом. Мимо тянулись пленные, жались, как овцы. В середине села стреляли наши арьергарды.

Ездовой, придерживав лошадей, стал глядеть на попа, на то, как он приходит в себя и сползает от ужаса на дно тачанки.

Вскоре поп поднял на Фомина фанатичные глаза и стал ждать смерти.

— Осрамил ты меня, поп, — сказал Фомин, — осрамил ты меня перед командармом, желаю тебе смерти.

Он взялся за наган, но ему тошно показалось стрелять в этого отчаянного и бессильного попа, он велел ему сидеть смиренно и поехал разыскивать полевой лазаретный пункт.

— Осторожнее поезжай, голубчик, — сурово сказал поп, — очень трясешь, у меня почки больные.

К ночи, уже за селом, Фомин и поп нагнали полевой лазарет. Фуры медленно ползли по черно-белой дороге, под звездами и ветром. Фуры были набиты ранеными. Кашеев, в темноте похожий на чучело, молча шагал среди санитаров. Санитары рассказывали о боях, о том, что белые утекают в Крым и ловко бы им перерезать дорогу!

Некоторое время Фомин молча ехал за Кашеевым, смутный от стыда. Он глядел на его спину, на плечи, плотные под полушубком, на голову, кудлатую под папачой, и видел, как папача, гася звезды, закрывает от него то один, то другой участок холодного неба. Под ногами доктора лопались льдинки, затаившие колени.

Так продвигались они довольно долгое время, потом Кашеев поотстал и, наконец, поровнялся с тачанкой.

— Я думал, что тебя уколеди, Фомин, — сказал Кашеев неживым, нерадостным голосом.

— Зачем? — сказал Фомин.

— Чаечка умерла во время боя, — сказал доктор.

Они продвигались дальше. Поскрипывали колеса тачанки, стучали о промерзшие колени. Поп сидел прямо, злой и хищный, как сова. Лошади на-ходу подняли хвосты, тепло запахло навозом. Фомину вдруг сделалось зябко и грустно жить на свете, и, чтобы прогнать приступ горя, он спросил:

— Зарыли ее?

— Нет еще. Везем в задней фуре. Ей нужно отдать воинские почести.

Поп повернул к ним голову, бесстрастно предложил:

— Я могу отпеть усопшую, если она веровала богу.

— Ничего, ничего, — беспокойно пояснил Фомин, обращаясь к Кашееву, — это пленный мой, ихний поп. Навязался, долгогривый чорт, на мою шею!

— В бессмертие мести она верила, гражданин поп! — зло сказал Кашеев.

— Мсть не бессмертна, но душа человеческая бессмертна, как и бог.

— Что ты знаешь, поп, о бессмертии ее жизни? Не кощунствуй!

Кашеев остановился, и Фомин, немного пугаясь, придержал коней. Он увидел, как рука Кашеева метнулась по бедру, задрала полу полушубка и задержалась на кобуре.

— Не кощунствуй! — закричал Кашеев. — Что ты знаешь о бессмертии нашей крови и нашего голода по жизни? Не кощунствуй, православная вошь!

Он пальцами рвал кобурю. Никогда гнев так бурно и так страшно не прорывался в нем. Как у запаленной лошади, пена окрасила его губы.

Тогда Фомин тихо сказал ему:

— Не трожь пленного, товарищ Кашеев, или ты бандит?

— Чорт с ним, с попом, — проворчал Кашеев, медленно утихая.

Ездовой дернул вожжи, тачанка сдвинулась с места, напуганный поп закачался в ней. Кашеев пошел за тачанкою, но тулуп он позабыл застегнуть, мороз пощипывал его колени, и, укутанные темнотой ночи, они болели у него и зябли.

Спустя минуту Кашеев остановился, пропуская мимо себя фуры. Когда последняя проплыла мимо него, он пошел за нею и на-ходу откинул холст. Он протянул ладонь и в темноте нащупал окоченелую руку, которая еще вчера была рукою женщины. И, несмотря на то, что эта рука была холодна, душа Кашеева вдруг согрелась теплом бытия и готовностью и решимостью жить, и он долго еще шел так, следом за фурую, держа мертвую руку Клавдии в своей холодной, но живой руке.

2. МАШИНИСТЫ

1. СМЕРТЬ ШЕМШИ

1

Три товарища, машинисты Бобанов, Малай и Шемша, ехали на Владикавказскую дорогу водить поезда Советской республики. В восемнадцатом году из Москвы на Северный Кавказ не было прямого пути. До Брянска машинисты ехали в классном вагоне. С Брянска пересели в товарный, открыв дверь клинчиком. На станции Поворино им пришлось покинуть поезд: по линии, бросая дым, неслись броневики; из-за мешков с землей, накиданных на платформы, торчали штыки бойцов.

В степи, за станцией, генерал Краснов принял бой.

С Поворина тоже не было пути на Владикавказ, и начальник станции посадил машинистов на состав, везущий снаряды в Царицын. Над зеленой степью плавали орлы. Воздух был полон золотого зноя. К вечеру солнце страшно раздувалось: мясистое, оно садилось на степь и будто втекало, всасывалось в ее широкую плоть. Тотчас же в вагон врывается туча черных жучков. Они кидались на все белое, лезли в рот и уши. Их можно было давить в горсти, а если человек ложился на лавку, то они лопались под ним, будто китайские бобы.

На вагонный столик, покрытый тучной пылью, машинисты положили кусок сала, обернутый в газету и накрест перевязанный бечевкой. Сало они купили вскладчину на Сухаревке, у взерошенного и надменного мужика — для Шемши, Андрея Платоныча, больного чахоткой.

Шемша часто уходил кашлять в тамбур. Он возвращался в полном счастье: ему казалось, что вместе с мокротой он выхаркивает из себя болезнь. Мужчина он был ладный, атлетического сложения.

Отхаркав мокроту, он начинал думать, что и совсем здоров. В полную силу сердца он начинал любить плохой и пыльный вагон, в котором ехал, жучков,

которые ему надоедали, душноватый, но живительный запах степи. Его два товарища представлялись ему самыми лучшими, самыми горячими и самыми нежными людьми из всех людей на свете.

Он говорил, положив на сало фуку:

— Ну, железные дорожнички, точи ножи... Попробуем, какво оно на вкус, это московское сало.

Лобанов и Малай отвечали:

— Ешь, Андрей Платоныч. Нам чего-то не хочется. Да нам чего-то и похрапеть пора.

Зевали и потягивались.

Шемша молчал, опечаленный; потом говорил:

— Один-то я тоже не стану жрать. Погодим. Оставим на завтра. Завтра, машинисты, тоже долгий день.

2

Чем ближе к Царицыну, тем ночи душней. Бобанов спал на верхней полке. Среди ночи он вдруг просыпался, сгребал с лица жучков. Высокое небо, зажженное звездами, медленно поворачивалось за окном. Невнятный свет ночи лежал на лавках.

Голод начинал терзать Бобанова.

«Да-с, машинисты, — думал сн. — Вот оно как завертелось, механики. Не то времячко! Бывало, придешь-прибежишь из депо, руки и одежда воняют мазутом, глаза сухие от пара и ветра. Прибежишь-придешь домой, на огне шипит и жвокает сковородка, на столе тарелка цветастая с хлебом...».

Малай сегодня сидел на площадке, свесив ноги между буферов, глядел, как медленно под ногами бежит непрополотый песок, плевал себе на носки и жаловался: «Было времячко хлебное, а теперь пустобрюхие годочки. Ты погляди, и слюна-то у меня от голоду несочная».

«Парень молодой, нестреляный, — думает Бобанов, мучаясь голодом, — что с него взять?».

3

Ближе к зорьке вагон ожгла пулеметная очередь. Где-то по соседству лопнуло стекло; зазвенели, падая на пол, осколки. Поезд прибавил ходу.

Проскочили!

Из вентилятора потянуло холодком. Вязкий молочный свет начал вливаться в вагон.

Бобанов лежал, раздумывая: спит он или не спит, во сне у него болят бока, или належал их наяву?

Осторожная рука тронула его за колено.

Малай.

Зеленое лицо в сумрачных тенях. Зрачки глаз расширены.

— Тебе чего?

— Тиш-ш ты... Папаша-то спит.

— Чего папаша?

— Шемша. Спит Шемша и слюну пустил. Спит.

— И ты спи.

— Слышь ты: взяли бы сальца чуток. Самую малость. Тебе б ломоток, да мне б ломоток.

— Спятил?

— Тиш-ш ты... Одному-то мне боязно. Бобанов, а?

— Убью, — шопотом говорит Бобанов, — убью, тля, сволочь, вошь!

Малай закрывает глаза, стоит, покачиваясь. Веки его желты и похожи на два листочка, побитых морозом.

Потом и плечи, и голова его проваливаются вниз.

Бобанову слышно, как горестно он укладывается на лавке, разминает складки шинели.

Над степью женственно-нежно расцветает заря, в окне плывет июньская степь, и над ней орлы высматривают себе добычу на почин.

4

В Царицыне вокзал забит красноармейцами, на путях составы с боевым снаряжением. В небе — неумолимое солнце. Асфальт на платформе раскис и дымится. Шпалы, залитые нефтью, вот-вот вспыхнут.

Машинисты пошли к комиссару вокзала и удивились тому, что больно мо-

лод парнишка, и говорить-то с таким как-то не с руки. Щеки у комиссара провалились, и было видно, что человек не евши.

Шемша велел товарищам сложить вещи у окна, ждать, пока комиссар освободится. В комендантской было полно народу, накурено, стоял орёж. Но скоро сделалось ясно, что весь этот гневный народ, покричав, повинуется комиссару и что комиссар если не ястреб, то ястребенок. От голода у Бобанова слегка кружилась голова, шум то глушил его, то вдруг звучал издалека, словно Бобанов окунался в воду.

Наконец, Шемша оттеснил от комиссара людей, взял его ладонями за голову и повернул к себе.

— Слушай теперь только меня, петушок. Мы, трое, — машинисты, работали на Украине, а там взмошел немец, и мы уехали в Москву. Из Москвы мы, трое, имеем направление на Владикавказскую дорогу. Слушай ты меня. Смотри документы. Я — машинист Шемша, а это Бобанов и Малай, помощники. Сделай милость, отправь нас на Владикавказскую.

Комиссар посмотрел документы, сосредоточился, спросил быстро:

— Коммунисты?

— Большевики, — сказал Шемша за всех троих.

— Партийные билеты есть?

— Безбилетные. Нам, милый молодой человек, в Царицыне делать нечего, нам нужно на Владикавказскую дорогу. Там очень мало машинистов, верных Ленину.

Комиссар свернул документы, протянул их Шемше.

— На Владикавказ дорога закрыта. Наши отступили от Великокняжеской. Но машинисты и здесь нужны. В ста шестидесяти пяти верстах, на станции Котельниково, большое депо. Машинистов нехватает. Зайдите к вечеру, дам направление.

На комиссара налетели люди, Шемша отошел к окну, и машинисты стали совещаться. Малай скривил пожелтевшее лицо, раздул ноздри. Он сказал, что нечего было тикать с Украины и слоняться по всей России с голодным брюхом.

Бобанов высказался за Котельниково.

Шемша закашлялся, хотел бежать на ветерок, но не смог — оперся ладонями о стену. Его могучие плечи по-стариковски одрябли. Кашель у него был тяжелой, беспощадный. В груди свистело и шлепало.

Наконец, он платочком зажал рот, воровато спрятал платочек в карман. Пальцы его окрасились в алый цвет.

Он повернул к товарищам лицо с просиявшими глазами. В его желтых ресницах, как роса в траве, стояли слезы.

— Вот я и здоров, железнодорожники, — сказал он с облегчением. — Я, машинисты, за Котельниково стою.

До вечера, в поисках хлеба, они слонялись по жаркому и плоскому Царицыну. И дома, и булыжники, и пестро одетые, грязные и отошальные люди были в испарине. Сухой ветер, пахнущий гнилым ометом, лениво шевелил песок на мостовых. Над пустынной Волгой висела горячая дымка. На базаре, на ленточку керенок, машинисты купили фунт твердого и колючего хлеба. Сев в тени, за ларьком, они разрезали его на три дольки, стали жевать медленно и с чувством.

Бобанов вынул из кармана сало, положил Шемше на колени.

— Поешь, папаша. Болезни твоей требуется питание.

— Ты поешь, поешь, — поддержал Малай, стараясь не глядеть на сало.

— Побережем это сало, — сказал Шемша, стуча по куску плоским ногтем, — край здесь насытый, война. Пригодится это сало в самый черный, в самый последний день. Продукт надежный, не завоняет. Убери, Бобанов, в карман.

5

В Котельниково машинисты прибыли на зорьке. Где-то совсем близко постреливали. Фронт сюда не дошел, но были часты казачьи набеги, и тогда все мужское население станции, по деповскому гудку, валило в окопы, нарытые на северной стороне.

В первый же день машинистов посадили на паровозы, таскающие в Цари-

цын санитарные и продовольственные летучки. Везли раненых. Умерших закапывали тут же, за вокзалом, на пустом огороде. Ставили на братской могиле столбики. К столбикам приколачивали дощечки, писали: такие-то — Семенов, Петров, Иванов — померли и оставляют вам завет, живые бойцы!

Вскоре машинистов позвали в штаб железнодорожного батальона. Там, за широким столом, тиская в ладонях пустую чернильницу, сидел командир батальона, человечинце саженого роста, гулкий, громкий и сердитый, с волосами вьющимися, как овечья шерсть.

— Вот что, приятели, — гаркнул он, — бери в углу винтовки, принимай участие в обороне. Беляк жмет, а людей мало. У каждого из вас в окопе должно быть свое насиженное место. Как зашвистит депо — днем ли, ночью или на зорьке — кидай все и катать в окопы. Стрельбе обучены?

— Нет еще, — сказал Шемша.

— Пустяковое дело!

Командир выдернул из груди винтовок, сваленных у стены, одну, подобрал ее на своих широких ладонях.

— Винтовочка трехлинейная, — застенчиво проговорил он, — мосинская, образца тыща восемьсот девяносто первого года. Много беляков я этой бабушкой с жизни снял.

Обучали машинистов за станцией у стенки инвентарного склада. На шершавой стене командир углем начертил офицера в фуражке с кокардой. Стреляли плохо, и только Бобанов попал нарисованному офицеру в живот.

К вечеру машинисты пошли на отдых. Спали они в дежурной, на топчанах. В комнате было чисто: как все частотные, Шемша до святости был опрятен, сам подметал дежурку польнным веником и под своей кроватью поставил консервную банку: сплевывать мокроту. На подоконник он положил все еще непочатый кусок сала.

Машинисты сжевали пайковый хлеб и легли спать.

Но после стрельбы не спалось.

По комнате ходили полосы света — паровозы маневрировали на путях. При-

ятно, по-знакомому брэнчали в рамках стекла.⁴

Малай сел в кровати и сказа́л, плача: — Не желаю я за Котельниково биться! Чего я буду биться за Котельниково, на какой ляд оно мне сдалось? Я хоть не украинец, а рожден на Украине. За Украину, пожалуйста, я буду зверски биться, а за Котельниково не хочу.

— Дурак, — спокойно сказал Бобанов, — вот дурак. С Украины сначала немцев нужно сбить. Украину еще пойдди, достань пролетарской рукой. Это как же выходит? Мы ее будем освобождать, а ты посвистывать?

— Ты меня не пугай. Я под Николаем Вторым жил и не боялся. — Он спиной упал в постель, деревянный топчан под ним заходил ходуном. — Эх, машинисты! Не люблю я человеческой крови — не дождик, от нее хлеб не растет. Ведь как жили? Выйдешь вечером в железнодорожный сад: девчины ходят спелые, зубки белые, бровки гнутые, грудки теплые. С какой так потреплешься, с какой в овражек пойдешь. А то занехочется — ступай себе домой, мать накидает на стол каши с маслом, студню, жестянку кинет с килькой. Жри. И ступай себе храпеть за занавеску до самого дежурства.

Шемша говорил из темноты:

— Дура ты, Малай. Жеребок. Если когда наблюдал, жеребок знать ничего не хочет, кроме материна соска. Желудком живет: пососал—и вылил, пожевал — и наклал. Ты пятого года не видел, и жизни ты не осмысливал.

Малай снова сядил на койке, спускал на пол белые ноги. Из-под расстегнутого ворота его рубахи тускленько светился нательный крест.

— А песни-то, — задумчиво вспоминал он, — какие песни поют у нас на теплой Украине:

Ой на гори
Та жниці жнуть...

Пел он прекрасным, свободным и высоким голосом:

А под пид горою
Степом, долиною
Козаки идуть.

Всвистывали, проходя, маневровые паровозы. Пел Малай. Полосы света скользили по его коленкам, по шинели, брошенной на топчан, по ободранной дверной раме.

Голод мучил машинистов и во сне.

Шемша видел во сне, будто он здоров, и вот подходит к пасхальному столу, накрытому чистой скатертью, и на опрятных тарелках лежат гречаные пироги с капустой, вареники, коржи с маком, на которые — ах ты, мамонько! — такая мастерица тихая его старуха.

Бобанов видел вокзальную буфетную стойку: за стеклом всякое мясное и рыбное, и ломти хлеба с лососинкой, розовой, как рассвет, и с икрой, глянцевочерной, как антрацит, — весь этот буфетный ассортимент, предназначенный для бар, путешествующих по международному, по первому и уж на крайний случай по второму классу, а буфетчик ему говорит: «Ну, здравствуй, Бобанов! Ну, кушай, Бобанов! Теперь, слышать, революция, подавили мы бар, как насекомое на стенке. Кушай, Бобанов».

Малай же видел реку, не так, чтоб широкую, но быструю; плывут по реке тесно, как льдины в ледоход, свиные окорочка и хлебы, супные судки и плюшки, всякая невозможная рыба, копченая, вареная, жареная и вяленая; а у него, Малай, что-то лодки нет; как же это лодки нет? как же без лодки поймашь... уцепишь... ухватишь... с'ешь?

6

Утром, пососав кипятку из высоких оловяных кружек, машинисты шли в депо сменять товарищей.

В черной утробе депо стоял настоящий запах, знакомый им с детства: запах мазута, сырых, прокопченных дымом стен и горелой пакли. Слабый свет дня, мешаясь со светом ламп, колебался под тяжелым сводом. В депо беспорядок, запустенье, мерзость. В промывных канавах нет воды. На старых домкратах черными тушами сидят подбитые паровозы, с которыми некому возиться.

Заправив паровозы, машинисты начинали работу. Санитарные летучки. Про-

довольственные летучки. Пробитые пулями, зеленые от голода красноармейцы. Кровь. Все, как один, на защиту революции!

Голод мучил даже в окопе, когда, положив винтовки на земляной козырек, машинисты глядели прямо перед собой, на полынное поле. Аварийным голосом вопил в депо гудок. Далеко в степь уходили телеграфные столбы, связанные проволокой, как порукой. Им далеко шагать — до самой Москвы. Но где-то в степи белое казачье перекусило провода, и если звать по ним Москву, то Москва не услышит.

Казачи, которых заметили с водоналивной башни, повернули назад в степь.

Совсем вблизи окопа выкатил из травы русак. Он сел так близко, что виден был трепет его ноздрей. Передние лапы он держал на-весу. Под его мягкой губой застряла травинка.

«От-т, шибануть бы!» — подумал Бобанов.

Рука его потянула винтовку, наставляя приклад на плечо. Но он вспомнил, что патроны в его сумке — береженные. Он оглянулся на Малаю и вовремя ударил его по руке — палец Малая уже лежал на спуске.

Малай тихо вскрикнул, затуманенные его глаза невнятно поглядели на Бобанова.

— Казаков будешь стрелять, не зайцев, — сказал Бобанов добродушно.

Но тотчас же два выстрела, один вслед за другим, треснули на линии окопа. Железнодорожники не устояли перед соблазном.

Прокатился многошумный голос командира:

— Не стрелять по зайцу! Команды не давал!

Однако люди, измятые голодом, вышли из повиновения. Видно было, как пули секут траву. Заяц сверкнул задом, пошел в сторону белых. Выстрелы стукали безостановочно и торопливо. Пули вонзались в землю вокруг русака, но он шел со скоростью шестидесяти километров, и его трудно было достать. Напуганный выстрелами, он не ложился в степи, а шел на слуху.

— Прекратить пальбу! — орал командир, во весь рост вытянувшись на козырьке окопа.

Бобанов вскочил, чтобы помочь ему, но здесь невыносимый грохот обрушился на окоп с неба. Низко, почти брея, над станцией шел самолет. На его несущих плоскостях разметались широкие черные буквы: «За Русь святую».

Железнодорожники легли в русло окопа, ожидая, что беляк начнет бросать бомбы.

Но он низко прошел над станцией: отсюда казалось, что колеса его прокатились по вокзальной крыше. Под хвостом его всклубилось белое облако, воздушный вихрь взвил и разметал его, и, крутясь в воздухе, бумажки стали падать на землю.

Самолет сбросил воззвания.

7

Командир скомандовал конец тревоги, машинисты побрели на вокзал, устало волоча винтовки.

На выщербленном пыльном асфальте платформы, покрытом выбоинами, слонялись, стояли и сидели бойцы, командование перебрасывало их на фронт. Здесь была молодежь с Царицынского пушечного завода, мужики-партизаны и красные кубанские казаки в черкесах и цветных бешметах, с удалыми усами.

На платформе, на рельсах, в лужах нефти, всюду валялись и плавали листки, сброшенные самолетом.

Бобанов подошел к кучке бойцов, сбившихся вокруг казака; сдвинув фуражку на круглый затылок, казак бойко, с белозубой усмешкой читал воззвания вслух. Голос у него был медный, и сам он весь был медный, литой, красавчик и силач.

Он читал скороговоркой:

— «... командованию также известно, что у вас нет ни провианта, ни фуража, ни патронов... Что вас ждет? Смерть от голода и болезней... Бросайте винтовки, переходите к нам. У нас белый хлеб и мясо, и чай, и табак...»

— Да порви ты, — раздался из толпы злобный голос, — будет зубы-то чистить!

— Вот белый гад, гадюка, норовит не про что-нибудь: про хле-еб! Бьет по самому нежному месту!

— Жалко, не сдарапал я эту птицу с неба!

— Белый, говорит, хлеб, мясо да китаяская травка... Испытал я эту травку на свей спине!

Здесь в толпу, расталкивая людей, вошел коренастый мужик в розовой сарпниковой рубахе, подстриженный в скобку, с буйной бородой, отливающей золотом. Бурые щеки его были так гладки, что в них можно было глядеться, как в чайные чашки. Ладонью он раскидал людей, вырвал у казака листок и, зажав его пальцами, высоко вскинул и потряс рукой.

Толстые губы его шлепали одна о другую.

Он повернулся на босых ногах, отеснив казака, вытаращил глаза и сказал шопотом:

— Товарищи партизаны и стрелки, что жа? Рвет меня за голоду спереду и сзади, во всех селениях скотину перевели, сынишки и дочки землю жуют... как черви... что жа? Комиссарам-то хорошо кричать, они, должно быть, евши. Братики, солдатики, погибать нам, как жа? Что жа?

Казак схватил мужика за ворот рубахи, спросил пострашневшим голосом:

— Чей такой?

Закричали:

— Да пусти ты его! Помни несильно и пусти!

Но толпа раздалась, давая дорогу четверем старикам, до странности друг на друга похожим. Все четверо были в одинаковых портах, пошитых из мешковины, в таких же рубахах, и одинаковые желто-белые бороды свисали с их лиловых, иссохших щек. За плечами у них торчали винтовки без штыков.

Передний тусклыми голубыми глазами повел по толпе, сказал тихо:

— Знаком нам этот химик, отдайте его нам.

— Ну, ну, кто он такой?

— Ты не пытай меня, как его имя, — проговорил старик все так же тихо, — а пытай, сколько земли у него есть и сколько скотины. Отдайте его нам.

Не дожидаясь ответа, они окружили рыжего мужика, задний толкнул его в спину, и мужик покорно, как лошадь, полпелся вместе с ними.

Впятером они прошли вдоль платформы, спустились по лесенке на пути и, перешагивая через рельсы, высоко поднимая ноги, направились за сигнальную будку.

Уже вблизи будки рыжий мужик снял шапку и перекрестился. Он хотел закричать, рванулся было, но так и остался стоять, подняв тяжелую руку с пальцами, собранными в персть.

И опять задний толкнул его в спину, и они пошли дальше, пока не скрылись из глаз за будкой.

Спустя минуту Бобанов услышал разрозненный залп.

Он спросил соседа:

— Кто такие старики?

Ему ответили с уважением:

— Здешние партизаны, знаменитые братья Медведевы.

8

Так жили и работали машинисты на станции Котельниково, а война все ближе, и вот однажды поутру к платформе подошел бронепоезд «Большевик Черноморско-Кубанской республики». Он составлен был из паровоза, обшитого броней, блиндированного вагона с бойницами и платформы, груженной фугасами.

Сейчас же по станции распространился слух, что бронепоезд идет в бой и что среди машинистов будут вызывать охотников.

Действительно, командир бронепоезда позвал к себе Бобанова. Несмотря на погожие дни, на командире была кожаная куртка, бинокль болтался на его широкой груди, на ремешке, перекинутом через шею. Он сказал, что бронепоезд привел из Царицына неопытный машинист, мальчишка, что мальчишка этот в бою наложит в штаны. Рассказывают, в Котельникове есть три машиниста, все трое, говорят, винтовые парни. Что за машинисты?

Бобанов ответил:

— Машинисты эти — мы: Шемша, Малай и я, Бобанов. Начальник сказал,

чтобы собирались все трое, чтобы брали с собой винтовки, револьверы, ручные гранаты, если есть. Будет жарко.

«Большевик Черноморско-Кубанской республики» шел на станцию Куберле, закладывая фугасы на полотне дороги.

Бобанов отправился в дежурку будить своих. Шемша, вытянув ноги в опрятных портянках, спал неслышно, как дитя. Малай, закутав голову в рубаху, стонал и стучал коленками.

— Ты чего? — спросил Бобанов.

Не снимая с головы рубахи, Малай промычал:

— Горю, как куст.

— Захворал, что ли?

— Ой, товарищ, сыпняк у меня. Бредю. Ходят по мне воши.

— Не скули. Отправляю в Царицын на летучке, если не врешь.

Бобанов разбудил Шемшу. Старик медленно оделся, выдвинул из-под кровати сундучок, вынул из него чистое полотенце, зеркальце, крохотный обмылок в розовой бумажке с нарисованной красавицей. Он подошел к окну, загородив его своими атлетическими плечами, и помолился на галок, сидящих на черной крыше депо.

После этого они пошли на блиндированный паровоз «Большевик Черноморско-Кубанской республики», чтобы вести поезд на Куберле, в гнездо белых.

9

Паровоз шел в хвосте, толкая платформу с фугасами и блиндированный вагон. Стоя на правом крыле, Бобанов чувствовал мощный, выверенный и уверенный ход машины. Такие паровозы в мирное время водили сибирские экспрессы. Шемша, чистенько причесанный, умытый, стоял у регулятора, в стекле манометра отражалось его лицо.

Они в первый раз шли в бой.

Командир сидел на полу, по-татарски сложив ноги, и поминутно, сквозь стук и гром хода, кричал в телефон:

— Слышишь меня, Матвей? Хорошо слышишь меня?

На десятом километре убавили скорость.

— Следи за полотном, Матвей! — кричал командир в трубку. — Следи... а?... а?... следи за местностью!

И оттого, что Бобанов в первый раз шел в бой, его охватило светлое, братское чувство доверия к боевому человеку в кожаной куртке, и он понял, что будет повиноваться каждому его слову, не рассуждая.

Из трубы паровоза летел белый дым, падал на степь, вис на проводах, окуривал телеграфные столбы, цеплялся за усы ковыля. Он был легкий и летуч, и такая же легкость вдруг родилась в Бобанове, он стал легкий и летуч, как дым, и перестал чувствовать свое тело.

Он слышал, что в бою рождается остервененье, злость, туманом застилающая глаза, и так же сполна поверил в это, как за минуту перед тем поверил в командира.

Он глядел на затылок Шемши с бледным пятном лысины посреди белых волос. В первый раз он заметил на раковинах ушей Шемши белый жесткий пух. И он подумал какою-то детски нелогичной мыслью:

«Ведь ты на смерть идешь, папаша, а у тебя пух растет... Как же ты — на смерть, с пухом-то этим?».

Еще он вспомнил старуху Шемши, оставшуюся на Украине, старую, розовую, в черном очипке и валяной обуви, потому что у нее всегда болели ноги; их хату с белыми до голубизны стенами неподалеку от депо; и аиста, живущего на их кровле; и деревянный треск его клюва.

«Какая необоримая сила вынула тебя из этого рассчитанного и мерного життя, папаша?»

Какой огонь ожег твои пятки, что ты выскочил из хаты, как на пожаре, кинул старуху, позабыл оглянуться на аиста и пошел, и пошел, как молодой, чертолесить по фронтам, заглядывая в самые зрачки смерти?

Позвала, потянула внутренняя сила, и ты пошел. И ты пошел, папаша, харкая кровью, служить звезде, о которой всегда была твоя думка.

Эта думка о звезде!

Ее носит в своем сердце кожаный человек, что сидит на полу, сотрясаясь от хода паровоза. И у тех голодных ребят в прошенных шинелях, в фабричных спиджачках, что, не пивши, не евши, не спавши, ломят на фронты, и у тех бородатых братьев Медведевых, знаменитых, беспощадных, — у всех она есть, эта заветная, тугая думка о звезде.

Гори ж, гори, пылай, звезда, — и никакой туман, никакая туча не погасят твоего раскаленного света!».

10

В Куберле навстречу поезду вышел бронепоезд противника, попятился, откатился на закругление пути и ударил из орудия. Снаряд разорвался слева от паровоза, осколки и разодранная земля поцарапали броню.

— Стоп! — сказал командир.

Шемша дал контрпар, вспотев, сел на корточки. Бобанов кинулся к регулятору. Он подумал, что папаша испугался. Но Шемша, лбом прислонившись к стенке, кашлял и жал себе грудь, и кровь пенилась на его губах и бороде.

Бой разгорался. «Большевик Черноморо-Кубанской республики» отвечал изо всех своих орудий. Справа по степи, вставая и падая, пошла на бронепоезд офицерская цепь, и уж по тому, как равнодушно она теряла людей под шрапнелью, было видно, что это отборная часть.

Злости, которой ждал в себе Бобанов, не родилось, но возникла быстрая готовность рук, ног, всего тела к движению по первому же позыву воли.

Спустя двадцать минут после начала боя снаряд противника упал на платформу и зажег фугасы. В грохоте и железных содроганиях поезда Бобанов долго не мог понять, что кричит ему командир, и, наконец, понял, что он посылает его отцепить платформу от паровоза.

Бобанов открыл блиндированную дверцу и вывалился на полотно. Дым

застилал небо и степь, фугасы рвались с диким шумом. Бобанов встал на четвереньки и пополз под тендер, земля была мокрая, он понял, что шел сильный дождь. Песок вспух и потемнел, скрипел под коленками. Он был мокрый; Бобанов зачерпнул полную горсть и натер им свое торячее лицо.

Паровоз сильно растянул фарканцы, Бобанов бился, бился и все никак не мог расцепить. Вероятно, Шемша догадался и подвинул паровоз. Бобанов отцепил платформу и лег между рельсов, слушая пенью пуль. Они чокали о броню и падали здесь же за насыпь.

Отдышавшись, Бобанов вылез из-под паровоза и пошел, не нагибаясь, почему-то уверенный, что сегодня, в первом бою, его не зацепит ни одна пуля! Броня на паровозной будке была пробита, края пробиной вывернулись, как черные потресканные губы.

Схватившись за поручни, он влез в будку, полную дыма и мрака.

Командир сказал ему:

— Давай назад, Бобанов, а то я тут, видишь, осиротел.

Вглядевшись, Бобанов увидел Шемшу, отброшенного к самой дверце топки. Шемша лежал, вытянув ноги, очень спокойно (как спал час назад у себя в дежурке, в Котельникове), но черепной коробки у него не было.

11

И только в те минуты, когда, в Котельникове, тело Шемши перенесли из бронепоезда на вокзал и положили на голый стол в буфетном зале, Бобанов понял, что ему хочется привалиться где-нибудь в углу и подумать обо всем, что случилось с ним.

Он сел на пустую стойку.

Большая лампа с захватанным стеклом горела на прилавке. Дождь, начавшийся во время боя, не переставал лить. Стекла в черных и высоких окнах брехали. По залу, стуча сапогами, бродили бойцы.

На столе темнел труп Шемши с головой, обмотанной в гимнастерку. Одна

рука его свесилась, пальцы были загнуты вовнутрь. Бобанов, едва отпустил себя, сейчас же почувствовал усталость. Да, машинисты, он устал! Он зажмурил глаза, и сонные шаги бойцов, слоняющихся по залу, ему представлялись тишиной, только, быть может, немного шумной. И ему очень хотелось пить, и, зажмурясь, он представил себе раковину в станционной уборной, кран плохо был завернут: медленными каплями падала вода. И, несмотря на то, что в зале было шумно, он ясно слышал влажные, полновзвучные шлепки капель о дно раковины. Шлёп да шлёп. Шлёп да шлёп.

Он дернулся и открыл глаза. Тело Шемши в смертном покое лежало перед ним на столе. Рубаха, в которую была закутана голова машиниста, напиталась кровью, черные капли медленно падали, ударяясь о каменный пол.

Шлёп. Шлёп да шлеп.

Тогда он понял, — эх, машинисты! Да ведь это Андрей Платоныч Шемша, папаша и неоцененный друг, лежит на столе с развороченной в бою головой!

Бобанов соскочил со стойки, поправил на спине винтовку, резко, длинными шагами, подошел к столу.

Он захотел поцеловать Андрея Платоныча в лоб, как целуют дорогих покойников, но у Андрея Платоныча не было головы, и Бобанов поцеловал его в грудь, в шинель, пахнущую дымом и мазутом.

И тогда та остервенелая злость, которой он ждал в бою, широкой и свежей волной накатила на него. И он обрадовался ей. Он поднял кулак и потряс им над телом папаша Андрея Платоныча.

Он поднял свесившуюся руку Шемши и приладил ее на его груди, отвернулся и пошел в дежурку, чтобы в сундучке Шемши отыскать сменку белья, и, как то принято, одеть Шемшу, прежде чем его опустят в могилу.

В дежурке на подоконнике горела толстая вагонная свеча. Отекший стеарин свисал с подоконника белой гроздью. Малай сидел на табуретке, на коленях у него была газета, на газете лежало сало. Орудую широким ножом, он отрезал и запихивал себе в рот куски.

— Здоров, дорогая сука, — тихо сказал Бобанов, остановясь в дверях, — жуешь?

Сонные, затянутые маслом глаза Малай раскрылись, он проглотил кусок и медленно, придерживая сало на коленях, поднялся навстречу Бобанову.

Он хотел положить сало на подоконник, метнулся в сторону, сказал хрипло:

— Да что ты... эй...

Рот его pokrивился, он очень побледнел.

И вдруг, нырнув под локоть Бобанову, кинулся в дверь.

Дверь на болту стукнула. Камень, привязанный на веревке, ударил Бобанова по колену.

Бобанов толкнул дверь, выбежал на платформу. Дождь не переставал, лоснились рельсы, в лужах дрожали и зыбились цветные сигнальные огни.

Малай прыжками бежал через пути, белая его рубаха поймала зеленый свет стрелочного фонаря, кинулась в сторону и стала одеваться темнотой.

Бобанов сдернул с плеча винтовку, упал на колени, потом на живот, приложился и выстрелил.

2. РАССКАЗ О ЗРЕНИИ

— Это у Егорья за пятнадцать верст, — пояснил слепой звонарь. — А ты слышишь? Я тоже слышу — другие не слышат.

В. Г. Короленко.—«Слепой музыкант».

Едва прошел слух, что белые мобилизуют железнодорожников, машинист Бобанов положил в берестянку повидло и сменку белья. Вышел он в ночь. На нем

была заячья шапка, которая грела его уши, и валенки, которые грели его ноги. Шинель же у него была на рыбьем меху, он скоро прозяб и стал бояться

ледяной смерти. Всю ночь машинист шагал белым полем, под звездами, похожими на сигнальные огни, а к утру дошел до селения Ровеньки, где стояли белые, но дальше уже начинался фронт. Это была знаменитая зима девятнадцатого года, зима буденновского марша на Ростов-Дон.

В Ровеньках тепло пахло дымом, на пруду, обсаженном голыми ветлами, солдаты ведрами набирали из проруби воду. Застав не было, и Бобанов вольно пошел по улице, примериваясь к домам: куда бы зайти. Перед белобокой церковью расположилась артиллерия, и там жгли костры. Во всех дворах, мимо которых Бобанов проходил, стояли лошади, курчавые от инея. Бобанов, не чувствуя ни ног, ни пальцев, ни щек, выбрал землянку, по уши утонувшую в сугробе. Траншейкой, пробитой в снегу, он дошел до двери с ржавой подковой вместо кольца. Он погромел этой подковой, на его шапку свалился с крыши снег. Ему отпер дверь пацанок лет пяти, в женской кофте, босой, а глаза волчьи.

В глиняной печке, об'ятая скупым огнем, посвистывала мокрая коряга, старик в вонючем отрепье сидел на полу против печки и подбивал подметку на таком большом башмаке, что трудно было вообразить, какой же это человек может носить его. Старуха на лавке чистила картошку.

— Здорово, хозяйева! — сказал Бобанов обмороженными губами. — Живете?

— Живем, покуда бог слышит, — ответил старик, — а если оглохнет бог, то и нам не жить.

Они не спросили, кто он и что, он подсел к огню, и жар печки стал ломать его озябшее тело. Пацанок ткнулся в колени старухи, глядя, как проворно ходит в ее белых пальцах нож. Со всех щелей землянки, с голого стола, с гладких стен, на которых не было даже тараканов, потому что не к чему им было здесь водиться, глядела бранчливая, злая, безысходная нищета, такая нищета, когда и не мечтается ни о чем, только бы дожить денечек. Слежалая черная солома валялась по углам — ложе этих кищих.

Голодная нищета землянки успокоила Бобанова, и он как-то свободно и легко, очень непохоже на себя, рассказал старикам, что он красный машинист, бежит от белых и просит дать ему угол, чтобы дожидаться буденновскую конницу. Старик, держа в зубах гвоздики, враждебно слушал его.

Старуха вдруг сказала сыну:

— Погляди-ка, Костюшк, может, где кожицу оставила?

Пацанок красными ручонками перебрал картошку, но кожица везде была срезана чисто, и Бобанов вдруг спросил:

— Никак ты, хозяйка, слепа?

— Да и я слеп, — ответил за нее старик и поднял на Бобанова большие тусклые глаза, в которых, как заря в слюдяных окнах, медленно струился огонь печки. — Бог захочет рассерчать — не помилует. Оба слепы от болезни, и с тех пор побирушничаем, этим и кормимся. — Он вдруг разговорился, повеселел и обрадовался Бобанову. — Жили зрячие, были бесплодны, а ослепли — родили Костюшку, это старики-то! Темная жизнь, а ничего. Слепой курице все пшеница. Только не сочувствую, красный машинист, ни тебе, ни генералу Маю, развели войну посередке отечества! Никуда не пойдешь, везде война, везде гремит, все прячутся, скупю милостыню дают.

Он рассердился, бросил башмак и вышел за дверь.

— Плохо милостыню-то дают, — сердито подтвердил Костюшка, сверкнув своими волчьими глазами.

Старик принес охапку свежей соломы, золотой и ломкой, швырнул ее у печки, пробормотал: «Здесь будешь спать, красный машинист». И Бобанов остался у них и прожил три дня, выходя из землянки только за нуждой.

Целые дни он валялся на соломе, заговаривая с Костюшкой, но пацанок был похож на хорька: и злой, и трусливый. С утра старики брали тяжелые суковатые палки и уходили до темноты собирать пропитание. Бобанов припомнил сказки, слышанные им на звонкой заре детства, потом разные случаи из своей жизни, спрашивал пацана: «Нра-

вится?». Пацан на все отвечал одинаково: «Врешь».

С темнотой и всегда в одно время возвращались старики. Старуха варила картошку, старик либо сапожничал, либо, разложив на столе старую одежку, кроил из нее пальтишко для сына. Бобанов глядел, как чуткие пальцы его разглаживают складки и бегают по ткани. В этих руках, нечистых и обмороженных, было что-то неприятное; в самом деле, они казались зрячими, и от воспаленного осязания их ничего нельзя было утаить. Эти пальцы пробежали по одежке и вдруг остановились, слегка вздрагивая, будто касались огня. Старик сказал:

— Экое здесь пятно. Есть здесь пятно, Костюшк?

Пятно было, и старик так стал ладить крэйку, чтобы пятно ушло в пройму. Старуха сидела возле кастрюли, где варилась картошка, и слушала бормотанье воды на огне. «Сварилась» — говорила она, снимая с печки кастрюлю. Бобанов доставал из берестянки банку с повидлом и шел к столу. Пацанок ел повидло: «Ишь ты, красный машинист, бога-тай!». Бобанов сказал, что вот ему так бы угадывать, когда закипает вода в котле, никогда бы не пережег пробок. Старик вдруг рассердился, бросил ножик:

— Мало тебе, что свет видишь, — все жадничаешь? Тоже, завидушшая душа! Видал когда-нибудь, как рыба на зиму ложится в ятовья? Чтоб не замерзнуть, она покрывается густой слизью, по нашему — слен. Слепые-то мы в темноте, как в ятовьях. И даден нам от бога громадный слух, и окутаны мы тем слухом, как сленом, чтобы не задохнуться нам в этой нашей темноте. Эге! Никогда не услышать тебе, комиссар, как звезда звенит, а я слышу. И всякая звезда звенит по-своему.

На второй день белые кавалерийские части уходили из Ровенек. Слышен был шум движущихся воинских масс, храп лошадей, бряцанье постромок. Пацанок побежал смотреть на войска. Бобанов вдруг испугался, что он может сболтнуть, и зарылся в солому. Но все обошлось. Старики возвратились в этот

день поздно, но, как всегда, в одно время. После ужина они легли, разговаривая, как молодые, про дела и про свою любовь: они не видели друг друга и поэтому были вечно молоды.

Вероятно, звезды на дворе светили очень ярко, широкий голубой свет вливался в окошко, и казалось, что он зорко и чутко, как пальцы старика, ощупывает все выбоинки на глиняном полу. Перед тем как заснуть, старики всегда рассказывали друг другу, куда ходили, как просили, кто как ругался и кто сколько дал. Об удачах и обидах они говорили одинаковым голосом, и выходило так, что они заранее всему знают цену и ничего от жизни не ждут. Старуха сегодня была в Погожеве, у старой поповны Насти, ела борщок с густым наваром и слушала историю про мальчика, который родился слепым, а там сделался богатым музыкантом и бере носили его на руках.

— И все ходили вокруг него на цыпоньках, — рассказывала она церковным голосом, подражая поповне, — и одевали, и кормили его, и дворовый человек играл ему на дудке, а мама на клавишах, и красивая девка замуж за него пошла, а ребеночек у них родился зряченький. Хлебнул он от жизни полный глоток: и злата, и любви, и почета — всё ему.

— Брешет твоя поповна, старая крыса, — сказал старик.

— Ан не брешет. В книжке писано.

— А если не брешет, то слепой этот или барон, или керцог. У нас, небось, ни злата, ни людского почета нету. И хлеб не каждый день.

Бобанов шевельнулся на своей соломе, сказал насмешливо:

— Исторический процесс плохо слышите, люди. Как звезда звенит, это слышите, а исторический процесс? Вот она где, суть вещей. Побьем всех паразитов земли, омоем землю, тогда будет у вас хлеб каждый день. Слепых будем лечить, неизлечимых учить доступному труду, и будете вы жить лучше всякого барчука из поповской сказки.

Слепые притихли, слушали. На середину пола выкатилась мышь. Старик

швырнул в нее башмаком и сказал тоже с насмешкой:

— Сластина ты. Падок на вкусное слово. Если вы, красные, побьете богатых людей, где они копейку возьмут, чтобы мне подать? Разорите людей, тогда кто мне подаст? Кто мне милостыню подаст, кто?

— Кто тогда подаст? — сердито сказал пацан из своего угла.

Но Бобанов разгорячился, сел на соломе и вдруг, — может быть, впервые с такой остротой, — увидел, какая жизнь брезжит на горизонте, за пороховым дымом гражданской войны, за виселицами белых, за деревнями, спаленными огнем карательных экспедиций. Эта жизнь была просторна, велика, воздушна и светла, он еще не видел ее очертаний, как нельзя видеть очертаний солнца, но он почувствовал на своих щеках ее пламень, как можно чувствовать пламень солнца даже через тучи. Тогда он начал говорить всей своей кровью, и он сам не знал раньше, что умеет так говорить. Громадная жизнь брезжила у горизонта, и он описывал ее старикам, как видел и как умел. Там крючники, мужики и кочегары управляли страной, смеялись девушки, поднимались грузные урожаи, рождались дети, народ трудился на своей родной земле, лечил своих больных, призревал своих слепых; труд был честью народа, «Интернационал» — любимой песней. В той жизни у горизонта люди не прятались в ятовья и не одевались от мороза в слои, потому что там не было мороза, а человек не был бессловесной рыбой. Бобанов будто шел по блистательному городу, о котором знал понаслышке, угадывал улицы, сады и площади, но эти площади, эти сады были еще лучше, нежели он слышал о них, и рассказать, как они красивы, было трудно. Эта ночь и эти слепые открыли ему новое зрение, но, как это случилось с ним, тоже было трудно рассказать. Тогда он лбом уткнулся в солому, накрылся шинелью и заснул.

Против обыкновения он проснулся поздно и увидел, что сугроб за окошком красен от морозного солнца. Это был третий день, что он гостил у сле-

пых. Пацан сидел у стола и, держа в руках живую мышь, придумывал ей казнь. Мышь пищала. На столе в закопченной кастрюле стояла картошка.

— Иди картошку жрать, — сказал пацан, — отец велел. И повидло неси.

Это был первый случай, когда слепые оставляли ему еду. Бобанов намазал картошку повидлом и протянул пацану. Пацан стал есть, упустил мышь, но не расстроился. «Я ее, мышь-то, во второй раз словлю» — сказал он. Потом он поднял глаза на Бобанова, и, наконец-то, это был настоящий товарищеский взгляд.

Пацан спросил:

— Кто слепым дворец будет строить?

— Ленин.

Быть может, от голода или от того, что с ним случилось вчера, Бобанова одолевала сонливость, он лег и проспал до ночи. Его разбудил старик, тронув за плечо суковатой палкой. Снова звезды горели ярко, заливая землянку проточным светом. Пацан всхрапывал в своем углу.

— Вставай, красный машинист, — говорил старик. — Большие войска идут.

Бобанов, накинув на плечи шинель, вышел за ним во двор. Мороз был так крепок, что воздух звенел от дыхания. Над голубыми снегами рассыпался золотой фонд вселенной. Старуха стояла у порожка, опираясь грудью на палку, седые волосы ее были в инее, она подняла белое лицо к звездам. Она слушала. Бобанов тоже прислушался и вскоре в ледяной тишине ночи уловил невнятный шум, состоящий из бряцанья, звона, снежного скрипа, из непонятного и неровного гула. Этот шум катился где-то очень далеко за поселком, и тогда старик, подняв голову, сказал:

— Очень далеко идут. Большие войска идут.

— Белые? — спросил Бобанов.

— Красные войска, — сказал старик.

Старуха повторила с железной уверенностью:

— Красные войска идут... У белых один шум, у красных другой. Это красные войска идут.

Бобанов вслушивался, но ничего не мог уловить, кроме дальнего бряцанья, звона, снежного скрипа и непонятого, неровного гула. Но волнение его было так велико, что он сел в сугроб и за-

плакал; старик подошел к нему и легкими пальцами ощупал его лицо, его открытый рот и суровые слезы мужчины. Потом он опять поднял голову — все трое слушали далекое движение большого войска, движение красной конницы, исторический марш Буденного на Ростов-Дон.

3. СВЕТЛАНКА

1

Пятнадцать лет спустя после описанных происшествий Бобанов приехал в Постышево, начальником депо. Он принял дела, пощупал фактуру здешней жизни и убедился, что работа, и вправду, идет безобразно, паровозный парк запущен, а люди распушены.

В кабинете Бобанова, в углу, стояла неслгораемая касса. Бобанов потянул за ручку. Дверка легко отошла. Пододвинув стул, Бобанов сел на него верхом и, опершись подбородком о спинку, голубыми и чуть косящими глазами стал глядеть в дупло кассы.

Взору его представилось скопище бутылок из-под спиртного, разнообразных форм и цветов: пузатых ликерных, простецких водочных, а то похожих на кувшинчики, а то с витыми, как крендель, горлышками. Среди бутылок он заметил коробку из-под папирос с красными жокеями на обложке. смятый галстук, колечко гитарной струны. Человек, оставивший здесь перхоть своей жизни,—его предшественник, — месяц назад был осужден судом; вместе с ним под суд пошли мастер инструментального цеха и два-три машиниста-наставника: за развал дела, за бытовое разложение, за втирание очков партии и государству. Секретарь ячейки был смещен.

Бобанов пальцем провел по бутылкам. Пыль. Люди ушли с клеймом мерзавцев, а никто еще не догадался подмести за ними. Бобанов сидел долго, разглядывая эти запоздалые улики разложения. Сейчас они не имели уже никакой цены.

В памяти его неволью всплыло, как, много лет назад, он сидел точно так же,

в такой же точно позе: верхом на стуле, подбородок на спинке. Но перед ним тогда была не касса: был книжный шкаф, доверху набитый папками. Тесемочки спустились вниз, как мышиные хвостики. За спиной Бобанова, на столе, горела толстая железнодорожная свеча.

Это был девятнадцатый год, когда белых поперли из Ростова-на-Дону. В ревкоме Бобанову сказали, что он назначается уполномоченным Чека на линии. Бобанов только-что встал после тифа, ходил зеленый, часто присаживался на ступеньки, на уличные тумбочки, на подоконники. Ростов стоял будто на раскаленной земле. Круглые сутки в Чека приводили шпионов, бандитов с глазами кликуш, спекулянтов, умеющих по-французски; они прикидывались иностранцами. Вместе с Бобановым в Чека работал Ваненко, парень большого мужества. Оба они были грамотны, но не умели ни допрашивать, ни вести протоколов, ни понимать притворства врага. Дела давили их. На допросах французские спекулянты и переодетые офицеры держали себя нагло. У Бобанова темнело в глазах, рука сползала к кобуре: стрелять бы в лоб — да за каждым стоит десяток других, скрытых; снимешь одну голову — останутся жить десятки других. Многоголовая, хитрая, плюющая бешеной слюной гидра.

Бобанов пошел в Политическое управление армии.

— Давайте опытных, товарищи. Одни с Ваненкой не справимся.

— Ищи сам опытных. Людей не хватает.

Ночами не спал, читал протоколы, бегая от собственного бессилия. Похудел и высох. Бандиты, шпионы, торгов-

цы грабленным стали казаться на одно лицо. Стоял перед зеркалом, изучая себя, учился выдержке.

Наконец, нашел выход.

До его прихода в Чека работал юрист, свой, большевик. После него в Чека остался шкаф, набитый материалами следствий и допросов по законченным делам. На ночь Бобанов заперся наедине со шкафом. Свеча горела ровным ясным светом. Опершись подбородком о спинку стула, он глядел на папки, свесившие хвостики тесемок. Старый чекист, задушенный тифом, после смерти давал уроки молодому чекисту, победившему тиф.

Сейчас перед кассой, набитой бутылками, учиться было нечему. Бобанов позвал уборщицу, тетку Олю, велел ей выгрести весь этот мусор. Босая женщина, с растресканными ногтями на ногах, пахнула на него июльским потом. Добрая, домашняя. Прикидывалась ворчуньей.

Он смотрел, как она с сердцем кидает бутылки в корзину, бормоча:

— Поцарствовали, бюротратчики! Ото стен, от пола, ото всего жилья, скажи, спиртом разит. Безобразники! Начальник, ты, говорят, ловкий?

— Я-то ловкий, — сказал Бобанов.

Обрывок бумажки торчал из корзины, зажатый между двумя бутылками. Бобанов взял бумажку, разгладил ее на колене. Карандаш местами поистерся, фразы начинались и обрывались на полуслове:

«...чейке тоже отказались брать, говорят, не разводи... — с трудом прочитал Бобанов, — ...куда ни обратись, везде люди показывают спину, будто я контр...». Дальше шло совсем уже бессвязное, непонятное, и только к концу обрывка можно было разобрать: «...а уж если ты сам не захотишь, то придется мне в НКПС...».

— Ну, зачем поднимаешь всякий мусор-сор, — ласково сказала уборщица, — руки-пальцы марать...

— Ничего, тетка Оля, — смеясь, ответил Бобанов, — я—как Плюшкин: гвоздик на дороге лежит, возьму гвоздик, веровочка лежит, я и веревочку. Я, товарищ Оля, хозяйственный.

Он расправил бумажку и положил ее под чернильницу. В этот день было очень душно, над землей скитался какой-то обморочно-желтый свет. Лиловая с густой чернью туча затопила полнеба.

Бобанов сел за стол, снял тужурку и велел принести себе из цеха газированной воды.

Точно в назначенное время стали собираться начальники. И с той манерой, которая отличала его как организатора большевика, Бобанов так повел собрание, что все меры по оздоровлению депо, которые он наметил, сейчас предлагали как бы сами начальники, а он только фиксировал их. Все верили в то, что это они сами наметили меры, и удивляться здесь нечему: меры естественны, реальны, вытекают из самой жизни. Тогда само собою сделалось ясно, что депо — вовсе не гнилая дыра. Больше того, начальникам стало ясно, что они сами интересуются, интересовались и будут интересоваться делом, душой болеют за него.

В перерыве заседания Бобанов выдернул из-под чернильницы бумажку и спросил, не узнает ли кто-нибудь почерка. Бумажка пошла по рукам.

Но почерка не узнал никто.

2

Машинист Шершов, высокий, ссохшийся, много кашляющий старик, вел в Ясиноватую поезд в тысячу восемьсот тонн. Ночь была ветреная, с дождем. Шею, поверх кожаной куртки, Шершов закрутил красным шарфом. Профиль участка Постышево — Ясиноватая он знал еще неточно, потому что всего месяца два как перевелся сюда с Южной дороги. В пути, от кашля, он сосал мятные лепешки, которые хранил в жестянке из-под сапожной мази. Пососет лепешечку, станет легче. Багряный свет, вылетающий из топки, лизал то плечо его, то колено в парусиновой штанине, то край светлой и жесткой бороды.

В Ясиноватую приехали в предрасветный час. Чтобы не дергать тяжелого состава, Шершов отцепил паровоз

и подошел к колонке. Покуда набирали воду, он ходил вдоль паровоза, поглаживал ладонью коромысла, не разговаривал, а сосал мятные лепешки.

— Готово! — закричал помощник с тендера.

Под обратный состав паровоз дали на заре. Она была мутна, дождевая завеса висела над взмокшими полями. Шершов сидел на своей скамейке, зябко приподняв плечи. Помощник принес чайник, стали пить чай. Дождь не усиливался и не ослабевал, сеял, как сквозь сито. У самого паровоза, тяжело махая крыльями, пролетела ворона с конфетой в клюве.

Кто-то цепко ухватился за поручень. Легко вскинулось тело, и на паровоз, чихая и отплевываясь, вспрыгнул Бобанов.

— Чаю, — сказал он.

Помощник налил ему кружку. Бобанов присел, пил чай и косящими глазами смотрел на Шершова.

— Откуда взялся, начальник? — спросил Шершов.

— С тобой приехал. У тебя на хвосте.

— Стало-быть, следил, как я еду?

— Эге.

Оба некоторое время молча прихлебывали чай...

— И чего ж выследил?

— Экипировка у тебя заняла меньше часу. Я там взбудрил нарядчика. За тобой одни успехи, а ты все в тени. Ждешь, мама сама похвалит? Почему ко мне ни разу не зашел? И правильно делаешь, что отцепляешь паровоз у колонки.

И вдруг спросил:

— Это не у тебя дочь утонула?

Шершов выплеснул из кружки остаток чаю, поставил кружку на пол, ответил неторопливо и словно нехотя:

— У меня утонула дочь.

О происшествии этом в железнодорожном городке много говорили. За месяц до приезда Бобанова Светлана Шершова, по прозвищу Бешеная, уволенная за склоку и плохую квалификацию, утопилась в реке.

Или утонула по неосторожности?

3

— Так вот, говорю тебе, как человек человеку: не утонула она, а утопилась. Девчонке двадцать три года, сильна, ловка, — разве такие девчонки, товарищ начальник, тонут на тихой волне? Вот, скажем, ты идешь купаться. Снимаешь с себя одежду, пыhtiшь, прохлаждаешь кожу. Как ты положишь рубаху, порты? Станешь ты их складывать, будто товар на витрину? Зачем это, если тебе обратно одеваться через десять-пятнадцать минут? Ну, я как увидел платишко ее на песочке: лежит, ровно подарок, глаженое, без пятнышка. Чулки в первый раз надеты. Я повернулся и пошел. Я-то ее знаю, Светланку. Не утонула она, а утопилась.

Шершов, стоя у регулятора, наклонился к лицу Бобанова, глянул ему в глаза. Изо рта пахнуло мяткой. В туманном сиянии рассвета очень ясно можно было прочитать на его лице грамоту тайных и суровых чувств. Борода не могла скрыть морщин, этой пашни страдания; проклятый лемех рыл глубоко и сильно.

Паровоз кидало на уклоне, но Шершов умело стоял на своих длинных ногах; покачивались и выгибались только его ноги, а плечи оставались в покое.

В стокере шуршал уголь.

— Спроси, начальник, на каком счету в депо машинист Шершов?! И ты увидишь, что он на холодном счету. Работает, скажут, как машина. Надежен. Но он на холодном счету. А его дочь Светлана? Эта, скажут, надменная была девка, нос совала, куда не след, думала себе выстроить карьеру, а выстроила гроб. Да и то не из досок, а, прости меня, начальник, из речной воды, из тинки, из донного песочку.

— Откуда же взялся такой счет? — спросил Бобанов, следя, как летит перед глазами мокрая взрошенная степь.

— Холодный счет родится из двух причин, — сказал Шершов своим тусклым голосом. — Первая: это когда ты людям не по душе. Вторая — это когда люди к тебе равнодушны. Люди в Постышеве к нам были равнодушны, а к

Светланке даже недоброжелательны, но не по нашей, а по своей вине.

— По своей?

— Разумеется. Я старик, ко мне здесь не привыкли, мы со Светланкою здесь неполных два месяца — характер у меня тугой. У Светланы характер правдивый. Такой характер цениться должен. А она — от товарищей-то, от железнодорожников — в речку. Поступок, пятнающий имя советского гражданина. Откуда это? Нехорошо все это, начальник. Несправедливо.

Я четверть века на чугунке работаю, у меня на людей наметан глаз, и я вам доверяю, товарищ Бобанов. Бывают легкие люди; он тебе анекдотист, балагур, поднесет выпить, в нужде одолжит деньжишек. Трясет мотней, прыгает по земле воробушкой. Дождь идет — он скажет: «Эко золото, дождь!», пробьется солнце — он скажет: «Эко золото, солнышко!». Такой человек — конфекта. Слов нет, конфекта вкуса к чаю, а к жизни? Я спрашиваю — а к жизни? К жизни она нейдет, жизни не объясняет. А то есть люди ершистые, неудобные. Стелют такие люди жестко, а спать — мягко. Это тебе не конфекта, такой человек, а насущная пища. Без них не можно. Они — гвардия. Я таким доверяю, начальник. Ты такой.

Ты в депо без месяца неделя, а я тебя уже слышу. Уж я-то слышу тебя! Это, конечно, не чудо, что снова поставлена техническая учеба, что у тебя функционирует лаборатория. Это приказом можно сделать. А в том чудо, что люди увидели твои силы. Поверили. Им тут прежде руководство глаза засыпало песком, а ты прочистил. Я тебе не льщу, Бобанов, я тебя в три раза старше, а ты меня в три раза лучше, и я это тебе по-стариковски прямо и говорю. Я из тех машинистов, что до революции были как аристократия среди железнодорожной братвы. Фу-ты, ну-ты, пассажирский паровоз, премиальные часы с цепкой, гордостью, как у райской птицы! А если я с революцией шел в ногу, так это оттого, что во мне течет верная пролетарская кровь, а не потому, что хорошо работали шарик. Перед рево-

люцией особых заслуг не числю. Это я теперь, под старость, стараюсь догнать, выплатить старые долги, — но теперь-то каждому видно, какая в революции красота, теперь это очень легко, — про себя, в душе, я этого в заслугу не ставлю. Я, начальник, плохой был актив. Но я всегда работал честно. Светлана — та другая. Та лучше. У той: работать честно — это то же самое, что честно жить.

4

— А вот как это с ней случилось, со Светланкою. Мать она потеряла, имея три года от роду. У меня в Коробине был дом, за домом сад, цвели вишни. Мы с Светланкой после погребения вернулись в садок, сели под вишни и заплакали. В доме шумят люди — пришли на поминки. А меня обуял ужас. Как буду дочь растить?

Ко мне в дом набивались на жизнь родственницы, сестры жены, вековушки. Лиза и Люба. А которую взять? Тогда сдуру-то, с горя, я такой сделал им экзамен. Гости едят, пьют, поминают покойницу. А я тем временем маню Лизу пальцем — выйди, мол. Выходим мы с ней в садик. Ей лет под тридцать, но еще не высохла, лицо белое, чистое. Сам я плачу, но глазом ей подмигиваю, как самый последний сукин сын:

— Вот, мол, так и так, — говорю, — во всей картинности перед вами, любезная Лиза, стоит вдовец Шершов. Входите в мой дом на положение родни, а я вам за это обещаю подарки делать.

А сам плачу. Лиза в кулачок: пырск. И сразу поспешила лицом. Заиграли у нее плечики под шелковой шалью. Так мне стало противно и гадко, — это родная-то покойницы сестра! — вернулся я и от стыда хватил водки.

С непривычки зашумело.

Я прошел к Светланке в комнатку. Сидит она на полу и в тазу с водой пускает целлюлозных уток. Я Светланку поцеловал, уток ее поцеловал, вышел к гостям и мигаю Любе, — выйди, мол, Люба, со мною в садок.

Люба была старшенькая, нехорошая лицом, губы черные, собачьи. К потно-

му подбородку пристал творожок: Смотрит на меня и готовится: плакать ли, утешать или водку со мной пить?

Я ей говорю:

— Ступай ко мне в дом. Жениться не женюсь, а так давай. Задернем от людей занавески и будем жить.

Эта даже не поиграла, тянет ко мне свои черные губы, радуется в открытую. А во мне шумит водка. Я взял вековушку за ухо и оттрепал, как маленькую. Вернулась она к столу, ухо красное, закрывает ухо платочком, а в глазах досада, что плохо угадала. Потеряла легкое счастье.

Но там же, за поминальным столом, приглядел я старушку Матрену Гавриловну, крестную мать покойницы. Она жила достаточно, занимаясь пчельником. На поселке ее звали Пчелиная бабушка или еще—Медовая, или Сладкая. Ей кланялся весь поселок от старых до малых, и даже неизвестно почему полагался ей от дороги годовой бесплатный билет, хотя Пчелиная бабушка была домоседкою. Семью свою она всю растеряла. Мужа после железнодорожной забастовки пятого года выслали в Сибирь, он там помер от простуды. Дочку, говорят, поймали на румынской границе с нелегальщиной, а сын пропал без вести.

Бабушка подумала, подумала, а там продала дом и пчельник и переехала к нам жить.

Только однажды замечаю я, что бабушка не молится богу. Висят у нее в красном углу три оклада, лампадка на цепи, но фитиля в лампадке нет, масла нет, а торчит бумажный цветочек. Ни утром, ни вечером не молится Пчелиная бабка богу и за стол норовит сесть, не крестясь.

Как-то, в ее отлучку, зову я Светланку и говорю ей:

— Прочитай-ка мне, Светланушка, молитву какую-нибудь. Прочитай мне «Отче наш».

Поднимает она на меня свои глазки-васильки. Молчит.

— «Богородицу, — говорю, — прочитай, деву радуйся, благодатную еси». Не знаешь? Тогда, может, простое «Господи помилуй»? «Папу, бабушку, ду-

шеньку мамы помяни, господи»? Неужто ни одной молитвы не знаешь?

Она подумала и отвечает:

— Знаю, знаю!

И прочитала мне, по-детски заглатывая концы строчек:

Три тяжкие доли имела судьба:

Первая доля — с рабом обвенчаться,

Вторая — быть матерью сына-раба

И третья — навеки рабу подчиняться,

И все эти тяжкие доли легли

На женщину русской земли.

Должен сознаться, товарищ Бобанов, очень я расстроился, услышав все это. По тогдашним понятиям воспитание должно быть у девочек религиозное, жена у меня церковница была, и стало мне сначала страшно, а потом я осерчал. Ну, приди только, старая безбожница,—думаю про бабку, — поговорим. Очень я расстроился.

А Пчелиная бабка — вот она. Идет с базара, тащит плетушку, стучит палкой с железным наконечником. Телом она была совсем несвершена, маленькая, спешаясь, и какие только болезни не грызли ее: и ревматизм, и лихорадка, и почесуха, и сердце работало вяло, одышка была. Но умела она своим телом командовать. Что говорить, шустрая была старушка.

И всегда шел от нее какой-то горячий, боевой свет.

Увидел я старушку и махнул рукой. Плеткой обуха не перешибешь.

В первые дни революции глянул в окошко: шествие. По февральской нашей грязище, под мокрым нашим снегом, идут рабочие из мастерских, кондукторы, механики, а вон и доктор в тяжелой бекеше до самых пят, а вот отец-дьякон, худой, как водомерная трубка, и школьники, и девки, и мужики, привезшие на базар свинину. А впереди всех. — что ты думаешь? — да это она, Пчелиная бабка, и держит на плече, как рыболов удилище, древко с флагом. Флаг-то красный у ней, наш. Широкие калоши ее, белые шерстяные чулки и подол черной юбки захлупаны грязью. Мальы из инструментального держит ее под руку, в лад ее шагам дирижирует песне палкой с железным наконечником на конце. Бабка идет по-утиному, глаза смеются.

Я взял Светланку на руки, выбежал. Хотел догнать бабку.

Не догнал.

Пошел в хвосте.

Светланке грянуло семь лет, когда Красная армия пошла на штурм Врангеля. Мы жили тогда от бандита до бандита: Коробино — местечко незначительное, но лежало на основном тракте бандитских путей.

Однажды подходит к нам не очень густая масса людей. Войско, не войско, без пушек, нет ни одного пулемета, а всего только несколько винтовок. Кто такие? Как вспомню, начальник, так и сейчас смеюсь. Идет эта масса пешая, по преимуществу босая, почти исключительно пожилой народ. Кто в свитке, кто в рубахе, кто в пиджачке. Ноги сбитые, бороды в пыли. Есть женщины. И не то, что мата или смелого слова, как это водилось в тогдашних воинских соединениях, а, наоборот, одни церковные присловья: «Бог в помощь», «Не потеснитесь ли во имя бога». Смотрим мы на них и прыскаем в кулак. У них ни одного коня, только две телеги. Их тащат две пары волов, бока запалые, глаза грустные, на рогах красные ленточки. Вперлось это войско в Коробино, снимало шапки, крестится на колокольню. И все-то войско лысое, плешивое, в почтенных годах. Говорит оно нам: «Бог в помощь, товарищи!».

Прямо к моей хате подходит их военачальник и главарь. Весь зарос, волоса, как у Самсона, лоб широкий, искренний, глаза огнеопасные. Глянет такой на хату — глядишь, крыша уже в огне. Кто такой? Что за птица? Одет, как поп: в долгополый подрясник серебряного цвета. Сам тощий, а живот, как аэростат. Перепоясан широким кожаным поясом, на поясе болтается шпалер.

— ... Не дадите ли, железнодорожники, мне и войнству моему ночлег? Да воздаст вам спаситель наш.

Я спрашиваю:

— Да никак ты поп?

Он отвечает:

— Священнослужитель села Лещики.

из-под Белой Церкви, смиренный иерей, отец Тарас.

— Входи, — говорю, — батя, — а самому мне предельно чудно.

Он входит, молится на бабкины немоленные иконы, кланяется Пчелиной, потом Светлане, потом жалуется, что сомлели ноги, и, извиняясь, снимает сапоги. Ноги у него черные и все в язвах. Расстегнул ворот: на тощей груди тяжелый, как гиря, нательный крест. Пчелиная бабка готовит вечерять. Я спрашиваю, куда, если не секрет, идет такое внушительное войско.

— Ни перед богом, — отвечает отец Тарас, — ни перед людьми у меня секрета нету. Поднял своих прихожан на великий подвиг, идем против аристократа барона Врангеля. Я самовольно отлучен от церкви всеми соседними священнослужителями, но мою миссию выполняю во имя бога. Отъединение церкви от государства, изгнание торгующих из храма, беспощадное истребление эксплуататоров и паразитов — вот моя программа. Войнство мое не молодое тело, но сильное душой.

Мы положили спать отца Тараса в столовой, и я долго слышал, как он стучал о пол лбом и выкликал слова молитв.

В ту же ночь Коробино заняли бандиты.

В те годы я ко многому привык, и выстрелы уже не будили меня. Меня разбудила Светланка, была она в одной рубашке. Я поглядел в ее недетски испуганные глаза и стал одеваться. В столовой Пчелиная бабка, побряхтывая, поднимала сиденье дивана. У нас был турецкий диван, широкий, с подушками. В этот диван полез отец Тарас и, осевив себя крестом, безо всякого волнения лег на дно, как подвижник. Бабка оправила постель и легла на диван сверху, на место отца Тараса. Когда в дверь загрохотали прикладами, я пошел открывать, потому что в те годы знал, что лучше самому открыть дверь, чем ждать, когда ее вышибут снаружи. Это новое войнство не говорило: «Молитвами господина нашего Иисуса Христа», а выражалось несравненно короче. Взъерошенные люди, злые, завешанные оружием,

вломились к нам. Всюду найдутся пакостные людишки. И здесь нашелся один такой: сынок сапожника, бранный паренек лет осемнадцати, больной английской болезнью. Он заявился к нам вместе с бандитами.

Я никогда не ссорился ни с ним, ни с сапожником. А часто наблюдал я, что слабосильные люди, которых не берут и в солдаты, которые живут, как-то стесняясь жизни, на задах, в подворотне, — я часто наблюдал, что именно такие люди при благоприятных для них обстоятельствах способны на любую подлость. Им льстит, что хоть где-нибудь они могут проявить свое чувство властности. Бандиты шли через Коробино транзитом, им было некогда, и отца Тараса они не нашли. Но, по наущению сына сапожника, они подняли Пчелиную бабку, велели одеваться и мне.

Во дворе нас раз'единили. Меня собирались вести на станцию, а бабку неизвестно куда. За последние годы Пчелиная бабка заметно постарела, теперь у нее была уже не та тоненькая палка, с железным наконечником, а другая, многовесная. Это — чтоб надежней ей было опираться о землю. Светила луна, небо ясное. Я поглядел, нет ли где пожара. Зарева не видеть, но слышно было, как бьют на улице войско отца Тараса. Мимо калитки пронесся об'ятый страхом вол. Меня толкнули прикладом в ребро, и, оглянувшись, я увидел Светланку в одной рубашонке. Стояла девочка посреде двора. То за мной кинется, то за бабку. Вот таким манером, в золотом ее сердечке, качались весы детской любви; то моя перетянет чашка, то бабкина.

Я закричал сильно, как смог:

— Что с ребенком-то делаете, звери!

Перетянула бабкина чашка, не моя. Меня отвели на станцию. Я просидел в дежурной вместе с другими железнодорожниками до утра, а утром бандиты спешно покинули Коробино.

Многими годами позже узнал я от Светланы о гордом мужестве Пчелиной бабки. У нас сразу за поселком начинается степь, рожь подходит к самым тынам. Туда-то, в рожь, повели бабку и еще десяток человек, частью из наших

поселковых, частью из воинства Тарасова. Бабка шла, стуча палкой о сухую землю, платок скатился ей на плечи, выпростались ее серебряные волосы. Она бранилась, что идут слишком резво для ее годков, уронила платок. Светланка подобрала его. — Потом бабка обронила шпильку, Светланка и шпильку подобрала в пыли. Во ржи, у дороги, арестованных сбили в кучу. Один бандит взял хворостину и, делая грозное лицо, шипел и отгонял Светланку, как собачонку. Она отбежит шагов пять и сядет в пыль. Бандит отвернется — Светланка ближе.

Вот вогнали бандиты пули в ствол, главный закричал:

— Слушай команду! Коммунист'ов... в рас-ход!..

Но все еще им было не так, — над рожью плыла луна, светила в зрачки, мешала целить. Пока перестраивались, Пчелиная бабка подняла свой посох. Волосы ее разметал ветер. Кто-то шатнулся, упал наземь, схватил Пчелиную бабку за подол. Она положила свою белую руку на голову упавшего и хрипло, разбитым, несильным от старости голосом запела бандитам в лицо:

Это есть... наш послед-ний...

И реши-тельный... бой!..

И тогда тот, кто сидел у нее в ногах, раскрыл бородатый рот и рывкнул на всю широкую землю:

Интер-на-цио-на-лом!..

И треснул залп.

И полегли все они колосьями под тяжелые ноги бандитов.

Ночь ушла, бандиты ушли, светило солнце, расстрелянные лежали на дороге, Светланка сидела во ржи. Кричала во ржи птица. Если солнце светит, то сердце птицы весело. Если у птицы есть птенцы, то душа птицы полна счастья. Если близки холода, то и тогда не грустит птица: ведь остается путь через океан, ведь есть сила в крыльях, и за океаном теплый мир. «Пить-подай, — кричит птица, — пить-подай». Она в таком преизбытке счастья, что ее мучит жажда. Она требует от мира: «пить-подай!».

Коленки у Светланы черны от пыли.

Ах, как постарела девочка за эту ночь! Другого слова я не подберу, начальник. Если я буду теперь искать в синем воздухе ее глаза легкие пушинки,—ведь детские мысли — пушинки, начальник! — то я больше никогда, то никогда уже больше я не найду их.

И вдруг, заведя рот, Пчелиная бабка просит:

— Пить... подай...

Но нет, не как птица. Совсем не как птица, не так раздольно и весело. Ведь у нее нет силы в крыльях, и не ждет ее за океаном теплый мир.

Когда я возвращаюсь со станции, бабка лежит на турецком диване в гостях у смерти. Доктора нет, он расстрелян. В соседней комнате сидит отец Тарас и по железнодорожной карте, выдранной из справочника, смотрит, как ему ближе пройти на Крым. В комнате сидит еще маленькая женщина, которую теперь неловко будет звать, как зовут детей, маленьким именем, неловко будет звать ее Светланкой. Прощай, девочка Светланка! Прощай и ты, бабушка, Сладкая, Медовая наша, Пчелиная!

В двери ломится отец Тарас, на нем сапоги, он уже собрался в поход.

Пчелиная бабка, не моргая, ясными глазами смотрит в потолок. Быть может, она уже умерла? Ее неумело забинтовали, кровь проступает сквозь одеяло. Отец Тарас, наклонившись, смотрит ей в глаза. Его кудлатая борода, пропахшая степью, щекочет ей подбородок.

Отец Тарас выпрямляется и, окидывая нас своими огнеопасными глазами, говорит смиренно:

— Да сбудется воля его! Но никто не помешает мне молиться за нее.

Он уходит в соседнюю комнату и там опускается на колени перед немолченными окладами, перед лампадкою, из которой торчит бумажный цветочек. Он молится громко, тем же голосом, которым говорит проповеди или командует своим войском.

Пчелиная бабка умирает, несколько раз повторив перед концом жалобно и настойчиво:

— Пить-подай! пить-подай! пить-подай!

А спустя час я вижу, как во главе

своего войска отец Тарас выступает из поселка. От войска уцелело десятка полтора бойцов, среди них три женщины. Телеги у них уже нет, и волов тоже нет. Отец Тарас забыл у нас свою соломённую поповскую шляпу с черной лентой. На солнце его густые волосы отливают медью. Войско идет походным шагом, кланяясь окнам хат и говоря:

— Прощайте, православные.

Позже я слышал от знакомых красноармейцев, что на Перекопе, действительно, явился какой-то поп, приведший с собой прихожан. Говорили даже, что он снял рясу.

6

— Теперь ты спросишь меня, начальник: как же Светланка? Ведь не может же пройти для ребенка безнаказанно весь этот кровавый туман? А почему не может? Что ты знаешь о детях? Что ты помнишь о себе? У ребенка свой счет жестокостям и улыбка жизни, но это сильный счет, это железный счет, ребенок не пойдет на компромисс. Если ты ему не передашь своей правды, то он найдет собственную. А, найдя, не станет слушать.

В первый раз я понял это пять лет спустя после бабкиной смерти. В один день, как-то сразу и вдруг, Светланка собралась и пошла в Чека. Там она заявила, что Пчелиная бабка была выдана сыном сапожника. Заметь, Бобанов, со мной она не посоветовалась. Собственной правдой жила. Моя правда ее не насыщала: это для нее был плесневелый хлеб. Этот сын сапожника, — я уже рассказывал тебе, — ничтожный, тихий, обиженный был парень. Жил шопотом. После того случая, единственного в своей жизни, опять залез в конуру, водки не пьет, песен не играет, от женщин далек, сидит да тачает сапоги, да и работает-то, по состоянию здоровья, не квалифицированно. И, конечно, та бандитская ночь ему самому, как сон. Спроси: сам не сумеет рассказать, за чем пошел, чего добивался. Я себе сказал так: Пчелиной бабки не вернешь, а парню его ненастную жизнь испортишь. Что толку? Светланка судила пять лет и рассудила иначе.

Она мне говорит:

— Слышал: сапожникова сына взяла Чека.

— Ой ли?

Она подняла на меня глаза и говорит:

— По моему заявлению.

И больше ни слова. И так мы стали с ней жить. Я такой умной, смелой, честной девки нигде не видал. Хозяйство ведет, в школу бегают, сама чистенькая, мне итти на дежурство — всегда на столике бритва, кипятик. «Ты, папаша, кашляешь, вот капли тебе из амбулатории». «Ты бы в кино пошел».

Только возник союз коммунистической молодежи, а Светланка — там. Если спросишь меня, как мы жили, то скажу, что хорошо жили. Светланка девушкой выросла видной, глазами и цветом кожи в мать, а молчаливостью в меня. О ней я только от коллектива слышу: там избрали ее в третейский суд, там она организовала субботники. Вот так мы прожили с ней, сердце в сердце, двадцать два года. От железной дороги она — никуда. Шершовская династия! Окончила фезеу, работала в депо, потом сдала на помощника машиниста.

Это было, товарищ Бобанов, в прошлом году. Но у нас в депо вакантных мест не оказалось, ее звали в Постышево, я подумал, подумал, — как буду без Светланки жить? — и увязался с нею. Домик продали. Понятно, были проводы. Таким образом, и оказались мы здесь — и вот, здравствуйте, нет среди живых Светланки.

А здесь была дыра. Тебе лучше, чем кому бы ни было, это известно, начальник. Я старая крыса, вижу — надо осмотреться, надо понаблюдать, какие паршивые овцы гадят стадо. Но Светланка у меня другой походи. В первый же рейс видит она, что машинист принимает паровоз без контроля, шутит со слесарем, покуривает, машет ручкой: поехали! Паровозу полагается делать в сутки три тура по триста километров, а они так ехали, что вернулись только на следующий день. Машинист смеется: «Но, говорит, но! куда торопишься,

красавица, или милый ждет?». Она ему — в морду. Конечно, сгоряча. Машинист с жалобой. Никакого расследования нет, никакой проверки, наутро приказ на стенке депо: Светлане выговор.

Здесь случилась известная тебе, начальник, авария с тяжелым составом. Необученного машиниста посадили в первый раз на «ФД». Кто виноват? Светланка, недолго думая, к начальнику депо. Сидит усатый, меж колен зажал бутылку, а на столе для видимости график. Глаза, как у кролика. Говорит:

— У нас, барышня, не западная демократия, у нас дисциплина. Я не только за аварию отвечаю, я и за ваше поведение отвечаю, барышня.

В комсомоле Светланке говорят: «Да видишь ли... конечно, на общем собрании мы этот вопрос поставим, а раньше нужно выяснить». В ячейке берут от нее заявление. Она приходит на другой день, говорят: потеряли, сама понимаешь, время какое, от наркома приказ за приказом, запарились!

Она кидается ко мне:

— Что же, отец, за люди здесь? Уголовные преступники?

Э, преступники! Настоящего преступника видать издалека, он на шею рабочего долго не усидит. Но, вот, как назвать этих, начальник? Он сел себе наверху и распустил паутину, и вот проходит день, а в паутине уже бьется мушка, проходит другой — вторая мушка бьется в ней. И третья, и четвертая. Он себе сидит в кабинете, руководит, делает, будто, советское дело, а вокруг него уже туча опутанных мух, на линии ломается график, паровозы сутками стоят на холодной промывке, люди вдруг теряют голос: то тянулись друг перед другом, а теперь снижаются один перед другим, как на вывернутом конкурсе. И вот врывается в это паутиное царство свежий человек — моя Светланка. А куда ни толкнется — везде обруч. Бегают по кругу, а обруч-то все туже, туже. Вот уже в краевой газетине заметка в десять строк: появилась некая Шершова, завела склоку в дружной пролетарской семье. Подпись: Зоркий. Этот так зо-

рок, что целый мираж увидел, как путник в пустыне.

Но почему молчат товарищи? А ты замечал, как люди засыпают под радио? У нас в Коробине было радио, иногда соберемся мы, старички, радио играет такое длинное, такое тонкое, слушаешь и будто пахучую сливянку пьешь. Вот еще скрипки. Тебе бы еще в клуб пойти, а ты все ни с места, веки брякнут, во всем теле позевота, клонит тебя ко сну, а скрипки тянутся, тянутся...

Здесь крикнет тебе Светланка:

— Эй, папаша, я ужин собрала!

А ей в дремоте ответишь в сердцах:

— Ну тебя, крикунья, кто тебя звал!

Вот тот-то, наверху, поет день, поет другой,—это страшное дело, как действует на человека усыпительная песня! Как известно, слаще сна, когда дремлет, ничего нет... А тут Светланка, голос громкий, в глазах остречки.

— Да ну тебя, крикунья, кто тебя звал? Да и кто тебя знает, что ты за птица? Что ж ты думаешь, товарищ-то Зоркий, он лыком шит?

Над сапожниковым сыном Светланка думала пять лет, над собой думала много короче. Ах, горячая была голова! Точка, товарищ Бобанов. Но оставьте все это при мне. Заметьте, идем по графику. Не хотите ли мятных лепешек? Если в горле першит — лучшее средство.

7

Однажды, под вечер, нарядчик пришел к Шершову, сказал, что Бобанов зовет его. Было уже поздно. Шершов побрел в темноте, шурша ногами по палой листве. Сейчас шли осенние перевозки, и Шершов думал, что его вызывают на внеочередной наряд. Кости его поламывало, он чувствовал себя плохо и сосал мятные лепешки.

Бобанов не поднял головы навстречу, а только сделал движение рукой. «Садись, старик».

Шершов сел и вытянул ноги.

Тогда Бобанов развернул московские «Известия», поискал глазами и прочел внизу страницы: «Светлана Игнатьевна Шершова меняет фамилию на Шестакову. Лиц, имеющих возражения, просят писать по адресу: Москва, загс...».

Шершов сначала не понял, потом он вспотел, но не двинулся с места. Он только погромел жестянкой с лепешками.

Бобанов вынул из-под газеты листок и сказал тем же громким голосом, каким читал объявление:

— Вот я здесь составил телеграмму. Таковую: «Возражаю. Передайте Шершовой, прошу немедленно явиться на работу, начальник депо Постышево Бобанов». Девчонка дура: ей кажется, что весь мир затравил ее. Пропиши здесь что-нибудь такое от себя.

Шершов медленно налил себе стакан воды из большого толстого графина с белыми жираффами, нарисованными на боку. Он выпил воду, прошелся вдоль стола, потом сердито посмотрел на Бобанова и, не думая, написал на бумажке: «Этого никак не ожидал от тебя, Светлана, такой симуляции, это ж срам, где была твоя голова, фамилия Шершов честная фамилия, и я не позволяю ее кидать в помойку».

Все так же сердито он посмотрел на Бобанова и сказал недружелюбно:

— Может, длинно и выйдет дорого, товарищ начальник. Сократи.

Бобанов перечитал. На кончике его пера висела капля чернил. Сорвалась. Брызнула кляксой.

Бобанов почесал ручкой переносицу, вздохнул, вымарал все, написанное Шершовым, и рядом приписал: «Иду немедленно, отец».

Баллада о каптенармусе

АЛ. СУРКОВ

Черствый скрип полозьев обоза
Все сверлит за верстой версту.
Даже снег посинел от мороза,
Даже галки мрут на-лету.

Каптенармус худой и синий
Все торопит сонных возниц.
Белой крупкой сыплется иней
С обожженных его ресниц.

Он обходит свои подводы,
Как нахохленный черный грач.
— Будто чорт опоил для шкоды
Этих тощих мужицких кляч.

Третьи сутки сидят отряды
Без патронов в рыхлом снегу,
А возницы, сонные гады,
Хоть убей, молчат, ни гу-гу.

Утонули в тулупах... Что им,
Только страх да лишний разгон.
Докажи им, что перед боем
Дорог каждый лишний патрон.

Докажи им, что третьи сутки
Ты в пути не смыкаешь глаз,

Что сквозит в дыму самокрутки
Командирский жесткий приказ.

Да в приказе ли только дело,
Если полк теснят беляки?..
И мурашки ползут по телу,
И сжимает гнев кулаки.

Может, там, за дальним оврагом,
Смяли цепи, в тыл прорвались.
Оттого и кажется шагом
Лошадиная мелкая рысь.

Стынет в инее ельник мелкий,
Над проселком снежный намет.
За оврагом дробь перестрелки,
Стелет очереди пулемет.

Будто с сердца свалили камень.
Из-за риги бежит комбат:
— Молодец ты, товарищ Лямин,
Подоспел как-раз в аккурат.

То-то белым подсыплем маку,
Наведем метель-кутерьму..
Что, прозяб?.. Ну ладно, в атаку
Я тебя погреться возьму.



Стихотворения

АНАТОЛИЙ ГАЙ

ТАЙНА

За отрогом глухим пролегает чужая граница.
Только ветер за ним — словно стон отдаленной струны...

Под имперским клеймом эта тайна, наверно, хранится
Генеральными штабами «дружеской» некой страны.
Но ее — этой дьявольской тайны — шальную затею
На тебя, моя родина, вражья заносит рука.
Пусть завесу теперь рассечет всенародно над нею,
Как клинок безотказный, моя боевая строка!..

Был безвыходный мор этой тайны тяжелым началом.
Нес его смертоносный, дотла иссушающий зной.
Над манчжурскими сопками облаком душным и чалым,
Словно саван, раскинулся полог его навесной.
Где-то джентри ¹⁾ жирели... А здесь в бестелесном гореньи
Над чужим гаоляном иссохшие никли рабы.
Ели высохший мох, выдирали сухие коренья
И давали ребятам по счету гнилые бобы.
Ветер выл по утрам, ежедневно встречая скопление
Обессиленных нищих на жохлом подножном корму.
Он привык к мертвецам. Но от этого страшного тленья
Становилось невесело даже ему самому.

И однажды молву о земном неизведанном рае
Он разнес невзначай по землянкам живых бедняков.
Исходила она с чуть разомкнутых уст самураев,
Наводнивших страну под охраной широких штыков.
Исходила, влекла — в поселеньях степных, приграничных
И достойную жизнь, и сплошное богатство суля...
Но никто не сошел с очагов, обжитых и привычных,
Как черства и суха ни казалась родная земля.

Самурайская честь промедлений таких не терпела.
Окружил непокорных наряженный в хаки конвой —
И они побрели... Непогода свистала и пела,
Всю дорогу над ними вздымая погибельный вой.

¹⁾ Помещики.

Словно чуя судьбу, словно видя вперед на полгода,
Занесла она пылью следы обреченной толпы.
И одна провела ее вплоть до последнего брода,
За которым вдали пограничные стлы столбы.
Здесь три тысячи нищих конвой пропустил за ограду,
Что железным кольцом в три ряда окружала пустырь.
И с лопатой каждому выданы были в награду
Горсть чумизы — на ужин, трава — на ночлег — и кусты.

На рассвете их вывели... Месяц, в тоске замирая,
Рыли землю они — под пинки, под ожоги плетей.
От неистовых благ самурайского тяжкого рая
Не спасали ни полночь, ни тень тростниковых клетей.
Тридцать суток они засыпали в траншеях фугасы,
Тридцать дней заливали у башен бетонные лбы.
Что могли они — против штыков и удушливых газов,
Ничего не имевшие, кроме своей худобы?..
И когда по весне ветрогоном с востока подуло,
От натуги качаясь, срываясь и падая ниц,
Закатили в укрытия пушки. И сизые дула,
Словно хищные пасти, ощерились из-за бойниц...

Через час флегматичный полковник и рыцарь Ямото
У ближайшего рва для осмотра построил людей.
И все тот же конвой из своих двадцати пулеметов
Разрядил по стоящим одиннадцать очередей.
И три тысячи трупов немая земля поглотила —
Бессловесных, обманутых, смятых свинцовой цынгой.
И для верности вящшей полковник по свежему илу
Прогулялся, настил попирая небрежной ногой..
Посторонних свидетелей не было. Тайна военная скрыта.
Суд — не скажет. Продажная — тоже не выдаст печать...

Но у черных холмов, под которыми братья зарыты,
Вырастает наш гнев, — он не даст ничего умолчать!
Не спроста этой дьявольской тайны шальную затею
На тебя, моя родина, вражья заносит рука.
Пусть завесу теперь рассчет всенародно над нею,
Как клинок безотказный, моя боевая строка!..
У кордонов твоих, маскированным в сопках окружем,
Укреплений враждебных сплошная идет полоса.
Озверелые хищники глухо бряцают оружием,
И кричат о войне оголтелые их голоса...

Позови, моя родина! Грозною сталью сверкая,
Бурей птицы взлетят в безмятежной пока синеве,
И пройдут по военным дорогам могучего края
Боевые колонны бесстрашных твоих сыновей.
Над врагами взнесут орудийного грома раскаты
И обрушат на них сокрушающий ливень свинца.
И в придачу к снарядам за тебя отдадут на гранаты
Начиненные гневом свои огневые сердца!..

ТАЙФУН

Петляя по сквозным ущельям,
Шло этой полночью глухой
Смятенье вражеских метелей
Над грозно молкнувшей тайгой.
Оно своим нагруженным краем
Луны завесило стекло,
И над настороженным краем
Сплошным наплывом потекло.

Вздымились горы.

Вдоль откосов

Незащищенных мглой бугров
То исподволь, то впрямь, то косо
Несли хлысты шальных ветров,
С разгоном, взбитым на востоке,
Непадающие стоки
То извивались над тропой,
Рычащей боевой трубой,
То, о погибели крича,
Цепляясь по незримым скобам,
С крутых высот,
свистящим скопом,
Обрушивались сгоряча.

Пурги, расцеженной глубоко,
Шныряли сизые песцы,
И, как застывшие сосцы,
Земля вздымала груды сопок.
И в падах, — из сырой, из талой
Мгновенно хрупкой становясь, —
Китайской флейтой рокотала
Окостеневших сучьев вязь...

От взморья взмыленный сквозняк
Погнал дорожные составы.
На пригород и на заставы
Осела снежная возня
И белой удалью трусливой
Вскипела, пылью мол залив.
Как стужей схваченные сливы,
Опали звезды на залив.
И, падая, вконец иззябли
И с ломким звоном бились в борт,
И бухты стынущую саблю
Полой прикрыл продрогший порт.

Но ветер, ринувшись рывком,
Сорвал ее, запутал в ком,
И, пеленой белесой вея
Над стаей вспуганных шаланд,
Отчаянней отпетых банд
Ударил в дрогнувшие реи;
Занес неутолимый рев
Над выводками катеров,
И, трюмы распахнувши настежь,
Еще не высохшие снасти
Развевял, словно связки жил,
И новым натиском пытливым
Лебедек грехот хлопотливый,
Как детский лепет, приглушил.

И дальше, с диким вепрем сходен,
Шипя пургой, шугой бренча,
На пристань, на глухой причал,
На скользкие отвалы сходен,
На набережную, на риф
Понес воинственные клики,
Куда растерянные блики
Метали слепо фонари...
За круг их красок и цветов,
В пустыню снеговую, в небыль,
Швырял ушибленное небо
Гамак из струн и проводов.

У Дальзавода мостовые
Копили снега штабеля.
Захлестанные тополя
Едва выпрастывали выги,
Как вновь со всех сторон,
в упор,

Взлетали бешеные свеи,
И, от натуги багровея,
Через оскаленный забор
Выскакивали на тротуары,
В сугробы сталкивая пары, —
И оползали за углом,
Полузакрыв его чехлом...

И до зари студеным верхом
Свирепо пролегал «восток».

Добердо

Роман

МАТЭ ЗАЛКА

(Продолжение ¹)

4. Дух войны

Прошло уже полтора месяца на Добердо. Я воюю третий год. Устал. И этот фронт, это мрачное серое плато, окровавленные камни, особенности Добердо и его своеобразные трудности не могли возбудить во мне веселых мыслей.

Мое угнетенное состояние усугублялось склонностью к самоанализу, к внутренним терзаниям, к разрешению разных мучительных вопросов. Ведь я интеллигентный человек, офицер... Нет, нет, то обстоятельство, что я офицер, не играет никакой роли. Наоборот, если бы я был простым солдатом, как мой брат, погибший в начале войны, я, наверное, давным-давно разрешил бы вопрос, возникший у меня по отношению к войне. Ну, а потом произошла эта неожиданная встреча с Арнольдом, который является не меньшей загадкой, чем я сам. Нет, он большая загадка. Скептицизм Арнольда и примитивный нерассуждающий оптимизм Бачо — вот два полюса, между которыми я качался. Но теперь ни скепсис Арнольда, ни бездумный фатализм Бачо не имеют на меня влияния. Я разрешил для себя вопрос войны. О войне нельзя думать, ее надо делать, — вот моя точка зрения сегодня.

Свершилось!!! Да, да, свершилось то, чего никто не ожидал, о чем уже давно перестало мечтать командование полка и даже бригады, на что и командующий Ишонзовской армией перестал возлагать надежды. Эрцгерцог торжествует, Кадорна посрамлен. Мы, батальон десятого гонведского полка, сидим на самой вершине Монте-дей-Сэй-Бузи, а итальянцы сброшены в пропасть.

Поэтому я могу смело сказать без всяких внутренних терзаний, что мое отношение к войне опять ясно определилось. Но не хочу спешить с окончательными выводами, в этом нет надобности. Ведь сейчас не место рассуждениям, сейчас мы должны быть только бойцами, достойными воинами перед лицом врага, в которых должно быть достаточно внутренней силы и твердой решимости, чтобы, если того потребуют обстоятельства, совершать чудеса героизма. И это чудо совершилось: мы завоевали Монте-Клару.

Нет больше Монте-Клары, есть возвышенность Монте-дей-Сэй-Бузи, занятая австро-венгерскими войсками. Так начиналось наше донесение, отправленное майором Мадараши прямо в штаб бригады (на что, между прочим, в штабе полка очень обиделись).

Но надо же все рассказать подряд. Сейчас мы в центре внимания всего нашего левого фланга. Мы — признан-

¹) См. «Новый мир», кн. 3 с. г.

ные герои нашего фронтового участка, герои, которым все завидуют, это факт. И факт то, что я также принимал в этом участии.

После Вермежлиано прошел месяц. Нервы мои уже начали притупляться, я стал привыкать к особенностям нашего фронта. Добердо — это нечто изнуряющее и терзающее душу. Но я прекрасно умею владеть собой (ведь я воспитанник господина доктора, как говорит Чутора), и, кроме того, наш безмолвный уговор с Арнольдом не касаться больше вопроса войны очень способствовал моему успокоению.

Нас сменили с Вермежлиано в тот день, когда два полка из соседней дивизии перебросили на тирольский фронт. Словом, перегруппировка началась, и кронпринц Карл вместе со своим штабом переехал в Триент.

С Вермежлиано нас отправили на отдых в Констаньевице. Это обещало много приятного. Всем известно, что часть, попадающая на отдых в Констаньевице, никогда не снимается оттуда раньше, чем через неделю. В этом лагере солдат ожидает баня, парикмахер, кино, а нас — офицерское собрание, нежная цыганская музыка, штабное общество, словом, маленький тыл. Тишина, можно спать, блаженно потягиваться и, если захочется, даже совершить экскурсию в Виллах. На этот раз мы провели в Констаньевице целых восемь дней. Сколько новостей, какой комфорт! К лейтенанту Дортенбергу приехала жена, и командование предоставило в их распоряжение целый домик. Голубина идилия! Арнольд с очаровательным и непередаваемым цинизмом охарактеризовал внимательность штабных.

Многие из офицеров батальона отправились в Виллах и Набресину. Мартыну Шпицу я тоже разрешил ехать, но он с не свойственным ему упорством отказался от моего милостивого предложения. Мы с Арнольдом решили совершить прогулку в горы. Я предложил взять в компанию Шпица. Возможно, что у Арнольда были другие планы, может быть, он хотел поговорить со мной во время прогулки, во всяком слу-

чае, он ничего не ответил на мое предложение и, когда мы собрались, четвертым взял Чутору. Всю дорогу они беседовали на своем оригинальном языке, часто отставали, и, когда мы оставались, поджидая их, до меня долетали обрывки их фраз. Они, видно, говорили без нас о чем-то очень серьезном. Чутора горячился и забавно жестикулировал, Арнольд останавливался, искоса смотрел на него и, видимо, соглашаясь с его утверждениями, кивал головой. Приближаясь к нам, они понижали голоса.

Шпиц был грустен и молчалив. Мы подымались по провечинской горной тропинке. Под нами в своей величественной красоте раскинулась Выпахская долина, вокруг подымались отроги Юлийских Альп. Отлогие зеленые склоны, поток пенистой синеватой реки, пастбища маленьких тирольских сел.

Мой помощник Мартын, еще не успев пожить жизнью самостоятельного человека, очутился здесь, где эта почти неначатая жизнь может так трагично оборваться. Обрадовался Шпиц своему первому офицерскому жалованью и под'емным, пригласил Шпрингера, Бачо и маленького Торму (чтобы тот тоже немного понюхал жизни) и покатил с ними в Виллах. В Виллахе не такой порядок, как в Триесте, но это тоже прифронтовый город. Приехали они к вечеру. На станции молодых офицеров, как старых знакомых, встретила группа веселых девушек. Расселись по извозчикам и покатали на главную улицу в магазины покупать подарки.

Мартыну приглянулась маленькая черненькая девушка. Он сел с ней в один фиакр, и, весело переключаясь, компания условилась встретиться через час в гостинице «Пегая Корова».

Мартын закупал офицерские вещи: бинокль, буссоли, планшеты, белье и шоколад разных сортов. Черненькая девушка Ирма оказалась незаменимым советником при этих покупках. Она прекрасно знала, что ему нужно купить. Восхищенный офицер спросил девушку: — Откуда вы знаете, что нужно фронтовому офицеру?

Ирма ответила очень откровенно:

— Ты думаешь, что ты первый офицер, приехавший ко мне с фронта?

Мартыну стало грустно. Хотя он прекрасно знал, что он не первый и не последний, но Ирма была так мила и прилична, что ему хотелось сохранить иллюзию от этой встречи. Мечтательность и фантазии были, видимо, чужды Ирме, это была весьма деловая и притом очень честная девушка. Она заранее поставила свои условия, и Мартын, не желая слышать этих прямых слов, сунул ей в руку пятьдесят крон вместо назначенных ею двадцати. С этого момента Ирма стала нежной и добросовестной спутницей молодого офицера. Она быстро нашла правильный тон с Мартыном и стала командовать при закупках и позже в «Пегой Корове». Очевидно, неопытность Мартына пробудила в девушке материнский инстинкт.

Мартын сорил деньгами в магазинах, бросался во все стороны, покупал все, что попадалось на глаза. Ирма следила за тем, чтобы в магазинах его не обманывали, и ругала кельнеров в отеле, когда они ставили к их столу пустые бутылки. После полуночи, когда патрули уже стали часто заглядывать в «Пегую Корову», Ирма потребовала счет, расплатилась и взяла Мартына под руку.

— Ну пойдем, проводи меня домой.

— Почему домой? А в отеле? — спросил Мартын.

— Нет, я здесь не хочу. Пойдем ко мне.

По дороге девушка притихла, стала задумчивой и попросила Мартына вести себя тихо не только в доме, но даже и на их улице. Мартын был шумен и весел, но после просьбы Ирмы присмирел. Они шли крутыми улочками к окраине города. Ирма остановилась перед двухэтажным домом и указала на подвальные окна.

— Вот тут мы живем.

Мартын взглянул на дом. Над плотно закрытыми дверями была вывеска: «Иван Фатур — шустер. Репарацион унд неуэ шуэ».

— Кто этот Фатур? — спросил Мартын, моментально трезвея.

— Мой отец. Он сапожник, инвалид, поэтому работает мало, я зарабатываю больше, но и этого недостаточно.

— А ты что делаешь?

— Я работаю на военном складе упаковщицей, пакую патроны вам на фронт.

Вошли в дом, спустились по четырем ступенькам. Ирма взяла офицера за руку и уверенно повела по темному коридору. Ладонь девушки, действительно, была твердой и мозолистой. «Не врет» — подумал Мартын. В конце коридора в нос Мартыну ударил какой-то знакомый запах. Запах был не из очень нежных и что-то мучительно напоминал ему, но прежде, чем он успел определить, что этот запах напоминает, Ирма повлекла его дальше.

В комнате девушки пахло пудрой и сыростью.

— Раньше мы эту комнату сдавали, но теперь она нужна мне, — сказала Ирма, задергивая занавес и зажигая лампу.

— А отец знает?

— Мы с ним об этом не говорили.

Улеглись. Мартын был далеко не так жаден, как раньше, им овладела необъяснимая вялость. Ирма это заметила.

— Что с тобой? Может быть, тебе здесь не нравится?

Мартыну не хотелось разговаривать, и он не ответил. Девушка вскоре уснула глубоким сном, а Мартын встретил рассвет с открытыми глазами. При дневном свете девушка казалась слишком бледной и худой. В семь часов она машинально открыла глаза, и через полминуты в городе загудели две sireны.

— Это шахты, — сказала она и с улыбкой обратилась к Мартыну: — Ну, обними меня еще раз. Мне надо итти.

Мартын был печален, в глазах его стояли слезы. Девушка удивленно смотрела на него.

— Милый, мне в половине девятого надо быть на работе, — ласково сказала она.

Когда они вышли в коридор, Мартын опять почувствовал знакомый запах и невольно остановился. Это был запах моченой кожи, клейстера, гутали-

на, коптящей лампы — запах сапожной мастерской, Мартын глубоко вдохнул его и на секунду закрыл глаза.

«Герман Шпиц — мужская и дамская обувь» — произнес он мысленно.

Девушка думала, что офицер еще пьян, но вдруг Мартын широко раскрыл глаза, посмотрел на нее, крепко прижал к себе и потом, взяв ее голову в ладони, горячо поцеловал в обе щеки.

— Ду бист мейне швестер,—рыдая, сказал он остолбеневшей Ирме, которая теперь была уверена, что офицер слегка свихнулся.

— ... И знаешь, господин лейтенант, я убежал. Я выскочил оттуда, как сумасшедший, по щекам моим лились слезы, нос все еще щекотал кислый запах сапожной мастерской, и сердце было полно горечи. Ведь у меня тоже есть сестренка.

— Человеческие поступки оцениваются по их смыслу и целесообразности, а мы что тут делаем? — громко сказал Чутора, усиленно жестикулируя. Он нас не видел, так как мы были скрыты поворотом дороги.

Мартын стоял рядом со мной грустный и бледный. Чутора был немного комичен со своим набитым рюкзаком, в котором нес принадлежности пикника. Арнольд серьезно и вдумчиво слушал солдата-печатника.

Наверху мы позавтракали и вернулись в лагерь.

В Констаньевиче мне два раза привелось встретиться с рыжим адъютантом полковника Коша.

— Ну, как обстоят дела с Кларой? — спросил я его.

Штабной крысенок подозрительно взглянул на меня, но, увидев, что я не издеваюсь, стал откровенен.

— Да, большие были неприятности, господин лейтенант. Немцы ведь потеряли больше тысячи человек ранеными и убитыми. Командование получило такое серьезное предупреждение, что только дым пошел. Ведь немцев сняли и даже артиллерию убрали. Они так разозлились, что не пожелали принять участия в правофланговой операции, хотя этот фронт такой же их фронт, как и наш.

В каждом слове адъютантика я слышал истины, изреченные полковником Коша.

— Ну теперь ясно, что Клару мы надолго оставим в покое.

Фенрих оживился.

— Видишь ли, — только это строго между нами, — командование потому и выбрало правый фланг, что хотя там и горы, но в направлении Лависроворетто можно будет прорваться к озеру Гарде. Прорыв произойдет, очевидно, где-нибудь в долине Этча. Теперь представь себе: если правый фланг прорвется вперед до Гардеее, то наш левый фланг может продвинуться до самой Венеции, и никто ему не сможет оказать сопротивления.

— Ага, так ты тоже хочешь кататься по лагунам?

Фенрих вынул из кармана карту и начал мне объяснять значение стрелок, нанесенных на карту синим карандашом. Они летели над горами, над реками, вдоль узких горных дорог и указывали направление будущего удара.

— А что касается Клары, чорт с ней. Если правый фланг прорвется вперед, итальянцы все равно должны будут нам ее отдать.

Из Констаньевиче нас перебросили на Полазо. Это место можно охарактеризовать тремя словами: крысы, трупы и виперы.

Перед отправлением на Полазо был издан приказ — наполнить фляги стрелков ромом. Выслушав этот веселый приказ, солдаты помрачнели.

— Ну, если во фляги льют ром, значит, следующий приказ будет — прижнуть штucky.

Но на этот раз гонведы ошиблись. После прочтения приказа перед строем появился батальонный врач обер-лейтенант Аахим и громовым голосом пояснил:

— В той местности, куда мы направляемся, кроме пуль и гранат неприятеля, нам придется еще иметь дело со специфическим местным врагом. Это так называемая карэская випера. Тот, кого укусит эта маленькая змейка, может спустя час умереть в страшных мучениях. В ром, налитый в ваши фляги,

подмешано противоядие от этих укусов. Укушенный должен немедленно выпить всю флягу и явиться к санитарам.

По лицам солдат пробежали давно невиданные веселые улыбки. Юмор народа глубок, как море: даже перед смертью любит посмеяться солдат.

Пока мы дошли до Полазо, семьдесят человек из батальона были «укушены» виперами, но ни одного смертельного случая не было, а всех их, вдребезги пьяных, санитары потащили на сборный пункт.

Смеху и шуткам не было конца. Но, когда мы уже спустились в котловину и попали в лучи итальянских прожекторов, один из солдат, бросившись на землю, почувствовал легкий укол в руку. Он не обратил на это внимания, но не достигли мы еще позиций, как у него начала пухнуть рука. В него влили две полных фляги рому, и санитары потащили быстро пьянеющего человека назад, прямо на операционный стол.

Полазо — это глубокая котловина на Добердо. Ветхие окопы, сотни небуранных трупов, близость к неприятелю такая, что из своих траншей мы слышим каждое их слово.

Семь дней, проведенные на Полазо, — это тихие муки, сплошная бессонница. Жара адская. Котловина насыщена густым трупным запахом. Это зловоние впитывается во все, даже в письма, которые мы получаем.

От Эллы нет ничего уже три недели. Из дому пишут, что отец все хворает (это с тех пор, как погиб брат Александр), всех наших подмастерьев, за исключением хромого Карлуши, мобилизовали, из скопленных денег осталось уже очень мало. Я хотел написать матери, чтобы она продала что-нибудь из моих книг. Наивность! Кому сейчас нужны книги?

Из Полазо сменились в Нови-Ваш. Это бригадный резерв, полуотдых. Днем нельзя показываться: сюда часто заглядывают тяжелые снаряды. Каверны тут удобные, пулеметные гнезда кажутся неприступными. Здесь проходит вторая запасная линия фронта. Если итальянцы прорвутся впереди, здесь их можно остановить. Над окопами работают рус-

ские военнопленные, работают в непосредственной близости неприятеля. Это возмутительно.

— Иногда бывает, что сыгравших свои роли статистов используют для переноски декораций, — задумчиво говорит мне Арнольд. Мы смотрим, как работают эти рослые северные люди, оборванные до наготы, худые и голодные. Наши солдаты сперва робко, а потом уже почти открыто угощают их всем, чем могут.

«Если бы они не боялись нас, то обнимались бы с военнопленными» — неожиданно приходит мне в голову.

Я смотрю на эти картины самаритянства и чувствую, что эти люди, говорящие на разных языках, все же прекрасно понимают друг друга.

Этой идиллии положил конец лейтенант Дортенберг. Он сегодня дежурный. Арнольд отворачивается, и мы уходим, не желая участвовать в горячем споре Дортенберга с Бачо. Бачо доказывает, что нельзя запрещать солдатам быть иногда и людьми. Конвоирующий пленных унтер-офицер ругает своих старых ополченцев. Старики не по-солдатски возражают горячему молодому капалу:

— Если их уж и фронтовые пожалели, господин капрал, то как же нам не жалеть?

Да, сердце фронтового солдата незлобиво по отношению к бывшему врагу, я это уже не раз замечал.

Под вечер накануне смены из Нови-Ваша майор созвал офицеров батальона и с военным лаконизмом объявил:

— Господа, сегодня ночью мы идем под Клару.

В тишине можно было слышать бие-ние многих сердец.

— Господин майор, сколько лет этой Кларочке? — спросил, улыбаясь, Бачо.

Майор засмеялся, и все мы тоже разразились смехом.

— Ну, друзья, — сказал майор серьезно, но мягко, — я знаю, что вы даже дьявола не испугаетесь...

— В особенности, если он заключен в бутылку под печатью токайских погребов, — ввернул Бачо.

— Но верно, что Бузи — это твердый орех. Поэтому, господа, прошу вас усилить бдительность, взять людей в руки, не допускать лишней болтовни в окопах, обратить особое внимание на газовые посты и каждую минуту быть на-чеку. Ведь малейшее дуновение с юга — и мы готовы. Дежурства надо удвоить: два человека от батальона, два — от роты. Телефонную связь под Кларой мы примем уже налаженную. Словом, господа, за те десять дней, которые мы там будем стоять...

— Десять дней! — прошел шопот среди офицеров.

— Я говорю десять для того, чтобы, если нас сменят раньше, это явилось приятной неожиданностью, — улыбнулся майор.

— Ах, так!

Офицерский обед начался в атмосфере особенной теплоты. О Кларе больше не говорили, но было внесено несколько практических предложений.

— Может быть, объявить и солдатам, чтобы они подготовились? — спросил Бачо.

— Да, чтобы половина из них сейчас же начала заявлять о болезнях, — возразил батальонный врач.

— Но ведь на то ты и доктор, чтобы установить — болен человек или нет, — резко сказал Арнольд (это был один из редких случаев, когда он вмешался в общий разговор).

Майор нахмурился.

— Оставим эти вопросы, господа. Дело солдата маршировать, стрелять, окапываться и служить.

— Господин майор полагает, что солдат — это скот? — едко спросил Сексарди.

— Солдат не имеет никакого отношения к высшим соображениям, — ответил Дортенберг. — Я вообще не понимаю, чего вы хотите, господа.

Поднялся шум, и дело, очевидно, должно бы до ссоры, если бы не вмешался майор. Я прислушивался с большим интересом. Словом, мы — господа, руководители, а солдаты — это мясо, скот. Скоту не надо знать, когда его погонят на убой, это дело хозяев и погонщиков. Но ведь речь идет о людях, о солда-

тах, которые дерутся плечом к плечу с нами.

— Господа, не будем спорить об азбучных истинах. Где это слыхано, чтобы войску перед боем объявляли о предстоящих событиях? Это решительно противоречит духу армии. А вот не мешало бы вам после обеда проверить запасное снаряжение. Под Бузи может быть так, что два дня не будет обеда, в особенности в случае каких-нибудь осложнений.

(Ну, вас это не коснется, господин майор, это будем переживать мы там, впереди.)

— Не мешало бы испытать и газовые маски, проделать ряд упражнений и посмотреть, все ли умеют пользоваться противогазами. Я допускаю, что даже не все унтер-офицеры знакомы с этим делом, — наставительно сказал майор.

Когда после обеда я приказал выстроить свой отряд, то увидел, что все солдаты уже знают, куда мы идем. Гаал говорил об этом тоном, не допускающим возражений. Консервы были в порядке, упражнения с противогазами шли весьма успешно. В этом был смысл, и люди с примерным усердием делали все, что надо. Некоторые обследовали свои маски со всех сторон и, обнаружив малейший дефект, немедленно приступали к ремонту. У банок с резиновым клеем стояла целая очередь.

Откуда они знают, как могли узнать, — это меня не занимало, и никому из офицеров не приходило в голову допытываться.

Ведь у солдат своя агентура: вестовые, телефонисты, ординарцы, свой солдатский штаб, и неудивительно, что они иногда узнают кое о чем раньше, чем их непосредственные начальники.

Смена под Кларой происходила немного иначе, чем обычно: сменялись повзводно и поротно. Мне, как начальнику саперного отряда, пришлось присутствовать почти везде.

Позиции тут сложные, многоярусные, они идут капризными зигзагами, то параллелями, то расходясь в стороны, то упираясь в тупики. Тут есть

три круглых, совершенно самостоятельных окопа, куда даже не ведет ход сообщения. Передовой гарнизон входит в эти окопы ночью и остается до следующей смены. В третьей, самой задней, линии находятся замечательные каверны, я таких до сих пор не видел. Это громадные подземные лабиринты с хорошим притоком воздуха. В некоторых может поместиться целая рота. Выше у террасы, где начинается подъем, окопы ужасные, примитивные.

Крадучись, избегая малейшего шороха, мы заняли место сменяемых, их наблюдательные пункты, повторяли их указания и были готовы дать отпор любому нападению.

Я старался разглядеть потонувшую в темноте Клару, но ничего не видел, кроме густого мрака, и только чувствовал, что над нами висит что-то грозное и неприступное. Итальянцы молчали. Непривычно было отсутствие ракет. Это характерная особенность позиций Клары. Ведь неприятельские ракеты все равно перелетали бы через наши линии, а наши ракеты освещали бы только нас самих.

Ночь здесь была настоящей южной черной ночью. С нетерпением ждали мы утра, и нам казалось, что оно опаздывает. Наконец, рассвело, и мы по-настоящему приняли эти крутые позиции.

Да, здесь наше положение было трудное. Мы бессильно бились внизу, пробираясь лишь на невысокие террасы, а итальянцы сидели наверху. Стоило им только кинуть большой камень, и десятки наших солдат были бы уничтожены, а если бы они вздумали бросить ручную гранату... Но нет, все-таки дело обстояло не совсем так. Голь на выдумки хитра. Постоянная необходимость защищаться сделала людей дьявольски изобретательными. Когда мы поближе познакомились с положением, то увидели, что наши позиции на Кларе превосходны. Много приложил тут стараний и труда начальник саперно-подрывного отряда дивизии полковник Хруна. Он снабдил наши низкие позиции изумительно простыми сетями против ручных гранат. Это были про-

волочные сети, из которых в мирное время делали садовые изгороди. Их натягивали на специальные рамы и расставляли с таким расчетом, чтобы все падающие сверху предметы скатывались по ним над головами солдат.

Начальник подрывного отряда седьмого батальона, капитан, инженер по профессии, с настоящим восхищением говорил о старике Хруна. После смены капитан остался со мной еще на день, чтобы окончательно передать эти сложные позиции.

На наших позициях был виден многомесячный труд тысячи людей. Масивные окопы, фланговые защиты из сотен мешков с землей и щебнем, и везде и всюду следы изобретательности, энергии и внимания. Бойницы сплошь стальные, местами они буквально обращены к небу, но, когда выглянешь, видишь, что выстрелы винтовок точно направлены на бруствер неприятеля.

Капитан, мой коллега, горячо рекомендовал мне связаться с полковником Хруна, который уделяет этим дзюциям особое внимание.

— А капитан Лантош? — спросил я. — Ведь он наш непосредственный начальник.

Коллега снисходительно улыбнулся и махнул рукой. Когда мы с ним простились, уже вечерело. Прошел первый день.

Мы со Шпицем решили на следующий же день снять точную карту позиций и послать полковнику Хруна и Лантошу.

Первый день прошел в абсолютной тишине. Макаронщики, казалось, спали. Наши солдаты вылезали из своих нор, готовые ко всему, пробирались осторожно по стенам. Смены часовых происходили в мертвой тишине. Над нами, как громадный кулак, висела Бузи. Но обед прибыл вовремя, как только стемнело, и выяснилось, что на Кларе полагаются усиленные порции вина. Люди развеселились и начали уже снисходительно поговаривать о новых позициях. Из штаба батальона вначале звонили каждые пятнадцать минут, потом тоже успокоились.

Но днем пространство перед нашими окопами и проволочные заграждения представляли ужасную картину. Обуглившиеся трупы немцев и лохмотья убитых, висящих на проволоках, делали ландшафт нестерпимым. То тут, то там белели пятна хлорных дезинфекций, но это мало помогало. После атаки немцев прошел месяц. Большинство трупов уже совсем сгнило, и в полдень, когда солнце бросало снопы лучей прямо на наши позиции, в неподвижном воздухе стояло густое зловоние. Вот какова была Монте-Клара, квинт-эссенция добердовского фронта.

На следующий день после полудня меня вызвал к телефону лейтенант Кенез. Кто-то называет мою фамилию, но это голос не Кенеза. Мой собеседник говорит по-немецки, и по его певучему акценту я узнаю полковника Хруна. Он направляется к нам. Мы встречаемся в устье главного хода сообщения. Старик в сопровождении своего длинного адъютанта быстро переходит от одного прикрытия к другому, хитро улыбается, шутит, предостерегает нас от итальянских стрелков, которые могут попасть даже в замочную скважину. Хруна прекрасно знает наши позиции. Его интересует правый фланг, он хочет пробраться через нас на 34-й участок, чтобы установить какие-то нужные ему данные.

Полковник держится настолько просто, что я решаюсь пригласить его к себе в каверну. Он принимает приглашение. Старик — очень разговорчивый и приятный собеседник.

— Я уже предлагал нашему главному командованию великолепный способ атаковать Пуши. Атака должна быть произведена исключительно саперным методом. Надо сделать так, чтобы наступали не люди, а окопы. Для этого необходимо собрать достаточное количество строительного материала — мешки, щебень, цемент, бревна — и выстроить рядом с Пуши, вернее вплотную, такую же возвышенность, и оттуда прыгнуть на итальянцев. Такую гору можно сделать очень быстро, но Лантош все настаивает на том, чтобы минировать Пуши.

Я не могу понять, шутит он или говорит серьезно. В его глазах миллион улыбок.

— А между тем — без шуток — движущиеся позиции — это не такая глупая вещь, как кажется. Они могли бы сделать очень интересной нашу прозаическую позиционную войну. Ну, да ладно, все это мечты. — Полковник быстро опрокидывает рюмку коньяку и потом прибавляет: — Во всяком случае, это более реально, чем все фронтальные удары против Пуши, стоящие тысяч и тысяч людей, в то время как для защиты возвышенности требуется не более двух хорошо расставленных пулеметов.

Я слушаю старика, смотрю на его золоченый воротник и думаю:

«И у него есть своя мания».

Полковник прощается. Я иду провожать его. В районе взвода Бачо Хруна останавливается и говорит:

— А этот аппендикс тоже не мешало бы форсировать, кое к чему он, может быть, и приведет.

Старик со своим адъютантом уходит в направлении Вермежлиано.

Тихо, только где-то вдали, у Сан-Михеле, как далекий гром, ухает артиллерия. В таких случаях выстрелы не слышны, а долетают только звуки разрывов.

«Да, это далеко» — думаю я.

Из своей каверны выходит Бачо. Он слышал последние слова полковника об аппендиксе и придирчиво говорит мне:

— А ну-ка, чтобы завтра твои саперы вместе с моими людьми принимались за дело!

Я вяло возражаю, но тут же, откуда ни возьмись, вырастает мой круглолицый помощник. Он уже знает, о чем мы говорим, и немедленно вступает в спор со своим вечным оппонентом.

— Саперы не обязаны занимать позиций. Это дело пехоты. Мы только работаем над позициями, прошу вас очень замечать.

Бачо возражает мягко, по-товарищески, как и полагается старшему, но Шпиц горячится еще больше и спорит, желая доказать свою правоту.

— Знаете что, ребята, давайте-ка зайдем туда, в этот окопчик. Мой капрал сегодня доложил мне, что там превосходно слышно каждое слово из итальянских окопов. По его мнению, неприятель от нас не дальше, чем в десяти шагах, — говорит Бачо.

— Да, конечно, по прямой, по воздуху, — возражает Шпиц.

— Ошибаешься, не по воздуху, а по земле. Не будем спорить, там есть превосходные перископы, и можно убедиться на месте. Ну, кто со мной?

Бачо так повернул дело, что уклониться неловко, и мы без всяких разговоров двигаемся к апендиксу. Идем гуськом, пробираясь от одного выступа к другому. Чем дальше мы углубляемся в окопчик, тем больше он кажется нам ненужной и даже вредной затеей. Окопчик вначале неуверенно извивается по плоскому месту, а потом каким-то зменным поворотом забирается на верхнюю террасу. Вот тут, в расширенном конце окопа, и сидели люди из взвода Бачо.

Мы подошли к перископу. Действительно, невероятная близость: за путанными проволоками видны стальные щиты итальянского бруствера, мешки, камни.

— Что это, контр-апендикс?

— Нет, основные позиции итальянцев.

— Не может быть, это какой-нибудь выдвинутый гарнизон.

— Нет, господин лейтенант, самые настоящие позиции. Здесь как-раз кончается спуск с Клары, это и есть самый стык.

Мы долго рассматривали позиции неприятеля. Десять, максимум пятнадцать, шагов. Невозможно.

— Восемь, — объявил Шпиц тоном, не допускающим возражений.

— Действительно, очень близко, — признал и Бачо. — Но близок к человеку и его локоть, а попробуй укуси.

— Да ведь это их локоть, — отпарировал Шпиц.

— Правильно, — заметил Бачо. — А ну-ка, Шпиц, укуси их локоть, если он, по-твоему, так близок.

Капрал взвода Бачо рассказывает нам, что среди итальянцев есть много солдат, хорошо знающих венгерский язык.

— Вот и вчера один из них крикнул нам: «Гэй, мадяры, здравствуйте!» Но мы не ответили. В приказе сказано, что нельзя отвечать.

— Почему нельзя? — спросил я удивленно.

— Узнают, что мы тут сидим.

— А вы думаете, что они и так не знают?

— Думаю, что знают, господин лейтенант.

— Не надо им отвечать, — мрачно говорит Бачо. — Чорт их знает, что им нужно.

В это время в окопе появился Гаал.

— Как вы думаете, Гаал, стоит удлинять этот окопчик?

Гаал долго рассматривает в перископ окрестности, и в тот момент, когда собирается ответить, раздается выстрел, и перископ дергается в руках взводного.

— Вот видите, господин лейтенант, — говорит Гаал вместо ответа.

— Смотри-ка, выстрел горизонтальный, — задумчиво произнес Бачо.

Мы быстро покинули апендикс и вышли в окопы.

«Нет, в данном случае Хруна не прав. Надо бросить этот окопчик, — подумал я, — в нем каждый сантиметр пристрелян».

Я простился с Бачо и ушел в свою нору. Шпиц тоже скоро вернулся. Мы сейчас живем в одной каверне.

— Я не хотел говорить при Бачо, — начинает Мартын, — но если бы мы повернули этот окопчик влево и под защитой отвесной стены террасы продвинули бы его дальше на двадцать—двадцать пять метров, можно было бы большие дела делать.

— В стратегию ударился, Мартуша, — шучу я. Мне нравится темперамент моего помощника.

— Нет, какова мысль, по-твоему? — допытывается он, устремив на меня свои большие светлосиние глаза.

— Что же, если бы можно было сделать такое колено по методу Хуса-

ра, это, пожалуй, имело бы смысл. Но нужно слишком много материала, а тут очень трудное положение.

Мартын заметно доволен, что я не высмеял его плана.

— Знаешь, лейтенант Бачо прекрасный малый, но он очень любит разгрызывать младших, и при нем невозможно вести серьезный разговор, — жаловался он.

— Скажи-ка, Мартын, — внезапно сказал я, — как ты чувствуешь себя на войне, то-есть здесь, на фронте?

Шпиц удивленно взглянул на меня и смущенно заморгал. Прямота вопроса поразила его.

— Как тебе сказать, господин лейтенант... Я ведь здесь только третий месяц, и вообще я солдат молодой. Три с половиной месяца обучения, чудесные мишкольцские дни... Я прямо из школы попал в казарму, и, знаешь, ни казарма, ни офицерские курсы не показались мне трудными. Да и фронт я воспринимаю не так трагично. Я ведь жизни еще не знаю, а это хорошая добавочная школа.

— Это верно, — согласился я. — А скажи, ты никогда не думал о войне, о солдатском быте?

— Как же нет, конечно, думал. Думал о том, каков будет мир. Вот я представляю себе: мы победили, возвращаемся откуда-нибудь из завоеванной Венеции, демобилизуемся... Видишь ли, когда человек имеет пару отличий и был фронтным офицером... Я знаю, что в университете вначале будет очень трудно.

— А почему, Мартуша?

— Да знаешь ли, тут, на фронте, человек ко многому привыкает. Тут он большой господин: денщик, отряд, подчинение многих людей, людей старше тебя по возрасту, пожилых. В сущности говоря, мы — большие господа, и вряд ли будем такими в штатской жизни.

— Словом, тебе нравится все это?

— Да, иногда, признаюсь, нравится, но большей частью — нет. Вот возьмем, например, Гаала, — Шпиц понизил голос. — Ведь Гаал хороший зна-

комый, даже, можно сказать, друг моего отца. Он, видишь ли, шахтер и уже старший рабочий —штейгер. Живет на нашей улице через несколько домов от нас. Да тут не только он один, много таких, но я их не так хорошо знаю, как Гаала. И вот, когда становишься перед отрядом, отдаешь команду, или когда приходится говорить: «А ну-ка, взводный Гаал, идите сюда, идите туда», и еще бываешь вынужден добавить: «А ну-ка быстрее», — тогда порой бывает очень неприятно.

Слушая взволнованную речь Мартына, я видел, что затронул очень нежные и живые струны.

— Ну и, кроме того, тут нельзя рассчитывать на завтрашний день. Я только одного боюсь, чтобы меня не изуродовала какая-нибудь пуля или осколок гранаты. В плечо, в ногу, руку — это пустяки, только бы не в лицо. А ты видел, как эти черти итальянцы махали огнеметом? Но, говорят, они за это заплатились: у них взорвалась одна камера и погибло много народу.

— Словом, ты боишься ранения в лицо, Мартуша?

— Да, знаешь, это было бы очень неприятно — вернуться домой изуродованным. Ведь мне еще предстоит жениться.

В окопах слышен шум, движение, беготня. Хватаем газовые маски, отстегиваем кобуры револьверов и выскакиваем из каверны.

Влево от нас какое-то оживление.туда устремляется несколько человек. Это тревожный наряд. Запасные постовые вскарабкиваются на бруствер и вставляют винтовки в отверстия стальных щитов.

Спрашиваем встречного, что случилось.

— В районе второй роты, господин лейтенант, там, где стоит передовой гарнизон, что-то рухнуло, но взрыва не слышно. Итальянцы что-то сбросили туда. Наши постреливали, а сейчас умолкли.

Пробираемся дальше. Двигаться приходится осторожно, все чаще и чаще щелкают фланговые выстрелы. Вскоре сталкиваемся с двумя саперами из на-

него отряда. Шпиц набрасывается на них:

— Что там произошло?

— Простите, господин кадет, мы сами толком не знаем. Говорят, что итальянцы насвинячили во второй ротге.

— Как насвинячили? Говорите яснее, — сержусь я.

— Да они там, господин лейтенант, выпустили на наших сверху какую-то дрянь, — говорит солдат в замешательстве, явно не желая назвать что-то своим именем.

Мы пошли дальше, и чем больше продвигались к месту происшествия, тем меньше требовалось объяснений. Итальянцы сыграли плохую шутку с нашим передовым гарнизоном, находящимся в непосредственной близости с террасой: они спустили в этот круглый окоп свое отхожее место. Ужасная жидкость, которую итальянцы, видимо, долго и тщателью собирали, душливым водопадом обрушилась на голову бедного гарнизона. В этом комическом положении была большая доля трагизма. По телефону из гарнизона жаловались, что они буквально задыхаются, но делать было нечего: до наступления темноты из окопа выйти нельзя. Некоторые смеялись над происшествием, но многие были возмущены.

— Итальянцы начинают воевать своим национальным оружием, — с'язвил Арнольд. — Но не знаю, не поступили бы и мы точно так же, если бы были наверху, — добавил он задумчиво. — Всякая война вырабатывает свой образ действий.

Майор Мадараш вызвал Арнольда к телефону.

— Пожалуйста, не шумите там по поводу этой истории. Надо растолковать солдатам, чтобы они поменьше болтали, а то к нам может прилипнуть какая-нибудь позорная кличка.

Арнольд немедленно передал желание майора присутствующим офицерам.

— Положение ясное, — сказал Сексарди: — мы находимся во власти любых пакостей неприятеля. — И оберлейтенант, сверкая глазами, обвел взглядом собеседников.

— Не надó принимать так близко к сердцу этот клозет, — успокоил его Бачо.

Посыпались шутки, анекдоты, и, в конце концов, на происшествие стали смотреть только с юмористической точки зрения.

Вечером с итальянских позиций до нас доносились веселые песни, смех. На самой верхушке Клары задорно брэнчала мандолина.

— Наверное, у них произошла смена, — предполагали многие из нас. — Ведь вчера они вели себя очень тихо.

Где-то на левом фланге наши солдаты начали распевать ответные песенки, пародируя итальянцев.

Ночь прошла тихо. Хусар, Гаал и Шпиц основательно поработали над апендиксом и хвастали, что углубили его за одну ночь на полтора метра.

Утром я навесил их, вернулся домой и прилег. Было около восьми часов. Вправо от моей каверны послышался сухой треск взрыва.

«Ручная граната» — подумал я.

Хомок выскочил посмотреть, в чем дело, и сразу вернулся.

— Наших взорвали. Господин кадет Шпиц, капрал Хусар и еще пять человек остались на месте.

Я выбежал. В окопах уже все знали, и чувствовалось волнение. Навстречу мне с револьвером в руках шел Бачо. Его сопровождало человек двадцать из дежурного наряда. Бачо и его люди взволнованы, лица их бледны, глаза смотрят свирепо. Винтовки есть не у всех, но многие на ходу подвешивают к поясу ручные гранаты и поправляют штурмовые ножи. Бачо мимоходом кивает мне и проходит со своими солдатами к апендиксу.

Меня остановили санитары. На носилках лежит Шпиц. Лицо у него лимонно-желтое, раскинутые руки болтаются, левый глаз закрыт, а правый неподвижно смотрит вперед.

— Что с ним?

— Рана в затылок. Он готов, — говорит санитар.

— А кто еще?

Несут нескольких тяжело раненых. Один идет сам, его правая рука наско-

ро забинтована, и через бинт просачивается кровь. Бежит Гаал.

— Из нашего отряда пострадало семь человек, господин лейтенант. Бедный кадет Шпиц, царство ему небесное! Хусар ранен, но легко, его сейчас перевязывают. В роте четверо убитых, много раненых.

Я рванулся к апендиксу — не пускают: люди из взвода Бачо заперли дорогу.

— Отойдите, господин лейтенант, итальянцы сейчас будут стрелять.

Энергично отстраняя солдат, пробираюсь вперед. Легко раненый в лицо гонвед рассказывает Бачо, как все случилось.

— Саперы работали, господин лейтенант. Они сняли сетку для ручных гранат и отодвинули назад. Так приказал господин кадет, которого убили. И вдруг совсем близко от нас, как будто в двух шагах, со стороны итальянцев кто-то закричал по-венгерски: «Эй, мадяры!». «Ну что?» — спросил господин кадет. «Хотите папирос?». Господин кадет промолчал и шепнул нам, чтобы мы не отвечали, но кто-то из наших закричал: «Давайте, но только тунисские или египетские». «Держите, — говорит итальянец, — бросаю». И действительно, из итальянских окопов полетела к нам жестяная коробка с папиросами. Там было не меньше сотни. Все с золотыми мундштуками, настоящие тунисские, с арабом на крышке. Ну, мы, конечно, набросились на папиросы, стали разбирать. Одну половину разобрали, а другую поднесли господину кадету. Вдруг итальянец опять кричит: «Эй, мадяры!». «Чего еще?» — спрашиваем мы. Признаюсь, и я спросил. «Хотите ветроупорных спичек?». «Ну, давай!» — кричим мы. «Бросаю» — говорит, и вижу я, летит на нас что-то черное. «Беда!» — подумал я сразу и закричал: «Ложись!», а сам бросился за мешок со щепнем, но в эту минуту гранаты уже взорвались. Пять штук было в связке. Вот как было дело.

Бачо стоял среди своих солдат. Глаза его буквально светились, он тяжело дышал, сжимая в руке револьвер.

— Это все? — спросил он, когда раненый замолчал.

— Так точно, господин лейтенант.

— Ну, не совсем, — сказал Бачо и поднял голову. Лицо его покраснелось, в глазах пылал сумасшедший огонь.

— Ребята, — обратился он к солдатам, — неужто стерпим?

— Что ты хочешь делать, Бачо? — спросил я, прорываясь к нему.

— Ага, Матраи, слушай: сейчас мы отомстим за это дело. Если скоро не вернемся, сообщи моему ротному. Прощай.

В окопах уже столпилось не меньше пятидесяти человек. Тут был в полном составе взвод Бачо, несколько человек из других взводов и часть моих саперов. Солдаты были взволнованы и готовы на все.

— Ну, — крикнул Бачо, — кто хочет бить, за мной!

Я не успел раскрыть рта, как люди двинулись стеной и, сгибаясь у выхода, один за другим исчезали в апендиксе. Несколько секунд ничего не было слышно, только сыпались камни. Вдруг кто-то крикнул:

— Наши прорвали проволоку. Выходят.

Стоявшие в окопах солдаты ринулись к выходу. Мне казалось, что тишина застывает, ни одного звука, только быстрое шарканье подкованных бот. Я вынул револьвер и почувствовал спазмы в горле.

«Эх, да что я, в первый раз иду в рукопашную?» — с досадой подумал я и крикнул:

— Гаал! Сообщите господину оберлейтенанту. Два взвода сюда, быстро! — и прыгнул в окопчик.

Апендикс был битком набит людьми, но они не стояли, а двигали друг друга вперед. Никто не знал, что случилось впереди, но вдруг все побежали, и я вместе с ними. Ноги спотыкались о какие-то камни, потом обо что-то скользкое и мягкое, но не было времени взглянуть на землю. Перед лицом качнулась проволока. Секунда — и мог бы остаться без глаз. Раня руки, хватаю проволоку и отстраняю с дороги. Отглядываю, желая предупредить следующего,

и, к своему удивлению, вижу, что за мной идет Гаал. Лицо его сосредоточено, в руках держит короткую шанцовую лопатку.

Впереди слышны взволнованные крики, потом с залпом рвутся ручные гранаты.

— Бейте... в бога!.. — слышу пронзительный голос Бачо, и мы бежим вперед.

«Ясно, ясно, наши ворвались в итальянские окопы» — мелькает в моем мозгу.

Сзади напирают:

— Вперед, вперед!

Кто-то, прижавшись ко мне, дышит прямо в лицо, меня обдает тяжелый запах несвежего рта, но вот я освобождаюсь из тисков людей и мчусь дальше. Все устремляется влево, наверх, наверх, на макушку, а я чувствую, что необходимо было бы некоторым повернуть и вправо, но тут же замечаю, что из наших окопов идут люди и цепью атакуют итальянцев, а дальше у Вермежлиано началась бешеная перестрелка с обеих сторон. До этого все происходило в полном молчании, но, когда до нас докатилась оружейная стрельба, атакующие разгорячились, и везде слышались неудержимые крики: «Райта! Ура! Райта!».

Я тоже кричу самозабвенно, до хрипоты:

— Вперед, вперед! Резервы, вперед!

Под моими ногами итальянец. Он подымает руки, я машу ему револьвером.

— Марш назад!

Он ползет, не опуская рук. Один из наших солдат подскакивает к нему и ударяет штыком. Итальянец ловко уклоняется от удара и бросается на спину, как испуганная собачонка.

Устремляемся выше и выше. Вот мы уже в итальянских окопах. Перед нами вход в глубокую каверну.

— А ну-ка, ребята, ручную гранатку!

Я подхожу к каверне и, сам не знаю, почему, кричу по-немецки:

— Хераус!

Гулким эхом отдается в глубине мой голос, но никто не отвечает. Швыряем

в черную яму входа ручную гранату и двигаемся дальше.

До самой верхушки уже осталось несколько шагов. Передовые части атакующих теперь устремились вниз. На одну секунду передо мною открывается вся картина атаки, но некогда разглядывать.

Наши люди рыщут, как тигры, заглядывают во все щели и малейшее сопротивление оплачивают смертью. Везде попадают пленные, и солдат приходится уговаривать, чтобы они их не трогали, что это уже пленные. Итальянцы бледны, их лица перепуганы, руки смешно подняты кверху.

— Ага, это вы на нас вчера клозет опрокинули? — кричит маленький Торма, размахивая карабином перед носом высокого итальянца.

Я оглядываюсь. Вся первая рота тут, но и моих саперов порядочно. С левого фланга на соединение с нами движутся вторая и третья роты. Мы наверху, мы можем вылезти из окопов и посмотреть вниз.

По пологим террасам Клары бежит рассыпавшаяся в цепь вторая рота. Впереди мчится обер-лейтенант Сексарди с длинной шашкой в руке. Откуда он взял эту шашку? Кругом дикие, но гордые победы лица. Лицо Арнольда красное, воспаленное, рот перекошен. Он кричит и машет. Что он кричит?

— Ложись! Огонь по отступающим! Пулемет!

У многих нет даже винтовок, только ручные гранаты. Итальянцы, не сдавшиеся в плен, сброшены вниз под скалу.

Что с Бачо? Бачо — настоящий герой. Бачо, Бачо...

Арнольд преследует огнем отступающих, он уже внизу. Несколько человек отсюда, с края отвесной скалы, швыряют вниз ручные гранаты. Заговорили винтовки. Солдаты, израсходовавшие свои гранаты, бросают вниз камни и все, что попадетя под руки.

А что там внизу? На правом фланге атакуют егеря. Они вышли из своих окопов и валом катятся к проволокам. Застрочил пулемет. Егеря залегли. Некоторые из них уже бегут назад, потом

ползут, отступают остальные. Надо бить итальянцев из пулемета отсюда, сверху, уже ставят пулеметы, но поздно, потому что егеря не идут во второй раз в атаку.

— Вперед к окопам! Выбить, выбить!

Бешеные крики, никто не обращает внимания на пули, даже гранаты не производят впечатления. Впрочем гранаты летят через наши головы. Слышно, как они шуршат и рвутся за нашими спинами где-то внизу. Над нами лопаются шрапнели. Чорт с ними, ничего не значит. Двое раненых. Неважно. Клара наша! Ура! Райга! Bravo!!!

Как же это случилось?

К одиннадцати часам положение определяется. Мы овладели высотой Монте-дей-Сэй-Бузи, в наших руках вся возвышенность. Потери с нашей стороны ничтожны.

Заградительный обстрел итальянцев гремит бешеным огнем, но нас он мало беспокоит. На левом фланге четвертый батальон тоже ворвался в итальянские окопы, там идет бой. Итальянцы в четвертый раз идут в атаку. Теперь заградительный огонь сметает обе стороны. Страшная перестрелка на линии егерей. Егеря снова пошли в штыковую, их левый фланг врезался в неприятельские окопы. Рота Сексарди спешит вниз на подмогу егерям. Итальянцы отступают во вторую линию окопов. Заградительный огонь настигает егерей. Летят щепки, люди, мешки. На левом фланге у самого подножья итальянцы атакуют роту Дортенберга, но в их наступлении нет темперамента и быстроты. Они ползут. Мы ждем, когда они станут на ноги, и осыпая их отсюда из пулеметов. Многих пригвождаем на месте. Вот преимущество высоты Монте-Клары, которая к тому же является мертвым пространством для артиллерии.

Что случилось и как это случилось? Все об этом говорят, спрашивают, все взволнованы—солдаты, офицеры, штабы. В штаб батальона уже звонил полковник Коша. По телефону сыпались восхищенные поздравления. Я думаю!

— А что скажет эрцгерцог, что скажет эрцгерцог? — повторял майор Ма-

дараши, пробравшийся с одышкой на третью террасу. — Господа, командир бригады три раза переспрашивал меня — правда это или апрельская шутка?

Многие никак не могут понять и сразу оценить значение штурма. Ведь смысл этого героического подвига, по моему, не местного характера, он далеко пережестывает значение взятия возвышенности. Хотя, конечно, я сознаю, что само взятие возвышенности тоже очень важный и героический поступок.

Господин майор Мадараши крепко пожал мне руку и сказал:

— Ты, кажется, обладаешь литературными способностями. Будь другом, опиши в общих чертах эту ситуацию, но не в сухом казенном стиле донесения, а как-нибудь более красочно. Это будет очень приятно нашему командованию.

Я не отказываюсь от поручения, хотя не знаю, сумею ли описать происшедшее. Ведь мне самому в первую очередь надо уяснить и оценить создавшееся положение.

Я выпустил все пули из своего револьвера, и в моих руках, не знаю, откуда, появился штурмовой нож. Перед глазами мелькали мертвенно-бледные и кирпично-красные лица. Я чувствовал чужой ужас и наплыв страшной решимости в своей груди. Слышал дикие, гортанные крики жаждающих мести. Гаал отвернулся, Гаал отвернулся, когда я его похвалил. Его лопатка была в крови. Да, да, унтер Гаал в куски крошил неприятеля. Раз война, то надо воевать, чорт побери!

А Бачо... Вот Бачо — это герой. Он был олицетворением мести, вокруг него сгрудились самые отчаянные, они шли вперед, как лемех перед плугом.

Я сегодня видел истинное лицо войны: это лицо идущего на все солдата. Как давно я видел это лицо, может быть, только в самом начале войны, да и то редко. Если бы можно было удерживать людей на этом подъеме и влить их одушевление и ярость в другие части, о, как скоро кончилась бы война!

Сегодня солдата не интересовало ничего, кроме мести и расплаты. Как было мужественно бледное лицо Бачо, как сверкали его глаза!

Хомок говорит мне:

— Ох, как вы рассердились, господин лейтенант, когда пристрелили итальянского офицера, который хотел дать тягу.

Клянусь, я этого не помню. Но ясно помню лицо Арнольда, когда он во главе своих солдат ринулся вниз, в окопы. В руках у него был короткий карабин. Я знаю, как он умеет обращаться с этим оружием, но он держал карабин прикладом вверх, превратив его в дубинку.

Артиллерия итальянцев все еще беснуется. Она концентрировала свой огонь на четвертом батальоне и на егерях. По приказанию штаба батальона роты размещаются в занятых позициях. Наши старые позиции занимают полковые резервы двенадцатого батальона. Бедный двенадцатый батальон! Теперь я их понимаю. Монте-дей-Сэй-Бузи нельзя было взять одними иерихонскими трубами, для этого необходимо было, чтобы очнулся от мнимой смерти дух войны.

Грохот неприятельской артиллерии не вызывает теперь в нас прежнего ледящего кровь страха, мы просто не обращаем на него внимания. Наши артиллеристы рьяно отвечают итальянцам. Удивительные попадания, потрясающая точность. Итальянские окопы разлетаются в щепки, а их огонь бьет только по нашим проволокам.

Мой отряд уже деятельно работает над переделкой наших новых позиций. Прежде всего надо перебросить брустверы с северного направления на южное и на низменных местах выбросить «испанских всадников» — рогатки переносного проволочного заграждения.

Перед ротой Арнольда нет неприятельской линии, позиции тут кончаются обрывом. Итальянцы где-то внизу. Несколько человек из наших лезут вниз в разведку. Двое убиты, один ранен. Край обрыва удивительно точно пристрелян итальянскими пулеметами.

Серый карзский камень легко подчиняется нашим стальным ломам. Начинаем устраиваться. Подсчитываем трофеи: двести пленных, из них семнадцать офицеров; четыре огнемета, тысячи винтовок, патронов и пулеметов. Много интересных находок. Странно, эти позиции освещались электричеством. Откуда же ввод? Неужели из Удине?

— Это не столько любовь к комфорту, как умение применить технику, — говорит Арнольд.

Хомок спрашивает, не пойду ли я в свою старую каверну, где лежит Шпиц. Шпица будут хоронить в Констаньевиче вместе с остальными жертвами атаки, там им будут отданы все воинские почести.

Я не хочу видеть Мартына мертвым. Мне хочется, чтобы он остался в моей памяти прежним жизнерадостным юношей. А сегодня его лицо было желтым, один глаз открыт, в углу раздавленного мертвого рта запеклась струйка крови. Это не тот Шпиц, я не хочу такого видеть. Плотно прикрываю рукой глаза, как бы желая выжать из них образ мертвого Шпица.

— Нет, не пойду, дядя Андриш, — отвечаю Хомоку.

— Верно, господин лейтенант, все равно ему уже не поможешь. Господин взводный Гаал пошел вниз прощаться. Ведь они земляки. Завтра ему придется написать отцу господина кадета. Да, большое будет горе. Говорят, что господин кадет из бедной семьи, отец его мастеровой.

Хомок говорит тихо, без печали и без гнева. Душу отводит, старый скептик. Я не хочу его прерывать. Хороший человек дядя Андриш! Оказывается, это он сунул мне в руки штурмовой нож, когда я израсходовал все заряды своего револьвера. Старик взял на себя роль верного оруженосца и не отставал от меня во все время атаки. Мой славный боевой товарищ!..

— Ну как, дядя Андриш, кокнули вы хоть одного итальянца? — спрашиваю я.

— Да пришлось, господин лейтенант, — признается он нехотя.

Уже вечерет, а из моего описания еще не занесено на бумагу ни одной строчки. Итальянцы все еще беспокоятся и каждые полчаса возобновляют контратаку, насакаивая на наши флаги. Артиллерия бешено месит спуски Монте-Клары. Очевидно, итальянское командование никак не может примириться со столь неожиданной потерей возвышенности и поэтому безудержно выбрасывает вперед свои резервы, которые должны несколько отодвинуть четвертый батальон и егерей, чтобы охватить возвышенность с флангов.

Неприятельское командование, видимо, потеет кровью. Как только прекращается одна атака, немедленно подготавливается новая. Артиллерия впадает в ураганную истерику, это предвещает штыковую атаку. Мы тоже выдвинули все возможные резервы. Наша артиллерия бьет вяло, но с большими попаданиями.

Мы выскакиваем на гребень каждые полчаса и смотрим, как из ложи, на это клубящееся, исходящее дымом и чадом, воющее и гремящее представление.

— Эта война некрасива, — инстинктивно говорю я, и, как бы в опровержение моих слов, со стороны итальянцев вдруг появляются несколько аэропланов.

— Ага, и вы пожаловали, — кричат солдаты и устанавливают пулеметы на зенит. Летчики кружат над нами несколько минут. Один из них сбрасывает три бомбы, но все три падают в окопы итальянцев. Одна из бомб взрывается прямо перед нами за обрывом. От грохота наша возвышенность задрожала, снизу летят камни, доски, дым и гром. Несколько смельчаков снова пробираются на край обрыва и сообщают, что итальянские окопы под нами горят.

— Жаркий денек выдался для наших друзей. А чтоб не хамили с нами в следующий раз! — неожиданно говорит фельдфебель Новак.

«Ах, господин Новак! Я его сегодня что-то не видел. Где же он был?» — думаю я невольно. Но не хочу ставить его в глупое положение и не спрашиваю, где он был, когда гремел гром.

Вражеские самолеты вскоре превращаются в маленькие точки на небесной лазури и исчезают. Они летят на Удинэ. Через полчаса после их отлета прекращается артиллерийский огонь, утихают окопы. Итальянцы признают победу за нами.

Проходит первый день на Монте-Кларе. Мы полны праздничным чувством победы. Но настроение немного испорчено тем, что господин полковник Коша изругал нашего старичка Мадараша за то, что написанное мной подробное донесение о взятии Монте-Клары попало не в полк, а прямо в бригаду. Это я знаю от Фридмана и Чуторы.

Чем больше я наблюдаю солдат, тем яснее мне становится, что в нашей армии действуют два устава, один писанный, другой неписанный. Эти два устава ведут между собой молчаливую, но упорную войну. Первый устав диктуется сверху, другой — снизу.

Чутора обо многом узнает раньше, чем мы, офицеры. Это противоречит уставу, но это факт. Новак избил моего сапера. Это не предписывается уставом, но это факт. Новак признался мне, что во время атаки он отсиживался в каверне. Он показал мне записку, написанную печатными буквами. В записке значит: «Берегись, собака, кишки выпустим». В одной из букв «б» мне чудится рука Гаала. Новак думал, что я ему посочувствую, но я вернул ему записку и сказал:

— Сохраните на память, Новак.

Раньше такая записка вызвала бы большие неприятности, — это бунт. Но неписанный устав гораздо сильнее, чем многие думают. «Телефонные связи» Фридмана функционируют гораздо лучше, чем у господина майора. Мы с Арнольдом смотрим на это сквозь пальцы, а Бачо восхищается. Полковник Коша обругал нашего майора, хотя виноват не майор, а бригадный генерал, вырвавший донесение из рук Мадараша. Между Коша и Мадараша действует старый устав, поэтому мы только слегка жалеем майора.

В эти полные событий дни мне представилось много возможностей наблю-

дать за солдатами и офицерами. Много своих тайн открыл передо мной Сечам.

Бачо потрясающе прост. Он рассказывает:

— Я сам не понимаю, как это случилось, но, знаете, когда я увидел мертвое лицо кадета Шпица и услышал об этой провокации, я ужасно рассердился. И вижу, что солдаты тоже разъярились. А настоящая война, друзья, начинается только тогда, когда солдат приходит в раж. Господа генералы этого не понимают, это знаем мы, строевые офицеры, запасники, делающие войну. Ну, думаю, если они так близко, айда, ковырнем их. Выскочили мы в апендикс, дошли до конца. Никто не проронил ни звука. Смотрю — лежит куча мешков. Схватил я три штуки, подмигнул солдатам, они сейчас же разобрали мешки. Тут вспомнил я молодость, когда приходилось лезть в чужой сад за яблоками. Накинули мы мешки на проволоку и мигом очутились у них. Очевидно, мы застали там тех, кто совершил провокацию, потому что один из них, кто-то вроде младшего офицера, увидев нас, закричал по-венгерски: «Мадьярок!», но больше ничего не успел вымолвить, — я прямо на него накинулся, и он полетел кубарем.

Бачо очарователен, он всех нас обволаживает своей простотой. Меня считают вторым героем, ведь я шел непосредственно за Бачо, но, по-моему, Арнольд куда больше заслуживает это звание. Ведь героизм офицера проявляется в его инициативе, а надо отметить, что Арнольд был именно тем, кто со второй полуротой вместо того, чтобы итти налево, повернул направо и этим завершил окончательно взятие возвышенности. Если бы мы все пошли налево, то легко могли очутиться в мешке и попасть в плен, вместо того, чтобы принести столь славную победу своему фронтовому участку.

Нет конца подробностям. Лейтенант Дортенберг недоволен, так как он из-за нас пострадал, а доктор Аахим всячески старается доказать, что через пять минут после взятия возвышенности он уже был там. Никто из нас не

был свидетелем докторского героизма, но мы терпеливо выслушиваем это благонамеренное вранье. Сегодня утром лейтенант Кенез конфиденциально сообщил нам, что дивизия запросила имена людей, отличившихся в атаке, и что в штабе батальона уже готовится такой список. Роты получили предписание подготовить списки отличившихся унтер-офицеров и рядовых. Я представляю Гаала, Хусара и того высокого ефрейтора, который вышел за итальянцами на Вермежлиано. Это замечательный парень.

— Как твоя фамилия? — спрашиваю его.

— Пауль Эгри, господин лейтенант. — И его глаза впелись в меня, как гвозди.

Я ходатайствую перед Арнольдом о включении его в список награждаемых и производстве в капралы.

Я очень недоволен Арнольдом. Между нами произошла небольшая размолвка, и на этот раз Арнольд был глубоко неправ. Он неправ, потому что полон мрачного скептицизма, неправ, потому что губит себя морально и физически, злоупотребляя алкоголем. Проще говоря, Арнольд пьет, пьет, как маляр. Маляр, маляр... У нас был сосед маляр Габриель Дитрих, он постоянно был пьян, а в глазах господина профессора доктора Арнольда Шик всегда блистала чудесная ясность. Теперь эти глаза часто затуманены, их взгляд то сонно вял, то дико блестящ.

Господин обер-лейтенант Шик пользуется большим авторитетом в батальоне. Он замкнут, молчалив, умеет отстранять от себя тех, кто ему мешает, и его считают немного высокомерным. Господин обер-лейтенант Шик — командир первой роты, старший чин в батальоне после майора. Сейчас штаб дивизии представил его к производству в капитаны.

Этого молчаливого, корректного офицера никто не знает здесь так, как я, и никто не знает, что этот спокойный, до изящества хладнокровный ротный командир — развалина. Того умного, глубоко образованного человека, которого мы знали как профессора доктора

Шик и за которого мы, его ученики, пошли бы в огонь и в воду, больше нет.

Уж одно то, что я смею так формулировать и писать эти строки, само по себе ужасно, и мое сердце сжимается. Ведь Арнольд был моим идеалом мужчины. Я всегда старался понять его и подражать ему, и это никогда не казалось мне унижительным. И вот теперь мы поссорились. Правда, в наших резких словах не было злобы, а чувствовалась плохо скрываемая любовь друг к другу, но все же это очень горько.

Арнольда не радует победа, его оставляет совершенно равнодушным факт героического взятия Клары. Эта история, по его мнению, не имеет никакого смысла ни с тактической, ни с какой другой стороны. Неверно. Я горячо спорил, восставая против его утверждений. Арнольд сделал безразличное лицо и после моей горячей тирады не нашел ничего лучшего, чем сказать:

— Думай, как тебе угодно.

Это обидно, унижительно. Первый раз в жизни я стою против своего учителя и говорю ему прямо в лицо: «Дорогой учитель, ты этого не понял». Потеря авторитета неприятна каждому учителю, и Арнольд тоже не является исключением. Но на этот раз он не сохранил даже элементарной терпимости и спокойствия. Он кричал, обругал меня, обозвал восторженным теленком, который не видит дальше своего носа. Не понимаю, почему он пришел в такую ярость, и объясняю только тем, что Арнольд злоупотребляет вином. Он вконец извел свои нервы. После атаки я тоже пил.

Но что же я сказал такого, что было бы так возмутительно и глупо? Я только хотел поделиться впечатлениями об этой героической атаке, рассказать, какие чувства она вызвала во мне. Прежде всего я пытался доказать, что война еще не изжила себя, что в сегодняшнем бою были темперамент, ярость и цель, что атаку вело настоящее возбуждение. Арнольд смотрел на меня с отвращением, как на крысу.

— Ты это серьезно? — спросил он тихо.

— Да, совершенно серьезно, Арнольд. Я счастлив, что мог принять участие в этой атаке.

— Любопытно, — сказал он и, взяв со стола давно прочитанную газету, начал просматривать ее.

Я достаточно хорошо знаю Арнольда, поэтому не обрываю разговора, а, слегка повысив голос, продолжаю:

— Да, Арнольд, эта атака меня многому научила и в первую очередь показала, что мы с тобой в последнее время шли по неверному пути. Что случилось? Я, Тибор Матраи, молодой человек двадцати трех лет, офицер венгерской гонведской армии...

— Господин лейтенант...

— Да, лейтенант, состоящий под оружием с самого начала войны, побывавший на многих фронтах, позволил себе в последнее время поддаться такому настроению, высказывать такие мысли, которые...

— ...по крайней мере неприличны для офицера гонведской армии, — закончил мою фразу Арнольд.

— Если хочешь, пожалуй, можно формулировать и так, но прибавь еще, что эти мысли деморализуют и ни к чему хорошему не приведут.

— А чего хорошего ты ждешь?

— Победы, — ответил я вызывающе. — Победы.

— Чего же ты ждешь от победы?

— Арнольд, я не хочу продолжать наш разговор в таком тоне. Выслушай меня до конца, — сказал я спокойно. Арнольд снова спрятался за газету. — Что хорошего в том, что я отдаю все уничтожающему пессимизму? Верно, мои нервы истрепались, признаюсь, что в последнее время я сомневался в целях и путях войны. Главным образом сомневался в том, выдержит ли дальше солдат. Мы, офицеры, не играем роли. Я не считал ни генеральный штаб, ни министров. Те выдержат, если выдержит солдат. Именно ты, Арнольд, пробудил во мне интерес к солдатам. Признаюсь, меня терзали тысячи сомнений, но сегодня я воспринимаю их совершенно иначе, да и многое воспринимаю иначе, чем неделю тому назад. Солдат умеет и может воевать, если его во-вре-

мя поведут, направят и если он осознает, за что.

Арнольд расхохотался. Он смеялся долго, до одушья, пока не уронил газету, и так закончилась наша беседа. Позже я пожалел, что затронул этот вопрос. Арнольд не верит, что мой сегодняшний взгляд на войну — взгляд, окончательно установившийся, он считает это не чем иным, как рецидивом школьных настроений. Может быть, он прав, не знаю, и не хочу анализировать. Я обрел, наконец, то, чего мне так нехватало, — спокойствие, без которого все вокруг превратилось в громадный знак вопроса. Сегодня я смотрю на все с большой уверенностью и никому не позволю вывести себя из равновесия.

Пробую заговорить на эту тему с Бачо. Он удивленно смотрит на меня.

— Да ведь это же политика, дружище, а в политике я полный профан, — говорит он, улыбаясь.

Нет, такой тоже не может быть точка зрения интеллигентного человека. Я давно прошел мимо широко распространенного казенного взгляда, что офицеры не должны заниматься политикой. Тут нам должен диктовать неписанный устав.

Я хочу верить в будущее, хочу, чтобы война не выросла во мне в потрясающее «за что?». Долой знаки вопросов, да здравствуют восклицательные знаки!

Теперь Арнольд, очевидно, считает меня примитивным парнем, на которого не стоило тратить столько усилий и любви. Возможно. Я об этом даже думать не хочу, а прежде чувствовал бы себя глубоко несчастным от такой мысли.

Мой отряд порядком уменьшился, а дела тут очень много. Целый день прошел с тех пор, как итальянцы погрузились в молчание. Вначале еще пробовали пристреливаться, но гранаты, посылаемые на Клору, попадали только к резервам. Вчера заговорила итальянская тяжелая артиллерия.

Отсюда, с вершины, далеко видно. В солнечном море чернеют перелески, блестит река, и иногда, как мираж, виднеются колокольни далекого городка.

Это долина Ишонзо, куда мы так стремимся, где, как нам кажется, мы в открытом бою уничтожили бы неприятеля. Мы уверены, что если бы могли отсюда спуститься на равнину, там все пошло бы, как по маслу.

Сегодня целый день обставляем и передуваем позиции. Это значит, что все направленное к северу мы теперь переносим на южную сторону. Сегодня я осмотрел латрину¹⁾, которую итальянцы спустили на наших. Это мастерски сделанное сооружение, как балкон, висит над террасой. Надпись: «Латрина № 7». У итальянцев тут господствовал порядок, как в крепости.

Получаю приказание от майора Мадараши перебросить латрину на сторону итальянцев, установив ее над пропастью таким же висячим балконом. Приказ вызывает среди солдат большое оживление. Работа по переноске латрины идет дружно и весело. Гаал тоже сочувствует этому делу. Саперы уже рвут камень на том месте, куда можно будет вставить это сооружение. На вторую ночь латрина перекочевала с севера на юг. Итальянцы, увидев ее, открыли бешеный пулеметный огонь. В латрине в этот момент сидели два солдата. Оба получили легкие, чрезвычайно счастливые раны. Рота с нескрываемой завистью провожала счастливых, отправившихся на перевязочный пункт.

— Плохая шутка эта латрина, — говорю я Гаалу.

— Народу нравится, господин лейтенант. Ведь тут мало развлечений.

Латрину углубляем, замаскировываем камнями, видна только ее железная крыша. Итальянцы постреливают. Вокруг латрины кружатся рикошеты, но все же все стараются попасть туда. Приходят даже из чужих рот. Солдаты усердно собирают мед мест.

Меня очень интересует, откуда итальянцы могли получать электрическую энергию. Осматриваем офицерские блиндажи, глубокие каверны, и Гаал приходит к заключению, что дело не обошлось без электрической буровой машины. Мой взводный с большим ува-

¹⁾ Отхожее место.

жением относится к итальянской технике.

— Ох, что касается камня, тут итальянцы первые мастера. Наши солдаты больше любят землю, да и то на этой земле предпочитают сеять и боронить, а не рыть окопы.

Несносный человек этот Гаал. Он любит разглагольствовать и слишком много позволяет себе, — это результат либерализма Шпица.

Из штаба батальона пришла телефонограмма с приказом Шпрингеру, Бачо и мне в сопровождении взвода из первой роты сегодня вечером сняться в Нови-Ваш, где нас будут ждать автомобили. Завтра похороны героев. Вначале предполагали, что пойдет вся первая рота, но потом по высшим соображениям этот план отменили. Сменять нас пока не собираются. Мы уже знаем, что означают эти высшие соображения: предстоят большие награждения и всякая такая музыка. Говорят, что награждения будут произведены лично командующим участком фронта генералом Бореовичем тут же, в окопах, на самой вершине Монте-дей-Сэй-Бузи. Но есть и такой слух, что Бореович-то прибудет, но награды будет раздавать сам главнокомандующий — эрцгерцог Иосиф. Солдаты очень довольны и перевозноят эрцгерцога, но, к сожалению, они делают это слишком громко и преимущественно в тех случаях, когда поблизости стоит какой-нибудь офицер. Это, безусловно, снижает ценность их восторженных отзывов, но многие из офицеров этого не понимают.

Вызываю Гаала. Даю ему указания, что надо делать во время моего отсутствия, и объявляю, что меня будет заменять кадет-аспирант Торма. По губам взводного скользит пренебрежительная улыбка.

— В чем дело, Гаал? Вы имеете что-нибудь против господина аспиранта? — спрашиваю я вызывающе.

— Никак нет, — говорит Гаал и с удивлением смотрит на меня, как будто видит в первый раз. Я подчеркнуто холоден и официален.

— Сегодня ночью надо закончить переброску бруствера, а когда я вернусь,

приступим к работам на правом фланге. Мы можем закрепить за собой Бузи только тогда, когда выберемся на ту сторону.

Я браню егерей, прозевавших удобный момент отбросить итальянцев назад хотя бы на сто метров. Мне хочется, чтобы Гаал понял, что я полон самых воинственных чувств, и чтобы он не смел откровенничать со мной, высказывая свои взгляды на войну и армию, как пытался делать до сих пор.

— Ну-с, господин взводный Гаал, надеюсь, вы меня поняли. Смотрите, чтобы в латрине номер семь не повторились несчастные случаи, вроде вчерашнего. За это ругают только нас, саперов. Я отдал приказание господину кадету Торме, чтобы он потребовал от роты двадцать — двадцать пять человек в помощь нашему отряду. Кроме того, прикажите Киралю, чтобы по моему возвращении он дал мне ответ: откуда итальянцы взяли электроэнергию и какого сечения провода? Я сомневаюсь, что электричество у них было проведено только для освещения.

Гаал молчит. Он, видимо, удручен и даже ни разу не сказал, как полагается, «так точно». Поэтому в конце я резко спрашиваю:

— Вы меня поняли?

— Понял, господин лейтенант, но...

— Ну, что еще?

По лицу Гаала пробегает тень смущения, он секунду колеблется, потом тихо говорит:

— Ничего, господин лейтенант, я только хотел сказать... Но, может, господину лейтенанту не угодно слушать...

— Я вас не понимаю, Гаал. Солдаты мы или старые бабы? Чего вы мямлите? Говорите прямо.

Гаал вытягивается, чего он давно не делал. Ему не к лицу эта солдатчина, но он, видимо, хочет мне угодить.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что в оперативном отделе штаба дивизии или бригады должна быть особая карта разреза нашей возвышенности. Мы называем это гидрогеологической картиной местности. Для того, чтобы у нас было правильное понятие о том, что из себя представляет Монте-

дей-Сэй-Бузи, нам необходимо получить эту карту. И так как вы изволите отправляться в Констаньевице, я хотел просить вас...

В первый момент я испытываю смущение, но внезапно оно переходит в яростную злобу:

«Ага, значит, господин цугсфюрер хочет сказать: «Э, господин лейтенант, ты еще дитя, и хотя я простой цугсфюрер, у меня в мизинце больше понятия о войне, чем у тебя».

Подавляя ярость, хмурю лоб и с явным неудовольствием говорю:

— Правильно, Гаал. Очень хорошо, что вы мне напомнили об этом.

И раздражение тут же исчезает, я готов признать, что Гаал гораздо больше меня понимает в саперном деле, но не хочу ему этого показывать.

Мы выступаем около семи часов вечера, не ожидая темноты и дерзко игнорируя итальянцев. Перед тем как двинуться в путь, я захожу к Арнольду. Меня принимает Чутора.

— Господин доктор спит. Всю ночь не спал, кашлял, сейчас уснул.

Но я слышу за дверью знакомое сухое покашливание Арнольда и понимаю, что он бодрствует, только никого не хочет видеть. Так покашливал он дома в своем кабинете, когда, погруженный в мысли, сидел за письменным столом. Ко мне возвращается прежняя нежность, чувствую, как близок и дорог мне этот человек, и грустный выхожу из каверны.

Взвод уже выстроен. Впереди Новак. Его назначили к нам, чтобы он прибрал «банду» к рукам. Новак чисто выбрит, ест меня глазами, смотрит в рот, ожидая приказаний. Я — старший в этой экспедиции, но сейчас же поручаю взвод фенриху Шпрингеру. Шпрингер достал откуда-то черные муаровые ленты и прикрепляет их к нашим левым рукавам. Ну да, ведь мы идем на похороны.

Остающиеся солдаты смотрят на нас с почтительным любопытством и нескрываемой завистью. В чем дело? Ведь тут сейчас прекрасно, никто их не тронет, и, кроме того, это место — поле наших побед. Итальянцы сброшены вниз, мы наверху. И все же как рвутся отсюда солдаты! А ведь мы здесь все-

го шестой день. Даже при нормальных условиях смена не происходит раньше восьми-десяти дней, тем более сейчас, когда предстоят такие торжества.

Спускаемся к своим старым окопам. Здесь уже большой порядок. Подтянуты резервы. Около батальонного перевязочного пункта замечаю Хусара. Он тоже увидел меня, вынимает изо рта трубку и, опираясь на палку, подходит ко мне.

— Что, Хусар, тяжелое ранение? — спрашиваю я иронически.

Лицо у капрала желтое, помятое, глаза смотрят враждебно.

— Два небольших осколка удалили, господин лейтенант, — говорит он кисло. — Завтра, если будет нормальная температура, возвращаюсь в отряд.

Хусар до смешного печален. В его тоне ясно звучит: «Ведь вот так близко было счастье, и какая-то цифра перепутала выигрыш». Мне становится жаль его. Вынимаю блокнот служебных записок, пишу несколько строк начальнику брестовицкого этапа и протягиваю записку капралу.

— Вот, Хусар, спуститесь в обоз, передайте эту записку и, когда как следует отдохнете, возвращайтесь с тремя перископами нового образца. Ладно?

Хусар вытягивается, и мы оба улыбаемся, каждый своим мыслям.

В устье хорошо укрепленного хода сообщения к нам присоединяется Бачо. Идем ходами, иногда оглядываемся на горбатый силуэт Монте-Клары. Да, теперь Клара не вызывает в нас прежнего холодного замиранья сердца, сейчас мы смотрим на нее с благодарностью, даже с нежностью.

Улыбаясь, рассказываю Бачо о своей встрече с Хусаром. Бачо одобряет мой поступок.

Герой Клары, лейтенант Бачо, идет рядом со мной. В этом молодом человеке, действительно, много природных хороших качеств. Он говорит о случившемся без всякой напыщенности и самомнения и, оборачиваясь к Кларе, смеется:

— Чорт тебя побери, Кларочка, твердый ты была орех, однако раскусили тебя.

Другой на его месте сейчас же узнался бы и возгордился. В поведении Бачо нет и тени этого, его добродушная простота сейчас особенно приятна.

Меня шокирует благоговейное восхищение Шпрингера, когда он говорит о героизме Бачо и моем. Я решительно протестую против столь лестного выдвигания моей роли, но Бачо всячески подчеркивает, что я первый поддержал его во время штурма. И тут же я замечаю, как Шпрингер ловко переводит разговор на свое участие во взятии Клары, начинает рассказывать о себе, сперва осторожно, но, видя, что мы его не обрываем, чувствуя добродушие Бачо, постепенно нагнетает и расписывает, как он повел свой взвод на штурм. Меня забавляет его хвастливость. По таким мелким штришкам я составляю характеристику собеседника. Если бы я сделал сейчас какое-нибудь острое, меткое замечание, сразу бы рухнули осторожные попытки фенриха стать рядом с нами. Но я молчу. Ведь все на свете относительно, в том числе и наш героизм.

Бачо тихо напевает:

Сегодня красная жизнь,
Завтра белый сон.

Как понятна здесь эта песня! Это же фрагмент фальшивого, сентиментального военного кабаре, а вот, когда это запел Бачо, слова сразу стали яркими и выпуклыми, как барельеф.

Мы совсем сошли с ума: идем по ходу сообщения, как по деревенской улице, с поднятыми головами, с наглой самоуверенностью, даже шумим: напеваем, тихо разговариваем. Временами оглядываемся на Клару, и тогда сразу останавливается весь взвод, и все смотрят на предмет наших мучений и побед. Приятно смотреть на нее отсюда с тыла, откуда мы так часто с трепетом наблюдали за ней.

Бачо сегодня задумчив, зато Шпрингер болтает без-умолку. Я представляю себе Шпрингера штатским. Он был, наверное, вычурно-элегантен и эту элегантность банковского служащего придал сюда на фронт. Он всегда вы-

брит, причесан и отполирован. Он играет в карты, и, говорят, весьма счастливо.

Я слушаю разглагольствования фенриха. Он глубоко взволнован героическим порывом нашего батальона.

— Что верно, то верно: ни я, ни Бачо, ни ты ничего не могли бы сделать, если бы за нами не пошли солдаты. Без решимости и преданности солдата не может быть победы.

— О какой преданности ты говоришь?

— Преданность офицерам, конечно. Офицерам и присяге.

— Ага, понимаю. Продолжай.

И Шпрингер продолжает развивать свои взгляды, которые потрясающе похожи на мои попытки уяснить себе причины событий. Это открытие приводит меня в отчаяние и наполняет беспокойством. Путаные концепции Шпрингера доказывают, насколько несовершенна моя точка зрения, а я воображал... Но не хочется сейчас об этом думать. Нет, нет, только не думать. Теперь надо чувствовать, ощущать сладость победы, а не думать о ней. И вдруг я слышу иронический голос Арнольда:

— Ага, мой друг, значит, дело дошло уже даже до того, что и мыслить опасно. Да ведь это философия дезертирства.

К счастью, Шпрингера вызвали вперед и прервали его многословные рассуждения, возбудившие во мне чувство острой тоски и беспокойства. Впереди образовался затор. Навстречу нам идет целый транспорт. Несут мины находящемуся тут недалеко в одной из воронок минометному отряду. Солдаты несут мины на носилках, на каких уносят отсюда тяжело раненых и убитых. Идут с предельной осторожностью: ведь достаточно уронить одни носилки, чтобы весь транспорт взлетел на воздух. Мы отходим в одно из ответвлений и пропускаем бомбометчиков. Они предупреждают нас, что в нескольких шагах отсюда имеется опасное место, поражаемое неприятельским ружейным и пулеметным огнем. Узнав, что мы из десятого батальона, они долго и с любопытством рассматривают нас. Ага, так вот

они те, знаменитые!.. Наши солдаты прыгают, снисходительно отвечают на вопросы бомбометчиков.

Село Добердо обходим стороной. Вправо от нас виднеются его разрушенные улицы. И все же тут чувствуется какая-то жизнь и движение. В одном из разоренных садов видим артиллеристов. Домовито живут землячки. Это полевая батарея, снабженная прожектором. Они беспокоят тыл итальянских вермежлянских позиций, посылая туда воюющие шрапнели и ослепляя лучами прожектора продвигающиеся по ночам части. В самом Добердо, несмотря на то, что оно кажется совсем вымершим, существует хорошо налаженная подземная жизнь. Все обращенное к фронту тщательно замаскировано, открыто только то, что направлено к тылу. Эта суровая необходимость маскировки превратилась у людей в потребность. Телефонисты ползком движутся вдоль своей линии, проверяя каждый сектор. Работают они сонно, нехотя. Удивленно смотрят на нас, но, заметив на околышках наших фуражек цифру десять, переглядываются. Эти все знают.

— На похороны, друзья? — спрашивает унтер-офицер.

— Нет, на свадьбу, — насмешливо отвечают наши.

Ход сообщения неожиданно обрывается, мы выходим на поверхность земли. Спуск, русло высохшей реки, на той стороне его начинается шоссе. Как странно идти при дневном свете по этой местности, виденной нами только по ночам. Правда, солнце уже спустилось за горы, и тени гор окутали нас сумерками, но в небе еще играют золотые лучи. Камни отдают тепло, впитанное ими в течение знойного дня, и быстро остывают. Часа через два они заставят нас дрожать от холода.

Шоссе, по которому мы движемся, всюду изрыто свежими артиллерийскими воронками. Везде валяются вывороченные деревья, груды обвалившихся камней. В домах на месте дверей и окон зияют дыры, во дворах лежат сорванные крыши, по дороге сломанные колеса, перевернутые автомобили, разбитые ящики, одинокий крест (похоронен на

том месте, где убит), недалеко от шоссе полосатый пружинный матрац с темными пятнами крови. Нас торопят прячущиеся в кустах полевые жандармы. Вдруг опять ход сообщения, пробирающийся навверх глубокими широкими зигзагами. Шагов через двести он так же неожиданно обрывается. Мы очутились на вершине холма. Внизу, на шоссе, видим группу автомобилей. Мы в Неуз-Вилла.

Оглядываюсь: нет ни Добердо, ни Монте-дей-Сэй-Бузи, нет ничего. Передо мной мягкие, покрытые кустарником холмы, на вершинах которых видны прорезы ходов сообщения. Влево шоссе, настоящее, хорошее шоссе с белыми колышками по обочинам. Белой лентой спускается оно в долину. Мирный пейзаж, на котором так дико выглядим мы, солдаты.

Неуз-Вилла состоит из нескольких построек вроде вилл. Здесь, должно быть, жили местные богачи, а теперь эти дома занимает штабная знать.

Шоферы заводят машины, солдаты штурмом берут кузова. К нам лениво подходит этапный комендант, низенький неприветливый капитан, и просит нас удалиться до наступления темноты, чтобы зажженные фонари не навлекли неприятностей на его участок.

Бачо шутит и балагурит с солдатами, просит их спеть. Они не заставляют себя долго упрашивать. Мелодия почти веселая, похожа на марш, но текст, текст! Эти слова хватают за сердце:

Строгай, столяр, строгай, пока
Гробов для целого полка
Не напасешь, а на кресте
Ты напиши: «Последним сном
Десятый полк спит под крестом».

Автомобили двинулись. Солдаты сидят, крепко ухватившись за деревянные скамьи, и орут:

...а на кресте
Ты напиши: «Последним сном...».

Удивительно: ни Бачо, ни Шпрингера песня не трогает. Я слышу ее в первый раз, это, очевидно, последний шедевр солдатского творчества. Но ведь это надо понять, это же не бессмыслица.

— Похоронная песня, — говорю Бачо, располагаясь с ним на кожаных сиденьях бригадной машины.

— Э, они знают, что петь, — беспечно отвечает Бачо.

На секунду я погружаюсь в то мучительное состояние, из которого, казалось мне, я уже окончательно выкарабкался, но в следующий же момент с ужасом вырываюсь из него, мысленно снова штурмуя Клару.

Автомобиль роскошный. Восхищение Шпрингера безгранично, когда он узнает, что это личная машина бригадного генерала. Широкие, удобные кожаные сиденья, бесшумный ход и бешеная скорость на поворотах. Грузовые машины ушли раньше нас на пять минут, а мы их уже давно перегнали. Услышав решительный сигнал нашего автомобиля, грузовики покорно посторонились, и мы бешеным аллюром промчались мимо них. Несколько секунд видна мутная поверхность Добердовского озера. Над водой стоит туман. Улицы Неуэ-Вилла пусты, но в домах живут, конечно, не жители, а чины этапных частей. Попадает и несколько настоящих вилл, но крыша одной из них валяется во дворе, пробитые бомбами стены показывают свое кирпичное мясо.

— Это случилось на-днях рано утром, на рассвете. Четыре бомбы кинули итальянцы, много наших осталось на месте, — поясняет шофер равнодушным голосом гида.

Дальше уже простирается знакомый пейзаж. Вот скала, под которой отдыхали пленные итальянцы, вот дорога в Опачиосело. Чем ближе мы подъезжаем к Констаньевиче, тем более дает о себе знать присутствие армии.

Нас везут прямо в штаб бригады. Бригадного генерала нет, принимает нас белесый сухой майор-генштабист, начальник штаба бригады. Он поджидает на лестнице, пока мы выберемся из машины, выслушивает мой рапорт, и с него сразу слетает официальность, он превращается в гостеприимного хозяина. Штабные облепили окна, на нас смотрят с удивлением и оказывают всяческое внимание. Майор приглашает в свой кабинет и предлагает сигары. Вхо-

дят несколько штабных офицеров, среди них Лантош. В обращении со мной Лантош усиленно подчеркивает свое начальническое благоволение. Майор закрывает дверь и обращается к нам:

— Ну, друзья мои, расскажите подробно, что было и как было. Тут содалось столько легенд, и такая масса противоречивых данных, что голова идет кругом. Хочу ясности.

Я указываю на Бачо.

— Господин майор, настоящий герой штурма — лейтенант Бачо. Весь прорыв — это его инициатива.

Все взгляды обращаются на Бачо, который определенно сконфужен. Он смущается, как гимназист у доски.

— Если Бачо разрешит, я расскажу, как было дело, — прихожу я к нему на помощь, так как молчание уже становится тягостным.

В середине моего рассказа прибывает возвратившийся с какого-то важного совещания генерал. Он снисходительно оправдывается в том, что не мог принять нас лично. От генерала распространяется сильный запах духов. Бачо невольно поводит носом. Я снова начинаю свой рассказ, и теперь, в силу какого-то упрямства, больше говорю о роли солдат, чем офицеров, подчеркивая, что солдатский героизм ставлю выше нашего. Иногда взглядываю на Бачо, в глазах которого теплится одобрительная улыбка. Зато Шпрингер совсем завял и слушает меня с удивленным неодобрением.

— Читал твое донесение, — кивает генерал. — Там ты тоже преувеличиваешь роль солдат. Это неправильно. Без инициативы господ офицеров, без вашего героизма солдаты были бы бессильны.

И, дерзко перешагивая через все условности, я, привстав, тихо заканчиваю фразу генерала:

— И наоборот, ваше превосходительство.

Минута растерянности среди присутствующих, но генерал соглашается со мной, и все облегченно вздыхают, только по лицу капитана Лантоша вижу, что он с удовольствием свернул бы мне шею.

Мы находимся в гостях у командования бригады. Обер-лейтенант, тыловик, провожает нас в отведенные нам апартаменты. Уютный, спрятанный в саду домик, отдельные комнаты, ванны. Парикмахер-солдат уже сбивает в тазу мыльную пену, портной-солдат снимает с нас запыленные, мятые костюмы.

— Цивилизация! — кричу я из ванной Бачо, которого уже бреют.

Смотрю на свою руку, покрытую белой пеной, и вдруг вспоминаю Мартына Шпица. Ведь мы и его будем хоронить, Мартына Шпица, который еще не жил. Вспоминаю его рассказ о девушке из Виллаха, о запахе сапожной мастерской, и с внезапно сжавшимся сердцем думаю о своем отце. Отец со страстностью маниака отдавал свои последние гроши для того, чтобы сделать из меня человека. Я — самое большое достижение его жизни, я, его сын, — господин. Небось, брата Александра он воспитывал не так, тогда еще у него не было таких мечтаний, и вот бедный Александр погиб рядовым в самом начале войны. С поразительной ясностью представляю себе, что, если бы мой отец был немного моложе, его могли бы призвать, и он, возможно, стал бы денщиком какого-нибудь молодого лейтенанта тут на Добердо. Бррр...

Я выскочил из ванны, вытерся и вместе с освежающей водой как будто стер все очарование барской снисходительности штабных господ.

«Нет, весь этот комфорт, сибаритство, — это не мое, это ихнее, чужое» — с горечью подумал я. И весь вечер не покидало меня сознание отчужденности. Я чувствовал это на ужине у генерала, когда подвыпивший Бачо еще раз повторил историю взятия Клары. Надо отдать справедливость, Бачо, даже пьяный, не утратил своей скромности. Правда, хваля солдат, он буквально повторил несколько моих фраз.

За ужином Лантош сидел рядом со мной, и я терпеливо выслушивал его дружеские излияния. Вспомнив просьбу Гаала, заговорил с ним о карте.

— Где-то должна быть такая карта, — рассеянно сказал Лантош. — Я

прикажу Богдановичу найти. Он, наверное, знает, где они хранятся — у нас или в дивизии.

— Убедительно прошу тебя, господин капитан. Нам необходимо точно знать разрез Монте-дей-Сэй-Бузи.

Капитан кивает, чтобы отвязаться; я чувствую, что все его внимание сосредоточено на почетном конце стола, где бригадный генерал отпустил какую-то шутку и посвященные сдержанно смеются над ней.

Ужин далеко не казенный. Масса разнообразных блюд, в которых чувствуется рука первоклассного повара. Все это действует как-то возбуждающе.

После ужина начальник штаба бригады отводит нас в сторону и сообщает, что бригадный желает повезти нас в Загряя, показать клуб и кино, но, конечно, только в том случае, если мы не устали. Разумеется, соглашаемся и делаем вид, что мы в восторге.

Опять авто. Снова бешено мчмся, но теперь уже с зажженными фонарями и далеко слышными сиренами. Загряя лежит среди гор. Хорошенькое местечко. Широкие улицы, в окнах домов уютно теплятся огни, много гуляющих. Тишина, война далеко, и если бы не форма гуляющих, можно было бы подумать...

В большом, ярко освещенном здании, вроде казино, царит оживление. Из одного зала на нас обрушивается цыганская музыка. В другом вокруг круглого стола идет крупная игра. Все это, быстро чередуясь, мелькает перед моими глазами. Подымаемся на второй этаж. Наш бригадный, видимо, тут заведует. У дверей стоит дежурный офицер.

— Уже начали? — спрашивает генерал.

— Только-что, ваше превосходительство.

— Ну, скорее открывай двери.

Офицер пропускает генерала, вопросительно-удивленно смотрит на нас, но майор делает знак, и нас впускают. В комнате темно, но чувствуется присутствие многих людей. Кто-то притягивает меня к стулу, и вдруг передо мной вспыхивает экран.

Аэроплан. Сначала бросается в стороны, потом плавно скользит, пока не появляются два неприятельских истребителя. Первый самолет резко поворачивает, намереваясь удрать, но истребители настигают его и заставляют принять бой. Бешеное нападение, расплываются облака шрапнельных разрывов. Неприятельский аэроплан качнулся, падает, и с того места, где поверженная машина коснулась земли, подымается пышный султан дыма. Вдруг я узнаю местность: ведь это Опачиосело.

Мой сосед шепчет:

— Это произошло тут недавно, месяц тому назад. Правда, интересно?

Загорается ослепительный свет. Зал полон штабных чинов, два генерала, несколько полковников и, кроме нас, лейтенантов, только один младший офицер, совсем молоденький, почти мальчик. Сосед объясняет мне, что это отпрыск династии. Бригадный представляет нас присутствующим. Нам устраивают шумную овацию, которая производит на меня впечатление очередного атракциона сегодняшнего вечера.

На этом сеансе мы еще видели военную хронику. Верден; взятый в плен английский танк с водителем-немцем; гусары, эскортирующие русских пленных; действия наших сорокадвухсантиметровых мортир и снимки роскошного санатория для выздоравливающих офицеров. В конце комедия: господин белобилетник не хотел быть солдатом, и что из этого вышло. Белобилетника играл знаменитый венский комик. Невозможно было не смеяться, но все-таки комедия оставила грустное впечатление.

После кино мы спустились в первый этаж и уселись за столиками. Цыгане играли сладкие вальсы. Шпрингер в диком восторге:

— Вот это жизнь! Культура, цивилизация! Друзья, разве можно подумать, что война всего в двадцати пяти километрах отсюда?

Мы — гости генерала. С нами обращаются очень внимательно. Майор, начальник штаба, удивительно мил, но каждое его слово, каждый жест как будто говорят мне об униженности нашего положения.

«Веселитесь, друзья, почувствуйте, как мы вас ценим, ведь мы принимаем вас как равных, и даем возможность пользоваться теми благами, которые являются нашей собственностью, собственностью господ штабных. Цените же это».

Бригадный старается быть очень любезным. Он сажает нас с Бачо рядом с собой, что вызывает завистливые взгляды тщеславных штабных. А в моем сознании неотступно сверлит: «Чужие, чужие, чужие».

Лантоша весь вечер не отстает от меня. Он считает, что я — его герой, и как бы купается в лучах нашей славы. На лице его ясно написано: «Смотрите, какие у меня субалтерны».

Потом опять садимся в автомобили, пересекаем погруженную в ночной мрак местность, и, наконец, в маленьком домике я могу сбросить с себя все и спать, спать, спать. Постель нестерпимо мягка, пружины музыкально поют подо мной, одеяло и ослепительные простыни отдают приятной свежестью.

Я смотрю на потонувший во мраке потолок своей комнаты и долго размышляю. Потом вдруг восстаю против себя: «Какого чорта я копаюсь? Ведь такова жизнь». Но снова с холодной последовательностью ползут мысли за мыслями.

Наша армия состоит из трех прослоек, их соединяет столетиями выкованная в казармах дисциплина. Первый и самый толстый слой — солдаты. Это многоликая, многокрасочная, тысячеглазая основа, в глубокой толще которой творятся совершенно неведомые нам дела. Эта прослойка самая неизведанная, самая шаткая и загадочная. Есть люди, думающие, что единственное свойство этой массы — способность слепо повиноваться. Какое заблуждение! Вторая прослойка — фронтовое офицерство. Она куда тоньше и прозрачнее, но не менее шаткая, чем первая. Между двумя этими прослойками, как масло между трущимися частями машины, идет прослойка унтер-офицеров. Она облегчает трение, возникающее при соприкосновении этих частей. Солдаты и офицеры — это два разных мира, которые соеди-

няет один жесткий болт дисциплины. Если он ослабеет, прослойки разлетятся в стороны.

А эти господа тут в штабе, — кто они такие? Это привилегированный, высший слой, который среди ужасов и лишений умеет и смеет создавать себе подобие жизни. Эти господа — специалисты войны, они заставляют делать войну. Война — их профессия, это чувствуется тут в воздухе, в комфорте, в оборудованности, непоколебимом покое. Ого, если бы судьба войны зависела от них, тогда бы война длилась до последней пули, до последней ложки солдатского супа и до последней братской могилы. Если им позволить и дать возможность, эти господа будут «воевать» без конца, да еще как! Только выдержат ли солдаты — вот вопрос. Мысли эти, как змеи, ползут в извилинах моего мозга, и напрасно стараюсь отогнать их, напрасно пытаюсь согреть сердце прежним оптимизмом. Все мои старания не приводят ни к чему, и на моих глазах закипают горькие слезы.

Утром хоронили героев. На похороны прикатил и господин майор Мадараши. Гробы были наглухо закрыты, и, несмотря на хлорную и карболовую дезинфекцию, от них уже шел густой запах разложения. Хороним их в двух больших могилах, в одной офицеров, в другой солдат. Но вместо тридцати девяти гробов — сорок четыре. Кто же остальные? На мой вопрос один из штабных адъютантов тихо отвечает, что к нашим жертвам подбросили еще несколько офицерских трупов с других участков. Об этом хлопотали их влиятельные родственники.

— Значит, протекция распространяется даже на тот свет, — говорю я в едком стиле Арнольда.

И в этот момент остро чувствую, что по отношению к Арнольду я, действительно, совершил ошибку.

Фельдкурат говорил нудно и витиевато.

— Ну, этот, наконец, тоже дорвался до дела, — шопотом сказал мне Бачо, скорчив благоговейную физиономию.

Наш взвод образовал эскорт похорон, но, очевидно, командование нашло

его чересчур жидким и включило в эскорт роту из отдыхающего двенадцатого батальона. Потом для помпы, когда и этого показалось мало, вызвали еще легкую батарею.

Наш взвод выстроился у самых гробов. Новак в ажитации. Он чувствует себя, как укротитель в зверинце, и особенно старается на глазах высшего начальства. Ну, этот покажет образец казарменного искусства. И все же залп прозвучал нестройно. Новак поbledнел, но начальство не обратило внимания на этот дефект, только плечо нашего майора нервно дернулось. Лицо генерала выражало рассеянную скуку. Легкая батарея отсалютовала несколько раз, и младшие офицеры, сохраняя строевой порядок, развели части по казармам.

После похорон начальство дало поминальный обед. Я заглянул к нашим солдатам. Люди оживленно опорожняли бутылки с подкрашенным спиртом. На обед подали гуляш и вареники с творогом. Настроение у публики было приподнятое, мне хотели устроить овацию, и только мой искренний ужас остановил их.

На поминальном обеде присутствовал полковник Хруна. Я очень обрадовался, увидев старика. Полковник тоже громко выразил свою радость, хлопнул меня по плечу, потом, взяв под руку, демонстративно прошелся со мной по залу.

— Собирался к вам туда наверх, — заговорил Хруна. — Но все некогда. Завтра уезжаю на несколько дней на правый фланг. Скажи, как ведут себя итальянцы?

— Очень тихо, господин полковник.

— Гм, в таком случае, дорогие друзья, надо смотреть в оба, чтобы они не учинили какой-нибудь большой пакости.

В дверях появился майор-генштабист, пропустив перед собой нашего храброго генерала. Разговоры оборвались, каждый занял свое место. Хруна сидел рядом с генералом, а мы трое, герои дня, получили места вне чинов посередине стола.

Почему смотреть в оба? Какую пакость могут сделать итальянцы? Слова Хруны не давали мне покоя.

Я налег на коньяк, желая согреться, и это мне скоро удалось. Прошло гнетущее чувство, я начал осваиваться в обществе.

«А, чорт пзбери все! То-есть что все? Ну, конечно, в первую очередь войну» — подумал я и рассмеялся пьяным смехом. Бачо спросил, над чем я смеюсь. Я взглянул на него и пожал ему руку. Чувствую, что глаза мои подозрительно блестят, на плохо повинующемся лице блуждает улыбка.

— Весело хороним, дружище, — говорю я.

Бачо вместо ответа жмет мне руку, и мы чокаемся. Потом генерал произносит речь. Но плавные, пустые, бесчувственные слова не доходят до наших сердец. Осторожно, чтобы никто не заметил, срываю с левого рукава траурный муар. А пир идет горой, поминальный обед незаметно превращается в пирушку. В зале появляются цыгане и еле слышным пианиссимо наигрывают венгерские минорные мотивы.

— Спящий в гробе, мирно спи, жизнью пользуйся, живущий, — кричит, подымая бокал, маленький круглолицый фельдкурат, и эти слова как бы служат сигналом для цыган перейти на более мажорную музыку.

Собираясь уезжать, генерал обращается к нам с короткой воодушевляющей речью, восхваляет нашу доблесть и дает понять, что высшее командование намерено произвести большие награждения и повышения в нашем батальоне. Ему отвечает прочувствованными словами майор Мадараша. Генерал пожимает нам руки и уезжает. Хруна тоже встает, я провожаю его. Лантош неотступно следует за нами. Я заговариваю относительно гидрогеологической карты.

— Во, во, во! — восклицает Хруна, тыча меня пальцем в грудь. — Обязательно, господин капитан, найди им эту карту, я тебя очень прошу.

Полковник прощается с нами. Лантош очень недоволен.

— К чему ты беспокоишь старика такими пустяками? Ведь я же тебе сказал, что найду эту карту. — И, презрительно опустив нижнюю губу, он отворачивается от меня.

Среди шума и веселья я быстро трезвею. Поминальный обед никак не может кончиться. Штабные офицеры сильно подвыпили. Начальник штаба бригады с горечью втолковывает Мадараша:

— Не теперь надо было брать Клару, а месяц тому назад. Сейчас, когда все уже готово для наступления правого фланга, Бузи снижается до местного значения.

Мадараша очень обижен:

— Значит, ты оспариваешь героизм моего батальона?

— Герои, герои, слов нет. Командование в восторге. Но ты же, как офицер, должен понять, что со стратегической точки зрения это — ничто.

Меня вызывают, и я оставляю спящих. Перед баракком ждет Новак. Он докладывает, что на обратную дорогу нет перевозочных средств и придется идти пешком. Поодаль на шоссе стоит взвод. Я приказываю двигаться в направлении Нови-Ваш и, не ожидая нас, с наступлением темноты идти на передовые позиции. Новак козыряет. Взвод нехотя повинуется его сердитой команде. Вижу, что некоторые из солдат не в состоянии попасть в ногу.

«Бедные мои старички!» — думаю я с нежностью и долго смотрю им вслед. Кто-то окликает меня. На шоссе остановилась бричка, в ней наш брестовицкий этапный офицер. Оказывается, он везет почту, и мне есть письмо. Какая приятная неожиданность! Письмо от Эллы. Арнольд получил две газеты, книгу и письма. С трепетным волнением разрываю конверт.

«Мой дорогой друг...». Пишет из нашего родного города. Посетила моих родителей. Отец все еще болеет; Иринushка Барта, наконец, вышла замуж за офицера-летчика, а Элла собирается в Швейцарию.

Элла собирается в Швейцарию. Она бежит от сумасшедшего пожара войны на этот остров. Сначала поедет в Вену, где в министерстве уже готовы ее бумаги. Арнольд не возражает против этой поездки.

Много, много раз перечитываю письмо. В офицерском собрании шумно про-

должается потерявший свой смысл поминальный обед.

Я сижу на террасе собрания и не нахожу сил вернуться в эту пьяную компанию. Так приятно сидеть в одиночестве, вернее, в обществе письма Эллы, сидеть забытым всеми и думать о своем. Швейцария...

Бачо тронул меня за плечо. Майор Мадараша машет из автомобиля. Я подхожу, сажусь. Едем в Нови-Ваш. Шпрингер что-то горячо объясняет майору, который слушает с видимым удовольствием.

— Это они из зависти, господин майор. Раз сам эрцгерцог собирается раздавать награды, — значит, это не шутка. Даже немцы не могли сделать того, что сделал наш батальон.

Элла едет в Швейцарию. Швейцария теперь остров, где не трещат пулеметы и не рвутся снаряды. Пастухи с перьями глухарей на войлочных шляпах падут тучные стада на верхних склонах Альп, небо чисто, и в солнечных лучах горят глетчеры.

В Нови-Ваш мы прощаемся с осоловевшим майором и двигаемся к хорошо знакомым ходам сообщения. Уже совсем стемнело, когда мы доходим до холма, откуда открывается вид на серое плато Дוברдо. Погруженный в свои мысли, я машинально следую за Бачо. Вдруг он останавливается. Среди кустов в сомкнутом строю, как на учебном плацу, движется взвод. Слышна четкая команда:

— Ложись! Встать! Ложись! Встать!

Что это такое? Что это такое?!!

— Ишь ты, Новак прибирает публику к рукам, — смеется Бачо.

Что-то сдавливает мне горло, дыхание прерывается.

— Ах, прибирает! — задыхаясь, говорю я и бросаюсь вперед. Громадными прыжками мчусь к взводу, который теперь на четвереньках ползет между кустами.

— Новак! — кричу я вне себя. — Новак, мерзавец, проклятый мучитель, что вы делаете?

Передо мной качается тупое лицо Новака, его бессмысленные воловьи глаза, но Бачо хватает меня за руку, а Шприн-

гер быстро отводит солдат, чтобы они не видели, что произошло между господином лейтенантом и фельдфебелем. Солдаты не должны этого видеть, боже сохрани. И Новак не получил по физиономии, как мне хотелось. Я только успел схватить его за рубашку на груди, хотел его потрясти, но фельдфебель страшно тяжел, его рубашка трещит по швам, а он даже не сдвинулся с места, как будто врос в камень. Новак не понимает, в чем дело, и думает, что я сошел с ума. Ведь он хотел только немного прибрать банду к рукам, хотел провести несколько упражнений в сомкнутом строю. Что ж в этом такого?

Мы с Бачо отстаем, Шпрингер со взводом и смущенный фельдфебель уходят вперед. То, что я не смог расправиться с Новаком, поднять его и ударить о камень, наполняет мое сердце апатией бессилия.

— Какой тяжелый этот Новак, — говорю я беспомощно.

Бачо успокаивает меня, утешает с дружеской готовностью.

— Я все улажу, все улажу, не беспокойся. Фельдфебель слова не посмеет сказать. Ведь все мы подвыпили, а главное, солдаты ничего не видели. Но вообще ты напрасно горячишься.

Нет, я совершенно трезв, я ужасающе трезв. Хорошо было бы быть пьяным, чтобы не понимать того, что творится вокруг.

Бачо тихо говорит, но его слова скользят мимо моего сознания.

— Господа генералы не понимают армии. Какого чорта мы торчим на этой Кларе? Знаешь, я жалею, что мы остановились тогда на вершине. Надо было ринуться дальше. Ведь теперь бы мы были чорт его знает где.

Добираюсь до своей каверны. Хомок встречает меня сообщением, что Гаал несколько раз приходил ко мне перед вечером. Посылаю старика за унтером. Через несколько минут ко мне входит Гаал, плотно прикрывает за собой дверь и говорит, что у него имеется донесение секретного порядка. Я передаю Хомоку почту для Арнольда, и дядя Андриш удаляется.

5. Популярный трактат о латрине № 7

Нахмурившись, испытующе смотрю на Гаала. Взводный терпеливо выносит придирчивый офицерский взгляд. Он привык ко мне, он всегда со мной откровенен, даже чересчур, но, правда, только с глазу на глаз: он очень предусмотрителен и осторожен. Постепенно я начинаю понимать тактику Гаала: он не причисляет меня к категории офицеров из господ. Настоящих господ, происходящих из старинных дворянских семей, здесь очень мало. Большинство офицеров только желает казаться аристократами.

Гаал точно знает, что я — сын Иосифа Матраи, токаря и колесника, владельца небольшой мастерской. Я — младший сын, из которого отец вздумал сделать господина.

Старый Матрай пишет свою фамилию через «и», а Матрай-младший уже часто пишет через ипсилон. За эту невинную орфографическую эстетику сегодня никто не привлечет к ответственности, но она изящна и более подходит лейтенанту Матраи, чем простое «и». Но ведь тогда, пожалуй, можно обвинить лейтенанта Матраи в том, что он стремится попасть в категорию тех господ, которые трутся около знати. Нет, лейтенант Матрай этого не делает. Он, прежде всего, хочет сохранить человечность, и это выражается в его отношении к подчиненным. От него никто не услышит издевательств и оскорблений, у него нет высокомерного офицерского тона, а если он напал на фельдфебеля Новака из-за Киралая, это только указывает на его человечность. Лейтенант Матрай никогда не забывает, на крышу какого дома уронил его аист. Ведь Чутора все рассказал Гаалу, с которым его связывает тесная и не простая дружба.

Передо мной стоит унтер Гаал, плечистый, немолодой человек. Глаза у него черные, выразительные, усы густые, запущенные, шахтерские. Это усы не степного крестьянина, а городского индустриального рабочего. В мирное время Гаал жил очень прилично в том горняц-

ком городке, где живет отец кадета Шпица, на той же самой улице Вереш-марты.

В мире камня Гаал чувствует себя в своей стихии. Он — первый мастер подрывной команды. Ведь с шахтерской работы очень легко переключиться на саперную. Кроме того, Гаал еще на действительной службе прошел школу саперо-пионерских унтер-офицеров. Собственно говоря, я должен был бы радоваться, что случай наградил мой отряд таким превосходным унтером. Шпиц никогда не называл Гаала унтер-офицером, а шуточно величал папашей. Мартын нащупал правильный тон. Ведь положение Шпица, действительно, было щекотливо, когда судьба поставила его, почти мальчика, начальником друга его отца, уважаемого пожилого человека.

Эти мысли мелькают в моем мозгу, пока не затихают торопливые шаги удаляющегося Хомока.

Гаал доложил, что у него имеется сообщение конфиденциального порядка. Я еще не знаю, как поведу себя в дальнейшем, если он позволит себе откровенничать или опять прожжужит мне уши о зверствах Новака. Между прочим, Новак на днях заметил Гаалу, что господин обер-лейтенант Шик собрал около себя паршивых социалистов, и что он чересчур либерально обращается со своим денщиком, первым «реbellистом»¹⁾ в батальоне. А про саперный отряд и говорит нечего, — там собралась определенная публика, да и сам лейтенант тоже хорош.

Я не желаю больше слышать никаких конфиденциальностей по этому поводу. Гаал и так слишком много позволяет себе, и его откровенничания больше похожи на упреки, чем на простое изложение фактов. Что я могу сделать? Я не начинал этой войны и не хочу нести ответственность за нее. С сегодняшнего дня я никому не позволю разглаживать при себе о войне. Я хочу, чтобы Гаал чувствовал, что я — его начальник и офицер.

— Ну, Гаал, похоронили вашего земляка.

¹⁾ Бунтовщик.

— Слышал, господин лейтенант. Парадные были похороны.

— Написали уже отцу Шпица?

— В тот же день, господин лейтенант.

— Садитесь, Гаал, — говорю я спокойно, так как чувствую, что сегодня Гаал не в лирическом настроении.

— Спасибо, господин лейтенант, если разрешите.

Гаал садится. Я придвигаю к нему коробку с папиросами.

— Ну, закуривайте и говорите, в чем дело. Я немножко устал, кроме того, этот идиот Новак расстроил меня.

— Знаю, господин лейтенант. Жаль, что вы так расстроились, и хорошо, что не ударили его, только бы руки замарали.

— Вы все знаете, Гаал, это странно, — говорю я, пристально глядя на него.

— Не совсем так, господин лейтенант. Самого главного я все-таки тоже не знаю.

— Откуда, например, вы узнали про историю с Новаком?

— Тут нет ничего удивительного, господин лейтенант. Ведь мы, солдаты, ничего не скрываем друг от друга. И могу вам сказать, господин лейтенант, что братва дала понять Новаку, что если он, в случае чего, вздумает жаловаться, то ему же будет хуже.

— Кто вам это сказал?

— Ефрейтора Эгри изволите знать?

— Вы это и хотели мне сообщить? — спросил я сухо, хотя мне было очень приятно, что ефрейтор Эгри проявляет такие симпатии ко мне.

— Прошу прощения, господин лейтенант, это только к слову пришлось, а доложить я хотел о другом.

— Говорите.

— Уже несколько ночей, господин лейтенант, мы производим наблюдения, и сегодня днем пришли к убеждению, что итальянцы подкапываются под нас.

— Что?!

— Да, проход шурфуют.

— Говорите ясней. Какой проход, где шурфуют? И как вы это установили?

— Как только мы заняли возвышенность, господин лейтенант, я обошел все каверны. Вы знаете, что их у нас четыре. Две из них — не что иное как расширенные естественные пещеры. Почва тут, господин лейтенант, очень хитрая: известняк, юра и различные лавообразования смешаны в одну кашу. Время крепко поработало над этой возвышенностью. Господин лейтенант знает, что недалеко отсюда под Косичем целая река исчезает под землей и появляется, только когда достигает моря. Когда господин лейтенант отправлялся на похороны, я...

— Понимаю. Гидрогеологическая карта. Я уже говорил по этому поводу с капитаном Лантошем.

— И привезли? — спросил Гаал, застав дыхание.

— Он обещал достать, и я надеюсь, что на днях мы ее получим.

— Жаль, очень жаль, господин лейтенант. Если бы у нас была эта карта, многое стало бы ясным.

— Продолжайте о подкопе.

— Признаюсь откровенно, господин лейтенант, что, когда мы остановились на возвышенности, не сумев прогнать неприятеля дальше, первой моей мыслью было, что итальянцы могут устроить нам какую-нибудь пакость.

«И Хруна так говорит» — подумал я.

— Скажите, а как ведут себя итальянцы?

— Совершенно успокоились, господин лейтенант. Помните, как они бесновались первые два дня? А сейчас как будто умерли.

— А по утрам?

— В том-то и дело, что и по утрам стреляют очень слабо. А вчера с десяти часов вечера до трех часов ночи падали без остановки, но самое странное, что до нас не долетела ни одна пуля.

— А для чего же им это нужно?

— Сейчас изложу, господин лейтенант, только разрешите мне рассказать все по порядку. Словом, первый раз буренье услышали в каверне первой роты второго взвода. Господин лейтенант был в этой каверне?

— Наверное был, но не помню.

— Очень глубокая каверна, начинается отвесным спуском...

— Без всяких ступеней, как в настоящей пещере. Теперь я вспомнил.

— Так вот тут и услышали в первый раз буренье.

Моя усталость бесследно исчезает, рассеянность, с которой я до сих пор слушал Гаала, сменяется напряженным вниманием. Я сразу осознаю важность его сообщения.

— Погодите, Гаал. Значит, второй взвод первой роты. И многие слышали?

— Да весь взвод, господин лейтенант, и солдаты из других частей, бывшие там в это время. Я немедленно назначил дежурного наблюдателя из нашего отряда.

— Правильно сделали, правильно, правильно, — сказал я машинально.

Каверна второго взвода первой роты. Это почти посередине возвышенности. Оттуда, действительно, удобнее всего слышать, что творится внутри горы.

— Ну, а итальянцы? — спросил я невольно.

— Итальянцы, господин лейтенант, хитро работают. Первым делом — вы завтра утром сами убедитесь — они очень ловким маневром пробрались на террасу, которая находится на самой отвесной скале в десять метров высотой. Они там засели и устроили целую крепость. Я полагаю, господин лейтенант, что это маскировка, а может быть, крепление входа в пещеру.

— Вы так думаете, Гаал?

— Это, конечно, только предположение, господин лейтенант, но оно подтверждается данными наблюдения.

Чем больше я думал о слышанном, тем реальнее казалась мне вся ситуация. Итальянцы никогда еще не были в таком положении, и, чтобы выйти из него, действительно должны предпринимать самые отчаянные шаги. И они это делают из жажды мести.

— Дьявольский замысел, — сказал я тихо.

— Тут упрекать некого, господин лейтенант. Сегодня они, а завтра мы. Это и есть война. А на войне всякая бесчеловечность — геройство.

— Каковы ваши предложения? — спросил я сухо.

— Я думаю, господин лейтенант, что первым делом надо донести об этом начальству, и потом мы примем меры. Но прежде всего нужно достать гидрогеологическую карту, без которой мы ничего не сможем сделать.

— Я завтра же утром вызову капитана и, в крайнем случае, пошлю кого-нибудь за картой. Правда, без нее нам будет трудно. А скажите, Гаал, какое впечатление это произвело на гонведов?

— Да многие кислые лица сделали. Кому же может нравиться такое положение? По правде говоря, пора бы уже было нас сменить.

— А вы знаете, что сюда собирается эрцгерцог, чтобы лично произвести награждения в передовой линии?

— Так это хорошо, господин лейтенант, но скорей бы уже собрался его королевское высочество, так как положение может стать очень серьезным.

Я мерно шагаю взад и вперед по выщербленному полу трехметровой каверны и никак не могу собрать своих мыслей. Больше всего хотелось бы разрыдаться, как ребенку, у которого от нечаянного дуновения рухнул картонный замок.

— Скажите, Гаал, а начальство знает?

— Господин кадет Торма знает и, наверное, рассказал господам офицерам. Я же со своей стороны никому не заявлял, решил ждать возвращения господина лейтенанта, чтобы совместно обсудить положение.

— А не может быть, Гаал, что это просто галлюцинация, и вам это только кажется? Ведь вы сами говорите, что, когда мы заняли Клару, у вас было опасение, что итальянцы устроят нам какую-нибудь неприятность.

— Верно, господин лейтенант, но ведь не я первый услышал буренье, как вы изволите знать. А что у меня явилась такая мысль, это вполне понятно. В прошлом году был взрыв у Певны, а у Ларожко господин лейтенант Тушай сам руководил такой работой, и я принимал в ней участие. Только итальянцы во-время заметили.

— Ну и что же?

— Они начали контрбурение, так что нам пришлось бросить. Потом и они прекратили работу, и после этого два месяца обе стороны ждали, кто прежде взлетит на воздух.

— И чем дело кончилось?

— Господин лейтенант Тушаи вышел из положения: он сделал контрдетонацию.

— А для чего это нужно?

— Контрдетонацию, господин лейтенант, делают в том случае, когда подозревают подрывные работы со стороны неприятеля. Когда противник уже подложит свой снаряд в гнездо, и недалеко от этого гнезда под землей произойдет незначительная детонация, может взорваться основная мина, и не тогда, когда хочет неприятель, а когда этого захотим мы.

— Погодите, а что если мы сделаем контрдетонацию?

— Ее непременно надо будет сделать, господин лейтенант, но для этого мы прежде всего должны установить направление их работ. Ведь тут нам придется пройти по сплошному камню, а у Ларокко почва была земляная. Если мы не будем точно знать направление, то громадную работу проделаем зря.

Мне нехватало воздуха, лоб покрылся испариной.

— Знаете что, Гаал, — тихо сказал я, — оставьте меня сейчас на полчаса. Потом я позову Торму, а вы приведите с собой человека, который первый услышал бурение.

— Рядовой второго взвода Павел Ремете.

— Так вот приведите Ремете и Кираля. Эх, жаль, что я отправил Хусара.

— Пусть отдохнет парень, господин лейтенант, уж очень расстроился бедняга.

— Я хочу за эти полчаса немного отдохнуть и все обдумать, прежде чем что-нибудь предпринять.

— А я хотел просить, чтобы господин лейтенант первым долгом послушал подземные стуки.

— Сейчас?

— Нет, сейчас едва ли можно что-нибудь услышать, но мои наблюдатели все

время на-чеку, они всегда могут забежать за господином лейтенантом.

— Ладно, ладно, но через полчаса я хотел бы видеть этого Павла Ремете.

— Слушаю, господин лейтенант. Через полчаса.

Гаал поднялся и открыл дверь. В каверну ворвался гул беспорядочной перестрелки. Время от времени глухо урчали кошки.

— Где стреляют? — спросил я.

— Вечерами главным образом по флангам, в районе четвертого батальона и по егерям. Неприятель их часто беспокоит, очевидно, для того, чтобы отвлечь наше внимание. Это им иногда удается, но заглушить подземный шум они все же не могут. В каверне второго взвода хорошо слышно даже при сильной стрельбе.

— И в других местах тоже наблюдают?

— Да, господин лейтенант. Теперь уже людей не успокоишь, все на-чеку. Конечно, много и паники. Вот час назад прибежали ко мне из третьего взвода: «Идите, господин взводный, у нас тоже бурят». Прихожу. Все бледные, нервничают, прислушиваются. Зашикали на меня: «Как-раз сейчас бурят». Останавливаюсь, слушаю: действительно, какой-то шорох. Но чувствую, что это не то: шорох не в камне, а в дереве. Прошел в угол, где стоят порожние ящики из-под амуниции, и, представьте, спугнул большую матерую крысу. Ну, конечно, обругал всех, а они регочут, сразу успокоились, что крыса, а не итальянцы. Смешно, взрослые люди, а как дети.

Гаал ушел. После недолгой борьбы с собой я подошел к двери, взялся за ручку, но тут же отпустил.

«Нет, сейчас не могу идти к Арнольду. Только не сейчас».

Я чувствовал, что от одной резкой фразы Арнольда во мне может все рухнуть и похоронить под своими обломками мои лучшие чувства к этому человеку.

Нет, сначала надо притти в себя. В полной депрессии опустился на стул, горло сдавила нервная спазма. Вскочил, подошел к висящему на стене термосу,

отвернул головку и жадно потянул. Глинтвейн еще горячий, каким налил его Хомок. В груди разлилась теплота, которая дошла до холодного, увядшего сердца, в голову ударило приятное отупение.

— Ладно, будь, что будет. Пусть взорвут, — сказал я и еще сильнее погянул из термоса. — Только этого не хватало теперь, когда Клара в наших руках, когда эрцгерцог собирается прибыть сюда. Нет, чорт возьми, не взорвете нас, нет. Такую контрминую устроим вам, что сами полетите к чорту на рога. Да, пора нас уже сменить отсюда, только не назад мы должны итти, а вперед, вперед. Чорт бы побрал эти великолепные штабы с их небоевым комфортом, с культурными вечерами, с музыкой, кино и шампанским и другими крохами разбитой жизни. Так вот какковы штабы, эти крысы войны. А генералы... Генералы, друг мой, живут припеваючи. Война — их жатва, в мирное время они сеют ее семена, а на войне пожинают плоды. Господа генералы и штабные получают на фронте боевые оклады. На фронте! Разве Констаньевиче и Загряя — фронт? Господа генералы, чорт их трижды побери, понятия не имеют о фронте, они видят его только на фотографиях. Их, брат, больше интересует курс международной биржи. Это сказал мне однажды Арнольд, и я тогда не понял, а сейчас чувствую, насколько он прав. Я сегодня видел эту биржу, видел, как живут настоящие господа войны.

Чорт возьми, как жарко после этого вина. Придется расстегнуть воротник. Ведь надо собраться с мыслями. Через полчаса придет Гаал с Павлом Ремёте и Киралем, придет Торма, который будет почтительно молчать и удивляться моему уму так же, как я удивляюсь уму Арнольда. Но если Арнольд так умен, то почему он тут, в этом нелепом хаосе, где в то время, когда ты спишь, под тебя могут подложить две тонны экразита, и ты полетишь прямо к святому Петру в объятия?

Вошел Хомок.

— Осмелюсь доложить, почта господину обер-лейтенанту передана.

— Что делает господин обер-лейтенант?

— Лично господина обер-лейтенанта я не видел, а передал почту господину Чуторе.

Дядя Андриш всегда величает Чутору господином, хотя они, можно сказать, в одном чине. Но Чутора — образованный человек, мастеровой, и господин обер-лейтенант его очень ценит.

Голова у меня тяжелая. Глинтвейн сделал свое дело: мысли быстро мелькают, одолевает сонная зевота, и я чувствую, что по-настоящему устал.

— Я ненадолго прилягу, дядя Андриш. Тут придет Гаал с людьми, так пусть они посидят у вас, а вы в это время пойдите за господином кадетом Тормой и, когда вернетесь с ним, разбудите меня.

— Слушаю.

— Скажите, дядя Андриш, ничего тут не случилось, пока я был внизу?

— Так, наверное, господин взводный уже рассказал вам, господин лейтенант.

— А именно?

— Да насчет подкопа. Ведь вот как придумали итальянцы: раз не могут на нас налезть, так хотят под нас подлезть.

— А что говорит публика по этому поводу?

— Публика говорит, господин лейтенант, что пора бы отсюда уходить. Еще бабахнут под нами итальянцы, а это, собственно говоря, очень нежелательно.

Старик говорит витиевато, нарочно подбирая боршадские слова, которые я так люблю.

... Никто не будит меня. Испуганно вскакиваю и сажусь на постели. Кошмар давит мою грудь. В дыре, где помещается дядя Хомок, слышны голоса.

— Так вот и хорошо, что иногда попадают среди них такие, как наш лейтенант. Без этого народ давно бы с ума сошел.

— Да хоть бы и сошел с ума. Все равно этим кончится, — говорит Гаал начальническим, но не строгим тоном.

— Рано или поздно, один конец, — слышу голос Хомока.

Кто-то энергично открывает наружную дверь, оттуда сыплются звуки обстрела.

— Разрешите доложить, господин взводный: бурвят, очень слышно, — говорит пришедший, запыхавшись от бега.

— Дядя Андриш, будите господина лейтенанта.

Хомок кашляет и направляется в мою комнату, но я уже стою в дверях, сонно шурясь от света.

— Что случилось?

— Господин лейтенант, наблюдатели сообщают, что в каверне второго взвода слышен шум бурения.

Вынимаю носовой платок, провожу по глазам и обращаюсь к Хомоку:

— Идите за Тормой.

— Убедительно прошу, господин лейтенант, пойти, если можно, без промедления в каверну, вы сами убедитесь, — говорит Гаал.

— Ладно, — соглашаюсь я. — Вот только Хомок пойдет за Тормой, и мы подождем, пока он вернется.

Дядя Андриш исчез. Гаал заметно нервничает, это наполняет меня дьявольским весельем. Я не хочу спешить, я никак не могу себя уверить, что опасность так близка.

— Ремете здесь?

— Так точно, — ответил пожилой солдат, стоящий рядом с Гаалом.

— Ну, Ремете, расскажите мне, что вы слышали и почему вы думаете, что итальянцы бурвят.

— Я не знаю, господин лейтенант, бурвят или не бурвят, но мое место на нарах находится в самом конце каверны у стены. И вдруг я слышу, что где-то далеко в камнях будто кто-то возится. Я сперва думал, что крыса, потому что похоже было на царапанье. А потом, слышу, царапанье кончилось, и начался такой шум, как бывает, когда бабы гоняют швейную машинку, наматывая нитку на шпульку.

— Вы откуда родом?

— Из села Новай Боршадской губернии, господин лейтенант.

— А ваша специальность?

— Винодел, господин лейтенант.

— Ладно, продолжайте.

Ремете продолжает, а я думаю: «Какого чорта я сержуь на Гаала? Ведь он исполняет свои обязанности, и прекрасно исполняет. Но он бесит меня, потому что под давлением его данных рушится вся моя воинственная теория. Но ведь в этом виноват не столько Гаал, сколько мои вчерашние впечатления от общества чиновников войны. Меня возмущает их комфорт и покой, в то время как мы опять погружаемся в напряженную атмосферу страха и волнений, когда мы проводим бессонные ночи в беспрестанной тревоге, прислушиваясь со страшным бинием сердца к тому, что творится под нами, когда благодати бога мы ждем не с неба в виде гранаты или кошки, а из недр земли, из ада, над которым мы считали себя победителями. Конец праздничной идиллии победы. Клара снова вырастает в грозного врага вместо того, чтобы безропотно покориться под нашими подкованными бутсами.

Ремете рассказывает, что гудение временами прерывается, в промежутках слышны удары, царапанье, а потом снова гудение.

— Это, очевидно, звук электрической бормашины, а в промежутках выемка породы? — спрашиваю я Гаала.

Взводного раздражает моя медлительность, и он еле прислушивается к рассказу Ремете. Гаал возмущен тем, что я занимаюсь пустяками, в то время как в каверне могу немедленно убедиться в действительном положении. Он не может понять, что я не хочу слышать этих подземных звуков, которые означают крах моих иллюзий.

Пришел Торма. Мальчик выжидательно смотрит на меня: что я скажу, как я расцениваю положение? Но я делаю непроницаемое лицо и прошу Ремете рассказать мне все подробно.

Два дня прислушивался Ремете к этим подземным голосам, а на третий день доложил господину взводному, потому что и другие люди услышали и стали высказывать беспокойство. И господин взводный приказал вбить в камень железный лом, через который очень хорошо слышен шум.

Ремете еще продолжал, но я нервно перебил его:

— Ладно, пойдем.

И вышел из каверны. Легкое опьянение давно прошло, в груди чувствую холод и пустоту, на сердце тоскливо.

«Неужели пить начну? — с испугом подумал я. — Для чего? Все равно уже не восстановишь того, что рухнуло».

— Идемте быстрее, — говорю я нетерпеливо. Гаал показывает дорогу. Мы гуськом пробираемся по окопам.

Во взводе нас ожидали. В конце каверны было очищено место, где стоял на часах наш сапер-наблюдатель. Все лица повернулись к нам, в глазах ожидание. Серые измученные солдатские лица. В них не осталось и следа румянца героического штурма.

В неровной стене каверны торчал вбитый лом, к концу его была прикреплена тонкая стальная пластинка.

— Что это такое?

— Сейсмограф, господин лейтенант, — доложил наблюдатель.

Под ломом поставили маленький амуниционный ящик, и Гаал попросил меня сесть. Конец лома с пластинкой пришелся как-раз на уровне моих ушей. Собравшиеся вокруг солдаты не издали ни малейшего звука. Все, затаив дыхание, ждали моего решения: ведь я — офицер саперов.

Гаал попросил меня прислушаться, но, как я ни напрягал слух, ничего не мог уловить. Тогда взводный обратил мое внимание на слабый гудящий звук, который то умолкал, то через короткие промежутки вновь возобновлялся.

— Слышу, — сказал я. — А сейчас — нет.

— А вот, пожалуйста, господин лейтенант, прислушайтесь, — слышите ли вы тихое цокание? Раз, два... нет, вот сейчас два... три, четыре, пять... А теперь что-то посыпалось, слышите, господин лейтенант?

— Еле-еле.

— Вираг, — сказал Гаал наблюдателю, — дайте-ка сюда аппарат.

Вираг извлек откуда-то жестяной круг, Гаал опустился на корточки, при-

ложил жестянку к концу лома и прижался к ней ухом. Так он прислушивался несколько секунд.

— Породу убирают. Ага, теперь возобновилось бурение. Прошу вас, господин лейтенант.

И Гаал передал мне жестянку. Я повторил приемы Гаала и только теперь услышал, что лежащая на конце лома пластинка издает дробный звук, похожий на клацанье зубов. Передал жестянку Торме, который, видимо, слушал не в первый раз и очень уверенно обратился с этим примитивным, но весьма остроумным аппаратом.

Пока Торма слушал, я обдумывал, что сказать этим солдатам.

В каверне тяжелый воздух. Запах бедности, солдатский запах давил мое горло. Люди обступили меня со всех сторон и ждали моего первого слова, как приговора.

— Все явления говорят о том, — говорил я спокойно, — что итальянцы, действительно, буравят, но отдаленность звуков указывает на то, что работа находится в начальной стадии и производится довольно далеко от нас. Так что для волнения нет пока никаких оснований. Мы примем все меры и перечеркнем их дьявольский замысел контрударом. Для этого нам прежде всего необходимо установить место и направление бурения. Мы, завоевавшие Клелару снаружи, сумеем завоевать ее и изнутри.

Откуда взялись эти спокойные, уверенные слова, эти чортовски округлые фразы? Они пришли откуда-то из нетронутой глубины души, и самое приятное было то, что они ободрили и меня. Но все же я заметил, что, пока говорил, солдаты понемногу отошли от меня, а некоторые совсем отвернулись. В конце речи я встретился глазами с ефрейтором Паулем Эгри, который стоял, по привычке высоких людей, слегка согрившись, и мрачно смотрел на меня. После моих слов наступила глубокая тишина. Ее нарушил Вираг, стоявший у слухового аппарата.

— Эх, и здорово буравят, уже три минуты подряд.

— Хорошо было бы, господин лейтенант, — заговорил кто-то из третьего ряда, — если бы нас поскорей сменили.

— Будем ли здесь мы, или какой-нибудь другой батальон, это все равно, — резко ответил я. — Если опасность налицо, то необходимо ее устранить. О смене сейчас не может быть и речи, так как его королевское высочество собирается посетить батальон на месте его героического подвига и лично раздаст награды и назначения.

— Так поскорей бы, господин лейтенант, потому что, когда под тебя подкапываются, ведь дрянное положение получается, — заметил старый гонвед.

— Мы не можем указывать его королевскому высочеству. Он придет тогда, когда найдет это нужным.

— Только, чтобы итальянцы нас прежде не наградили, — неожиданно заговорил Эгри.

— Что такое, Эгри, неужели и вас покинула храбрость?

— Здесь, господин лейтенант, — он указал длинным пальцем в землю, — здесь храбрость бесполезна. Необходимо, господин лейтенант, что-нибудь предпринять, потому что с тех пор, как под нас подкапываются, и рядовые, и мы, унтер-офицеры, уже несколько ночей не спим, все прислушиваемся и просто с ума сходим.

— У меня даже жубы жаболили, — с забавным акцентом сказал темнолицый гонвед-цыган. Солдаты добродушно загоготали, я тоже рассмеялся.

— Вы правы, Пауль, — сказал я, — действительно, надо что-то предпринять. Поэтому, Гаал, поручаю вам усиленно наблюдать. Прежде всего мы должны точно установить направление работ неприятеля. Я знаю, что это очень трудно, но надо приложить все усилия. Сегодня ночью мы установим наблюдательный пункт для того, чтобы утром можно было выяснить, что сделали итальянцы снаружи. А потом придется их немного потревожить. Для этого у нас вполне достаточно бомб и камней. Итальянцев, друзья, надо тормозить. Мы как-то успокоились и стали слишком добродушны, надо быть более избрательными и жестокими. Надо учи-

нить им такую штуку, чтобы надолго отбить у них охоту гадить нам. Сегодня же ночью я поговорю на эту тему со штабом батальона.

— Очень просим, господин лейтенант, — заговорили все хором.

— Ну-с, мы друг друга поняли. Никакой паники, спокойно наблюдать и подготовиться, — сказал я и двинулся к выходу.

Когда я вышел из каверны, было одиннадцать часов вечера. Итальянцы беспорядочно и нелепо стреляли под нами. Предположения Гаала верны. Все ясно, и нечего тянуть с этим делом.

— Как хорошо ты говорил, с каким подъемом! — восхищенно сказал Торма.

В окопах нас, как тень, сопровождал Гаал. Я понял, что он ждет моих приказаний. А может быть, хочет, чтобы я его похвалил? Нет, нет, этого Гаал не хочет. Я остановился и подождал, пока взводный не подошел близко.

— Ну, Гаал, — сказал я полушутливо, — положение веселенькое, нечего сказать.

— Выступление господина лейтенанта произвело на людей очень благоприятное впечатление, и господин лейтенант прав, что надо действовать и действовать энергично. Поэтому прошу ваших указаний.

— Как я сказал, Гаал: продолжать наблюдения и подготовиться. Завтра мы слегка побеспокоим итальянцев.

— Слушаю, все будет исполнено. А по линии начальства, господин лейтенант?

— Что вы под этим подразумеваете?

— Я думал о рапорте в штаб батальона и, кроме того, о господине капитане Лантоше.

— Да, это обязательно, обязательно, — сказал я рассеянно, стараясь угадать, чего еще хочет от меня взводный.

— Надо иметь в виду, господин лейтенант, что стрелки очень взволнованы.

— Надо их успокоить, Гаал.

— Самое лучшее успокоение была бы смена, господин лейтенант.

Я пришел в ярость. Так вот в чем дело, вот чего добивается Гаал!

— А вы не думаете о том, что на смену нам придут такие же солдаты, как мы? Что за слепой эгоизм! Как вам не стыдно, Гаал, я от вас этого не ожидал.

Резко повернувшись, я отошел от унтер-офицера, и так как завернул направо, то пошел не по направлению к своей каверне, а вниз по склону горы, в район второй роты. Так что вместо Арнольда попал к Сексарди. Спуск был крутой, и сердитые рикошеты итальянских пуль визжали над окопами. Меня постоянно останавливали часовые, указывая на опасность, и дружески поругивали, не видя в темноте, кто идет. Я так торопился, что Торма сильно отстал от меня. Остановившись перед каверной штаба роты, я услышал его торопливые шаркающие шаги. Мальчик прерывисто дышал и в темноте наткнулся на меня.

— Уф, как ты торопился, господин лейтенант. Здорово ты отделал Гаала, но так ему и надо. Нечего философствовать, когда начальство что-нибудь приказывает, верно?

Я открыл дверь в каверну. Свет лампы был приглушен солдатским одеялом. Это уже опасное место, чувствуется боевая настороженность. «Не так, как наверху» — подумал я.

Обер-лейтенанта не было дома, он отправился в гости к егерям. Я приказал телефонисту связаться со штабом батальона и вызвать лейтенанта Кенеза. Пока телефонист налаживал связь, я обдумывал, как сформулировать свое сообщение.

Торма не сводит с меня серьезных мальчишеских глаз. Телефонист протягивает трубку, и я слышу голос лейтенанта Кенеза. Сначала он думает, что говорит Сексарди, наконец, узнает меня. Я сообщаю ему о происшедшем, передаю рассказ Ремете, результаты наблюдений Гаала, мои впечатления о настроении солдат, высказываю свою точку зрения и прошу штаб батальона сообщить полку. Я же по своей линии pošлю письменное донесение капитану Лантошу.

Кенез слушает мою горячую речь и вдруг спрашивает:

— Откуда говоришь?

— Из второй роты.

— Это ты напрасно, — сухо роняет Кенез. — Надо было бы сделать иначе. Кроме того, я думаю, что с этой историей нечего спешить. Может быть, мы имеем дело с повышенной нервозностью и испуганной фантазией.

Я сегодня раздражителен. Резко возражаю против последнего предположения и прошу, чтобы батальон официально принял к сведению мое заявление. Кенез дружески успокаивает меня, но еще раз подчеркивает, что я напрасно поторопился с этим донесением, впрочем, обещает сейчас же доложить майору.

В бешенстве я положил трубку.

«Ишь ты, какой философ господин лейтенант Кенез. Как он спокоен. Да и чего ему волноваться, когда его каверна находится в полутора километрах от подошвы Монте-Клару».

И все же у меня такое чувство, что я, действительно, зря поторопился. Может быть, Кенез прав.

Торме отдаю приказание:

— После полуночи с отрядом в десять-пятнадцать человек приготовь на самом краю обрыва побольше крупных камней. Кроме того, достань у бомбометчиков десяток легких мин. Итальянцев надо побеспокоить. Это имеет следующий смысл: во-первых, они не должны себя чувствовать в абсолютной безопасности, во-вторых, если наши бомбы и камни будут хорошо работать, мы сможем пробить и снести их постройки внизу, которые, по нашим подозрениям, являются не чем иным, как маскировкой подземного хода сообщения. Ну-с, друг Торма, начинается твоя саперная карьера. Рядом с Гаалом ты быстро приучишься к этому делу. Видишь, не такая уж плохая вещь эта война: еще сможешь пройти здесь подготовительный курс к своей будущей инженерной деятельности.

— Это возможно. С математикой у меня в школе не было затруднений, — говорит Торма. — Но я мечтал быть артистом. Правда, отец против этого, но, знаешь, я чувствую призвание к сцене, и некоторые знакомые находили у меня талант.

Беседуя, мы поднимаемся на гору. Говорим об инженерной квалификации, о том, что Торма хочет быть артистом, а у Сельца опять артиллерийский бой. Я машинально отвечаю своему молодому другу:

— Ну, там видно будет, может быть, тебе, действительно, лучше пойти на сдону. А теперь прошу тебя принять меры к тому, чтобы утром все было готово для нападения.

— Не беспокойся, господин лейтенант, все будет в порядке. Я приберу к рукам Гаала, и он у меня не будет философствовать.

Мы стоим перед моей каверной. Крепко жму руку Торме и вхожу к себе. Хомок, конечно, не спит. При свете огарка он занимается своей любимой работой — выделкой алюминиевых колец и различных сувениров войны. Крошечным рашпилем он сейчас обтачивает плоское кольцо. В изящный оригинальный ободок вплетено пронзенное пулей сердце из красной меди. Улыбаясь, смотрю на кольцо. Чудесный вкус у старика.

— Ну как, бурвают, господин лейтенант? — спрашивает Хомок.

— Да, дядя Андриш, бурвают.

— Значит, правда. А я думал, что это у людей от испуга в ушах звенит.

У себя я еще раз перечитываю письмо Эллы. Читаю долго, внимательно, обдумывая каждую фразу. Швейцария...

От письма на меня повеяло иным миром, миром книг, мысли, немного самолюбленным миром интеллекта. Это мир Эллы, мир Тибора Матраи, будущего профессора-лингвиста, знаменитого путешественника по Индии и Азии. Вдруг вспомнил несколько фраз Эллы об искусстве и культуре, и они показались мне сейчас далекими и нереальными. На миг уношусь в прошлое. Знакомая улица, уютные дома, гордые колоннады учреждений и милая кондитерская на улице Аттилы. Потерянный рай.

Сейчас как-то ясно ощутил ограниченность нашей страны, страны, не родины, о которой так патетически говорили нам в школе. Там, за нашими спинами, есть страна, в ней живут люди, частью военные, но в большинстве

штатские. Это венгры. Разве мы, венгры, начали войну? Да, мы. Премьер-министр граф Стефан Тисса сыграл наруку кайзеру Вильгельму, а Бетман-Холвег за спиной нашего престарелого короля... Впрочем, все это сказки, а реальность то, что мы, венгры, по шею погрязли в войне, и каждый из нас связан с ней по-разному. Генерал Кевешш, полковник Коша, майор Мадараши, лейтенант Кенез — это профессионалы войны. Но Гаал, Чутора, Арнольд, Торма... У Тормы даже профессии не было...

Я очень часто бывал с Эллой в элитной кондитерской Аттилы, и Элла потихоньку, чтобы никто не видел, совала мне в руку пятикрановую монету. Ведь платить должен был мужчина, а этому мужчине далеко не хватало на частые посещения кафе. Правда, в начале и середине месяца, когда я получал деньги за уроки, я гордо протестовал против этой опеки.

Из письма Эллы я понял, что Арнольд жаловался на меня и называл «безнадежным типом». Возможно, что это и так, но, с другой стороны, Арнольд слишком резок со мной и со свойственной ему нетерпимостью требует, чтобы я обязательно разделял его точку зрения, хотя она мне и неясна. Ведь Чутора сказал ему, когда мы возвращались с провечинского пикника:

— Много вы путаете, господин доктор, и все оттого, что хотите сидеть сразу на двух стульях.

— Вы — старый дурак, Чутора, — возразил Арнольд. — Не воображаете ли вы, что вам удастся сагитировать меня в свою партию? Чорта с два. Я понимаю, что пригодился бы в вашем деле. Ведь без интеллигентов, или, как вы нас называете, «мозговиков», вам, господам рабочим, будет трудно. Вы думаете, что над разрешением вашей теории я уже матер мозоли на мозгу? Нет, Чутора, ваша теория годится мне только для того, чтобы отшлифовать на ней свою собственную. Ясно, что монархия не может продолжать прежней политики, нам необходимо восстановить в правах остальные национальности и прежде всего чехов.

— Ого-го, вы еще только здесь находитесь, у национального вопроса чехов? — издевался Чутора. — Ваш путь, господин доктор, это третьеразрядная проселочная дорога. О, как далека она от большака истории!

— Для вас, Чутора, есть только одна дорога: долой капитализм.

— Да, это главное направление, — сказал Чутора.

— Ну, а дальше?

— А дальше по линии демократии. Такая страна уже есть.

— Например, Америка?

— Ну, те паршивые капиталисты.

— Вот видите, вы не можете назвать такую страну. Нет, Чутора, история не рассылает пакетов *muster ohne vert*¹⁾.

— Я потому толкую с вами, господин доктор, что ведь мы вместе обдумывали, какая форма управления годилась бы нам, то-есть, вернее, не нам, а тому поколению, которое переживет эту катастрофу.

Арнольд мягко издевается, а Чутора с трагической серьезностью нападает на господина доктора. Я чувствую, что эти люди, щупая один другого, ждут друг от друга чего-то большого и настоящего. Они идут каждый своим путем и надеются встретиться где-то у перекрестка. Я слушаю их споры и делаю вид, что меня это не касается. А на самом деле это должно касаться меня очень близко. Ага, наверное, я потому «безнадежный тип», что меня мало занимают такие споры. Может быть, Арнольд прав, и сегодня политика актуальнее лингвистических изысканий.

«...Спросите Арнольда, почему он ни-где не отвечает государственному тайному советнику фон-Ризенштерн-Алькранц, который очень внимательно отнесся к его вопросу и обещал мне, что по одному слову Арнольда он будет переведен в министерство. Кончайте скорей эту страшную, надоевшую войну и возвращайтесь домой. Мир пуст и скучен, как великий пост. Но я очень рада, что Арнольд, наконец, решил использовать более продуктивно ту массу свободного времени, которой вы там располагаете.

Я посылаю ему его бювар, бумагу, любимые зеленые чернила, перо и даже пресс-папье. Вы встретите их, как старых знакомых. Вы бы тоже лучше сделали, если бы не сидели зря и обдумывали ту тему, которой были так захвачены до начала этой катастрофы. Представьте себе, Маргарита Бенедек, наконец, вышла замуж за маленького Бартоша. Бартош как-раз находился дома на побывке после ранения. Наконец-то эта романтическая любовь достигла тихой гавани. Надеюсь, что вы не сердитесь на меня за то, что я уезжаю в Швейцарию. Мне так хочется подышать настоящим чистым воздухом без эрзатцев мирного времени».

Уже давно, может быть, целый час, сижу неподвижно и только по свече вижу, что прошло много времени. Рука, в которой я держу письмо, онемела и тяжела, как рука бронзовой статуи.

Здесь уйма свободного времени, верно, но есть ли возможность в это свободное время думать о чем-нибудь ином, кроме окопов, камней и всего того простого, повседневного и в своей совокупности ужасного, что пригвождает нас к войне? О, если бы я был на месте Арнольда, то написал бы такую статью... Глупости, теперь не время статей, теперь говорят пушки. А кондитерская на улице Аттилы — потерянный рай.

Рано утром меня разбудил Хомок. Я уже знаю, в чем дело, безмолвно надеваю ремни и направляюсь к выходу. Иду к намеченной точке в расположении роты Сексарди, откуда буду наблюдать за результатами нашего «неожиданного» нападения. В окопах меня ждет Гаал. Идем вместе. С того пункта, который он мне выбрал, действительно прекрасно виден южный склон обрыва. Обрыв не такой уж отвесный, как нам казалось, и на этом склоне имеется несколько террас. Правда, до первой террасы сплошная стена в десять-пятнадцать метров, потом узкая, как карниз, терраса, на пять метров ниже — другая, значительно более широкая, куда уже успели пробраться итальянцы. Пока мы праздновали победу, неприятель не спал. Эта терраса с выстроенными из

¹⁾ Образец без цены.

мешков и камней прикрытиями выглядит, как громадное ласточкино гнездо. Теперь, когда мы знаем о существовании подкопа, назначение этих прикрытий ясно.

На краю обрыва мой отряд приготовил доски, бомбы и несколько больших камней весом в сто килограммов каждый. Солдатам выдано по пять ручных гранат. Хорошо было бы иметь сейчас хоть один из тех огнеметов, которые мы забрали у итальянцев, но, к сожалению, их отправили в Констаньевиче для изучения. Теперь гнезда огнеметов стоят пустые, и в них устраниваются на ночлег любители чистого воздуха.

Я смотрю на угрюмый профиль Клары. Уже совсем светло. Можно начинать. Гаал отдает команду по телефону, и через несколько секунд ринулись вниз серые глыбы камней, рвутся мины, с грохотом сыплются перемешанные с ручными гранатами осколки камней. Действия мин рассмотреть невозможно, но вижу, что гранаты падают далеко от цели. Может быть, камни сделают свое дело, если просто не ударятся о стены второй линии. Но все же наше нападение застигает итальянцев врасплох. Со всех сторон начинается бешеный ружейный огонь, и недалеко от бруствера нашего окопа ударяет сердитая граната. Артиллерия уже беглым огнем вымещает злобу на несчастных егерях.

Я бегу наверх. Под нами очнувшиеся итальянцы открыли яростную пулеметную стрельбу по краю обрыва. Гаал устроился в седьмой латрине и с помощью длинного артиллерийского перископа наблюдает за тем, что творится внизу. Концерт длится очень недолго: мои люди уже истощили запас камней и мин. Артиллерия утихает. Из штаба батальона нервно звонят — что случилось?

Мы отправляемся в каверну второго взвода наблюдать за подземным шумом. Тишина, бормашина не работает. Мы помешали. Значит, наша тактика правильна.

Гаал сообщает, что в результате нападения в некоторых местах пробиты и снесены итальянские прикрытия, и он видел, как оттуда бежало несколько че-

ловек, но их настигли ручные гранаты.

— Ну как вы думаете, Гаал, такая диверсия имеет свой смысл?

— Безусловно, — имеет, господин лейтенант, только надо будет сделать еще одну вещь. Итальянцы так поставили свои прикрытия, что все падающие сверху предметы ударяются об их козырек и дают рикошеты. Поэтому у меня есть такое предложение: чтобы успешно взорвать их верхние позиции, надо было бы ночью спустить на веревках несколько небольших гранат и, когда они достигнут козырька неприятельских окопов, привести в действие взрывающий аппарат.

— Ого, я вижу, Гаал, что вам это дело пришлось по вкусу.

Гаал определенно смущен такой похвалой. Навстречу мне спешит Торма с какой-то бумагой в руках.

— Из штаба батальона. Я расписался за тебя.

Разрываю пакет.

«Впредь до особого распоряжения штаб батальона категорически запрещает вам производство каких бы то ни было самостоятельных операций против неприятеля. Немедленно донесите, чем вызван ваш сегодняшний налет на итальянские позиции и каким он увенчался результатом. Лейтенант Кенез».

Комкаю бумагу и даю знак Торме и Гаалу следовать за мной. Идем в мою каверну. У перевязочного пункта суматоха: отправляют в штаб трех легко раненых стрелков.

— Когда вас ранили?

— Сегодня утром, господин лейтенант.

— Во время нападения?

— Нет, еще на рассвете.

— Где?

— У латрины № 7.

Как завидуют солдаты этим счастливым!

Придя в каверну, я сажусь на постель, расправляю бумагу и протягиваю Торме. Он читает и подымает на меня удивленный взгляд.

— Как ты думаешь, Торма, это перемирие? — спрашиваю я и смотрю на Гаала. Взводный вскакивает, лицо его заливадается краской.

— Прочтите, — говорю я ему.

Гаал пробегает бумагу.

— А я было думал, господин лейтенант... — говорит он упавшим голосом. — Ну, конечно, сегодня этого еще не может быть.

— Я сейчас же отвечу штабу батальона и докажу господину майору Мадараши, что он неправ. Должны же они, наконец, понять положение.

Торма и Гаал уходят. Предупреждаю их, чтобы немедленно известили меня, если наблюдатели заметят что-нибудь особенное. Итальянцы замолкли, в окопах тишина. Сажусь к столу и вместо ответа Элле пишу подробное донесение Кенезу. Но не успеваю закончить рапорта, как в дверь стучат. Дяди Андриша нет, он ушел за завтраком. Входит Фридман. Просит извинить за беспокойство, мнетяся. Я предлагаю ему сесть.

— Ну, говорите, Фридман, в чем дело.

— Я прибежал к господину лейтенанту, так как считаю, что все хорошо сделать во-время.

— А что случилось?

— Господин лейтенант знает, как мы его ценим и уважаем, и потому... Разрешите говорить не по-служебному, господин лейтенант.

— Конечно, Фридман, пожалуйста.

— Сегодня утром господин доктор Аахим и господин майор Мадараши говорили по телефону. Господин батальонный врач сообщил, что с позавчерашнего по сегодняшней день число больных в батальоне возросло в десять раз против обычного. Говоря о причинах этого, господин батальонный врач высказал предположение, что тут имеют место самострелы, и из ответа господина майора я понял, что фельдфебель Новак тоже уже доносил об этом.

— Все это правильно, Фридман, но почему вы мне об этом сообщаете?

— В том-то и дело, что речь шла и о господине лейтенанте.

— Обо мне? Что я — самострел, что ли?

— Нет, конечно, нет. Но в ответ на жалобы господина главного врача господин майор изволил заметить, что, по его мнению, виной всему — нервозность

господина лейтенанта Матраи, который сообщил, что под горой якобы ведется подкоп, и поэтому солдаты нервничают. «Ах, так, — сказал господин главный врач, — теперь все понятно». И обещал проучить нашу банду. Так вот, поскольку в этом разговоре упоминалось имя господина лейтенанта, мы решили сообщить ему об этом.

Я и раньше замечал, что Фридман часто говорит о себе во множественном числе, но сейчас мне не хотелось допытываться до причин этого величественного стиля. Его откровенное дружеское сообщение подкупило меня, но в то же время наполнило беспокойством. Фридман встал.

— Может быть, господин лейтенант считает, что я неправильно поступил?

— Нет, нет, Фридман, что вы. Я вам очень благодарен. Ну, как поживает ваш господин обер-лейтенант? Я давно не был у него.

— Господин обер-лейтенант последнее время много читает и что-то пишет, а Чутора охраняет его и никого к нему не пускает, как собака.

— А все-таки, Фридман, — говорю я с притворной строгостью, — нехорошо, что вы подслушиваете разговоры господ офицеров.

Фридман делает наивное лицо.

— Честное слово, это вышло совершенно случайно, и если бы не шла речь о господине лейтенанте, я бы, ей-богу, не обратил внимания. Но все же прошу извинить меня. Может быть, я, действительно, нехорошо поступил.

Оба мы говорим не то, что думаем, и прекрасно понимаем друг друга, но мы обязаны разыграть эту комедию. Фридман уже у двери. На прощание я угощаю его сигарой, он галантно благодарит и, совершенно теряя воинский вид, тихо говорит:

— А то, что творится под нами, это не шутка, господин лейтенант. Надо что-нибудь сделать, иначе может случиться такое, что не дай боже.

Фридман уходит, подняв в моей душе хаос чувств и вопросов. Солдат, шпионящий за своими офицерами, офицер, который выслушивает его и тем самым становится его соучастником... Офицер-

ская честь и общечеловеческая точка зрения... Все перепутывается в моем сознании.

Нет, все же этот солдат поступает гораздо корректнее, чем те господа в штабе.

После обеда я зашел в каверну третьего взвода. Здесь тоже есть наблюдательный пункт. Вокруг него толпятся солдаты. Кто-то из них взял длинный итальянский палаш, вбил его в камень и на конце установил котелок, до половины налитый водой.

— А это что такое? — спросил я.

— Мограф, господин лейтенант.

— Что же он показывает?

— Когда роют землю, вода в котелке рябит, господин лейтенант.

— Ну и много показала вода сегодня?

— До обеда они молчали, но час тому назад вода начала рябить, и аппарат господина взводного Гаала в это время тоже стал действовать. Видно, итальянцы там внизу не спят.

Торма в отчаянии. Совсем раскис мальчик. По его поведению вижу, что мне необходимо сохранить внешнее спокойствие. Хорошо было бы обсудить все это с Арнольдом, но нет сил сейчас идти к нему, да, кроме того, он может подумать, что я жалуясь.

К вечеру меня вызывают в штаб батальона. Готовлюсь к основательной головомойке, но Кенез принимает меня подчеркнуто вежливо.

— Не сердись на меня, но ты неправильно поступил с этим телефонным разговором. Такой кавардак устроил, что голова идет кругом.

— Ты уже думал о том, что я говорил? — спрашиваю я вызывающе.

— Прошу не нервничать. И предупреждаю по-дружески: при разговоре с господином майором веди себя спокойнее. У нас и так достаточно волнений.

— Ну вот, вы тоже волнуетесь, как же мне не волноваться?

— Ты думаешь, что нас беспокоит этот воображаемый подкуп? Ничуть не бывало. У нас есть более серьезные заботы: его королевское высочество, действительно, решил побывать в нашем батальоне.

— Гм, значит, правда? — спросил я.

Кенез начинает рассказывать, в каком волнении пребывает вся их братия. Ведь тут уже были двое из штаба армии, один — майор-генштабист, другой — капитан. Они точно установили маршрут: по какому ходу сообщения пройдет эрцгерцог, как он подымется на Клару, с кем и о чем будет разговаривать, и как вообще будет проходить церемония.

Я слушал со стиснутыми зубами, и у меня было сильное желание дать по физиономии этой очкастой обезьяне.

— Теперь прошу все силы твоего отряда концентрировать для выполнения двух-трех неотложных задач. Во-первых, надо привести в абсолютный порядок ступеньки хода сообщения, ведущего к первой роте. В некоторых местах эти ступеньки очень плохи, неровны, в других местах слишком низки. Кроме того, там, где подьем очень крут, необходимо сделать перила, чтобы его королевское высочество мог о них опереться. А в самих окопах надо точно установить, до какого места может пройти эрцгерцог, не подвергая себя опасности. У этих крайних точек надо будет поставить часовых, которые должны будут нас во-время остановить.

Вошел майор. Дружески пожал мне руку и заставил сесть.

— Ну что там у вас на Кларе? Слышал, слышал, что нервничаете. Это потому, что долго не происходит смены. Надо знать солдат: они чертовски изобретательны, когда чем-нибудь напуганы. А что касается твоей бомбардировки, — тут майор недоуменно развел руками, — ну, знаешь, Матраи, это уж верх легкомыслия. Ведь тебе известно, что мы ожидаем его королевское высочество, и на нашем участке должна господствовать абсолютная тишина. И ты вдруг устраиваешь такой переполох. Кроме того, ты неправильно поступил и с телефонным разговором. Нельзя в присутствии солдата говорить так откровенно. Офицеры должны быть замкнуты, никакой фамильярности по отношению к нижним чинам. Это — одна из пружин нашего авторитета. А ты слишком демократичен и

прям. Впрочем, во всем батальоне много демократизма. Обер-лейтенант Шик очень корректный и образованный господин, но у него слишком оригинальная точка зрения на отношения с солдатами, противоречащая установленным взглядам офицерства.

Майор говорил долго, тошнотворно назидательно. Я предпочел бы резкий выговор этой отеческой нотации. Он замолчал, как бы ожидая моих объяснений. Долго я не мог ничего сказать, наконец, заговорил. Я объяснил, что мое сообщение основано не на фантазии, а на конкретных данных тщательного наблюдения, и несколько раз подчеркнул, что положение весьма серьезно.

— Это не какая-нибудь кухонная сплетня, господин майор, это факт. Возвышенность минируют, и опасность очень близка.

Майор помрачнел.

— Видишь ли, друг мой, — сказал он мягко: — ты никак не хочешь понять, что завтра-послезавтра к нам придет эрцгерцог. Ты говоришь, что итальянцы буравят? Пусть буравят. Ведь знаешь, сколько времени им понадобится для того, чтобы пробуровать тоннель для взрыва такой возвышенности? Несколько месяцев предварительной подготовки. Я прошу тебя не портить положения и прекратить эту легенду. Ведь если она дойдет до высшего командования, произойдет скандал. Своей нервозностью ты испортишь все дело не только батальону, но и полку и, если хочешь знать, даже бригаде. Всех подведешь под большие неприятности.

— Вообще, если ты так нервничаешь, мы можем тебе помочь, — заговорил не без сарказма Кенез. — Тушаи всегда находился при штабе батальона, а твой отряд имеет батальонное значение, и, если хочешь, мы можем отвести тебе здесь одну каверну.

Я поблагодарил Кенеза за любезность и повернулся к майору.

— Если я правильно понял, господин майор, командование батальона не принимает официально к сведению мой устный доклад относительно подкопа.

Тогда разрешите мне изложить вам все это в письменной форме.

— Хорошо, сообщи в письменной форме.

— Кроме того, господин майор, прошу разрешить мне продолжать свои наблюдения и посылать вам донесения по этому поводу.

— Только письменно или лично.

— После того, как мы точно определим направление мины противника, необходимо будет начать контрминирование, этого требует положение.

— Ни в коем случае, — воскликнул Кенез.

— Или только после посещения его королевского высочества, — добавил майор.

— Я бы запретил и наблюдения, господин майор, — сказал Кенез. — Это только нервирует солдат и вызывает панику.

Майор покачал головой.

— Если у лейтенанта имеются данные... то нельзя запретить. Но надо это делать без всякого шума и убедить солдат в том, что тревога ложная.

Я простился с майором, а Кенезу холодно кивнул. С телефонной станции позвонил в Констаньевиче. Долго не мог ничего добиться, наконец, ответили. Я попросил к телефону Лантоша. Его не оказалось дома. Говорил «лейтенант» Богданович. По голосу было слышно, что он не совсем трезв.

— С каких это пор вы стали лейтенантом, Богданович? — спросил я строго. Богданович умолк и больше не отвечал.

Возвратился я поздно ночью с пустым сердцем и пустыми руками. Богданович не ответил. Подымаясь по ходу сообщения, я взглянул на Клару, и снова эта каменная громада показалась мне таинственной и угрожающей. Беклинские ночные тени пробежали передо мной.

А вдруг гора окажется дырявой, как гнилой зуб, и в этот зуб итальянцы заложат полуторатонную пломбу?

Придя к себе, я не позвал ни Гаала, ни Торму. Никого не хотелось видеть. Предупредил Хоמוка, что, кто бы ме-

ня ни спрашивал, пусть говорит, что я еще не вернулся из штаба батальона. Сел за стол, чтобы написать рапорт, но прошло полчаса, и не явилось ни одной связной мысли.

«Дырявый зуб, да, да» — сверлило в моем мозгу. Нет, так ничего не выйдет. Отстранил бумагу и машинально потянулся за книгой. На столе лежала французская книжка в желтой бумажной обертке. Ах, это очень мило со стороны Арнольда. Книга, наверное, из последней посылки. Золя — «Разгром». Начал читать, и, чем больше углублялся в книгу, тем отчетливее чувствовал, что этой книгой Арнольд хочет мне что-то сказать. Посмотрел на часы. Уже поздно. И вдруг меня охватила страшная тоска по Арнольду. Да, он — единственный человек, с которым у меня есть внутренняя связь, а все остальные — чужие, чужие, как будто с луны свалились сюда. К солдатам же я испытываю неизмеримую жалость, которая заполняет мое сердце.

Постучавшись, вошел Торма. Юноша бледен, вид у него усталый. В окопах уже давно утро.

— Сегодня ночью итальянцы бешено работали. По мнению Гаала, проход идет между вторым и третьим взводом и направляется на северо-восток. Это уже без всякого сомнения.

— Так точно установили?

— Сейчас сюда придет Гаал и все расскажет. Знаешь, мы с ним решили сами сделать карту возвышенности. Все-таки по плану будет легче ориентироваться. Гаал находит, что итальянцы очень продвинулись в своей работе.

— Знаешь, Тормочка, я как-то не верю во все это, — говорю я равнодушным тоном.

— Во что ты не веришь? — удивленно спрашивает Торма.

— Во все эти предположения. Возможно, что итальянцы и не буравят, а весь этот шум просто... ну как бы тебе сказать... Ты слышал, как гудит морская ракушка, если поднести ее к уху?

— Ты шутишь, господин лейтенант?

— Нет, серьезно, возможно, что внутри горы есть пещера, с юга в нее,

как в дырявый зуб, проникает воздух и гудит.

— Но ведь сегодня ночью уже в третьем взводе слышали этот шум.

— Может быть, и в четвертом тоже? — спросил я насмешливо.

— Нет, там было тихо. А утром из седьмой латрины совершенно отчетливо было слышно, как итальянцы вынимают камень.

— Ты сам слышал?

— Сейчас придет Гаал, спроси его, если не веришь.

Я пришел в бешенство.

— Гаал! Везде этот Гаал. Он выдумал всю эту историю с подкопом от нечего делать. Надо его взять в руки. Знаешь ли ты, — я понижаю голос, — знаешь ли ты, что о Гаале идет слух, будто он — социалист.

— Социалист? — спрашивает Торма, испуганно раскрыв глаза. Он даже не понимает, что значит это слово, но, по общераспространенному понятию, социалист — это беспокойный человек, нарушитель порядка, а в армии — человек, которому нельзя доверять. Торма оторопел.

— Так ты думаешь, что не буравят?

— Видишь ли... Я в этом, конечно, не уверен. Поэтому наблюдения надо продолжать, но совсем иначе: солдат нельзя вмешивать в это дело.

Постучали. Вошел утомленный, бледный Гаал. Видно, что он провел напряженную, полную волнений ночь. Я не предлагаю ему сесть.

— Господин кадет уже доложил мне обо всем, — начинаю я холодно. — Все данные говорят о том, что эта история малозначительна, и ваши предположения весьма сомнительны.

Гаал встrepенулся, хочет что-то сказать. Чувствую, что, если он заговорит, его доводы разобьют меня, поэтому повышаю голос:

— Наблюдения можно продолжать, но рядовых из рот нечего впутывать в это дело. Надо будет выделить из отряда несколько человек для наблюдения, а вы, Гаал, в ближайшие дни будете сильно заняты. Посещение эрцгерцога уже факт, и нам надо готовиться.

Гаал растерянно смотрит на Торму, лицо которого застыло, потом устремляет испытующий взгляд на меня, не потерял ли я вдруг рассудок. Нет, лейтенант не сошел с ума, но, видимо, что-то случилось.

— Эрцгерцог прибудет сюда, в расположение первой роты. Поэтому надо привести в порядок ходы сообщения. Местами фланговые защиты очень слабы, и его королевское высочество может подвергнуться большой опасности. Кроме того, есть еще крутые места...

Долго даю подробные инструкции, делая вид, что всецело поглощен заботами об эрцгерцогe. Заставляю Гаала вынуть блокнот и все точно записать.

Гаал все записывает, украдкой взглядывая на меня. Он, очевидно, ждет, что я прерву распоряжения и скажу: «Ну бросьте, Гаал, все это шутка».

Но нет, не шутка, Гаал, далеко не шутка. Это служба, военная служба. Мы служим императору, королю и кесарю, служим эрцгерцогу и господину майору Мадарашаи.

— А как же с подкопом, господин лейтенант? — спрашивает Гаал упавшим голосом.

— Я уже говорил господину аспиранту, Он передаст вам мою точку зрения. Конечно, я не запрещаю наблюдений, об этом не может быть и речи, — обращаюсь я к Торме, — но, повторяю, не очень верю во все это и считаю несвоевременным занимать людей и волновать их. Поэтому прошу отстранить стрелков от этого дела. Наблюдения надо продолжать, но без моего ведома ничего не предпринимать. Поняли? — спрашиваю я, отступив на шаг назад.

Оба отдают честь. У Гаала такой вид, как будто его оглушили. Торма начинает пробуждаться, соображать, и в его мозгу, видимо, что-то определяется. Они уходят. В дверях Гаал останавливается, смотрит на меня, потом резко отворачивается.

— Гаал, — говорю я тихо.

— Слушаю, господин лейтенант.

— Гаал, если вы не согласны с тем, что я сейчас приказал, можете подать мне рапорт, в котором выскажете свою точку зрения относительно этого пред-

полагаемого подкопа. — Потом поворачиваюсь к Торме. — Ты тоже, если хочешь, можешь подать по этому поводу рапорт, который я немедленно отправлю в батальон.

— Я? Едва ли, — неуверенно говорит Торма. По лицу Гаала проходит горькая улыбка.

— Очевидно, у господина кадета не имеется своей точки зрения, — роняет он.

Это, безусловно, дерзость. Торма опешил и в первый момент даже не понимает случившегося.

— Нет. То-есть есть, но совсем иная, чем ваша, Гаал.

Чтобы не слышать дальнейших пререканий, я закрываю за ними дверь. Слышу, как, подымаясь в окопы, Гаал примирительно говорит:

— Видите ли, господин кадет, я тоже не совсем ориентируюсь в создавшемся положении.

Голос Гаала тих и спокоен, его слова заживляют маленькую рану, нанесенную им в порыве негодования самолюбью молодого кадета.

Да, в создавшемся положении...

Через час проверяю, пошел ли отряд по назначению. Ушли. Встречающиеся по пути гонведы приветствуют меня сдержанно-официально, и некоторые долго смотрят мне вслед. Они уже все знают. Лейтенант запретил принимать контрмеры. Что могут думать эти люди? Пустяки. Никто ни о чем не думает. Обед принесли превосходный, и это обстоятельство вызывает среди солдат заметное оживление.

Спускаюсь в каверну второго взвода. У входа никого нет, так что я, никем не замеченный, прячусь в тени. В конце каверны, где находится наблюдательный пункт, горит свеча. Вокруг сидит группа солдат. Тихо беседуют. Я останавливаюсь у пирамиды, где меня скрывают навешенные шинели.

— А как по-вашему, для чего нужна война господам? Слишком много было народа и недовольство большое, так вот надо было пустить немножко крови из народа, чтобы он стал потише.

— Ну, не совсем так, землячок, хотя вы недалеко от правды.

— Одним батальоном больше или меньше, никакого значения для господ не имеет.

— Как можно так говорить? Ведь офицеры здесь вместе с нами. Если нас взорвут, и они взлетят на воздух.

Кто-то отчаянно крикнул:

— Смирно!

Я понял, что меня заметили. Дедаю вид, как будто только-что вошел в каверну, и подхожу к группе. Наблюдателем сидит Хусар. Увидев меня, вскакивает.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант: час тому назад прибыл из хозяйственной части. Перископы, как приказал господин лейтенант, принес.

— Спасибо, Хусар. Мы поставим эти перископы на самой вершине. Нам придется провести туда несколько ходов сообщения, чтобы его королевское высочество мог взглянуть на итальянцев.

— Так точно, — говорит Хусар и не сводит с меня глаз. — А что изволите сказать о подкопе? Ведь буравят, сволочи.

— Вы так думаете? — спрашиваю я иронически. — А как вам кажется, Хусар, сколько времени нужно для того, чтобы пробуровать такую гору?

Хусар молчит, видимо, не находя ответа.

— Ну вот видите. Не надо быть инженером, чтобы установить, что для такого подкопа необходимо месяц или полтора. Для того, чтобы подложить трехтонный фугас, друг мой, потребуется много работы. Взорвать такую горищу, если бы она даже была из чистой земли, не так легко. Тут одной или двух тонн экразита так же недостаточно, как одного или двух килограммов. Ведь нужна бешеная сила взрыва. Поэтому, — обращаюсь я к стоящим вокруг солдатам, — нет никаких причин для волнений. Наблюдения будем продолжать и, когда придет час, устроим им такую контрмину, что только дым пойдет.

— Так точно, — говорит Хусар. — Но что, если итальянцам попадетсся какая-нибудь естественная пещера, которую надо будет только расширить, чтобы заложить мину?

— На чем вы основываете ваше предположение? — спрашиваю я строго.

— Да все тут говорят. Ведь солдаты опытные.

Некоторые из солдат уже придвинулись ко мне, чтобы высказать свою точку зрения, поделиться заботами, предложить свои нехитрые планы, но я предупреждаю их:

— Это пустая гипотеза, фантазия, бред перепуганных людей. Хустар, вы спокойный и опытный человек. Я поручаю вам работу по ведению наблюдений. Вы зайдете ко мне в каверну и получите точные инструкции, как и что надо наблюдать. Хотя нет, погодите, вы сегодня вечером отправитесь в штаб бригады.

— Слушаюсь.

— Получите от меня пакет и пойдете с ним в штаб бригады к господину капитану Лантошу. Он даст вам карту разреза Монте-дей-Сэй-Бузи.

— Разве такая карта есть, господин лейтенант?

— Конечно, есть. В канцелярии господина капитана Лантоша служит какой-то капрал Богданович, писарь, что ли...

— Знаем мы Богдановича: он был раньше обер-лейтенантом, но его разжаловали за воровство, — говорит Хусар с явным удовлетворением в голосе.

— Ну, так у этого Богдановича, кажется, хранятся карты. Господин капитан уже приказал ему найти ту, которая нам нужна.

— Понимаю, господин лейтенант. Если карта будет в наших руках, все станет ясно.

— Правильно, Хусар. Поэтому сейчас главное — соблюдать спокойствие, никаких сплетен, латринных паник и шушуканий. Довольно.

Я выхожу из каверны и некоторое время бесцельно перехожу с одного участка на другой. Вдруг ловлю себя на том, что напеваю, да, да, напеваю какую-то веселенькую мелодию, вроде марша. Что это за мелодия?

Строгай, столяр, строгай, пока
Гробов для целого полка

Не напасешь. А на кресте
Ты напиши...

А что написать на кресте? Что должен написать этот несчастный столяр?

А на кресте
Ты сделай надпись: «Кто заплатит
За все мученья и утраты?»

Кому заплатит? Кто и когда пред'явит какие-нибудь счета? Глупость. В каверне моей почти домашний уют. Хомак ожидает с обедом.

— Хомак, подогрейте вино, — говорю я.

— Ох, и любит сладкое господин лейтенант, — ворчит дядя Андриш.

— А что, вам, может быть, жалко, старый пьяница? Ведь вы всегда выпиваете львиную долю и потому вечно пьяны, — поддразниваю я старика.

И, пока он возится с вином, подогревая его в окопах на спиртовых таблетках, я пишу донесение майору Мадараша. Один экземпляр пойдет господину майору, а другой — капитану Лантошу.

Работа идет безостановочно. Подкоп — это факт. Предупреждаю командование, ссылаюсь на свое устное заявление, указываю на донесение цугфюрера Гаала и Тормы... Нет, Торму не стоит впутывать в это дело. Согласно донесения унтера Гаала, подкоп находится уже в таком состоянии, что представляет явную угрозу. Не исключена возможность, что неприятель напал на естественный грот, и тогда подготовка фугасного взрыва может продлиться не месяц, а несколько дней или часов. Я слагаю с себя всякую ответственность за могущую произойти катастрофу. Слагаю с себя ответственность... и полечу на небо.

Приготавливаю пакеты, запечатываю сургучом. В этих пакетах идет речь о жизни восьмисот шестидесяти человек.

Беру роман Золя. Перелистывая книгу, на одной из полупустых страниц наткнувшись на строки, написанные знакомыми зелеными чернилами. Рука Арнольда.

«Армия еще не достигла Седана, битва была далеко, но воздух проигранного сражения уже давил всех. В сердцах людей не было ярости и желания

боя. Это была не армия, а куча вооруженных людей».

И дальше: «Куда мы идем? Кому мы доверили свое оружие?».

Теперь я понял, как мучается Арнольд, и пожалел его. Решил рассказать ему откровенно обо всем.

Еще было светло, когда пришел Хусар. Я дал ему пакеты и еще раз повторил:

— Так вы обратитесь к Богдановичу. Если карта не будет готова, попробуйте позвонить сюда наверх.

— Слушаюсь, господин лейтенант, будет исполнено. Конечно, надо иметь ясную картину. Господин взводный Гаал совсем расстроен, а мы знаем, что он уже не мальчишка и попусту волноваться не станет.

Я понял, что взводный и Хусар уже обсудили положение со всех сторон, и Гаалу ясно, что меня в штабе батальона обработали. Но что же может думать обо мне Гаал? За кого он меня считает после того, как я сразу сдал все позиции?

К вечеру за мной зашел Торма. Дежурный по батальону обер-лейтенант Сексарди получил копию приказа по дивизии. Бачо вернулся из штаба бригады, куда его пригласили вчера. По всей линии фронта ликование. Торма получил производство в кадеты и представлен к малой серебряной медали.

— Да, ты тоже получил «Сигнум лаудис»¹⁾. Но ты же и заслужил, — говорит Торма с уважением.

Идем к Сексарди. У него собрались почти все офицеры батальона. Арнольд тоже здесь. Мне кажется, что я не видел его целую вечность. Рука его холодна и бессильна, лицо серое, в глаза мне не смотрит.

«Еще не отошел, — думаю я, улыбаясь. — Ну ничего, сегодня мы ликвидируем это невозможное положение».

Приказ дивизии ярко рисует, во что превращается победа фронта в руках штабных. Первые награждения идут пышным венком по штабным чинам. Господин полковник Коша, капитан Беренд, капитан Лантош и еще три-четы-

¹⁾ Знак доблести.

ре совершенно незнакомых нам имени. Майоры, капитаны, адъютанты, обер-лейтенанты...

— Но почему Лантош? — спрашиваю я громко.

— Да, командование не забыло себя, — замечает Бачо.

— «Господин майор Мадараши»...

— Ну, это правильно, — соглашаются многие из офицеров.

— Вы не возражаете? — спрашивает Сексарди, отрываясь от чтения приказа и глядя на нас поверх очков.

— Ну, дальше, дальше.

— «Господин лейтенант Кенез»...

— А этот почему?

— Бросьте, господа. «Главный врач батальона обер-лейтенант доктор Аахим»...

Шпрингер тонко заржал, все улыбаются. Лейтенант с золотыми зубами тяжело дышит.

— Но почему же нет, господа? В конце-концов, что нам, жалко?

Я выхожу покурить перед каверной, за мной следует Бачо. Подходит и Арнольд. Вместо обычной сигары я вижу в его зубах знакомую матросскую трубку. Ага, это, наверное, из последней посылки Эллы.

Бачо нервничает, глаза его блестят.

— Свинство! — говорит он откровенно и злобно сплевывает.

— Оставьте. Командование знает, что оно делает, — замечает Арнольд голосом, не терпящим возражений.

— Слушай, Матраи, верно, что тебя здорово пробрали в штабе батальона из-за этого подкопа? Ну, ладно, ладно, ты мне только скажи свое мнение: действительно подкапываются?

— Я в этом глубоко уверен. Но так как штаб батальона приказал не принимать никаких контрмер... — Я оборачиваюсь к Шик: — Что ты скажешь об этом, Арнольд?

— Если командование считает недостаточно серьезными доводы господина лейтенанта, то что же я могу сказать? — отвечает Арнольд и скрывается в каверне.

Что это такое? Кто это? Арнольд? Господин обер-лейтенант Шик? Не понимаю.

В каверне господа офицеры поздравляют друг друга. Меня зовут, устраивают шумную овацию, жмут руку. Я тщательно избегаю встречи с Арнольдом в этой сутолоке. Бачо получил пятую награду. Ему дают роту, ту роту, которой временно командует Дортенберг. Теперь он превращается в помощника Бачо. Дортенберг поздравляет своего нового командира. Бачо искренно оправдывается перед лейтенантом, говоря, что он не виноват в случившемся, что он этого не хотел и, если бы знал, протестовал бы в штабе бригады, тем более, что разговаривал с самим генералом Кевешш.

Телефонист доложил, что звонит господин майор Мадараши. Первым он зовет к телефону Бачо. Я потихоньку пробираюсь к выходу и иду домой. В руке чувствую холодную вялую ладонь Арнольда, в ушах звенят его непонятные слова. Что это было? Мечь? Или Арнольд, действительно, сдался? Настоящий солдат — тот, кто не имеет своей воли. Может быть, и я уже такой?

Поздно вечером приходит Чутора: меня вызывает штаб батальона. Иду к телефону. Говорит лейтенант Кенез:

— Получил твоё донесение. При других условиях, поверь, господин майор не простил бы тебе такого упрямства. Мы отправили твой рапорт в штаб полка, пусть там решат. Недавно сюда звонил капитан Лантош, говорил с майором. Он тоже получил от тебя донесение. По его мнению, это не что иное как большая фантазия.

Не отвечая, кладу трубку. Дверь к Арнольду полуоткрыта. Обер-лейтенант сидит спиной ко мне за своим столом и пишет. Перед ним лежит наполовину исписанная страница. Кругом разбросаны бумаги, многие перечеркнуты, исправлены синим и красным карандашом. Видно, работа дается не легко.

Я не постучался к Арнольду. Почему? Неужели испугался встречи?

Придя домой, застал у себя Гаала. Он принес донесение и хочет поговорить со мной. Прошу его прийти завтра. Я прочитаю и изучу его рапорт, тогда будем разговаривать. Гаал ушел, но за-

держался у Хомока и долго шушукался с ним. А потом, будто оставив в каверне свое сердце, тяжелыми шагами ушел взводный Петр Гаал.

Прошло два дня. Ни из полка, ни из бригады никакого ответа. Хусар исчез, ни слуху ни духу. А тут у нас нервная напряженность не ослабевает ни на миг. По нашим наблюдениям, работы неприятеля длятся уже три дня без перерыва. Это, конечно, небольшой срок, если итальянцам нужно проходить по сплошной породе. А если нет? Звуки бурения и постукивания приходят со слишком большой глубины, чтобы можно было говорить о результатах нескольких дней. Но, может быть, итальянцы готовились к этому случаю заранее?

Солдаты смотрят на будущее очень мрачно, они предпринимают все шаги для того, чтобы выиснить действительное положение, с неслабевающей бдительностью следят за происходящим под нами и с дьявольской изобретательностью добывают свои данные. Я просто восхищаюсь ими.

Большая часть офицеров прикрывается маской неверия и говорит о подкопе с пренебрежением, но многие, действительно, не вдумываются в положение, предоставляя решить дело высшему командованию. Это невероятно, но господа офицеры потеряли чутье и не понимают происходящих событий. Они ждут эрцгерцога и надеются на то, что по его отбытии нас немедленно сменят.

Словом, мы ждем эрцгерцога, который обещает быть каждый день, и к вечеру выясняется, что не придет. Солдаты уже обучены тому, что, как только эрцгерцог появится в окопах, весь батальон должен его встретить могучим троекратным «ура». Это «ура» должно прогреметь не коротко и четко три раза, а длиться минутами, как непрерывный крик ликования.

Вчера меня целый день посещали гости. Первым пришел Бачо. Открыто и просто спросил, каково мое искреннее мнение о подкопе. Я рассказал ему, что бурение сильно продвинулось вперед и трагедии можно ждать наверняка.

— Тогда нужно что-нибудь предпринять, — задумчиво произнес Бачо.

— Мне закрыли рот. Я свое дело сделал: мой рапорт болтается где-то между батальоном и полком. Возможно, что Кенез просто положил его под сукно. Но ведь капитан Лантош тоже знает обо всем.

Бачо омарчился. Он, наконец, понял положение.

— Знаешь, мне начинает казаться, что вся эта история как-то слишком типична для нашей армии, — сказал я, еле сдерживаясь.

— Но ведь сюда собирается эрцгерцог, — возразил Бачо, — его бы не стали подвергать такой опасности.

— Эрцгерцог! Для эрцгерцога война — это коммерческое предприятие, а всякая коммерция связана с риском.

Бачо рассмеялся и хлопнул меня по плечу. Он стал прежним веселым, лихим лейтенантом. Я рассказал ему о своих сомнениях и о том, как прижал к стене Торму и Гаала. Гаал все знает и чувствует, как будто видит сквозь камень. Вчера он доложил мне, что подкоп меняет направление и сейчас идет под каверну третьего взвода. Ясно, что за какие-нибудь пять-шесть дней итальянцы не могли бы пройти так глубоко, если бы на их пути не встретились естественная пещера.

— Да, брат, положение, действительно, серьезное. Завтра же поговорю с Кенезом. Тут надо что-нибудь сделать. Когда я прощался со своим взводом, зашла речь о подкопе. Солдаты сильно взволнованы, а офицеры так заняты предстоящим празднованием, что не видят дальше своего носа.

В передней кто-то спросил, дома ли я. Вошел фенрих Шпрингер.

— Пришел проститься, друзья, — не принужденно сказал Шпрингер, пожимая нам руки.

— Куда отправляешься?

— При штабе армии открываются курсы снайперов. Срок обучения — пять недель. Буду здесь недалеко, в Набресине. Сначала говорили, что поедем в Лайбах, но потом переменили. Ну, скоро снова увидимся. Сервус!

— Сервус!

В дверях Шпрингер обернулся.

— Да, Матраи, я хотел тебе сказать, что этот подкоп—не такая ерунда, как думает командование батальона. Я уже два раза слышал, как работают внизу итальянцы.

— Да ну, —махнул я рукой, — солдатские фантазии, а ты, офицер, подерживаешь эти выдумки.

Шпрингер недоверчиво посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но передумал и, откозырнув, вышел.

— Удирает, определенно удирает. Ведь курсы начинаются через две недели.

— Ты думаешь? — спросил я невинно.

— Нет, как тебе понравится? Драпу дал. Чорт поберит! — Бачо был возмущен.

— Чего же тогда ждать от солдат?

— Пст! — сказал быстро Бачо. — Штаб батальона каждый день осаждают тысячи больных. Новак вчера доложил Шику, что, по его мнению, частые ранения в седьмой латрине являются самострелами.

— Ну?

— С тех пор, как мы находимся наверху, у седьмой латрины было четырнадцать ранений, и, за исключением одного-двух случаев, все легкие.

— Неужели?

— Да, каждый находит свой путь.

Бачо оставил мою каверну с твердым решением поговорить в штабе о создавшемся положении. Перед вечером ко мне зашел Дортенберг.

С ним поступили некрасиво. Ведь он — старый лейтенант, временно командовал ротой, а сейчас командиром третьей роты назначили Бачо, и Дортенберга сделали его заместителем. Неприятно. Хоть бы зачислили к какому-нибудь обер-лейтенанту. Дортенберг расспрашивал меня о подкопе и рассказал, что он уже был свидетелем небольшого взрыва у Сан-Мартино.

— Врагу своему не пожелаю, — говорил золотозубый, видимо, содрогаясь при одном воспоминании. — От такого взрыва нет спасения. Погибают не только те, под кем он происходит, но и все кругом. У Сан-Мартино взрыв был

небольшой, но у всех, находившихся в резерве, — это в расстоянии полукилометра, — из носа и рта хлынула кровь.

Я успокаивал лейтенанта очень вяло, с прохладцей, оставляя в его душе зерно сомнения.

— Смотри, ведь, и командование батальона не верит в эту историю, — прибавил я в конце беседы.

Дортенберг, по всей вероятности, ушел от меня в подавленном состоянии. У порога он повернулся, но, заметив Хомока, только махнул рукой и вышел.

Я был рад этим посещениям. Мне все казалось, что вдруг войдет Арнольд и спросит: «Ну, господин лейтенант Матраи, как обстоит дело с наблюдением?» Но, конечно, это была только фантазия. Зная Арнольда, я не мог ожидать его к себе.

Я радовался посещениям, потому что видел по ним, что офицеры, наконец, двинулись. Но последние два дня прошли не так бесследно, как мне казалось. Арнольд, наверное, был убежден в том, что я окончательно успокоился, подав свое донесение штабу батальона, с чьими указаниями не соглашался, и вопрос считаю исчерпанным. В эти дни Чутора два раза заходил в каверну и шептался со стариком Хомоком.

— Читает, — почтительно говорил Хомок.

Я, действительно, читал. Золя провела меня через темные ночи авантюрной войны. С вечера до рассвета созрела трагедия, кровавый постыдный конец. Какая аналогия! Читал и думал об Арнольде. Не случайно просил он Элли прислать сюда эту книгу. Роман Золя помог мне выкинуть во все противоречия нашей армии, и я ужаснулся, чувствуя, что теряю воинскую стойкость и перестаю быть солдатом. Но это было еще только смутное, подсознательное чувство.

Я буквально провалился эти два дня. Хотя у нас еще были большие возможности, но, ведь, руки наши были связаны.

Часто заходил Торма. Он доносил... доносил, что ступеньки уже в порядке, фланговые защиты ходов сообщения местами подняты на полметра, местами

покрыты козырьками. Временами Тор-ма останавливался, выжидая, не буду ли я его расспрашивать. Нет, я не расспрашивал Торму. Он каждый раз долго мешкал с уходом, но так и не заговорил. Гаал не заходил ни разу и, видимо, не интересовался тем, что я сделал с его донесением. Рапорт его был короткой точной сводкой всех данных и ясно говорил: каждая минута дорога. Я не вызывал Гаала. Зачем? Ведь мы ждем эрцгерцога, его королевское высочество прибудет, пройдут торжества, и нас немедленно сменят, а после нас хоть потоп. Может быть, для очистки совести еще сообщим о подкопе в Констаньевице, потому что нас могут сменить только в Констаньевице. А может быть, сменят в Заграе и на месяц определяют на гарнизонную службу.

«Эх, хорошо будет» — подумал я, потягиваясь от приятного предчувствия и пытаясь обмануть самого себя. Иногда в душе наступал покой, и мне казалось, что, действительно, это все паника, но достаточно было взглянуть на журнал, приложенный к рапорту Гаала, и внутри все превращалось в сжатый кулак. В такие минуты я сердито поворачивался с одного бока на другой, и в двери немедленно появлялась голова Хомока — не нужно ли чего господину лейтенанту.

И вот поздно ночью вернулся Хусар. Он пришел с пустыми руками. Хусар не скрывал своего возмущения и всю горечь против штабов излил на капрала Богдановича, на этого гнусного пьяницу, водившего его за нос два дня. Хусар прошел мытарства по штабам: его посылали от одного к другому, возвращали обратно, заставляли ждать часами. Ведь он простой капрал, а там расфранченные солдаты и унтер-офицеры, старающиеся издали походить на господ офицеров. А господа офицеры просто не стали с ним разговаривать. Но вскоре выяснилось, что нужная карта пропала. Ее искали в отделе топографии, в оперативном секторе, потом кто-то посоветовал Хусару обратиться в канцелярию полковника Хруна, но господин полковник неделю тому назад уехал в Толмейн и еще не вернул-

ся. В конце-концов, все нити вели к Богдановичу. У него нашлась целая стопа таких карт, но нужной не оказалось. Были карты Ларокко, Косича, Полазо. На карте Косича обозначена внутри пещера, в которой может поместиться целый батальон. Разреза Монте-дей-Сэй-Бузи так и не нашли.

А сегодня утром ко мне зашел Тор-ма, зашел не для доклада, а просто так, посидеть, поговорить. Вдруг он вскочил, закрыл дверь и шопотом признался мне, что боится, боится, потому что Гаалу нельзя не верить. Они с ним два дня непрерывно наблюдали, и Гаал пришел к заключению, что работа неприятеля близится к концу.

И, когда Торма рассказал все это, я почувствовал, что конец сомнениям и апатии, в которой я пребывал последние два дня.

— Эрцгерцог сегодня тоже не придет, — сказал Торма печально, и, как бы ожидая этой минуты, на пороге появился Гаал.

— Ну, говорите, — сказал я ему вместо приветствия.

Гаал стоял у двери. Этот сильный человек заметно постарел за последнее время. Да и не только он: высокий выпуклый лоб Тормы прорезала свежая продольная морщина. Я сам уже неделю не смотрелся в зеркало.

— Говорите, Гаал, — сказал я дружелюбно.

— Я знаю, что господин лейтенант связан так же, как и все мы. Дисциплина — это не шутка...

— Но... говорите же это «но», — торопил я.

— В уставе, господин лейтенант, есть такой пункт: если приказ явно противоречит прямым интересам армии...

— ...подчиненный имеет право подать рапорт через голову непосредственного начальства. Ну, дальше.

— Ведь нам, господин лейтенант, никто не запрещал наблюдать и контролировать противника.

— Это верно.

— У меня есть предложение, господин лейтенант: для интенсивности наблюдения...

— Большую контрмину?

— Так точно.

— Нет, это невозможно. Кроме того, вы говорите, что работа уже настолько продвинулась...

— Да, господин лейтенант, положение очень серьезное.

— Бурение слышно?

— Теперь редко. Больше слышна выемка породы. Вчера вечером Кираль сообщил мне, что у одного из поворотов хода сообщения под горой он видел целую кучу мешков из-под цемента.

— Из-под цемента? Может быть, просто мешки для бруствера?

— Нет, господин лейтенант, мешки из-под цемента очень легко отличить от брустверных мешков, у них и форма другая, и размер, и окраска.

— Ну, и что это, по-вашему, означает?

— Для работы по подготовке фугаса, господин лейтенант, цемент необходим, но необходим в последней стадии работы, когда начинается замуровывание снаряда.

Торма вскочил.

— Я тоже видел эти мешки. Они и сейчас там лежат.

Мы замолчали. Я подошел к Гаалу и протянул руку.

— Я даже забыл вас поздравить, Гаал, с производством в фельдфебели и с получением большой серебряной медали.

Гаал удивленно посмотрел на меня, но все же крепко пожал руку.

— Господин лейтенант...

— Ладно, ладно, Гаал, понимаю. Сегодня вечером мы так или этак решим, как быть. Вы пока продолжайте наблюдение, а завтра, может быть, в самом деле придет эрцгерцог.

Гаал отвернулся.

— Ну, Гаал, — воскликнул я, — не будем распускаться!

— Это не паника, — взволнованно сказал Торма, — это факт, господин лейтенант, ты понимаешь?

Шпрингер еще вчера ушел в штаб бригады, а сегодня со мной распрощался Дортенберг. Он отправляется в штаб дивизии, где ему предложили должность по хозяйственной части.

После обеда без всякого усилия над собой я зашел к Арнольду. Чутора и Фридман встретили меня очень радостно.

— Есть кто-нибудь у господина обер-лейтенанта?

— Нет, только фельдфебель Новак.

Когда я вошел, Новак взглянул в мою сторону и заметно смутился. В воздухе чувствовалась прерванная фраза.

— Продолжайте, Новак, — сказал Арнольд после того, как я сел.

— Остальное не к спеху, господин обер-лейтенант, — пробормотал Новак. — Не буду мешать вашему разговору. Я могу притти и позже.

Арнольд посмотрел на фельдфебеля.

— Ну, говорите о том, что не к спеху. Господин лейтенант подождет, пока мы кончим, не правда ли? — обратился он ко мне.

— Конечно, — подтвердил я, устраниваясь так, чтобы лучше видеть Новака, но притворяясь, что меня нисколько не интересует происходящий разговор.

Новак пришел в еще большее замешательство. Он сжимал подмышкой завернутый в газету солдатский хлеб, а в левой руке держал маленькую записку, в которую временами взглядывал.

— Если разрешите... — неохотно начал он.

— Да, пожалуйста, — кивнул Арнольд.

— Эти наблюдения, господин обер-лейтенант, я произвожу уже давно, но ничего не мог точно установить до сегодняшнего дня.

— Что ты скажешь, — обратился вдруг ко мне Арнольд, — за сегодняшнюю ночь у нас опять четверо раненых. Если так пойдет дальше, то к смене моя рота сократится до половины состава.

— Так точно, — подтвердил Новак. — И если мы еще прибавим тех, которые записались к врачу...

— Какие ранения? — спросил я.

— Два в плечо, одно в руку и четвертое в ляжку, — ответил фельдфебель.

— А где они были ранены?

— У латрины № 7.

— Надо бы закрыть это заведение, — сказал я горячо. — Вообще этот гуано-реванш нам совсем не к лицу. Ране-

ния, очевидно, вызваны тем, что итальянский снайпер хорошо пристрелялся к этому месту и палит при появлении каждого живого существа. В результате у нас раненые и убитые.

— В том-то и дело, господин лейтенант, что за все время пребывания здесь из девятнадцати случаев только один смертельный, — почтительно возразил Новак.

Арнольд громко рассмеялся:

— Так ведь это очень хорошо, Новак, что нет смертельных случаев.

— Прошу прощения, господин обер-лейтенант, как-раз в этом и заключается все дело. Как я уже докладывал, на основании наблюдений у меня появилось подозрение, что в латрине № 7, находящейся далеко впереди и стоящей уединенно, очень удобно заниматься самоубийством.

— Ну, Новак, — прервал его Арнольд, — пока вы не можете подкрепить свое подозрение конкретными данными, об этом лучше молчать.

— Поэтому-то я и забрал солдатский хлеб, господин обер-лейтенант, чтобы подкрепить им свое подозрение.

Фельдфебель вынул из газеты хлеб и положил его на стол.

— Прошу прощения у господина обер-лейтенанта и господина лейтенанта, хлеб не очень хорошо пахнет, — сказал Новак смущенно, — так как я извлек его из латрины, куда он был брошен злоумышленником.

Хлеб и без объяснений Новака говорил сам за себя.

— Извольте посмотреть сюда, — сказал фельдфебель, указывая на середину хлеба, где была отчетливо видна обугленная дыра. — Это — место выстрела.

Новак повернул хлеб, другая сторона его была разодрана:

— Извольте видеть.

— Это еще не доказательство, — спокойно сказал Арнольд.

Новак стал упорно доказывать правдивость своих наблюдений, желая добиться закрытия латрины, где орудует целая шайка злоумышленников. Я с удивлением слушал его настойчивые доказательства и униженные просьбы.

Да, жизнь идет своим чередом. Новак выполняет свои функции: он разносит, ябедничает, защищает устав, святыне параграфы столетних казарм, где кулаком, мордобоем, подвешиванием и карцером вбивали в головы людей понятие о дисциплине. Он думает, что тех, которые побывали тут, можно загнать обратно в казармы. Новак не может или, вернее, не желает понять, что творится под нами. Ведь господа офицеры не подают никаких знаков, не волнуются, а штаб батальона даже приказал молчать. А господин обер-лейтенант, командир роты, не хочет верить в самоубийства. Ох, какая большая власть у командира роты! В мирное время ротой может командовать только важный господин в чине капитана. Господину обер-лейтенанту Шик ничего нельзя доказать, если ты не поймал злодея на месте преступления. Нельзя отрицать, господин обер-лейтенант Шик — настоящий господин, умный человек, нельзя сказать, что он не может понять создавшегося положения, нет, он не хочет понимать. Но об этом даже думать не имеет права фельдфебель. Об этом можно только послать секретное донесение в штаб батальона, так же, как было сделано донесение о том, что господин обер-лейтенант Шик слишком много позволяет своему денщику и допускает, чтобы проклятый еврейчик Фридман игнорировал фельдфебеля.

Новак переминается с ноги на ногу. Он, видимо, взволнован, так как не стоит по уставу в присутствии начальства.

— Господин обер-лейтенант, самострелы любят стреляться через хлеб. Он им нужен для того, чтобы избежать ожогов на ранах. А тут ясно, что через этот хлеб стреляли.

Словом, тут жизнь идет своим чередом. Но фенрих Шпрингер уже отчаялся, и лейтенант Дортенберг тоже нашел лучшим занять должность по хозяйственной части. Это крысы, бегущие с корабля.

— Кроме того, господин обер-лейтенант, осмелюсь доложить, что в роте недосчитываются трех человек. Они отсутствуют со вчерашней или позавче-

рашной ночи, это точно не установлено, но факт тот, что сегодня их целый день не было.

— Почему вы не доложили мне об этом раньше? — напал на фельдфебеля Арнольд.

— Я сперва полагал, господин обер-лейтенант, что они отлучились на работу. Отряд телефонистов просил нескольких человек для помощи, но я точно не помнил — дал им или нет. А сегодня, когда подтвердились мои сомнения...

— Ах, вы вечно сомневаетесь. Их фамилии?

— Рядовые Ремете и Чордаш и ефрейтор Пауль Эгри.

— Эгри? Не может быть, ведь он представлен к награде и произведен в чин капрала.

— Я обшарил везде и всюду, но никто ничего о них не может сказать.

... Пауль Эгри, Ремете и Чордаш... Каков из себя этот Чордаш? Никак не могу вспомнить. Но Пауль Эгри... Это тоже крысы? Ясно, что они дезертировали. Ага, вспомнил: Чордаш — солдат третьей роты, который изобрел «мограф» с котелком воды. Неужели он?

— Осмелюсь доложить еще, господин обер-лейтенант, что сегодня на рассвете, когда я проводил свои наблюдения у седьмой латрины, где нашел этот хлеб, по мне стреляли.

— Откуда стреляли? Может быть, шальная пуля?

— Никак нет, господин обер-лейтенант. Кто-то стрелял мне в спину, когда я входил в латрину. Извольте посмотреть.

Он показал нашивку на плече. Она была продырявлена в двух местах.

— В голову целились мерзавцы.

Арнольд брезгливо поморщился и, глядя перед собой, стал набивать трубку, потом с иронической усмешкой посмотрел на фельдфебеля.

— Тяжелая служба, Новак.

— Очень тяжелая, господин обер-лейтенант. Беспоконный элемент подымает голову. Уж очень много у нас в роте горластых и непослушных.

— Ну ладно, Новак. Вы — верный слуга короля, и, пока живы такие, как вы, нечего бояться. Подайте мне обо всем этом рапорт, а раненых отпустите.

— Как же, господин обер-лейтенант, а следствие?

— Для ареста у вас нет оснований. Вы же их не поймали с поличным, верно?

— Верно, к сожалению.

— Ну вот видите.

— Но могу я сообщить господину обер-лейтенанту Аахиму, чтобы он обратил на них внимание?

— Это не наше дело, Новак. Господин батальонный врач сам может установить — самоувечье это или нет. Напишите рапорт, я передам дело в батальон, но раненых, пожалуйста, отпустите.

Взгляд мой упал на стол Арнольда. Массивная стеклянная чернильница со знакомым рисунком, наполненная зелеными, как весенняя трава, чернилами, желтая ручка с пером рондо и остро отточенный красно-синий карандаш, пресс-папье... Боже мой, то же пресс-папье и тот же зеленый сафьяновый бювар... Нарезанная длинными полосами бумага, прекарная толстая бумага... Листы перенумерованы синим карандашом, на одном из них подчеркнутый заголовок: «От морального запаса до морального суррогата». Да ведь это статья, честное слово, статья. И знакомые предметы, славные, родные предметы...

— Новак, я вам еще раз напоминаю, что мы ждем эрцгерцога, который может прибыть каждую минуту.

— Об этом не извольте беспокоиться, господин обер-лейтенант. Их королевское высочество будут всем довольны.

Эти предметы...

Я очнулся, когда фельдфебель уже исчез. Он ушел с тем, что напишет обо всем рапорт, ушел с таким чувством, что господин обер-лейтенант Шик опять на стороне солдат. Ведь отпустить четырех раненых преступников, это же... А за его королевское высочество командир может не беспокоиться.

— Удивительный тип этот Новак,— сказал я.

— Зверь,—ответил через плечо Арнольд, нервно и торопливо собирая со стола листы бумаги.

Я все еще не могу вырваться из-под обаяния лежащих на столе вещей. Ведь это атрибуты солнечного мирного времени, и они с особенной остротой зазвучали здесь, на страшном Добердо. Эти предметы похожи на тех обманутых мальчишек, которых завлекла война своей мрачной романтикой.

— Спасибо за книгу, Арнольд. Я много извлек из нее, — говорю я с намерением завязать беседу.

— Очень рад, — безразлично отвечает он, продолжая собирать листы. Один из них упал, я нагнулся и поднял.

— Что пишешь? Статью?

— Нет.

Молчание. Он прячет бумаги в зеленый сафьяновый бювар и поворачивается ко мне.

— Небольшой трактат.

— О чем?

— О латрине № 7.

Я вижу в его глазах издевку. От его враждебности во мне все увядает. Пробуем говорить об Элле, о Швейцарии. Сырые слова тлеют на наших губах, никак не можем разогреться и попасть в прежний тон. По приходе я просил Фридмана вызвать капитана Лантоша или кого-нибудь из штаба бригады. Время от времени подхожу к двери и спрашиваю:

— Еще не связались?

— Прости, Арнольд, что я тебя беспокою, — говорю я, собираясь уходить.

— Пожалуйста, пожалуйста.

Перед уходом роюсь в книгах Арнольда. Выбираю маленькую свежую книжку «Военные очерки» Сигизмунда Морица.

— Читал? — спрашиваю я.

— Отвратительно.

Мне хочется сказать: «Арнольд, будем откровенны. Ведь так не может продолжаться». Но не могу: самолюбие делает меня немым. Я уже прощаюсь,

когда вдруг входит Бачо. Как всегда, с открытой душой, дружески обнимает меня.

— Тибор, я говорил со штабом батальона. Там верят и не верят, понимаешь? Надо бы их сломить. Как обстоит дело сейчас?

— Плохо. Мой унтер заявил, что итальянцы уже близятся к окончанию работ, если уже не закончили. Что говорят в штабе батальона насчет эрцгерцога — едет он или не едет?

— Собирается, собирается.

И вдруг — не знаю, как это случилось, возможно, что Арнольд сказал что-нибудь колючее, но я взорвался:

— Разве это война? Разве это армия? Под нами ведется подкоп, все это знают, и вдруг приказывают молчать и ничего не слышать. Это же сумасшествие. Мы тут сидим, как на иглоках, а командование и штабы собираются разыгрывать пустую комедию и закрывают нам рот. «Maul halten und weiter dienen»¹⁾. В тени победы, добытой кровью батальона и героизмом солдат и фронтовых офицеров, шайка бездельников разукрашивает себя медалями доблести и крестами. Мне иногда кажется, что это не явь, а какой-то сумасшедший кошмар. Подумайте, под нас подкладывают полуторатонный снаряд, под нас, а не под неприятеля, а мы должны корчить веселые лица. Разве это служба, война? Это же с'емка трагикомического фильма.

— Ого, ты уже законченный антимилицарист, друг мой, тебе остается только записаться в партию Чуторы, — иронически заговорил Арнольд.

— Лучше Чутора, чем капитан Лантош.

— Ну брось, Матраи, — сказал Бачо, обнимая меня. — Может быть, положение вовсе не так трагично.

— Фенрих Шпрингер придерживается другого мнения, — ответил я взволнованно, — так же, как и Дортенберг. Ефрейтор Эгри и рядовые Чордаш и Ремете тоже иначе расценивают положение, а командование и большая часть офицеров батальона утратили

¹⁾ «Глотку заткнуть и дальше служить».

чутье и не ориентируются в создавшейся обстановке.

— Ну это ты уж слишком, Матраи, — сказал, поблдевав, Бачо.

— Господин лейтенант! — закричал, вскакивая, Арнольд: — Прошу вас воздержаться от подобных разговоров и не забывать, что вы все-таки находитесь в моей каверне. Вы слишком много себе позволяете.

— Я??!

— Да, вы. Офицеры мы, в конце концов, или нет? Что за истерия, что за бунтарская критика? Прошу не подвергать меня унижению выслушивать подобные вещи. Кроме того, вас слышат наши подчиненные. Что это такое?

— Ну, господин обер-лейтенант, между друзьями... — примиряюще заговорил Бачо.

— Дружба дружбой, а дисциплина дисциплиной. Раз высшее начальство что-нибудь приказывает, мы должны подчиняться, а не критиковать.

Я откозырнул и, не знаю как, вышел из каверны. Фридман и Чутора все слышали.

Что случилось с Арнольдом? Кто из нас двоих сошел с ума?

Пришел Торма. Я не отвечал на его расспросы и попросил оставить меня. До самого вечера просидел в своей каверне, размышляя о происшедшем и стараясь найти объяснение резкости Арнольда. Каким одиноким, униженным и покинутым чувствовал я себя в этот день! Потом постепенно и логично стали приходить выводы за выводами, и оформилось твердое решение: вон отсюда.

В своей дыре дядя Хомок скрипел рашпилями. Мастер алюминиевых колец работал над изящным плоским кольцом, которое я хотел послать Элле. Скрипящий рашпиль как будто скреб по моим нервам, но я не остановил старика. Пусть работает. Ведь жизнь идет своим чередом. Большинство людей равнодушно к своей судьбе.

И вдруг дезертирство Пауля Эгри показалось мне большим и смелым человеческим шагом.

В эту ночь последний раз была слышна бормашина итальянцев. В каверне третьего взвода после полуночи раздавались тяжелые удары под камнем.

За мной пришли Торма и Гаал с людьми. Мы поднялись на самую вершину Клары. Из-под горы к нам подымалось таинственное, жуткое молчание.

— Ясно, Гаал, ясно, что они кончили работу. Теперь можно ждать.

Торму била лихорадка, он зябко ежился, засунув обе руки в карманы шинели. Ночь была холодная и звездная. Луна декоративно висела над морем, которое от нас закрывало Ларокко.

Часовые поворачивались к нам, когда мы проходили мимо, и прислушивались. Мы тихо совещались. Около седьмой латрины заметили темную крадущуюся фигуру. Ага, наверное, какой-нибудь самострел. Я выслал вперед Хусара и Киралья, они вскоре вернулись с Новакком.

— Ах, это вы, Новак? Все высматриваете?

Сопровождающие меня солдаты громко рассмеялись. Мы спустились на край обрыва. Вокруг царил мертвая тишина.

— Видите, господин лейтенант, что-то белеет в лунном свете? — указал вперед Хусар. — Это новые позиции итальянцев, двести пятьдесят — триста шагов от нас. Они сделали это так ловко, что мы только сегодня заметили.

— А где мешки из-под цемента?

— Их уже нет, убрали.

— Значит, по-вашему...

— Итальянцы очистили позиции под нами и отодвинулись назад. Это сделано на случай взрыва. Если бы сейчас очутились внизу, то не встретили бы никакого сопротивления.

— Хорошо, я доложу об этом в штаб батальона.

Я взглянул в темный молчаливый обрыв. Каким пугающим казался он сейчас! Мы тихо переговаривались. Вдруг я закричал:

— Oго-го! Итальянцы!

Мои спутники остолбенели. Эхо повторило два раза мой голос, потом вдруг раздался два выстрела. Они шли от-

туда, с новых позиций. Пули свистели далеко от нас, и мы не тронулись с места.

— Вы правы, Хусар, — сказал я, поворачиваясь. — Пойдемте, тут все равно ничего нового не узнаем.

Гаал шумно вздохнул за моей спиной.

— Через час приходите ко мне в каверну, Торма и Гаал. А вы, Хусар, собирайтесь, пойдете вместе со мной.

— Слушаюсь, — сказал Хусар с нескрываемой радостью.

— Вы меня поняли?

— Как же, господин лейтенант, будем точны, — ответил Гаал.

Был час ночи, самый тихий час 'в окопах.

«Спят восемьсот приговоренных к смерти» — подумал я, и по моей коже прошел мороз. Сердце сдавило несканно горькое чувство. Арнольд...

Я быстро зашагал к своей каверне. Все решено. Выход найден. Это мой долг. Только надо написать приказ, чтобы оправдать действия моих подчиненных.

Около каверны кто-то вцепился в мою руку. В темноте я не мог разглядеть лица.

— Тссс, господин лейтенант, это я, Чутора.

— В чем дело, земляк? Что вы тут делаете в темноте?

— Я жду вас, господин лейтенант, уже полчаса. Не думайте, что господину доктору легко, ему очень тяжело, но он сам в этом виноват.

— Не понимаю, о чем вы говорите, Чутора.

— О чем? О том, что весь мир мирирован, господин лейтенант. Под мир подложена мина, да еще какая! Ой-ой!

И, прежде чем я успел что-нибудь сказать, тень Чуторы качнулась, и он ушел. По удаляющимся шагам я установил, что Чутора был не один. Несколько секунд смотрел ему вслед. Весь мир... Может быть. Но Чутора хотел еще что-то сказать.

— Который час, приятель? — спросил часовой с бруствера.

— Что, надоело стоять?

— Холодновато.

— Час двадцать минут.

— Ого, скоро смена.

Жизнь продолжается. Скоро смена. А под мир подложена мина. Что он еще хотел сказать?

Хомока на месте я не нашел. В каверне горела свеча, и на моей койке лицом вверх лежал Арнольд. Он спал. Спящий человек иногда бывает похож на мертвеца. На остром профиле Арнольда залегли мертвые тени, только тихо поднимающаяся и опускающаяся грудь и дрожание губ показывали, что он спит. Я нагнулся над ним и почувствовал крепкий запах коньяка.

— Пьян.

Сев за стол, я раскрыл блокнот служебных записок и быстро, энергично начал писать. Какое наслаждение действовать после стольких дней мертвенной апатии и чувствовать, что воля снова возвращается к тебе. Я отдавал себе отчет в том, что восстаю против существующего порядка, но первая строка уже была нанесена на бумагу.

— Негодяй Новак, даже рапорта не может написать, как следует. Всюду сует свой нос, мерзавец, — проговорил во сне Арнольд, отвернувшись от света и потягиваясь. Потом он поджал ноги и заскрежетал зубами.

На секунду мое перо остановилось.

«Не думайте, что господину доктору легко, ему очень тяжело, но он сам виноват».

А где может быть Хомок?

Бумаги готовы. Первая — приказ помощнику начальника батальонного саперного отряда господину кадету Торме, вторая — донесение командиру батальона майору Мадарашу. Запечатал оба документа и посмотрел на часы. В передней послышались шаги. Я встал, чтобы пойти навстречу, но Хомок уже с шумом распахнул дверь и вытянулся, щуря глаза от света.

— Господин обер-лейтенант...

— Тише!

— А? Что такое? Новак, это вы? — Арнольд сел на постели, протирая глаза, и с удивлением осмотрелся. — Где фельдфебель?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, мы с господином Чуторой всюду искали фельдфебеля и не нашли. Пропал.

— Я видел Новака минут двадцать тому назад в районе латрины № 7.

— Ну вот видите, Хомок. Ступайте, ищите в этом направлении.

— Для чего тебе так срочно понадобился Новак? — спросил я, когда Хомок исчез.

Арнольд сидел на краю койки с опущенной головой. При моем вопросе он поднял лицо и посмотрел на меня. Это был снова доктор Арнольд Шик, профессор и мой старый друг. Его глаза смотрели, как прежде, дружески и ласково.

— Тебе, я тут немного вздремнул, ничего? Скажи, дорогой, как на самом деле обстоит дело с подкопом?

— Через час иду в штаб бригады, — сказал я вместо ответа. — Если и там ничего не добьюсь, отправлюсь в штаб дивизии.

— Молодец, вот это молодец! Говори.

— Пять дней тому назад я писал: настоящим снимаю с себя всякую ответственность. Глупости. Я останусь ответственным даже в том случае, если взлечу на воздух вместе с остальными. Я противопоставляю себя батальону, полку и, если понадобится, даже бригаде, но добьюсь своего. Конец всем иллюзиям, но конец и безразличию больной усталости. Мы — руководители этих приговоренных к смерти людей, и мы за них отвечаем. Надо действовать.

— А те, в тылу?

— Те? Сегодня они еще не чувствуют ответственности.

— Говоришь, как Чутора.

— Лучше говорить на языке Чуторы, чем на языке графа Стефана Тиссы.

— Bravo! А я уже думал, что ты окончательно завяз в победном психозе.

— Каждая война, Арнольд, начинается в надежде на победу.

— Всякие бывают победы, — сказал Арнольд, омрачившись. — Сейчас уже ясно, что не здесь зреет победа. Сумеет ли государство вырваться из

этой мертвой хватки — вот главная проблема сегодняшнего дня. Уж слишком многих вооружают.

— Так это и хорошо.

— Ты так думаешь? — удивленно спросил Арнольд.

— Ведь ты сам, Арнольд, говорил, что эта война — крах Европы.

— И ты понял?

— Немного думал об этом.

— Ну, и каковы твои выводы?

— В мире много неясного, много еще неразгаданных тайн. Эта война, безусловно, большой завал. Мы тут на Кларе похожи на строителей вавилонской башни, которым вместо воды посылают огонь. Фронт и командование не понимают друг друга.

— Правильно рассуждаешь. А я думал, Тибор, что ты запутался.

Я почувствовал, что между нами все стало попржему, и решил перейти в контрнаступление.

— А ты от чего страдаешь, Арнольд.

— Страдаю? Кто тебе это сказал?

— Я сам вижу.

— Ну, тогда будем откровенны. От того же, от неразгаданных противоречий своей души, — тихо сказал Арнольд. — Я запутался в трех соснах и чувствую страшное одиночество. Пробовал думать, писать, и пришел к заключению, что я отвык думать.

— Ты должен ответить господину советнику фон-Ризенштерн.

— Это не разрешение вопроса.

— Даже только вырваться отсюда и в спокойной обстановке представить себе всю картину в целом, и то было бы временным разрешением. Арнольд, я в этих вопросах абсолютный профан, но ты должен уяснить себе действительное положение и занять известную точку зрения.

— Есть только два пути: граф Тисса или Чутора. Ты не веришь? Среднего пути нет, не ищи его.

— Тогда, — сказал я тихо, — дорогой Арнольд, я еще раз говорю: сто раз Чутора и только Чутора.

— Ого-го! — закричал Арнольд и сделал шаг назад, но, не рассчитав, наткнулся на койку и сел. Только сейчас

я заметил, что около подушки лежит его зеленый бювар.

— Твой трактат? — спросил я, улыбаясь.

Арнольд повернул ко мне голову.

— Предложи мне, пожалуйста, папиросу. Хотя, стой, у меня есть трубка. Дай спички. Спасибо.

Когда я протянул к нему огонь, он схватил мою руку и, притянув к себе, заставил опуститься на скамейку.

— Ты сам пришел к этим выводам?

— Каким?

— Ну, что ты пойдешь в штаб бригады, что сто раз Чутора и что, вообще, ты противостоишь?

— Сам.

Несколько секунд стояла тишина. Трубка Арнольда погасла. Вдруг он встал, взял подмышку бювар и протянул мне руку.

— Ну, не задерживайся там долго. — И направился к дверям.

— Я прикажу Гаалу сообщать тебе в мое отсутствие результаты наблюдений.

— Буду очень благодарен, мой друг.

Шаги Арнольда затихли. И я только сейчас понял, как много во мне определилось. Высказанные мной мысли упали, как созревшие плоды, от одного прикосновения Арнольда.

Взглянул на часы. Надо спешить: приближается рассвет.

Торма и Гаал были пунктуальны. Я передал Торме свой приказ. Он прочел и покраснел.

— Когда это? — спросил мальчишески.

— Сейчас же. Только предупредить всех, чтобы не было шума.

Объяснил Гаалу, что приказываю отвести отряд в штаб батальона, так как здесь ему все равно нечего делать.

— Господин лейтенант...

— Никаких возражений. Я так приказываю. Наблюдения могут продолжаться отдельные лица, а всему отряду здесь нечего делать. Хонок тоже пойдет с вами. Надо будет пробраться незаметно для ротных стрелков. Поняли?

— Будьте спокойны, господин лейтенант.

Вошли Хонок и Хусар.

— Разрешите доложить, господин лейтенант: фельдфебеля нашли, — заявил Хонок.

Хусар отвернулся, его плечи вздрагивали.

— Что случилось? — спросил я.

— Господина фельдфебеля кто-то купал в латрине, — давясь от смеха, доложил Хусар.

— В латрине? — удивленно спросил Торма.

— Ай-ай-ай! — покачал головой Гаал.

Я представил себе тяжелую квадратную фигуру Новака в тот момент, когда он выкарабкивался из латрины.

— Ну и как же, его уже извлекли?

— Понесли на перевязочный пункт обмывать, — ответил Хусар.

— Ну, этот добился своего, — сказал я невольно.

И у всех сразу прорвался долго сдерживаемый смех. Гаал смеялся, громко покашливая, Хусар, трясясь от хохота, прислонился к стене. Торма несколько секунд смотрел удивленными глазами, потом тоже залился серебряным колокольчиком. Мы смеялись нервно, свободно и счастливо.

— Хусар, дружище, можете двигаться вперед, только смотрите, чтобы нам не разминуться у Нови-Ваша. Ждите меня у конца хода сообщения. А вы тут будьте наготове. Понятно?

Люди, сияя от смеха, смотрели на меня, только дядя Андриш возился за спиной, и я чувствовал, что многого из происходящего он не понимает.

(Окончание следует)

Стихотворения
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ГРАНИЦА

I

Талый запах. Невидимый дым от воды.
На тяжелом снегу посиневшие волчьи
следы.

Полый месяц. Продрогшая за ночь
сосна.

Пограничники знали, что это крадется
весна.

И весну пропускали. К заставам ночей
голубых

Весна высылала своих молодых-ве-
стовых,

И, храня первопутки весенней красоты,
Становились подснежники на часы.

Полуденное солнце все гуще роняло
лучи.

Как черные письма, над лесом летели
грачи.

Стало рано светать. Стало поздно
темнеть.

На прогалинах стала трава зеленеть.
И сверкала за ближним откосом река,
Как студеная грань у штыка.

II

... Был апрель. Огибая глубокую падь,
Раздвигая орешник, уже на рассвете,
По стеге, по которой не плыть, не
ступать,

Мы прошли над рекой и укрылись в
секрете.

Мы лежали молчком. Два бойца, два
винта.

И четыре ноги. И четыре обутка.
Третий — босый и преданный нам до
хвоста,

Знаменитый, прославленный пес «Неза-
будко».

Целых полчаса слова не молвили мы.
Тишина на границе. Ни хруста. Ни
звука.

Но мы знали, что в этом кольце
полутьмы

Только лихо живет, как прямая порука,
Только бродит по кочкам болотный

огонь,
Преют пни, да гниют прошлогодние
травы.

Так лежали мы, сжав на затворах
ладонь,

В четырех километрах от нашей заставы.
А вокруг все редела и рушилась мгла,
Налагая на землю оковы запрета.

И казалось, какая бы нечисть могла
Посягнуть на могучую силу рассвета!

Много хитростей всяких в лесах ру-
бежа...

Я сказал Фомину:
— Полежим да побачим.

«Незабудко» рванулся и замер,
дрожа,—

Словно искры метнулись по жилам
собачьим!

Что услышал он в этой глухой тишине?
«Незабудко» трясло, выгибалось от
злости.

Мы едва удержали его на ремне,
Пес умел понимать: если «гости» — так
«гости».

Я шепнул Алексею:
— Ты видишь?
— А ты?

И Фомин обернулся. Зрачки, как за-
стыли:

Я шепнул Алексею:
— Ты видишь?
— А ты?

И Фомин обернулся. Зрачки, как за-
стыли:

И Фомин обернулся. Зрачки, как за-
стыли:

И Фомин обернулся. Зрачки, как за-
стыли:

— А видал ты когда-нибудь, чтобы
кусты
Мимо людей на прогулку ходили?!
Я глянул налево. И впрямь: от реки,
Качаясь, таща корневища кривые,
Пять лохматых кустов поднялись на
дыбки
И пошли по прямой, словно звери
живые.
Передвинутся. Встанут. И снова в
поход.
Будто ветер сдувает их с гладкого
наста.

«Что же, — решили мы, — встретим
господ!
Встреча давно подготовлена. Баста!»
Сказано—сделано. Ум наперед.
С бухты-барухты не бросились в бой
мы.
Алексей с «Незабудко» пополз на
обход,

Я залег, приготовя четыре обоймы.
Расстрелять нарушителей было легко,
Мы немедля нашли бы управу над
ними,

Но задача была не легка далеко:
Нарушителей брать мы привыкли
живыми.

Подпустив на каких-нибудь двадцать
шагов,

Я им крикнул:
— Сдавайся! Оружие бросить!
Сам лежу за пеньком и гляжу на
врагов, —
Поднялись, а руки ни один не заносит!
«Ну уж,—думаю,—маху теперь я не
дам,

Наши снайперы пуль не теряют!».
И давай их под корень считать, по
ногам—

Спотыкаются, падают, но удирают.
И тогда Алексей «Незабудко» спустил.
Раздирая когтями замшелую гущу,
Полуволчьих кровей, полубешеных сил,
«Незабудко», как буря, упал на бегу-
щих.

Он швырял себя в темную силу врага!
Повалив одного, залетал на другого,
У него будто выросли сразу рога,
И спасенья врагам не нашлось никакого.
Четверых мы скрутили уже на лугу.
«Незабудко» за пятым, который без
шляпы,

И, догнав, вдруг завыл, изогнулся в
дугу,
Рухнул наземь и вытянул лапы.
Тут за пятым вдогонку пошел Алексей.
Через рыжие мхи, через мокрые чащи...
— Да сдавайся ты, дура! —
Все чаще и чаще,
Задыхаясь от бега, кричал Алексей.
Он настиг беглеца у запретной межи,
Он успел ему крикнуть еще раз:
— Лежи!
Не желаешь? Так на ж тебе в шею
воловью!

Захлебнувшись своею же собственной
кровью,
Нарушитель с трудом обернулся назад,
Обернулся и... выстрелил, гад, наугад!
Алексей зашатался. Под левым плечом
Что-то свистнуло, вышло насквозь и
пропало.
И немислимо было понять нипочем —
То ли сам он упал, то ли небо упало.

III

Мы несли Алексея в открытом гробу.
Первый гром разорвался над тихой
заставой.

Первой каплей весна раскололась на
лбу.

Алексей недвижимый лежал, велича-
вый.

Мы не чуяли тяжести тела его.
Десять рук подпирали дубовое днище.
Как бессмертье его, как его торжество,
Цвета крови над ним вознеслось по-
лотнище.

И ударили трубы. И где-то вдали
Встала молния белой каймой полу-
кружья.

Пионеры несли, командиры несли
На сафьяне его боевое оружие.
Кто-то всхлипнул. И сразу угас, замол-
чал.

Телеграфные струны качнулись от
ветра.

И припомнилось, что Алексей получал
Из Воронежа письма в зеленых конвер-
тах.

Что читал он те письма на десять
ладов,

Наизусть их заучивал, гладил щекою
И ответы писал по двенадцать листов

И закладывал каждый из них резедою. Хлынул дождь. Он пошел по полям,
 Так и шли мы горячие, полные сил, стороной.
 И безмолвно клялись, что его не забудем. По озимым хлебам, над колхозным
 И как можно скорей то, что он не привольем.
 Дожил, — Разбиваясь о крыши, свисая по косягам,
 Доживем за него, дострадаем, долюбим! Плодоносный, весенний, кошой, про-
 ливной.

Москва — Ленинград. 1937 г.

РАССКАЗ ДЯДИ ЕГОРА.

У дяди Егора усы, как бор.
 В ёлочку вышит вёрот.
 Любит рассказывать дядя Егор,
 Когда приезжает в город.

— Дядя Егор, покажи, покажи,
 Как ты тонул на печке!
 — Дядя Егор, расскажи, расскажи,
 Как ты сушился в речке!

Что же случилось: на этот раз
 Дядя Егор замялся.
 Дал по конфетине, а рассказ
 Рассказывать отказался.

— Дядя Егор, ну, какой разговор,
 Расскажи, ведь тебя не убудет!..
 — Ладно, — ответил дядя Егор, —
 Только не весело будет.
 Ехал, ребята, я прошлой зимой,
 Вез обруча от бочек,
 Ехал не шибко. Гляжу—за мной
 Серый бежит клубочек.
 Не то, чтобы скоро бежать он мог,
 А кубарем, как придется.
 Проще сказать, как серый дымок,
 По снежной дороге вьется.
 Ни ушей не видать, ни хвоста, ни
 ног.

«Вот так,—думаю,—штука!».
 Ближе, ближе... Гляжу — щенок,
 Маленькая зверюга!
 Откуда он взялся? Замерз, продрог...
 Где тут искать причину?
 «Что ж,—говорю,—залезай, дружок,
 За пазуху, под овчину!».

Привез я щенка, накормил его сам—
 Ожил волчок, резвится.
 И стал он расти не по дням, по часам,

Как в сказке о том говорится.
 Питал я его ото дня до дня
 И мясом, и всячиной всякой.
 Словом, за зиму он у меня
 Стал не щенком, а собакой.
 Ухо широкое. Слух востёр.
 Глаз отливает ярко.
 Шерсть огневая, — не шерсть, костер,
 Тронешь ладонью — жарко.
 И в драке его ни одна не брала,
 Ни мор не борол, ни увечье.
 И хватка была, и хитрость была,
 Прямо скажу—человечья.
 Пойдет на хорька — уберет хорька.
 Однажды пришел с гадюкой!
 За яростный лай, за крутые бока
 Собаку прозвали — «Злюкой».
 Но только душа моя не могла
 Смириться с такой оглаской —
 Собака, помимо большого зла,
 Владела великой лаской.
 Дежурю я как-то весной в ночном,
 Собака, конечно, со мною.
 И чувствую: гарью несет, огнем
 Заречною стороною.
 Я выждал маленько. Слышу:
 «Пожар!» —

Люди кричат у риги.
 Я кликнул собаку и побежал,
 Сколько есть духу, на крики.
 Прибег на село — ничего не пойму.
 Народ как сдурел спросонок.
 А горе не в том, что изба в дыму,
 А в том, что в избе—ребенок!
 Дело неожиданное, все-таки ночь.
 Надо ж такому случиться?!
 Оно и каждый бы рад помочь,
 Да поздно — нельзя подступиться!
 У дикого пламя — один ответ:
 Сгубит любую малость.
 Стою, а собаки со мною нет.

Куда же она девалась?
Стали мы стенку рубить тотчас.
Пробили уже подходяще.
Смотрим, из полья, мимо нас,
Собака ребенка тащит!
А он, словно к матери, к ней приник.
Не может никак оторваться.
Стряхнула она его на сенник —
И давай по земле кататься.
Заплакал, ребята, тогда я впервой.
Выйдя из жаркого пекла,
Собака вернулась ко мне живой,
Да только, бедняга... ослепла.

Москва. 1937 г.

Что ж, оставалось же добить?
«Нет! — порешили мы, — друга
Всем колхозом будем любить».
А вышло, что всей округой!
Куда ни придет, перед ней стои!
Хлеб, молоко сырое.
Кто погладит, а кто пошалит.
Ну как не любить героя?

... У дяди Егора еще с зимы
Жмурится левый глаз.
Но слезы у дяди Егора мы
Увидели в первый раз.

Золотые руки

Рассказ

ПАВЕЛ НИЛИН

В человеческой судьбе много самых неожиданных изгибов, поворотов, случайных и странных. Буршин, может быть, не стал бы вором, если бы не такой вот случайный поворот. Он бы стал приказчиком, официантом или каким-нибудь торговым агентом, к чему имел несомненные склонности.

Особую его склонность к торговому делу признавал и Алексей Дудыкин, владелец небольшого овощного магазина в Театральном проезде в Москве. Но Дудыкину казалось, что мальчишка заносчив чрезвычайно, непочтителен к старшим. И однажды после краткого разговора, вспыхнув, хозяин выгнал мальчишку из магазина и в дверях еще дал подзатыльник ему.

Это было сорок лет назад.

Буршину было десять лет. Он весь день просидел на холодных ступенях Большого театра. Он не знал, что делать ему, куда идти. Он был совершенно одинок в огромном городе. В кармане его холстинных штанов было двадцать копеек.

Двадцать копеек — это бездна удовольствий для мальчишки: это увлекательная игра в кегельбан на базаре, это леденцы и сайки, это сладкий квас и сладкие петушки на палочках. Но Буршин был серьезен. На две копейки он купил хлеба, на пятак селедку и чай, а на остальные керосину и ночью облил керосином четыре угла деревянного дудыкинского дома.

Подожженный дом осветил тишайшую осеннюю ночь. Очарованный мальчик стоял на углу и смотрел на багровое

заревое. По улице скакали какие-то сказочные всадники, гремели пожарные бочки и надсадно свистел в кулак похожий на памятник городской. А мальчик все стоял и стоял на углу, не в силах оторваться от зловещего зрелища. Из глаз его катились слезы. Они катились не от раскаяния, но от дыма, колвавшего глаза.

Пойманный, он не мог уже плакать. Он выплакал все свои слезы и молча пошел с городовым, который вел его за руку. А позади шел второй городской, придерживая на-ходу трепетавшую шашку. И мальчику было приятно такое исключительное внимание к его особе. Это был самолюбивый и своевольный мальчик.

Из колонии для малолетних преступников, куда поместили его для исправления, он бежал через шесть дней, и снова был пойман только через три года, теперь уже как стремщик большой грабительской шайки. В тюрьму вошел новый вор. Полиция сфотографировала его анфас и в профиль, взяла дактилоскопические оттиски и записала для памяти краткую его биографию.

Но ни биография эта, ни особые приметы, ни оттиски ничем не удивили полицию. Буршин был обыкновенный вор. Он добросовестно повторял историю своих предшественников, шаблонную, в сущности, историю.

В тюрьме нашелся сердобольный старичок из профессиональных ширмачей, иначе говоря, карманников, которому мальчик очень понравился, и он со скуки стал учить его грамоте по обрывку

старой газеты, обычно употребляемому на цыгарки. Буршин учился прилежно, с большой охотой.

Из тюрьмы он вышел грамотный во всех отношениях. Некий Гржезинский, пожилой медвежатник, или, иначе говоря, шниффер, пожелавший на старости лет передать в надежные руки редкостное и рискованное свое ремесло, пригласил его к себе в напарники по взлому сейфов и несгораемых шкафов.

Буршину просто повезло. Во всем мире всегда поляки почитались лучшими мастерами шниффера. Они изобрели все древнейшие и новейшие способы взлома несгораемых шкафов и монополюбно эксплуатировали свои изобретения. Буршину сильно повезло.

Одинокий Гржезинский полюбил его крепко, как сына. Он водил его с собой на преступления, открывал ему тайны преступного своего ремесла и при этом не только учил воровским приемам, но и внушал ему особые житейские принципы. Он говорил, что мир устроен для сильных, что только сильные имеют право на жизнь. Им предоставлены все удобства. И не важно, чем занимаются они: грабежом, торговлей или коммерцией. В мире царствуют только деньги. И только деньгам покоряется человек.

Гржезинский повторял это очень часто. Он был философом, этот Гржезинский. По вечерам он читал библию, псалмы и пил запоем. В запое он видел источник постоянных своих неудач, но ничего поделывать не мог.

Буршин слушал его внимательно. Он ходил за ним неотступно. Вместе с ним он два раза попадал в тюрьму и сидел в одной камере. И в тюрьме продолжал учиться. Упорно, прилежно, старательно. Люди учатся так, чтобы стать слесарями, механиками, инженерами. Он учился так, чтобы стать вором. Настоящим, квалифицированным, первоклассным.

В двадцать лет, — после смерти учителя, замученного запоем, — он стал, наконец, работать самостоятельно. Он знал уже все приемы. Он в совершенстве овладел искусством не только выбирать объект и быстро производить

операцию, но и умением хладнокровно и тщательно замечать следы. Он знал, кому и как и какую взятку давать и кому не давать. И никогда не ошибался в этом.

Изредка он все-таки попадал в тюрьму. Но и в тюрьме он чувствовал себя неплохо. Воры беспрекословно уступали ему лучшее место, лучшие нары, лучший кусок. Он был для них главарем. Он владел редчайшей воровской специальностью, которой мог бы позавидовать любой, пусть даже самый удачливый, вор. И любой позавидовал бы его внешности, его телосложению, на редкость крепкому.

Буршин сделал блестящую воровскую карьеру.

Внешне — в лайковых перчатках, в котелке, в заграничном драповом пальто — он походил теперь на фабриканта, на наследника богатой фирмы, на потомственного барина. И на всякий случай у него была заготовлена подходящая биография. Он говорил, что отец его был генералом, а мать жива и до сих пор, она — помещица в Калуге.

Настоящая же его мать жила в кухарках в Коломне. Она сделала для него все, что могла сделать мать-кухарка, записанная в паспорте девицей. Она отправила его, девятилетнего, в столицу на обучение в магазин, дала ему рубль денег, буханку хлеба, пучок зеленого лука и сказала на прощанье, горько плача:

— Ты один, Егорша. Как перст, один. Помни это. И не балуй.

Она сказала все, что могла сказать. Она мечтала, что сын пойдет по торговой части. Но сын пошел по тюрьмам.

За пятнадцать лет он обошел больше десятка тюрем. Он совершал ошибки, делал промахи. Но от ошибок не был свободен и его учитель. Однако Буршин превзошел учителя в умении изворачиваться, уходить от преследования. Он довел это умение до виртуозности. И, наконец, наступил период, когда он мог спокойно жить. Настолько спокойно, насколько это возможно для самого удачливого вора. Полиция получала свою долю и не беспокоила его

без крайней необходимости. В домово́й книге было записано, что он — коммерсант.

Как у всякого настоящего коммерсанта, у него была хорошая квартира. Были деньги, влиятельные знакомства. Был даже постоянный помощник. Что-то вроде личного секретаря. Некий Подчасов.

Подчасов работал поваром в Офицерском собрании. Но эта работа не была его главным занятием. Она служила только дымовой завесой для другого занятия, основного, прибыльного, секретного. Подчасов высматривал «объект», иначе говоря, шкаф, сейф, выяснял условия и докладывал патрону о своих наблюдениях.

И только после того, как вся обстановка, в которой находился объект, становилась совершенно ясной, патрон шел «на дело». С безупречной точностью опытного хирурга он вскрывал стальной и лакированный шкаф, неторопливо, но быстро потрошил его. А Подчасов в это время бегал где-нибудь у входа и, по-собачьи вытянув голову, прислушивался к шорохам. Он очень сильно походил на собаку, Подчасов. Весь взъерошенный какой-то, согнутый пополам, с вытянутыми вперед руками, он, казалось, готов был каждую минуту встать на четвереньки и побежать, по-собачьи виляя незримым хвостом.

Буршин слегка презирал его. Но все-таки дружил с ним, держал его около себя. И Подчасов был единственным человеком, которому безгранично доверял Буршин.

Был у Буршина еще один человек. Некий Чичрин Василий. Слесарь. Замечательный слесарь-лекальщик. Он готовил воровские инструменты, ремонтировал их и хранил у себя. Он тоже пользовался доверием у патрона. Однако не таким, как Подчасов.

У Подчасова была не только внешность собачья, но и собачья преданность своему патрону. Буршин женился, обзавелся семьей. Но даже жена не знала о его делах всего, что знал Подчасов. Жена добродушно думала, что муж ее действительно коммерсант. О делах своих он никогда не рассказывал. И она

привыкла не интересоваться его делами.

Буршин вел свое дело очень тонко. Он не бросался с горячностью маниака на всякий сколько-нибудь подходящий объект. Он тщательно выбирал объекты. И преступления совершал не очень часто. Кроме того, он непрерывно совершенствовал свои приемы. Он разбирал детально не только каждую свою операцию, но и операции своих коллег. Узнав из газет или из разговоров, что какой-то медвежатник завалился на крупном деле, Буршин посылал Подчасова выяснить причины этой неудачи. Все причины, все подробности.

Подчасов ходил по малинам, по хитрым хазам и кодлам и добросовестно собирал интересующий патрона материал. Сам патрон без крайней необходимости старался не входить в какие-либо отношения с воровской средой. Он всегда презирал эту мелкую, подлую шпану. Однако с крупными ворами, равными ему по положению, он тоже старался не заводить знакомств. Он встречался с ними только в тюрьмах и только в тюрьмах поддерживал с ними дружбу.

Впрочем, едва ли эти отношения можно назвать дружбой. Это были вынужденные встречи главарей, всегда враждующих конкурентов. И приличье требовало, чтобы они не враждовали в тюрьме. Буршин не нарушал приличия. Он всегда был предан воровскому этикету. В тюрьме он говорил по-блатному, выполнял все правила хорошего воровского тона.

Но на свободе он вел себя совсем по-другому. Он много читал, заводил знакомства среди молодых офицеров, купеческих детей, среди студентов и коммерсантов. И старался как-нибудь использовать эти знакомства в свою пользу, научиться чему-нибудь у этих людей и в конце-концов устроить свою жизнь так же, как они, почтенно и прочно.

У него росли дети. Они были еще очень маленькие. Но надо было уже думать и об их судьбе. Буршин не хотел, чтобы его дети выросли ворами. Он хотел, чтобы они стали не хуже других—

гимназистами, студентами. Он хотел, чтобы они выросли хозяевами жизни, как люди, чье расположение он старался завоевать теперь.

Он старался теперь войти в круг солидных, независимых людей, о чьей силе восторженно говорил Гржезинский.

Незаконный кухаркин сын хотел стать коммерсантом. Не по паспорту, не по домово́й книге, а по-настоящему. При этом он не собирался бросать свое старое ремесло. Нет, он искал только совместительства. Добротного, приличного совместительства, которое могло бы служить и хорошей вывеской. Он искал очень долго.

И, наконец, нашел.

Но тут грянула революция. Она грянула совершенно неожиданно для него. Однако он не испугался. Ведь он ни князь, ни граф, ни помещик. Он просто вор. Впрочем, вора́м тоже может nepozдоровиться во время революции. Буршин, улыбаясь, вспоминал один печальный случай.

Этот случай был в пятом году. Буршин работал тогда еще вместе с Гржезинским. В качестве практических занятий ему доверялись иногда небольшие самостоятельные кражи. Одну такую кражу надо было провести в Москве, на Пресне.

Пресня была в огне. Буршин всегда любил рискованные положения. Он пробрался через линию боев, вышел к зданию, где находилась нужная ему касса, взломал эту кассу и был весьма разочарован операцией. В кассе, уже опорожненной кассиром, лежало только десять рублей и маленький револьвер «Бульдог». Буршин все-таки взял револьвер и деньги взял, чтобы не возвращаться с пустыми руками, и, опечаленный, опять побрел через линию боев, через вскопанные мостовые и поваленные заборы. У Кудринской площади его остановили. Жандармы обыскали его. Наши «Бульдог». И, приняв за революционера, повели в участок.

У ворот участка были выстроены в два ряда полицейские, дворники и члены «союза русского народа». В руках они держали поленья. Буршина вместе с дружинниками прогнали сквозь этот

строй. До участка он, однако, не добежал. Потерял сознание. И без сознания пролежал всю ночь.

А утром выяснилось, что он просто вор. Полиции было некогда возиться с ворами. Буршина выгнали на улицу. Он долго не мог оправиться после этой ночи. Но, оправившись, любил вспоминать эту ночь.

— Вот вам единственный случай, — говорил он, смеясь, в кругу товарищей по ремеслу, — когда я пострадал за идеи. За политику, заметьте, а не за воровство. Обыкновенная неосторожность.

И при этом добавлял самодовольно:

— А в общей сложности я жил безбедно.

Безбедно Буршин жил до Октябрьской революции. После революции он приобрел где-то новые липовые документы и попросил управдома изменить старую запись в домово́й книге. Запись изменили. Он был теперь, по документам, не коммерсантом, как раньше, а старшим агентом какой-то кустарной артели. Он был теперь, по документам, советским служащим. Но жить становилось все труднее и труднее.

Буршин бегал по городам, хитрил, скрывался. Но уголовный розыск ходил по его следам. Четыре раза он попадал в уголовный розыск и каждый раз убегал.

Большое скуластое его лицо с немного выпуклыми грустными глазами и пальцы длинные, ширококостные, утолщенные на концах, были известны почти во всех уголовных розысках страны. Буршин понял, что взятки его больше не спасут, что приходит конец, что ему не миновать расстрела и что коричневая борода может служить только вывеской отчаяния. Она надоела ему, эта искусственная борода. Он сорвал ее в первом же перелеске, переступив кордон, и долго смотрел, как плавала она в зеленой воде канавы.

В Варшаву Буршин шел уверенный, что она приютит его. И Варшава не разочаровала Буршина. Здесь он встретил друзей, с которыми сиживал когда-то в российских тюрьмах. Некоторые из

них стали здесь богачами. Заболоцкий, например, открыл шикарный ресторан и гостиницу «Полония». Буршин пришел к Заболоцкому. В «Полонии» Буршину отвели две комнаты и предоставили полный пансион. И все это совершенно безвозмездно, в память прошлого, в память молодости, которая прошла. Она прошла в российских тюрьмах, на базарах, на воровских квартирах, эта позорная воровская молодость. Но что делать? Всякая молодость приятна. И особенно приятно вспоминать ее.

В Варшаве Буршин устроился, пожалуй, не хуже, чем когда-то в Москве. Даже лучше, пожалуй. Опять в домашней книге было записано, что он — коммерсант, и никто не приставал к нему с нескромными вопросами.

Варшава в этом смысле благословенный город. Здесь можно заниматься чем угодно. Важно только вовремя платить налоги или взятки. Особенно взятки. И всякой личности будет предоставлена вся полнота независимости. Варшава в этом смысле свободный город. Не даром крупные воры всего мира почитают ее своей священной Меккой. Как Чикаго, как Марсель, как Рим.

Воров в Варшаве очень много. Их ловят, конечно, бьют в участках, сажают в тюрьмы, заковывают в кандалы. Но бьют только мелких, неквалифицированных воров.

Буршина в Варшаве не били.

Освоившись в новой обстановке, он вскоре ушел от Заболоцкого. Он удачно провел два дела: вскрыл два шкафа в двух конторах, разделил добычу между участниками, взял свою долю и решил дальше действовать самостоятельно. У него была теперь своя квартира, свои деньги. У него не было только семьи, которая осталась в Москве.

В Москве остались жена и дети. Буршин сильно скучал о детях. Он был не настолько молод, чтобы думать о второй семье, чтобы обзаводиться второй семьей. Он постоянно думал о первой. Он думал о том, как лучше перевести семью из Москвы в Варшаву.

Однажды он написал об этом жене, но ответа не получил. Это взволновало его. Однако он не потерял надежды, что когда-нибудь все устроится само собой. Он добудет большие деньги, откроет ресторан, кофейню или магазин, выишет семью, и все пойдет, как надо.

Буршин завидовал людям, которые имеют денег меньше, чем он, но живут все-таки лучше его, по-человечески нормально, семейно и спокойно. Зависть иногда переходила в хандру. Он начал пить. Он, как в молодости, ходил по первоклассным ресторанам. И там ходила неотступно большая компания прихлебателей.

Эта компания пила на его деньги. Она пропивала будущие его магазины, рестораны, кофейни. Она пропивала его мечту. Но она же удовлетворяла его врожденному тщеславию. Пейте и ешьте! Буршину ничего не жалко. Он богатый человек. И завтра, если захочет, будет еще богаче. Он богаче в десятки раз Алексея Дудыкина, который хотел когда-то лишить его куска хлеба за непокорность и выгнал из магазина. Где он теперь, этот толстомордый, прыщеватый урод?

Ярость просыпалась в человеке неожиданно и страшно. Вспыхнув, пьяный до ослепления, он ломал и мямил ресторанную обстановку, бил посуду и, дойдя до высшего градуса безумия, разгонял почтенную публику стулом, палкой, кулаками. Он позволял себе то, чего никогда бы не позволил в трезвом виде, осторожный, хладнокровный и немножко грустный человек. Разогнав гостей, он оставался один. И тогда во всем мире были только два человека: дочь и сын, которых он искренне любил. Это дети его. Он должен думать о детях. Для них он должен добывать деньги, должен жить по-волчьи, в вечном напряжении, в беспокойстве, без веры в завтрашний день. Что может случиться завтра? Может быть, завтра его убьют на месте преступления, выдадут связчики, или продаст полиция, когда ей выгодно будет его продать...

Буршин в старости стал искать оправдания для своего ремесла. И он

нашел его в том, что у него есть дети, о которых он должен заботиться. Больше десяти лет он прожил в Варшаве и все время оправдывал себя этой мыслью о детях. Хотя дети давно уже стали для него иллюзией, далеким миражем, приятной выдумкой. Он ничего не знал о своих детях. Но он все-таки думал о них. И для них, для их обогащения, как казалось ему, он предпринял рискованную гастроль из Польши в Литву. В Литве в одном провинциальном банке надо было взломать несколько сейфов.

Был хмурый день, когда он выезжал из Варшавы. Ветер гнал по перрону пыль и листья. Собирался дождь. Буршину было грустно. Всякому человеку бывает грустно в такие дни. Но Буршину было особенно грустно. Он просто не знал, куда девать себя. Он нетерпеливо шагал по перрону в ожидании поезда. Потом он увидел знакомого старичка киоскера и подошел к нему.

— Нет ли русских газет?

Старичок спросил:

— Каких? Парижских?

— Нет, — сказал Буршин, — московских.

Старичок полез, как в нору, под широкий прилавок киоска и вытащил оттуда газету «Известия». Буршин дал ему целый золотый и вошел в вагон. В вагоне он сейчас же разделся, лег на нижнюю полку и развернул газету.

В газете большое место было отведено международной информации. Буршина это не интересовало. Потом шли длинные статьи о каких-то хозяйственных делах. Это тоже не интересовало Буршина. В этом он просто ничего не понимал. Домны там какие-то, мартепы, хозрасчет...

Вагон качало. Буршина начала одолевать дремота. Он хотел уже отложить газету и уснуть, но в этот момент его внимание привлек большой снимок. На снимке улыбались десять парней и девушек. Буршин удивленно прочел под снимком свою фамилию. Было написано: Буршин Иван.. Может быть, это однофамилец? А может быть,

это сын? Ивану сейчас должно быть семнадцать лет. Это он, должно быть. Широкие скулы, как у отца, такой же серьезный взгляд исподлобья. Нет, это несомненно — сын Буршина. Буршин Иван...

В газете было написано, что он, как девять его товарищей, отлично кончил школу, ударник учебы. Значит, бойкий парень. Бойкий в отца. А отец его, старый жулик, шляется где-то по заграницам, хитрит, ворует. Дети растут без него. Они выросли уже. Выучились. Выучились без отца. Им плавать теперь на отца, который бросил семью на произвол судьбы и никогда двух злых не послал семье в подарок. Кому нужен такой отец? Дети больше будут уважать какого-нибудь чужого дядю, нового мужа их матери.

Она наверно уже вышла замуж. Буршин озлился вдруг при этой мысли. Два чувства — ненависть к жене, которая наверно изменила ему, и нежность к детям — обуяли его одновременно. Он вышел из купэ и пошел по вагону, нервный, нетерпеливый. Он испытывал сейчас какое-то новое, большое, горячее чувство, какого не испытывал никогда в жизни, даже в тяжелые дни хандры, когда думал о детях, когда мечтал о них.

Все в жизни он очень быстро забывал. Он забыл свою мать-кухарку, которая жила и умерла в Коломне. Он привык к им же выдуманной версии, что мать его, помещица, живет в Калуге. И никогда за всю свою жизнь не вспомнил, как следует, настоящую, родную мать. Он не был сентиментален, нежен, слезлив. Он был самостоятелен, решителен и жесток. И чувство одиночества никогда не угнетало его, — вероятно, потому, что он всегда был крепко убежден в неистребимости сил своих, верил в бесконечность жизни своей и в свое превосходство перед людьми, хотя бы перед этими людьми, что идут с ним рядом, занимают его профессией, его ремеслом, перед ворами. Он всю жизнь был вором-профессионалом, как бывают люди бухгалтерами, слесарями и плотниками. И он всегда считал свою профессию закон-

ной, неумирающей и в рискованности ее находил особое удовлетворение.

Он жил так долго, десятки лет. И вдруг почувствовал страшную усталость. В зеркале он увидел однажды свои седые волосы, прорастившие в курчавой и густой еще шевелюре. Буршин увидел свое изображение в старости. Он увидел себя в будущем дряхлым и немощным, с лицом, оплетенным сеткой морщин. И именно в этот день перед зеркалом он впервые подумал о тихой жизни. Именно в этот день он особенно нежно вспомнил о детях и даже о матери своей вспомнил. Он искал теперь новых, прочных, вечных связей с жизнью. Искал бессознательно, тревожно. И неудержимо старел.

В вагоне ему захотелось вдруг поговорить с кем-нибудь, рассказать о сыне, может быть, даже спросить совета. Но в вагоне ехали чужие люди, занятые своими делами. Ехали поляки, немцы, какой-то длинный, сухой англичанин. Буршин молча побродил по вагону и вернулся в свое купе.

Хорошо бы ему сейчас сесть во встречный поезд, собрать дома вещи и поехать к детям. Он представил себе весь путь до настоящего дома, через леса и овраги, через болота и реки, мимо строгой охраны с той и другой стороны. Этот путь нисколько не пугал его. Однажды он уже проделал этот путь. И пошел бы опять, несмотря на все трудности. Но только не сейчас.

Нельзя оставить «дело». Буршин всегда серьезно относился к своим «делам». Он считал себя аккуратным человеком и гордился этим: раз сказал — да, значит — да, раз сказал — нет, значит — нет. В Литве его ждали люди. И он ехал в Литву. Поездку свою он теперь оправдывал также тем, что это его последняя поездка «на дело». Он ехал и всю дорогу, волнуясь, думал о детях и особенно о сыне, чей снимок видел в «Известиях». Интересно, какой он, его сын? Высокий, широкоплечий, сильный, в отца? Или худенький, как мать? Нет, наверно он высокий, боль-

шой. Не может быть, что он худенький. Не может быть...

Ночью поезд остановился на маленькой станции в Литве. Буршин вышел из вагона. На перроне его ждали два связчика. Они сразу же узнали его, подошли. Они встречали его, как знаменитого профессора, который прибыл, чтобы сделать сложную и срочную операцию тяжело больному. Они уже все подготовили. Егору Петровичу остается только взломать сейфы.

Буршин, величественный в своем драповом шикарном пальто, в мягкой шляпе, с палкой, украшенной позолоченной головой змеи, неторопливо пошел по перрону. Один связчик суетливо побегал впереди. Другой на почтительном расстоянии шел за Буршиным.

В воровской гостинице подали прекрасный ужин, с вином, с русской водкой. Но Буршин не стал ужинать. Он никогда не ест перед работой. Этому учил его еще Гржезинский. Он просто выпил два лафитника водки, закусил моченым яблоком и попросил крепкого чаю с лимоном. Потом он тщательно осмотрел инструмент, одобрил его, и они пошли. Он и два связчика.

У банка они остановились. Буршин осмотрел потайной ход, проделанный для него специальными людьми — кабурщиками, остался чем-то недоволен, но все-таки снял пальто и, солидно крякнув, полез в узкую, темную дыру. Он волновался немного, занятый мыслями о детях. И, может быть, поэтому по рассеянности допустил несколько неточностей.

В ту же ночь перед утром его поймали. В полиции не знали, что перед ними крупный международный вор, представитель той особой категории воров, для которых во всем мире, во всех полициях мира заведен особый этикет. Провинциальные полицейские били мэтра, как мелкого вора. Он потерял до суда два передних зуба и получил десять рваных ран.

Потом его судили. Выяснили, что он крупный вор. Приговорили к пяти го-

дам строжайшего заключения. И два года возили по всей небольшой стране, по разным тюрьмам, не зная, должно быть, куда лучше посадить. Эти два года были, пожалуй, самыми тяжелыми в жизни Буршина. Он исхудал, изнервничался, поседел совершенно.

Наконец, весной ему удалось бежать. Побег ему устроили связчики. Они же принесли ему приличную одежду, деньги. Для связчиков он попрежнему был хозяин, начальник, мэтр. Они кормились около него. И думали кормиться дальше. Но он решил вернуться в Советский Союз. Во что бы то ни стало. Домой, к детям.

До границы он доехал в поезде. А потом, дождавшись ночи, пошел пешком через границу. Он пошел через чащу, по кочкам, по зеленеющим мхам болот. Ему было пятьдесят лет. На болотах его кусали комары. Он заболел малярией. И когда его поймали на советской границе, он был уже совсем больной. Его лечили. Он две недели пролежал в бреду. Потом поправился.

Прекрасное здоровье, унаследованное от предков, пахавших землю и бивших бурый камень на каменоломнях, спасало его не раз. В тюрьму он вошел подорожавший.

Здесь все было знакомо Буршину. Он сидел в этой тюрьме лет тридцать назад. Даже вот в этой самой камере. Все побелено. Но камера осталась такой же, как была, и такой же глазок в двери. Все по-старому, только почище немного: вместо нар — койки с матрацами.

Изменения, происшедшие в тюрьме, не удивили и не обрадовали Буршина. Он одобрил, конечно, библиотеку и театр. Эти новшества могли смягчить суровый режим. Но все-таки тюрьма, черт бы ее побрал, заведение не из приятных, и не дай бог в нее попадать.

Особенно тяжело в тюрьме вечером, когда после одиннадцати камеру замыкают до утра и ключ курлыкает и визжит в замочной скважине. Очень тяже-

ло в этот момент в тюрьме. Но в этот же момент уголовники начинают как-то сближаться между собой. Общая участь роднит людей. Они вспоминают о своих «делах», рассказывают друг другу свои биографии, и тяжкая тоска рассасывается. Людям становится веселее...

Так было всегда. И, вероятно, сейчас так.

Буршин присел на койку, снял башмаки и, по-калмыцки подогнув ноги, заговорил на чистейшем блатном языке. В уголовном мире всегда были свои лингвисты, свои филологи, свои хранители чистоты блатного языка. Они возмущались, когда в их присутствии начинающий вор путал дрянной базарный жаргон с истинной блатной музыкой. Это разные вещи. Буршин говорил на чистейшем блатном языке.

Воры сидели вокруг него на койках. Они, казалось, внимательно слушали его. Потом кто-то засмеялся. И за ним засмеялись все.

Буршин сконфузился. Он не рассчитывал на такой эффект. Он не собирался смешить. Он заговорил на блатном языке, чтобы воры поняли, кто сидит перед ними. Не фраер какой-нибудь, не рогатая кошка. А получилось наоборот. Воры приняли его за чудака. Они не поняли его, и он почувствовал себя одиноким среди воров.

Немного погодя он начал расспрашивать, чем они занимаются. И получил самые разнообразные ответы. Оказывается, они ничем не занимаются. Они не знают своего ремесла. Удалось украсть — украл. Не удалось — попался. Вот и все. Ну, какие это воры? Это не воры, а барахольщики, рвань. Дикари какие-то. Нет ни одного порядочного человека, который знал бы в совершенстве ремесло фармазонщика или скокаря, громщика или ширмача. Жалкие люди без профессии.

Буршин молча разделся, спрятал башмаки и одежду под матрац и, по-стариковски кряхтя, уснул. Он совершил непростительную ошибку, заговорив с этой шпаной. Он, высокомерный.

уважающий себя, самолюбивый Буршин.

Утром его, сонного, потрогал за теплое плечо румяный парень в матросском телнике. Буршин заворчал. Парень присел на койку, толкнул его в бок, чтобы подвинулся, и спросил:

— Ты чего, отец, будешь делать?

— Спать,*— сказал Буршин.

— Ну, ну... Я тебя серьезно спрашиваю. Я бригадир. Ты чего на воле делал?

Буршин вдруг осердился:

— Уйди. Я тебя, суку...

— Ты глаза протри, — посоветовал парень. — Я не сука. Гляди сюда. Я бригадир. Тебя, как человека, спрашивают... Чего ты можешь делать?

Буршин притих. Действительно, что он умеет делать? Он умеет взламывать несгораемые шкафы и сейфы, умеет заматывать следы. Кто понимает, это не простое дело. Он занимается этим делом почти сорок лет. Оно кормит его, это дело. Вернее, кормило. И не плохо. Но едва ли бригадира удовлетворит упоминание об этом деле. Да и выгодно ли Буршину упоминать? Здесь все равно не поймут его. Никто не встанет со своего места, чтобы добровольно уступить его пахану, мастеру, грессмейстеру воровского ремесла. Воры выродились. Они утратили свой язык, свои традиции, свое понятие об этикете. В стране произошли какие-то глубокие и сложные процессы, которых не понимает иностранец Буршин. Но он догадывается о них. Он сбрасывает с койки свои большие ноги в заграничных продранных носках и говорит, зевая:

— Я бухгалтер.

Он говорит это неожиданно для самого себя и зажмуривается, как бы ужасаясь собственной лжи. Что будет, если его здесь в тюрьме назначат бухгалтером? Он осрамит себя в первый же день...

Но бухгалтером его не назначили. Эти должности были уже заняты. Буршина назначили регистратором. Однако в камере его прозвали «бухгалтером». Ему кричали теперь:

— Эй, ты, бухгалтер...

И что делать? Буршин, гордый, строгий, привыкший к почету в воровской среде, покорно отзывался на эту почти обидную для него кличку. Он вел себя скромно. Он перелистывал толстые книги в тюремной канцелярии и старался заслужить любовь начальства.

Непосредственным его начальником в канцелярии был Адольф Петрович Жлоц, бывший главный бухгалтер лестреста. Он попал сюда за растрату. Он был такой же заключенный, как Буршин. Но он вел себя солидно. Носил белоснежный крахмальный воротничок и галстук, аккуратно проглаженные брюки и выпуклые, в золотой оправе, очки. В тюрьме он выполнял обязанности помощника начальника канцелярии. Буршин заискивал перед ним.

Заискивал не из хлудства, не из низменных каких-то чувств, а исключительно из уважения. Буршин считал его приличным человеком. И профессию, которую представлял такой благообразный, почтенный человек, он считал приличной. Он любил говорить: «приличные деньги», «приличное пальто», «приличные люди». Бухгалтерия — приличное дело. Это все-таки не дворник какой-нибудь, не трамвайный кондуктор. Это серьезное дело.

Буршин постепенно привыкал считать себя бухгалтером. Человек, привыкший чуть ли не с детства жить двойной жизнью, он легко вживался в любую выдуманную роль. Он когда-то легко вошел в выдуманную роль коммерсанта. Он чувствовал себя коммерсантом. Точно так же он чувствовал себя теперь бухгалтером. Да, он в прошлом — бухгалтер. Не шниффер, не медвежатник, а бухгалтер, счетный работник. Понятно?

Из тюрьмы домой он шел «бухгалтером». На нем была добротная шерстяная толстовка, из тех, что с удовольствием носят пожилые бухгалтеры, хорошие хромовые ботинки и темносиний, прорезиненный, вполне приличный макинтош. Все эти вещи он заработал в тюрьме, впервые в жизни честным трудом, работая регистратором бумаг, а потом помощником бригадира.

На Тульской улице без труда он отыскал высокий дом, в котором жил когда-то, поднялся на ступеньки крыльца и позвонил осторожно. Навстречу ему вышла девушка лет восемнадцати, белокурая, стройная, в халате. Она спросила строго:

— Вам кого?

— Буршина Татьяна Федоровна, — сказал смущенно Буршин, — не проживает ли, простите за беспокойство, в этом доме?

— Проживает, — сказала девушка иронически и, улыбаясь, осмотрела его с ног до головы. — Войдите, пожалуйста.

Буршин вошел в полутемный коридор, в тепло и тишину старого своего жилища. Он вошел робкий, растерянный. Снял кепку и долго ненужно мямл ее в руках. Никогда в жизни он не был таким растерянным. Высокий, красивый парень подозрительно посмотрел на него исподлобья. Это был тот самый парень, чей снимок Буршин видел в «Известиях».

— Я ваш папа, — сказал Буршин. И не узнал собственного голоса. Парень еще более подозрительно посмотрел на него. А девушка, та, что открывала дверь, переспросила:

— Наш папа?

— Да, — сказал Буршин тихо и, увидев вешалку, повесил свою кепку на крюк.

Из комнаты вышла немолодая женщина. Она в нерешительности остановилась против посетителя, всматривалась в него. Потом просто, как тысячу раз в повестях и романах, бросилась ему на шею и заплакала, тихо всхлипывая. И этот плач мгновенно поставил все на свои места.

Буршин снял макинтош, повесил его рядом с кепкой и прошел в комнату. Он испытывал еще некоторую неловкость. Белокурую дочку, такую большую и незнакомую, неудобно было называть на «ты». Да и сын, этот крупный парень с уверенными мужскими движениями, казался чужим, чуждым.

В дом свой Буршин вошел, как в сон. Он сел в кресло и не знал, с чего

начинать разговор. Помолчав минуту, он все же начал разговор и сразу рассказал все. Все, что придумал за эти несколько месяцев, сидя в тюрьме. Он ничего не сказал о воровской своей профессии, о тюрьмах, о побоях, о побегах... Он сказал:

— Я работал бухгалтером...

Потом он подробно рассказывал, что в Варшаве сейчас страшный кризис, работу трудно достать, почти невозможно, что русских там, если они не белогвардейцы, всячески преследуют. На этот раз он говорил правду. Он испытал на себе это хамское отношение к русским в Варшаве. Он жил в хорошей квартире, в хорошем квартале, добывал большие деньги. Как богатого человека, его никто не мог оскорбить в глаза. Но за спиной своей он постоянно чувствовал недружелюбный взгляд и возглас, ставший лозунгом варшавских шовинистов:

— Польша для поляков, а не для кацапов.

Дальше он должен был объяснить жене и детям причину своего длительного молчания. И он объяснил:

— Вы понимаете, я написал вам три письма. Вы мне не ответили. Ну я решил, что вы переехали. И больше не писал...

Это было наивное объяснение. Но оно удовлетворило семью. Все были рады, что отец вернулся. У отца были правильные документы. Он мог быть спокоен, что его не пригласят теперь в уголовный розыск. Он свое отсидел. Он говорил, что вот-вот поступит на службу, только бы ему вылечиться от этой проклятой малярии.

В семье не нуждались в его заработке. Жена работала кассиршей в магазине. Сын зарабатывал около четырехсот рублей на заводе. Дочь училась и получала стипендию. Отец ходил в клинику, лечился.

В клинике однажды он встретил старого знакомого. Это был очень известный вор когда-то, фармазонщик. Он делал теперь уколы больным. Буршин подошел к нему и спросил:

— Не узнаешь Григорий Семеныч?

— Узнаю, — сказал тот. — Егор?...
Отчество забыл...

— Петрович... А вы тут кем?

— Я лекпом.

Буршин наклонился к нему и спросил вполголоса:

— Я извиняюсь, а старое-то дело как же? Бросили?

— Бросил, — сказал лекпом и сконфузился. — А вы?

— Я бухгалтер теперь...

Больше в эту клинику Буршин не ходил. Он бесцельно ходил теперь по городу, изменившемуся за эти последние годы до неузнаваемости, и думал: как же ему быть? Жить на средства жены и детей нехорошо, стыдно. Просить рубль на папиросы у сына унижительно. Воровать?.. Нет, нет, нет. При взрослых детях... Поймают. Позор... Поступить на службу? Но куда же он поступит? Бухгалтером его не возьмут. Пойти чернорабочим «бухгалтеру» неудобно. Все будут удивлены. Нельзя даже сослаться на то, что для бухгалтера нет работы. Все знают, что бухгалтеров теперь берут нарасхват. Впрочем, так же, как и работников других специальностей. Но у Буршина нет никакой специальности. Что же делать ему?

И вдруг его осенила такая мысль. Надо достать крупную сумму денег, спрятать ее, тайно поступить на бухгалтерские курсы, а дома сказать, что он служит уже бухгалтером и в доказательство этого каждый месяц приносить в семью пятьсот-шестьсот рублей или сколько там получают бухгалтеры. Будет не стыдно есть хлеб.

Потом он устроится настоящим бухгалтером и будет честно работать, честно жить, как жена, как дети, как этот рыжий дьявол из клиники, бывший фармацевтик. Такая бандитская морда у человека, а он лекпомом служит, и все его уважают. Больные говорят: «Григорий Семеныч, Григорий Семеныч». Неужели он, Буршин, хуже этого рыжего Григория Семеныча, неужели он не может бухгалтером стать? Конечно, может.

Но где взять крупную сумму денег? Буршин ответил и на этот вопрос. Надо

взломать шкаф. Один раз взломать, взять деньги, замести следы и больше никогда не возвращаться к этому ремеслу. Забыть его навсегда. Навсегда забыть. Однако это не простое дело — взломать шкаф. Нужны инструменты, сообщники. Должен кто-то стоять на страже. Кто же будет стоять?

Не успев ответить на этот вопрос, Буршин встретил на Арбате Подчасова, Илью Захаровича Подчасова, повара-весельчака, родного брата Федьки Подчасова, известного громщика, расстрелянного бог знает когда. Подчасов обрадовался этой встрече. Он раскрыл для улыбки свой огромный, как чемодан, утыканный гнилыми зубами, рот и шумно приветствовал Буршина. Буршин тоже обрадовался. Но проявил сдержанность.

Через полчаса он пил водку с Подчасовым. Пил много и, как обычно, не хмелея, а говорил мало, вызывая повара на разговор.

— Плохо, — говорил повар. — Очень плохо. Ну, какая это жизнь...

— Н-да,—соглашался как будто Буршин. И вдруг, между прочим, спросил: — А Чичрин где?

— Вася? Ну где же ему быть? У себя в Сокольниках. Стучит старик. Ударник.

Буршин задал еще несколько вопросов о Чичрине. Выслушал их внимательно. И сказал грустно:

— Знакомств нет. Скучно...

— Каких знакомств?

— Всяких. Человеку для интереса жизни знакомства нужны.

— Это верно, — сказал Подчасов.— Желаете, я тебя познакомлю с одним человеком...

— Он меня на службу может устроить?

— Свободно.

И Подчасов начал рассказывать о некоем Варове, завхозе института. Парень вполне интеллигентный. Молодой. Хороших родителей.

— Отец его шубную фабрику держал.

— Меня его отец не интересуется, — сказал Буршин.—А если он завхоз —

это любопытно, я через него мог бы на службу пройти...

— Куда угодно, — сказал Подчасов, смеясь и по-кошачьи сощутив пьяные глаза. — Это такой парень, такой парень...

— Меня дома наверно потеряли — сказал Буршин. — Ну, будь здоров, Захарыч. Я к тебе на-днях вечерком загляну... Спасибо за угощение. Посидел бы еще, да меня дома ждут...

Но домой он не поехал. Он постоял недолго на Смоленской площади, потом спустился в метро и поехал в Сокольники.

Вечер был холодный, январский. Буршин вышел в Сокольниках, поднял воротник и отправился искать Чичрина. Память не изменила ему. Он легко отыскал в конце Русаковской улицы маленький, укрытый снегом домик в два окна с покрашенными суриком ставнями, постучал в дверь, и ему открыл сам Чичрин.

Хозяин не узнал гостя. Он долго вглядывался в него. Потом сказал:

— Да это никак ты, Егор Петрович?

— Я, — сказал Буршин.

И хмель подвел его на этот раз. Без всякой подготовки он сразу же изложил Чичрину свое дело, чем привел старика в большое беспокойство. Чичрин снял очки, похлопал слезящимися глазами и сказал, невесело засмеявшись:

— Ну и шутник ты, Егор Петрович. Да кто же теперь такими делами занимается?

— Кто раньше занимался, тот и теперь занимается, — грубо ответил Буршин. — Ты что, в партию вступил, что ли?

— Я не вступил, Егор Петрович. Но все-таки. Неудобно как-то. Некрасивая вещь. Я на заводе работаю в инструментальном, меня в ударники произвели. А я вдруг клешню тебе делаю.

— Какие все сознательные стали, — молвил Буршин сердито, — Да ведь ты, старый чорт, этот домик-то на мои деньги поставил, на ворованные деньги. Это ты как считаешь?

— Мало что, — сказал старик. — Мало что... — И внезапно плачущим го-

лосом попросил: — Уволь меня, Егор Петрович. Пожалей меня, старика...

— Ну, не хочешь — не надо, — сказал Буршин. И ушел, не прощаясь.

Всю ночь он не мог уснуть. Ну зачем он сказал старику об этих инструментах? Испугавшись, старик пойдет в уголовный розыск и завалит его. Надо быть дураком, чтобы без всякой подготовки вовлекать человека в преступление. Это значит не жалеть и самого себя.

Но, раз сделана глупость, не надо ныть. Надо исправить ее немедленно. Рано утром Буршин опять поехал в Сокольники.

В выходной день Чичрин копался у себя на дворе, выдергивал из-под снега куски обгоревшей жести. Буршин подошел к нему и, не здороваясь, спросил:

— Это чего будет?

— Да вот бабке кастрюлю хочу починить.

— А как насчет инструментов?

— Я же сказал, Егор Петрович. Я не могу...

— Не можешь? Ну, это другое дело. Ты так бы и сказал сразу: не могу, не умею. Мне не надо, чтобы ты мне старую клушку делал. Это старо. Техника вперед идет. Мне надо рычаг с ножом американского типа, два рака: один ходовой, другой — запасный. И все. Это серьезное дело. Не всякий сделает...

— По чертежам, — сказал Чичрин, — любую вещь можно сделать.

Буршин вынул из пиджачного кармана маленький самодельный чертеж и разложил его на завалинке. Чичрин наклонился над бумагой, вгляделся в пунктиры и черные линии и сказал насмешливо:

— Ну и што ж тут хитрого? Подумаешь, американский тип. Я на заводе и не такие вещи делаю...

В Чичрине заговорил мастер. У мастера этого было самолюбие ребенка. И Буршин действовал на это самолюбие. Чичрин согласился сделать инструмент. Он делал его две недели по вечерам при свете керосиновой лампы. Он делал его, увлекаясь самым процессом работы и радуясь, что избежал конфликта с Буршиным. А то, чего доброго, Буршин

осердился бы, пошел куда следует, заявил, как старик ему раньше раков делал, и старику тогда прямая дорога в тюрьму, за решетку. Обо всем этом думал старик Чичрин, обтачивая в тисках воровские инструменты. И о старухе своей думал. Как бы она осталась, если б его, например, в тюрьму, не дай бог, посадили? Как бы она осталась?

А Буршин тем временем вел переговоры с завхозом Варовым. Он бывал у него каждый вечер, пил с ним чай и водку, угощал его папиросами и вел философические беседы с ним. Он изучал его. Изучив же, начал обрабатывать вплотную. Он говорил, что никакой ответственности за соучастие он, Варов, нести не будет. Никто и не догадается даже, что он участвовал.

Да и какое это, в самом деле, участие? Буршин просит за приличное вознаграждение достать ему постоянный пропуск в институт. И только всего. Все остальное сделает сам Буршин. Варов хмурил свой узенький детский лоб и говорил:

— Нет, нет, нет...

Буршин смеялся. Он по-отечески смеялся над неопытным молодым человеком, который упорно отказывается от счастья. Буршин говорил: — Ну и чуждак вы. Вы не завхоз, а трусишка. Ваш папа имел фабрику...

— Откуда вы знаете?

— Я все знаю. Я на три метра вглубь вижу. И вижу, как ваш папа переворачивается сейчас в гробу, недовольный вашим поведением. Ваш папа прожил жизнь в свое удовольствие: Он имел деньги, имел счастье. А вы? Вы говорите, что деньги теперь не нужны. Ну кому вы это говорите?

Варов смущенно молчал. Буршин пробуждал в нем заглохшую страсть, которая руководила двумя поколениями Варовых. Наконец, Варов сказал:

— Хорошо, я достану.

На завтра Буршин получил от него долгожданный пропуск. Варов стал соучастником Буршина. И Буршин теперь не просил его, а командовал им, говорил, куда идти, что делать. Варов беспрекословно исполнял приказания.

Он оказался на редкость исполнительным человеком. Он даже точно выяснил, сколько будет денег в институтской кассе в день получки.

Чичрин изготовил инструменты. Буршин осматрел их, принял и сказал:

— Ну, а деньги, отец, подожди. У меня сейчас денег нету...

— Это успеется, Егор Петрович, — сказал Чичрин. — Ты посмотри: инструмент-то какой...

— Хороший инструмент, — сказал Буршин.

Чичрин сказал:

— То-то. А ты говоришь, американского типу...

Буршин принес инструменты домой. Завернул их в газету и спрятал под кровать. Он боялся, что жена или дети найдут их. И в то же время он испытывал желание показать инструменты сыну. Иван работал слесарем на военном заводе. Он был слесарем седьмого разряда, хорошим слесарем, как свидетельствовали награды и премии, полученные им. Буршин хотел бы показать ему инструменты и сказать:

— Вот, Ваня. Видишь, работа...

Буршин хотел похвастать перед сыном чужой работой. Хотя бы чужой работой, если нет своей. И это понятно. Иван почти каждый день приходил с работы, возбужденный, веселый, и почти каждый день рассказывал о новых своих успехах. Отцу это было приятно. Отец гордился сыном и завидовал ему. Он завидовал и жене, и дочери, которые, возвращаясь домой, обязательно рассказывали что-нибудь о своих делах. И дела волновали их. Они могли бесконечно говорить о своих делах. А Буршину не о чем было говорить. Не мог же он посвящать семью в свои преступные замыслы. Не мог рассказать о своих надеждах. Но ему очень хотелось рассказать что-нибудь о себе. Похвастать чем-нибудь реальным.

В семейной жизни тоже надо иметь успех, говорил Бальзак. Буршин этого успеха не имел. И это угнетало его. Угнетало его также сознание, что он ест не свой кусок хлеба, что он не вносит свой пай в общий семейный котел.

Упрямый, уверенный в себе, слегка жестковатый в своих отношениях с соучастниками, дома он превращался в тихого, робкого, незлобивого человека.

И по временам ему казалось, что сын, такой активный, полнокровный, здоровый человек, должен презирать его за бездеятельность. Но сыну казалось, что отец все еще нездоров. Он спрашивал участливо:

— Ну, как твое здоровье, папа?

И даже в этом невинном вопросе отцу мерещилась насмешка. Он опускал голову и исподлобья смотрел на сына. И сын исподлобья смотрел на отца. Не сердито, не враждебно, а так просто, по врожденной привычке смотреть исподлобья. Потом отец говорил:

— Ничего. Подожди. Я поправлюсь. И ты посмотришь, как у меня дела придут...

И он нетерпеливо ждал этих хороших дел, этого счастливого времени, когда он будет уравнен во всех правах с семьей, с женой, с дочерью, с сыном, когда он станет таким же, как они, работающим человеком и сможет с таким же азартом рассказывать о своих делах. Однако прежде всего он считал необходимым взломать шкаф. Взломать шкаф, взять деньги и все концы в воду. Операций такого рода он проделал в своей жизни около трехсот. Но эту последнюю операцию он считал самой серьезной, самой сложной. От нее зависела вся его дальнейшая жизнь. И он готовился к ней долго и тщательно.

Наконец, все было подготовлено. Буршин вышел из дому вечером в половине двенадцатого, сел в трамвай и поехал к институту, где находился облюбованный им несгораемый шкаф и где служил его соучастник Варов.

У входа в институт швейцар остановил его, спросил пропуск. Буршин порылся в карманах, достал красную книжечку и показал швейцару. Потом он беспрепятственно поднялся на третий этаж и здесь разбудил уборщицу.

— Слушайте, — сказал он уборщице. — Я тут стучать буду, так вы того... не пугайтесь. Я шкаф починяю...

Уборщица сказала, зевая:

— Пожалуйста, я не пугливая...

И опять легла спать.

А утром несгораемый шкаф в директорском кабинете оказался взломанным. Из него похищена была крупная сумма денег. Злоумышленник ушел в неизвестном направлении. И метель замела его следы.

Иван Кузьмич Журавлев пил чай. Он пил чай, как лекарство, страдальчески морщась, и угрюмо смотрел в окно на метель. Был март, первые числа марта. Хлопья снега ложились на переплет окна. Иван Кузьмич хандрил. Все-таки пятьдесят лет — это пятьдесят лет. И когда не поспишь трое суток подряд, это чувствуется сразу. В голове шум. Ноги ослабли. Во всем теле глухая боль. Уж не простудился ли Иван Кузьмич?

Жена спала в соседней комнате, завернувшись в стеганое одеяло. Было слышно жаркое ее дыхание. Иван Кузьмич умрет от простуды. Его увезут на кладбище, похоронят и забудут, может быть, на следующий день. А жена вот так же будет спать до одиннадцати часов, получая приличную пенсию за мужа, который умер, не выспавшись. Ни разу, как следует, не выспавшись за всю свою длинную жизнь. Даже в доме отдыха его одолевало беспокойство, и он просыпался раньше всех. Может быть, у него болезнь какая-то особенная, страшная. А полечиться вот некогда. Ну буквально некогда. Все дела, дела, дела...

— Да ну их к чорту, — сказал Иван Кузьмич.

Домработница, стоявшая у стола, вздрогнула.

Иван Кузьмич, задумчивый, прошелся по комнате. Потом сказал домработнице:

— Даша... Позови мне доктора с Собачьей площадки. У меня, понимаешь, грипп... Без температуры...

— Сейчас, — сказала Даша, вытирая передником руки. — Я сию минуту, Иван Кузьмич... Только чашки помою.

Зазвонил телефон. Иван Кузьмич снял трубку:

— Ну еще чего такое?

— Грабеж, — сказал дежурный.

Иван Кузьмич рявкнул:

— Машину!

— Пошла к вам, товарищ начальник, — сказал дежурный.

Журавлев внимательно выслушал подробности, записал адрес, повесил трубку. Потом он, согнувшись, подтянул голенища сапог, протер сапоги для блеска черной бархоткой и, выпрямившись перед зеркалом, критически осмотрел себя. Побриться бы надо. Он вынул из столика бритву, мыльницу, мыльный порошок, налил в жестяной стаканчик кипятку из самовара и, стоя перед зеркалом, начал бриться. Он брился ровно полторы минуты. Даша сказала восхищенно, как всегда:

— До чего быстро...

— Привычка, — сказал Иван Кузьмич хвастливо. — Я, брат, человек военный...

И он действительно становится военным в такие минуты. Всякое новое дело возбуждает его и как будто молодит. Неторопливо, но очень быстро он совершает все необходимые приготовления. Достает из большой коробки десятка два папирос, укладывает их в кожаный портсигар. Потом вынимает из заднего кармана брюк маленький браунинг, передегивает его, вгоняет один патрончик в ствол, защелкивает - предохранитель и снова засовывает браунинг в задний карман. Все у него предусмотрено, рассчитано, проверено. Даже в мелочах он ведет себя, как профессиональный сыщик. И людям, знающим его, кажется, что он рожден для того, чтобы быть сыщиком.

Иван Кузьмич, однако, придерживается на этот счет другого мнения. В тысяча девятьсот девятнадцатом году, весной, когда ему в Московском комитете партии выписывали путевку на работу в уголовный розыск, он сильно волновался. Он говорил, что дело это ему совсем не по душе, что он, собственно говоря, человек штатский, слесарь, что всегда любил слесарное дело и никогда не собирался ловить бандитов или этих самых... как их... ширмачей.

Не считаясь с этим, ему все-таки выписали путевку, и он примирился со своим новым положением. Он успокоил-

ся и стал только более угрюмым, чем был. Никто никогда впоследствии не слышал от него никаких жалоб.

У крыльца загудела машина. После телефонного звонка прошло шесть минут. Иван Кузьмич надел пальто, шапку с ушами и вышел на крыльцо. Даша крикнула:

— А доктор-то как же?

— Завтра, — сказал Иван Кузьмич, садясь рядом с шофером, и недовольно поморщился.

Большая, длинная машина встрепенулась, фыркнула и пошла, оставляя на снегу глубокий след елочкой. Иван Кузьмич поднял воротник. Он давно примирился со своей новой работой, которая давно уже перестала быть новой для него. Он не только примирился, но и выполняет ее часто с блеском, достойным восхищения. Иногда он даже гордится своей работой. Он говорит:

— Я старый сыщик...

Но в свободное время, которого бывает очень мало, он работает за верстаком. Дома, в маленькой каморке за кухней, у него пристроен маленький верстачок. На стене развешаны державки. На деревянной полке уложены напильники разных размеров. К верстаку привинчены тиски. Старая профессия, как, шутя, говорит он, «в'елась ему в печонки». В свободное время для собственного удовольствия он починая замки, кастроли, ремонтирует для старшего сына велосипед, младшему сделал педаальный автомобиль. Двери его квартиры открываются с мелодичным звоном. Это Иван Кузьмич сам изготовил особый звонок. Жаль только, что в звонке есть какие-то хрипы. Журавлеву хочется устранить их, и он часто переделывает звонок. Он любит делать и переделывать вещи. А в уголовном розыске он встречается с изуродованными вещами. Это взломанные замки, исковерканные пробои. Это разрушенные вещи.

Но разрушить вещь тоже не просто. Можно грубо взломать замок, выворотить фомкой все его внутренности, и можно ловко перекусить пробой. Можно разрушать вещь долго и глупо и можно разрушить ее мгновенно хитрым способом. По тому, как совершен взлом,

Иван Кузьмич определяет квалификацию вора. Он вылезает из машины и поднимается на третий этаж институтского здания, где прошлой ночью произошло редчайшее для наших времен преступление. Подобных преступлений не было в столице почти десять лет. Иван Кузьмич здороваётся за руку с двумя работниками розыска, приехавшими сюда до него, потом внимательно осматривает вскрытый шкаф и разглядывает брезент, оставленный воров, странный какой-то буравчик и небольшие клещи.

— Мало,— говорит Иван Кузьмич,— мало он оставил... А все-таки я его поймаю. Это, по-моему, работал опытный медвежатник. Это ж работа-то какая... Золотые руки... Я знаю четырех, которые могли бы так сработать...

И он перечислил всех четырех.

Но один из этой четверки известных медвежатников расстрелян еще десять лет назад. Другой — некий Буршин — много лет назад ушел за границу. В Москве сейчас есть только два бывших высококвалифицированных взломщика. Но они давно уже оставили свое ремесло и сейчас учатся на инженеров в этом же самом институте, где произошло ограбление. Однако кто может поручиться, что это не они взломали шкаф?

Уголовный розыск не имеет права верить на слово. Особенно, если есть серьезные подозрения. А против двух бывших взломщиков подозрения были весьма серьезные.

Иван Кузьмич извлек из архива их фотографии и читал коротенькие справки об их старых делах. В прошлом это были крупные воры. В криминалистическом музее выставлены орудия их бывшего производства. Выставлены были когда-то и портреты с объяснительными надписями и фамилиями. Но лет десять назад они бросили воровское ремесло, пошли работать на завод, а сейчас учатся уже на инженеров. Им по сорок лет, но они учатся. Они стали порядочными людьми. И поэтому их фамилии в криминалистическом музее закрашены, а портреты убраны. Нельзя человеку, сменившему воровское ремесло на чест-

ный труд, напоминать о его прошлом. Нельзя обижать человека.

Однако у Журавлева не может быть уверенности, что эти парни, которым нельзя напоминать об их прошлом, сами не вспомнили своей старой профессии. Журавлев обязан проверить, виновны ли его бывшие клиенты. Но как это сделать?

— Я бы предложил все-таки задержать их, — сказал помощник Журавлева. — Ну чего им сделается? Поддержим денек и выпустим, если не виноваты. Проще всего, а то канитель, морока...

— Нельзя, — сказал Журавлев. И даже осердился. — Что это значит: поддержим да выпустим? А какими глазами я буду глядеть на этих парней, если они совершенно честные? Чего я им скажу? Нет, уж, Миша, давай как-нибудь тихонько проверим. Без шума.

И разведка в точности выполнила это указание Журавлева. В институте никто не подозревал, что среди студентов есть два бывших взломщика. И сейчас никто не знал, что уголовный розыск проверяет их. И они не знали. Они спокойно учились, спокойно работали. И могут дальше спокойно работать, потому что они ни в чем не виноваты.

Виноват только Буршин.

Взломав шкаф, он сейчас же выбросил в Язу, в прорубь все инструменты, замел, как полагается, следы и поехал к Варову в Марьяну Рошу. Здесь он аккуратно сосчитал украденные деньги, честно разделил их между участниками, взял свою часть и поручил ее спрятать Подчасову.

У Подчасова же он прожил два дня, не желая впутывать в грязное дело семью в случае каких-нибудь непредвиденных неприятностей. Предвидеть все-го никак нельзя.

Подчасов служил ему так же, как раньше. Он старался, чтобы гость не чувствовал никаких неудобств за время вынужденного сидения в его квартире. Он сам готовил для него обед, бегал за водкой.

Водки Буршин выпил за эти два дня очень много, но ни разу не был пьян. Водка не могла прекратить напряжен-

ной работы его мозга. Она только обостряла его мысли. Буршин обдумывал свое положение. Он даже чертил какие-то каракули на бумаге. Подчасов ходил на дыпочках. Вдруг Буршин сказал:

— Ну-ка дай мне бритву, Захарыч.

Подчасов дал ему бритву. Буршин побрился и пошел домой.

Домой он пришел очень веселый. Таким веселым дети еще не видели его никогда. Он улыбался, потирал руки, будто собираясь бороться с ребятами. Потом он рассказал, что был за городом, искал работу, встретил старого приятеля и загулял с ним немножко по-стариковски. Приятель пообещал его устроить бухгалтером на одном подмосковном заводе...

— А мы думали, ты под трамвай попал, — сказала дочка.

— Я-то? — удивился Буршин. И захохотал. — Да разве я могу под трамвай попасть? Вы просто плохо знаете вашего папку. Ваш папка ни в огне не горит, ни в воде не тонет...

— Я хотел уж в милицию заявить, что пропал человек, — сказал сын угрюмо. — Но мама говорит, подождем еще денек...

— Это хорошо вы сделали, что не заявили, — сказал отец, и лицо его потемнело на мгновение. Но потом он опять стал улыбаться.

На столе весело запел самовар. Буршину вдруг захотелось купить ребятам торт. Самый большой, самый дорогой. Но он сейчас же раздумал: ребятам покажется подозрительным, что у отца завелись такие деньги. Нет, лучше подождать. Вот устроится он на курсы, скажет, что устроился на работу, и тогда можно будет слегка шикнуть. Бухгалтер имеет право шикнуть. Ведь он получает не только зарплату, но и премии.

Буршин представил себя в роли удачливого бухгалтера.

И весь вечер он жил в этой выдуманной роли. Потом лег спать. Во сне он видел большую темную комнату и себя в этой комнате. Он не мог из нее выйти. Он шарил по стенам, запинался за какие-то брусья, поднимался, падал и опять начинал шарить по стенам. Нако-

нец, кто-то постучал в дверь. Значит, дверь в этой комнате есть. Значит, можно выйти. Буршин обрадовался и пошел на стук. Стучали очень сильно, и он проснулся от сильного стука во сне.

Проснулся и снова услышал стук. Стучали в двери его квартиры. Буршин встал и в одном белье пошел к дверям. Он спросил:

— Кто тут?

Ему ответили:

— Уголовный розыск.

Буршин сказал:

— Одну минутку.

И вернулся в спальню, чтобы одеться. Все спали. Он торопливо надел брюки, толстовку, ботинки и, крадучись, вышел из спальни в коридор. Все спали. Он сказал еще раз:

— Я сию минутку.

И надел галоши, пальто и кепку.

В тамбуре его ждали два человека. Буршин вышел к ним и негромко, стараясь придать своему голосу твердость, сказал:

— Извините, я не расслышал, вам кого?

— Буршина, — сказал один молодой человек и зажег электрический фонарик. — Мы из уголовного розыска...

— Я Буршин, — сказал Буршин. — Что вам угодно?

— Будьте добры, — сказали оба молодых человека почти одновременно и притронулись к его рукам. Буршин покорно поднял руки. Его обыскивали. Он говорил растерянно:

— Не понимаю, в чем дело? Я не спросил у вас даже документов.

Документы ему были показаны. Сотрудники розыска вошли в квартиру и начали обыск. Буршин отдал бы все, чтобы сейчас не зажигали свет в его квартире. Он безропотно пошел бы под расстрел, лишь бы дети не знали о его позоре. Он бы сделал, что угодно. Он ведь нарочно оделся и вышел в тамбур, чтобы никто не услышал его разговора с сотрудниками розыска.

А сейчас проснулся все: жена, дети, соседи. В квартире шел обыск. В шкафу звенела посуда, посторонние люди перебирали в сундуке вещи, заглядывали под кровать, перебирали даже землю в

большом цветочном вазоне. Буршин в пальто и в галошах сидел на кровати и мрачно смотрел в пол. Сын подошел к отцу и гневно спросил:

— Что это такое?

— Это недоразумение, Ваня, — ответил отец.

Сын сердито повторил:

— Недоразумение!

— Вы поедете с нами, — сказали Буршину.

Он, крихтя, поднялся с кровати и, по-стариковски шлепая галошами, пошел к выходу. Он был растерян. Он был стар. Он был глубоко несчастлив.

Но в машине на свежем воздухе он вдруг окреп, собрался с мыслями. Он перестал на какое-то время быть отцом, который любит своих детей. Он снова стал вором-профессионалом, который знает, как вести себя на допросах и которого ничем не удивить.

Журавлев ждал его в уголовном розыске. Перед Журавлевым лежало на столе несколько фотографий Буршина. Буршин в молодости: в котелке, в красивом костюме, с тросточкой. Буршин в советское время, в годы нэпа: в котиковой шапке, в длинной дохе. Журавлев очень хорошо помнит Буршина. Помнит его манеру вскрывать шкафы. Это ведь Буршин всегда на месте преступления оставлял какие-то нелепые инструменты, не имеющие никакого отношения к взлому, но нужные, вероятно, для того, чтобы запутать преследователей. И всегда для особого воровского шику он любил одурачить кого-нибудь, выкинуть эдакий фортель: посмеяться над сторожем, положить в разрушенный шкаф кусок арбуза или сайку и кусок колбасы.

Иван Кузьмич два раза допрашивал его в свое время. И вот довелось встретиться в третий раз. В комнату вошел высокий, пожилой человек в мохнатой кепке и в теплом, поношенном пальто. Журавлев пригласил его садиться.

— Ну-с, — сказал он, — Егор Петрович, здравствуйте...

— Здравствуйте, — сказал Буршин. И сел.

— Гора с горой, — сказал Журавлев приветливо, — как говорится, не встре-

чаются, а люди, они обязательно встретятся. Где это вас не видать было, Егор Петрович?

Буршин ответил что-то невнятное, шовелелся на стуле. Потом сказал:

— Закурить разрешите?

Иван Кузьмич подвинул ему портсигар.

— Курите...

Но Буршин не притронулся к его папиросам. Он сказал:

— У меня свои... И вынул из кармана коробку трехрублевых папирос «Дели».

Эти папиросы были единственной покупкой, какую сделал он самостоятельно на украденные деньги. Из восьмидесяти тысяч он истратил всего три рубля.

Журавлев достал с подоконника бутылку с кефиром, открыл ее, налил в стакан. Как бы извиняясь, он сказал:

— У меня с желудком что-то такое... Я постоянно в это время кефир пью. А вам, Егор Петрович, чайку заказать?

— Пожалуйста.

— А может, кушать хотите? Бутерброды можно.

— Нет, спасибо, — сказал Буршин. — Я ночью ничего не ем. Чаю—это другое дело...

Подали чай. Иван Кузьмич размешал ложечкой кефир в стакане, отхлебнул немного и, хитро прищурившись, посмотрел на Буршина:

— Постарели, Егор Петрович... А? Седина...

— Немножко, — сказал Буршин, наклонившись над стаканом. — Да и вы, гражданин начальник, не помолодели...

— Это верно, — согласился Иван Кузьмич. — Года не те...

Помолчали. Иван Кузьмичпил кефир. Буршин смотрел в стакан, где плавала вертикально чайинка.

— А кепочка эта вам не идет, — прервал молчание Журавлев. — Вы ведь всегда, как мне помнится, франтом были.

— Это я у сына взял, — конфузливо объяснил Буршин. — У меня летняя...

— Сын-то у вас какой молодец, — сказал Журавлев. — Говорят, слесарь он... Стахановец, что ли?

— Да, — сказал Буршин и густо покраснел.

— Неприятный сюрприз вы ему подготовили, — как бы нечаянно заметил Журавлев.

Буршин промолчал. Он пил теперь чай. И со стороны могло показаться, что все это происходит не в уголовном розыске, а в рабочем кабинете какого-то обыкновенного учреждения, где случайно сошлись два знакомых. Об уголовном розыске напоминал только большой стэнд у стены, обвешанный отмычками, фомками и другими орудиями воровского ремесла.

Буршин допил стакан и отодвинул его.

Иван Кузьмич сказал:

— Ну, давайте, Егор Петрович, поговорим о деле. Рассказывайте, как это было. Все рассказывайте. Секретов у нас с вами нет.

— Я ничего не знаю, гражданин начальник.

— То-есть как же это так? Буквально ничего не знаете? И шкаф не вы ломали?

— Не я. Я такими делами не занимаюсь.

— Бросили, что ли?

— Бросил.

— А работа ваша. Чистая работа...

— Я такими делами не занимаюсь...

Иван Кузьмич задумался. Он порылся зачем-то в бумагах, лежавших на столе, будто вспомнив какое-то дело, не имеющее никакого отношения к Буршину. Потом опять сложил бумаги и спросил:

— Это вы серьезно?

— Совершенно серьезно.

Буршин наклонил голову и с интересом стал рассматривать свой теплый шарф. Иван Кузьмич смотрел на него. За окнами была ночь. На улице горел фонарь. За дверью в коридоре раздавались шаги застоявшегося милиционера. Садиться ему нельзя, милиционеру. По уставу он должен стоять. Устав, однако, разрешает ему ходить на посту. И вот он ходит, нарушая тишину ночи, подчеркивая эту тишину.

Иван Кузьмич закуривает. Закурив, он хлопает металлическим портсигаром,

встает, отодвигает стул и говорит раздраженно:

— Гражданин Буршин...

Гражданин Буршин все еще рассматривает свой теплый шарф.

— У меня такое впечатление, гражданин Буршин, что вы пришли сюда, чтобы морочить мне голову...

— Я никому не морочу голову, — глухо и враждебно отвечает Буршин. Непонятно зачем он заматывает шею шарфом. В комнате тепло. И даже более тепло, чем надо. Журавлев поворачивает ключ в замке письменного стола. Он выкладывает перед вором вещественные доказательства, бесспорные улики. Он долго раскладывает их на столе, говорит:

— Пожалуйста... Ну... Вы думаете, что здесь дураки сидят, которым жалованье платят, чтоб они в носу ковыряли... А?

Буршин смотрит на стол.

Ночь проходит. Медленно проходит зимняя ночь. На улице гремят ночные грузовики. В коридоре тихо, тихо. Буршин делает первую уступку. Он уже не отрицает, что вскрывал шкаф. Слишком очевидны улики. Но он не хочет выдать сообщников. Хоть убейте, он их не выдаст. Он старый вор. Он знает традиции воровской дружбы. И он не изменит этим традициям. Ни за что.

Иван Кузьмич откидывается на спинку стула, вздыхает. Он вздыхает по-стариковски, глубоко и сокрушенно. Буршин тоже вздыхает. Иван Кузьмич говорит:

— Эх вы...

И осматривает вора внимательно, как будто видит его впервые.

— Нехорошо,—говорит он, разглядывая седину на его висках.—Нехорошо, Егор Петрович. Мы же с вами старые люди. Ну как не стыдно вам так вертеться, врать на старости лет...

Буршин опускает голову. Он молчит. Журавлев опять встает, ходит по комнате.

— У нас дети есть,—говорит он. Он говорит о том, что не имеет никакого отношения к следствию: о детях, о седине, о том, что жизнь изменилась неслы-

ханно, о смысле жизни.—Я не понимаю вас,—говорит он.—Вот вы—старый вор, я — старый сыщик. Вы воруете, я вас ловлю. И все это страшно глупо, понимаете?

Буршин молчит. А Журавлев шагает по комнате и все говорит, говорит. В уголовном розыске любят его за бесстрашие, за прямоту характера, за большую добросовестность в работе. У него охотно учатся, даже подражают ему. Но иногда, любя, подсмеиваются над ним. Называют его в шутку проповедником. Говорят, что на допросах он читает проповеди вора.

А попадают к нему на допрос чаще всего рецидивисты, старые волки, видавшие виды, последние из профессионалов. Они попадают к нему нередко после того, как с ними занимались уже другие следователи и не добились от них никакого толку. Направляя такого зубра к Журавлеву, в розыске обычно говорят:

— Вот посмотрите, Иван Кузьмич его обязательно проймает. У него есть особый такой метод — вторая пятилетка...

И смеются. Но Журавлева не смущает этот смех.

У Журавлева, между прочим, есть одно замечательное качество. Он прожил длинную жизнь, побывал в самых невероятных переделках, видел тысячи самых страшных преступлений и самых страшных преступников. Воров, грабителей, убийц. Но он до сих пор сохранил почти детскую способность искренно удивляться тому, что в мире существует воры. Они вызывают в нем ярость и отвращение. И в то же время они вызывают в нем обыкновенную человеческую жалость.

Журавлев очень строг на допросах. Вору некуда деваться от его колючих темных глаз. Но эти же глаза способны менять свое выражение, когда он думает о жизни, когда он разбирает воровскую полузагубленную жизнь и говорит о том, как бы могла сложиться она при других обстоятельствах. Воры плачут иногда у него на допросах, бывалые, старые воры, лишенные сантиментальности. Иван Кузьмич разворачивает перед ними картину исполинского строителя,

которое происходит в стране. Он для каждого человека находит место в этом строительстве. Он говорит, что всякий человек может стать, допустим, слесарем.

У Ивана Кузьмича есть слабость. Он хочет, чтобы все воры стали слесарями, как он, Иван Кузьмич Журавлев. Но иногда он желает быть объективным. Он говорит:

— Можно стать, допустим, доктором или инженером. Чем плохо? Приловчись и действуй. И ни я, никто тебя пальцем тронуть в таком случае не может, ты порядочный, свободный, культурный человек. У тебя может быть орден на груди...

И Журавлев выпячивает слегка свою широкую грудь, на которой действительно поблескивает орден и значок почетного милиционера. Этот жест обычно завершает метод, получивший название «второй пятилетки».

Этот же метод, только усовершенствованный, Журавлев применил и к Буршину. Но на Буршина, казалось, не действует никакие методы. Он сидел с опущенной головой и курил четвертую, пятую, шестую папиросу. Он признал себя виновным в совершении взлома, но назвать соучастников не хотел.

Иван Кузьмич раздражал его простотой своей. В простоте этой Буршин видел несерьезное отношение к себе. Что он, фраер какой-нибудь, чтобы его агитировали? Он и так все понимает. Попался — сидит. Что дальше будет, покажет время. Но разговаривать его никто не заставит.

Он достает седьмую папироску и закурирует.

Журавлев спрашивает его:

— А Подчасова тоже не знаете?

— Не знаю, — говорит Буршин.

— А Чичрина?

— Тоже...

— И Варова не знаете?

Буршин отрицательно мотает головой. По лицу его непроницаемому нельзя угадать ни одной его мысли. Нельзя понять, на что он надеется. Вероятнее всего, он думает, что этот простоватый человек в конце-концов устанет

и отпустит его. Буршин просто хочет спать. Все равно, где спать: дома или в камере.

Но простоватый человек, по всей видимости, не собирается отпускать его. Он говорит:

— В таком случае, разрешите, я познакомлю вас с этими людьми.

И снимает телефонную трубку.

— Дежурный, — говорит он в телефон. — Будьте добры, товарищ дежурный, пригласить ко мне Подчасова, Чичрина и Варова. Это Журавлев говорит.

Журавлев перестал быть пропагандистом. Он подтянул ремень на серой гимнастерке, пригладил волосы. В комнату входят Подчасов, Чичрин, Варов. Журавлев широким жестом приглашает их садиться. Они садятся полукругом против Буршина. У них унылый вид.

Журавлев говорит:

— Ну что ж, общее собрание шнифферов можно считать открытым. Вы узнаете вашего хозяина?

И показывает на Буршина.

Все молчат. Варов только подымается и кричит:

— Я, гражданин начальник, жаловаться буду. Я это так не оставлю. Меня вдруг вместе с какими-то ворами...

— Ой, как вы кричите, — говорит Журавлев. — Это ж чорт ее знает что. Здесь же все-таки не сумасшедший дом. Буршин, вы узнаете этих граждан?

Буршин молчит. И все молчат. Журавлев подходит к Чичрину.

— Ну хорошо, — говорит он, — я понимаю. Буршин ломает шкафы, Варов ему пропуск достает, Подчасов стоит на стреме. Им много надо. У них свой план. А тебя-то зачем чорт понес? Чего тебе-то нехватало? Слесарь — ты...

— Вот именно... слесарь, — сказал старик и заплакал. — Меня в ударники по всей форме произвели, аттестат дали как самонаилучшему мастеру. Пятьсот рублей в месяц. А я...

Чичрин взглянул на Буршина и заплакал в голос, как женщина:

— Погубил ты меня, Егор Петрович. Погубил. И денег мне твоих не надо и товару. Погубил ты меня со старухой. Что она сейчас, беденькая, может производить без меня...

Потом очная ставка кончилась. Подчасова, Чичрина и Варова увели. Журавлев спросил Буршина:

— Ну что вы теперь скажете?

— Чисто работаете, — сказал Буршин.

— А вы говорите, — хвастливо молвил Журавлев.

И после этого короткого диалога беседа приобрела нормальный и даже интимный характер. Буршин рассказал Журавлеву и про Варшаву, и про варшавские порядки, и про сына своего, и про дочь, и про жену. Он рассказал все. И о том, как пожелал быть бухгалтером, как задумал преступление и как совершил его. Буршин раскаивался, жаловался и долго конфузливо сморкался. Журавлев посочувствовал ему. Посочувствовал не ради приличия, а искренно, как человек человеку, как старик старику. Но помочь ему ничем не мог Журавлев. Буршин это сам понимал. Он просто рад был случаю единственный раз в жизни поговорить по душам. Впервые в жизни, не таясь, не выдумывая. Без хитрости. По душам.

Через несколько дней его приговорили к расстрелу. И не приговорить к расстрелу не могли. Преступление он совершил тягчайшее. Приговор не удивил и не испугал его. Но все-таки ему было обидно. Было обидно Буршину, что жизнь прошла страшно глупо, незаметно и неинтересно, что он не смог изменить ее. Не смог устроиться, как хотел на старости лет, как устроились многие, даже такие, как этот рыжий Григорий Семеныч, бывший фармазонщик, теперь работающий лекпомом в поликлинике. Разве Буршин хуже его? Разве Буршин не мог бы так же сделаться бухгалтером или еще кем-нибудь? Разве у него мало сил?

Сил у Буршина еще очень много. И эти силы всегда спасали его.

Приговоренный к смерти, опозоренный, одинокий («Ты, Егорша, один. Как перст, один» — говорила ему мать), он сидит в одиночной камере и старается не падать духом. Он читает, занимается гимнастикой и даже пробует петь тихонько. Он пробует успокоить себя. И это удается ему на какое-то время. Но затем опять начинается мучительное беспокойство.

Беспокойство это особенно тяжело после полуночи.

В камеру проникает лунный свет. И по камере бродит угрюмый Буршин. Жизнь большая, прожитая вспоминается сразу и еще раз стремительно проходит в воспоминаниях. Буршин видит себя в детстве, дома, у матери в Коломне. Он живет на кухне у зубного врача. Он носит старые докторские штаны. Они широки ему немножко и длинны непомерно. Он завязывает их где-то у горла. Но они нравятся ему, эти докторские штаны. Он хвастает ими на улице перед мальчишками и он мечтает сам стать доктором, зубным врачом.

Не коммерсантом, не бухгалтером, а зубным врачом мечтал он быть. Все детские годы мечтал. А потом забыл. И вспомнил только сейчас. Вспомнил и еще сильнее пожалел себя. Пожалел, и запершило в гортле...

Ох, как сильно вы сентиментальны, Буршин! Не заплакать ли уж вам теперь? Он стыдил себя, издевался над собой. Он был старым волком, который всю жизнь воспитывал в себе твердый, мужской характер. И ему противно было чувствовать себя трусом и нытиком.

Жизнь закончена. Что же делать? Надо что-то последнее, хорошее кому-то сказать.

Но сказать некому. В коридоре, лязгая винтовкой, ходит часовой. Жизнь проходит. Она прошла уже, его волчьья, воровская жизнь.

И он не сделал ничего приличного. Дети не будут вспоминать его. Они будут стыдиться этих воспоминаний. Он опозорил детей. А у него были золотые руки. Были. Это говорили в тюрьмах. Это сказал на допросе Жу-

равлев. Этими руками можно было делать большие дела. А теперь зачем они нужны ему, эти руки? Через полчаса, может быть, его вызовут...

А может быть, не вызовут? Может быть, случится что-нибудь такое? Должно что-нибудь случиться. Буршин надеется на этот случай. Очень слабо надеется. Но что делать?

Человеку дана надежда. Она дана ему навсегда. И она никогда не потухает, эта вечная веселая надежда. Она дана человеку для украшения жизни и для легкого незаметного перехода в смерть.

Надежда теплится и у Буршина. Это не большая, не настоящая надежда. Это только слабое ее сияние. Оно приходит вместе с рассветом и к вечеру, к ночи замирает.

По ночам Буршин бродит по камере. Он ждет своего часа.

И вот, наконец, этот час наступил. Вечером в камеру его явился часовой и повел его вниз, в первый этаж тюрьмы.

Буршин, еле передвигаясь, шел за ним. У него похолодели руки и ноги. Он шел, как во сне.

Внизу в канцелярии человек в форменке отомкнул средний ящик стола и неторопливо прочел ему постановление о помиловании. Президиум ВЦИК нашел возможным заменить расстрел десятию годами заключения. Буршин две минуты стоял без движения. Потом он сел на край стула и заплакал. Он заплакал от радости. Заплакал впервые за всю свою взрослую, самостоятельную жизнь.

Ох, как вы сентиментальны, Буршин!

Журавлев его встретил еще один раз перед отъездом в лагерь. Они встретились, как старые знакомые. Буршин обрадовался Журавлеву.

— Вот, — сказал он. — Вы слышали, наверно... Я теперь живу.

— Очень приятно, — сказал Журавлев, не зная еще, что бы такое подходить сказать.

Потом неизвестно зачем произвел подсчет:

— Дали вам, значит, десять лет. Вам сейчас пятьдесят первый год. Значит, выйдете, когда вам будет шестьдесят первый. Ничего еще... Приблизительно...

— Зачем десять лет?—сказал Буршин. — Я десять лет ни за что не просижу...

— Это почему? — вдруг строго

спросил Журавлев. И хитро прищурился: — Побежать хотите?

— Нет, зачем, — сказал Буршин.— Я работать буду. Мне скостят. Всем это делают. Неужели мне не скостят?

— Свободно, — согласился Журавлев.

Дом отдыха «Абрамцево».
Март 1937 г.

Стихотворения

С. ЩИПАЧЕВ

ЛИВЕНЬ НАД ХЛЕБАМИ

Люблю худые тени
заборов косых
и ледяные капли
июньской грозы,
и ливень над хлебами,
когда он все промочит,
и травами пропахнут
колхозные ночи.
Я рад тогда (и радостно
не мне одному)
оттого, что яблони
в голубом дыму;
оттого, что крупные
брызги летят,
и клонится пшеница,
после дождя;

оттого, что радость
я не выдумал в стихах:
она — в любом колхозе,
она — в цехах,
она плывет, как воздух,
над каждой тропой.
Люблю я после ливня
слушать мир голубой,
когда он птичьим свистом
плещется в ветвях
и запрокинут в лужах,
в зеленых колеях,
когда идешь по тропам
и хочется петь,
и приходят мысли
сами по себе.

ПОЛИТЧАС ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ.

Качает палатку ливнем и громом,
и с громом смешались слова военкома.

В колхозах давно дожидались дождя.
И вот военком, диаграмму чертя,
в цифрах дает результаты дождя.
Бойцы за грозой и за словом следят,

а круглые молнии рядом летят,
сквозь ветер, сквозь черное море
ДОЖДЯ.

Бойцы аплодируют военкому
и шумному ливню,
и светлomu грому.

Морские встречи

П. СЕВЕРОВ

1. Огонь

В Адене нас попросили взять пассажира — до Сокотры. Мы шли в Коломбо. Дикая, пустынный остров Сокотра, расположенный на востоке от мыса Гвардафуй, лежал на нашем пути. Пассажир оказался маячным сторожем, и только поэтому, из чувства морской солидарности, капитан принял его на борт нашего грузового корабля.

Вечером, сопровождаемый пятью носильщиками, пожилой человек под'ехал на катере к трапу «Большевика». Ему отвели каюту, и он до поздней ночи укладывал свои чемоданы, покрикивая на арабов, угрюмо пыхтя длинной трубкой. Потом он поднялся на спардек, неся в правой руке бутылку виски, в левой — большую пачку табака. Его, видимо, очень озадачило, что матросы отказались пить. Тогда он выпил сам и сразу же начал рассказывать о себе.

— Моя фамилия О'Коннер, — сказал он. — Я родился в Дублине. Мой прадед, дед и отец — все родились в Дублине. Там у нас целая династия О'Коннеров. Но вот уже семь лет я скитаюсь в этих пустынях, как пророк. Даже акридами питался.

Он оглянулся на город, слабо озаренный светом, на пристань, увешанную тусклыми фонарями.

— Курортный городишко этот Аден, а? Будь я трижды проклят, если вернусь когда-нибудь сюда. О'Коннерам всегда везло. Мой дед спас горевшую

нефтянку. Отец получил медаль за войну с бурами. А я вот получил маяк, — это целое государство, не шутите...

— Сколько же там народу, в этом царстве? — спросил кто-то, смеясь. Ирландец тоже усмехнулся.

— Не знаю. Этого никто не знает. Два года подряд там жил Джонсон. Мы вместе голодали, а сейчас у его семьи на счету двадцать тысяч долларов. Он был ловкий парень, этот Джонсон.

— Значит, он просто обирал негров? — спросил боцман.

Ирландец внимательно посмотрел на него. В его взгляде было безразличие и усталость.

— Не знаю, — сказал он спокойно. — Если бы даже так, об этом не стоит вспоминать — о мертвых...

— Смотря, какие мертвые...

— Он недавно умер, Джонсон. Все говорят — умер, но все прекрасно знают, что его просто... слопали дикари. Вы... кажется, смеетесь?

— Да, — сказал боцман.

— Вам не жаль... белого?

— Ни капельки не жаль. Я только вот думаю... а вам не боязно?

О'Коннер снова оглянулся на город. Веки его часто мигали. В тусклом свете электрической люстры, поднятой над спардеком, неподвижное длинное лицо его казалось смертельно-бледным.

— У меня три маузера в чемодане и две тысячи патронов, — сказал он. —

Кроме того... у меня десять бомб. Всего этого у меня, пожалуй, больше, чем населения на острове.

— Культурный багаж...

— О, да! — весело воскликнул ирландец и снова налил себе виски. Руки его дрожали. Зеленоватая жидкость в стакане вспыхивала беспокойным огнем. — Но я не понимаю, почему у вас такие молчаливые люди? Матросы обычно боятся поговорить.

Боцман Савельич молча и очень усердно крутил ус.

— Не время... — сказал кто-то из матросов.

На баке тонко пропел колокол. Где-то далеко на рейде отозвался неизвестный пароход. С мостика крикнули: «Приготовиться!» — и О'Коннер остался один.

Поздней ночью мы покинули Аден и вышли в океан. Был час предрассветной тишины, когда звезды, все южное небо, повторенное водой, проходят у самого борта, и корабль, как большая планета, беззвучно стремится сквозь синеву.

Уже растаял берег и угасли последние огни, но на палубе никто не спал. Влажная, соленая, густая прохлада океана была так радостна после желтой пустыни. Шесть дней мы стояли в этом пекле, имя которому Аден, в этом странном городе, объятом пыльной зарей, в городе, полном нищих калек, где из каждой мазанки слышится песня, похожая на рыдание.

И вот он, наконец, соленый простор. И звездное крошево над нами — вокруг, на покатоj волне, на мокрой палубе. И опять чей-то тихий разговор, — знакомые имена: Новороссийск, Одесса, — разговор, конечно, о родине — не скоро мы вернемся!

Навеху снова слышен хриплый голос О'Коннера. Он говорит, досадливо морщась, словно преодолевая зубную боль. Бледное, невыразительное, полусонное лицо и такие же полусонные слова:

— Матросы поют о родине, — это всегда. Только у себя дома они не поют о родине. Я много наблюдал моряков, дома они не поют об этом.

Савельич внимательно слушает пассажира. Он словно старается его разгадать.

— Нет, почему же, мы и дома о родине поем.

О'Коннер устало качает головой, он пьян и ленив и почему-то старается говорить с Савельичем ласково, как с ребенком.

— Разве у тебя есть родина, старина? У меня ее нет. Но ровно через год она у меня будет. Что у вас есть в Одессе? Дом?..

— Нет, — говорит боцман.

— Шхуна?

— Нет.

— Деньги в банке?

— Тоже нет.

— Ну вот, а вы поете о родине.

— Мне не нужно ни шхуны, ни денег...

— О!.. Н-нет, я буду это иметь. Я куплю родину, чорт возьми.

— Она у вас продается?

— Все продается, чорт возьми! Я тоже продаюсь... еще на год.

Савельич нетерпеливо крутит ус. Он хотел бы несколько иначе побеседовать с этим пассажиром, но он только закуривает трубку и уходит к себе, на бак.

Слабым зеленоватым просветом на востоке встает заря. Океан светлеет, он становится палевым, светло-дымчатым, неощутимым. Мы словно плывем в самом небе, в бескрайнем пространстве, и только клочья дыма оседают за кормой.

Справа, где-то у абиссинских нагорий, в воздухе, полном мельчайших частичек пыли, первые отсветы вспыхивают, как большие костры. Но вместе с рассветом вдалеке все выше подымается зыбь. Можно сразу услышать — по разгону волны, по краткому и глухому удару — эти верные отзвуки шторма.

Впрочем, вахтенный штурман говорит спокойно:

— Ничего, только крылом заденет... хотя...

Он все чаще поглядывает на небо вдале, на восток, где длинными багровыми столбами подымается заря. Она становится похожей на город, огромный и далекий, с громадными башнями и мостами, покрытыми розовым дымом

утра. Кажется, призрачный берег близок, рядом, за последней, резкой чертой волны.

... Шторм налетел неожиданно, едва мы вышли за Сомали. Он как бы вырвался, наконец, из-за этого длинного песчаного угла Африки. Воздух стал редким и странно пустым, хотя на гребнях теперь громко шипел ветер. Мы шли полным ходом, стремясь укрыться за островом или прорваться дальше, на восток, но предстояла еще нелегкая задача — высадить пассажира.

Поздней ночью, далеко справа, в грохочущей тьме мелькнул слабый багровый огонек.

— Видите? Они жгут костры, — сказал О'Коннер. Он стоял на мостике у трапа. — Все-таки их кое-чему научили.

Он засмеялся:

— О, Джонсон был неплохим педагогом!

Штурман, усталый и злой, резко обернулся к нему:

— Знаете, мистер... Вам пора собираться. Гуд бай!

Нам, однако, пришлось простоять на якоре до ранней зари. Ветер здесь был тише, но зыбь грохотала у борта, срывалась на палубу охапками зеленой светящейся пены. Боцман не уходил с бака. Он все прислушивался к надрывному звону якорных канатов и успокоился лишь после команды:

— Вира якоря!

Поминутно набрасывая лот, мы медленно приближались к берегу. Заря стала густой и багровой, и ошутимой, как пыль. Мы находились в самой гуще зари, в большом, кипящем пламени моря. Берег тоже пылал. Высокие, обожженные скалы, иссеченные и пустые, горели недвижимым огнем. В отдалении, на взморье, виднелось игрушечное здание маяка. Оно было как бы случайно обронено здесь, на безжизненных скалах, меж двух пустынь — неба и океана, и уже в одном этом контрасте было начало тоски.

В полумиле от берега мы спустили шлюпку. Зыбь здесь была слабее, но ветер заметно менял направление, и уже далеко сзади, по всему полукругу го-

ризонта, поднималась густая черная кайма.

В шлюпке нас было семеро: четыре матроса, штурман, боцман и пассажир. Едва отошли мы на несколько сажень от корабля, как огромный крутой канат поднял нас и стремительно бросил на гребень. О'Коннер испуганно схватился за свои чемоданы:

— Плохое начало... — пробормотал он, оглядываясь по сторонам, на всполошенные багровые гребни.

Савельич усмехнулся. Он словно что-то нашел, наконец.

— Не бойтесь, мистер... Ничего...

Штурман, Ваня Шатилов, сидел у руля. Он тоже улыбался, глядя вдаль, и пассажир даже обернулся, словно чтобы проверить причину этого общего веселья.

Берег был безлюден и мрачен. Уже темнела заря, черная кайма все росла на горизонте.

— Сумасшедшие, — громко сказал по-ирландски О'Коннер. — Но боцман, побывавший во всех морях, понял.

— Совсем нет, — ответил он.

— Что же здесь веселого, не пойму?

Савельич сказал, улыбаясь:

— Не деньги, конечно, сэр.

Однако только издали берег казался безлюдным. На дальней скале мы увидели первого человека. Он бегал у обрыва, махая руками, видимо, он кого-то звал. Слева, по склону маленькие черные люди бежали вниз. Протяжный крик донесся и смолк.

— Встречают, — сказал О'Коннер мрачно. — Э, да здесь целый город у них.

Между двумя невысокими стертими отрогами чернели маленькие хжины, издали похожие на камни. Там тоже суетились люди, и уже теперь можно было понять: что-то очень тревожное происходило на берегу.

У самой отмели большая, штормовая волна ударила шлюпку. На ближних рифах заревели водовороты.

— Табаны! Левая, табаны! — закричал Шатилов и сам вцепился в ближайшее весло.

— О, чортова страна! — промчал О'Коннер. Он едва не вылетел за

борт. Охваченные гулкой пеной прибоя, как метелью, мы выбросились на песок. Совершенно мокрые, осыпанные крупным и желтым, как пшеница, песком, мы, наконец, выбрались на этот багровый берег. Черные голые люди стояли в стороне. Их было человек двадцать, одни мужчины. Трое из них держали по большому кокосовому ореху в протянутых руках. Они отделились от остальных и медленно двинулись к нам, и лица их, иссиня-черные, выжженные солнцем пустыни, как эти гранитные булыжники, разбросанные вокруг, были неподвижны. Они остановились в пяти шагах от нас и, одновременно наклонясь, положили кокосы на песок. В толпе негров произошло короткое движение, кажется, они тесней прижались друг к другу. Они чего-то ждали от нас, и было непонятно: скрытый страх это или такая же скрытая угроза?

Шатилов первым нагнулся и поднял орех. Тесной, молчаливой толпой негры подошли еще ближе. Все они улыбались теперь, но какая-то невидимая преграда еще разделяла нас.

Гул шторма непрерывно нарастал. Черная дымная кайма на северо-востоке выросла, превратилась в сплошную стену. Белые надстройки парохода, мачты, иллюминаторы, маленькие люди на палубе — все стало необыкновенно четким на этом фоне.

— Скорее выгружайте шлюпку, — крикнул Шатилов. — Можем опоздать... шторм!

Но едва мы выбросили чемоданы на песок, негры окружили нас, наперебой что-то крича, показывая на море. Мы оглянулись — и не увидели корабля. Густая мгла шквала неслась к берегу, и стая чаек, перемешанная с клочьями пены, казалось, никак не могла уйти от нее. Звук сирены, глухой и прерывистый, словно иссеченный на куски, доносясь в эту минуту. Тоскливо пропел колокол. И тотчас камни берега грянули в ответ. Мы были оглушены этим первым ударом шквала. Как бы вращаясь, все выше поднимался каменный гул. Мы были в самом центре его, в звуковом смерче, мы кричали и не слышали своих голосов.

Негры схватили шлюпку, легко подняли ее над головами и быстро вынесли на дальний косогор. Как они знали море! Еще секунда — и только щепки взлетели бы на волне. Лохматый вал встал над рифами, и сумрачный берег вздрогнул от удара. Мы выбежали на пригорок, но и здесь ноги наши завязли в желтой гремучей пене. Сразу стало темно, черный шквал обрушился на скалы, словно весь океан поднялся из своих глубин. Кто-то схватил меня за руку и потащил вверх, на крутую гору. Я бежал, задыхаясь, ничего не видя перед собой. Терпкая, перемешанная с песком вода хлестала со всех сторон. Теперь на этом пределе гул шел слабой волной, он опускался над нами, как колокол, и вдруг стало непонятно: тишина это или оглушительный гром.

Нет, мы бежали к тишине, она была уже близко, и совсем неожиданно синее небо блеснуло впереди. Я оглянулся вокруг. Внизу, в серой мгле, бушевал океан. Шквал уносился на запад, густой, как туча; веселый, черный гигант крепко держал мою руку. Он был почти вдвое выше меня. Мутная вода ручьями лилась по его кованому телу. Он смеялся, показывая багровые от бегея зубы, тряся курчавой головой.

Оказалось, мы прибежали в деревню раньше всех. У подножья горы, вверх по кремнистой тропе карабкался боцман. Два негра поддерживали его. Где-то близко хрипло ругался О'Коннер.

— Свиньи! Подумаешь — богачи! Они чуть не забыли моих чемоданов!..

Впрочем, все чемоданы были целы. У первой хижины негры сложили их в кучу и снова остановились плотной, молчаливой толпой.

— Они просто боятся нас... трусы! — сказал О'Коннер. — Предатели всегда трусливы.

Он снял кепи и, вытряхивая воду, длинно выругался, прокляв шторм и негров, словно эти люди были виноваты в том, что он так измок. Но было похоже: негры поняли. Молча и внимательно они смотрели ему в лицо. Они смотрели так, словно уже знали этого коренастого, недовольного человека.

— Нужно развести огонь, — сказал О'Коннер. Он показал неграм на свою мокрую одежду. — Огонь! Понимаете, черти, огонь!

Небольшой черный человек, со страшно изуродованным шрамами лицом, повторил тихо:

— Огонь?!

И сразу все они заговорили наперебой, но никто не двинулся с места. Они повторяли это слово и странно смеялись, и глухие, гортанные их голоса были похожи на клекот прибоя.

Дети и женщины выглядывали из хижины, но никто не приближался к нам.

— Что это значит? — растерянно сказал О'Коннер. — Они, ведь, понимают!

— Огонь... — сказал маленький негр и в ужасе закрыл руками свое изуродованное лицо. Но все остальные смеялись тем же странным, клокоущим смехом. В нем были ожидание и страх. Мы с изумлением слышали, как это слово вместе с гулом шторма неслось по селению, как захлопывались ветхие двери лачуг, как смех этих больших, сильных людей становился все более похожим на рыдание.

Курчавый оливковый гигант, выведший меня из шквала, подошел к боцману, взял его руку и что-то сказал, заглядывая в глаза. Он не смеялся уже. Маленькие, скупые слезинки текли по его мокрому лицу.

Савельич отступил на шаг:

— Я ничего не понимаю, товарищ. Здесь что-то случилось? — И обернулся к О'Коннеру. — Неужели никто из них не знает по-английски?

— Кептайн! — сказал негр, опуская руки. Тело его обмякло, подогнулись колени, почти навзничь он упал в каменистый песок.

— Он принимает вас за капитана, — засмеялся О'Коннер. — Это знакомые шуточки. Сейчас он будет просить у вас виски или табаку.

Он подошел к чемодану, открыл один из них, достал дешевую пачку «Добельмана».

— Смотрите. Эгих ловкачей легко раскусить.

Негры внимательно следили за ним, но никто не двинулся с места, когда пачка табака упала на песок. Как слепые, они тускло смотрели перед собой. Штормовый ветер трепал их густые черные волосы. Чего они ждали от нас? Почему так испуганно прятались дети? Мы стояли, не зная, что делать. Нет, здесь ничего не случилось в этот день. Люди боялись нас. Что же должно было случиться? Они знали, конечно, не только океан, не только берег, — все дебри острова, всю его дикую пустыню. Может быть, оттуда, с юга, шла эта непонятная угроза и страх. Он передавался и нам, страх нищей толпы, этот ужас воющего смеха и слепого молчания за ним. О'Коннер сказал изумленно:

— Чертовщина какая-то... Смотрите, они не берут табак...

Негр медленно поднялся с земли. Лицо его стало серым от песка. Не вгитраясь, он приблизился к товарищам, прижался к ним спиной. И опять в толпе кто-то тихо сказал:

— Огонь?..

— Надо найти старшего, — сказал Савельич. — Хотя бы шторм переждать.

Мы пошли вдоль деревни, мимо черных круглых лачуг, мимо наглухо закрытых дверей, — никогда, ни в одном краю мы не чувствовали себя такими чужими. Негры молча шли сзади, казалось, это мы их вели. Они шли за нами покорно, как арестанты.

В деревне была лишь одна улица, скорее площадь, окруженная ветхими, строганными из камня и плавника, шалашиами, и на дальней окраине, под горой, десяток высоких, тонких пальм гибко раскачивался под ветром.

Из большой, полуразрушенной хижины вышел высокий черный человек. Он шел навстречу нам, глядя спокойно, без улыбки. Он был молод и страшно худ. Под крепкой, туго натянутой кожей плеч ясно обозначалось малейшее движение скелета.

Он остановился, сложив на груди руки, и что-то тихо сказал. Крупные, ровные зубы его блеснули почти прозрачной белизной. Савельича, седого и

крепкого, он тоже, видимо, принимал за старшего. Он взял его за руку и повел к хижине, и широко открыл перед ним дверь. Мы вошли вслед за ними. В хижине было почти темно. Жесткая листва хрустела под ногами. Чувствовался сладкий табачный дым. Что-то большое шевелилось у стенки, словно пытаюсь подняться, и неожиданно слабый гортанный голос сказал по-английски:

— Привет вам... друзья.

— Вот. Наконец-таки, нашли человека, — облегченно сказал О'Коннер. — Как можно спать в такую погоду?

— Я болен... Я нужен вам?

— Конечно. Вы здесь... вождь?

— Меня зовут Тасса.

— Слышал. Я новый хозяин маяка.

— А эти люди?

— Эти люди с корабля. Они не могут вернуться из-за погоды.

— Да, — сказал человек у стены и почему-то вздохнул. Он помолчал некоторое время. — Сейчас вас проводят на маяк.

— Я думаю, мы скоро вернемся, — сказал штурман. — Если можно, мы побудем здесь.

— О, вы добры ко мне, сэр.

— Не понимаю... — пробурчал О'Коннер.

Все же, прощаясь, он постарался сказать несколько ласковых слов. Ему немного грустно, мы последняя нить, мы уйдем, и останется только пустыня. Он так приятно провел с нами время. Мир велик, и люди встречаются часто, и, кто знает, может быть, через год мы встретимся где-нибудь... в Дублине еще раз!

Мы видели, как поднимался он по холму. Небольшой вереницей шли впереди негры с чемоданами в руках. Он шел сзади. Дул ветер, и тяжелый песок засыпал след его широких каблуков.

В хижине зажгли огонь. Это была старинная корабельная лампа из морского дуба, окованного бронзой. Стекла на ней не было. Длинное, острое пламя метнулось и полетело. Жидкий свет упал на черные стены, и мы увидели жилище вожды. Большие гольши торчали из стен, полусгнившая жердь све-

шивалась с потолка. Темная, закопченная икона висела на ней и рядом несколько длинных курительных трубок.

Хозяин лежал на куче вялой листвы, наполовину укрытый брезентом. Он едва поднял голову, когда зажгли свет. Большой, высоколобий, он пристально смотрел на нас из-под бровей. Губы его были устало сжаты; четкая кривая морщина дергалась на щеке; руки нетерпеливо шевелились на брезенте. У него были удивительные руки: огромные, в тугих узлах мышц, оплетенные толстыми шнурами вен, — руки первобытного вожды. Он даже приподнял их слегка, словно стремясь показать нам эту свою единственную гордость.

Гул прибоя, тяжелый и прерывистый, катился над нашими головами, над ветхой крышей. Ветер прорывался в щель, свет лампы встревоженно метался по стенкам; где-то очень близко переговаривались тихие голоса. Я оглянулся на дверь: над широким просветом стоял маленький, уродливый человек, тот самый, что первым подошел к нам у деревни. Они чего-то ждали от нас. Там, за дверью, он, конечно, был не один.

— Сейчас разведут огонь, — сказал Тасса. Он хотел приподняться, но могучие руки упали. Он сказал тише: — Подождите. Сейчас...

Мы сели у стенки, на куче мятой травы. Тяжелый дождь застучал по крыше. Длинное пламя лампы шипело и металось, отчего ветер, казалось, стал зримым, он стал багровым и густым.

Чтобы нарушить молчание, Савельич сказал устало:

— Тяжелая погода... Шторм.

— Да, — ответил вождь. — Это правда.

И мы вдруг почувствовали, что нам не о чем говорить, что нам ничего не скажут, что негры ждут нашего ухода. На этом клочке пустыни, на этом черством песке, мы были, может быть, первыми людьми нашей родины, первыми вестниками ее. Но и ветхие шалаши — глухая стена стояла вокруг, с первого нашего шага на берегу.

Хозяин поднял голову; большие глаза его открылись шире.

— Я знаю, вы смелые люди, — сказал он. — Но разве такой сильный ветер не бывает на вашей земле?

— Нет, мы привыкли, — ответил боцман. — У нас, на Черноморьи, даже покрепче бывают.

— Это очень далеко?

— Да. На северо-западе. Советский Союз.

Хозяин поднялся еще выше. Короткой вспышкой свет прошел по глазам.

— Россия?

— Да.

— Большевик?... О, я знаю. Мне говорил Люсьен. Здесь был матрос Люсьен...

Он обернулся к двери. Он что-то сказал на своем гортанном языке. Звонкий голос откликнулся с улицы. Тихо открылась дверь. Под густым дождем тесной толпой стояли негры. Они молчали. Вода текла по их лицам, по голым плечам. Что-то большое и сильное было в этих сплетенных руках, в сдвинутых плечах, в этом одном многоголовом существе.

Уже через несколько минут посреди хижины, на плоских камнях, весело потрескивал костер. Груда кокосов и бананов лежала рядом, на земле. Дверь поминутно открывалась, и люди, захлестнутые светом и дождем, все несли нам подарки. Мы сидели вокруг костра. Пар валил с наших одежд. Казалось, вся хижина — один огромный костер. Для нас было неожиданно это веселье после встречи на берегу; сладок и радостен сок плодов после соленого ветра. Негры умолкали и не двигались, едва заметив, что кто-нибудь из нас хочет говорить.

— Что знают ваши люди о нашей стране? — спросил Шатилов.

Вождь задумался на минуту.

— Очень много, — сказал он, с трудом подбирая английские слова. — Это очень далеко. Если бы ваши люди взяли за руки, — им было бы тесно вокруг океана. Но они потеснились бы, чтобы дать место негру.

— Правильно! — воскликнул Савельич. — Молодец, богатырь!

— Не понимаю, — сказал матрос Ткачук. — Таких людей называют ди-

карями. Они ведь знают, что есть большевики! Но, все-таки, почему они испугались, когда этот ирландец сказал про огонь?

Савельич переспросил по-английски.

Вождь улыбнулся, покачал головой. Он спросил что-то у своих. Ему ответили наперебой. Хижина сразу наполнилась криком, взволнованным и тревожным. Он подождал, пока замолчат все, и прислушался еще, но ветер свистел с прежней силой.

— Кто-то из вас крикнул — огонь? — спросил он, и лицо его вытянулось, и глаза опять насторожились.

— Нам ведь нужно было обсушиться, — сказал Шатилов.

Тасса засмеялся. Он что-то сказал своим и снова засмеялся, громко; по-детски, и все, кто был в хижине, засмеялись вместе с ним, и мы вдруг почувствовали, что больше нет между нами глухой стены, нет непонятого ожидания в глазах людей.

— Вы скоро уедете, — сказал Тасса. — Туда... на Большую землю. Когда вы приедете домой, расскажите своим сыновьям про нас. Мы любим нашу землю, и мы хотим, чтобы нам тоже было хорошо жить.

Дождь прекратился. Ветер шуршал песком. Молча, затаив дыхание, негры стояли у стены, слушая и словно понимая.

Тасса поднял голову. Лицо его стало печальным, я оглянулся на людей, — никто не улыбался уже.

— Я расскажу вам про огонь, — сказал он. — Если бы ночью кто-нибудь крикнул здесь это слово, люди убежали бы в горы. Мы ждали не таких гостей все эти дни. На маяке за два года умерло трое белых. Они почему-то болеют у нас. Или здесь для них очень много солнца? Они делаются глупыми, как дети. Им становится скучно, и они умирают.

Он взял длинную бамбуковую трубку, закурил. Уже догорало пламя костра. Легкие искры поднимались и гасли в синеватом дыму.

— Первый здесь умер Роб. Он утонул. Но нам не поверили, когда мы это сказали. Роб ничего не сделал нам пло-

хого. Целые дни он спал. Он колот свое тело большой, длинной иглой и сразу засыпал. Я думаю, его погубила игла. Но когда те приехали сюда, они не поверили нам. «Вы с'ели Роба! — сказали они. — Если нет, покажите: где его тело?» Тогда наши люди впервые услышали это слово. Здесь, возле этой хижины, они стреляли в наших людей, и маленький старичок все время кричал: «Огонь!» Потом приехал Джи...

У дверей кто-то промко повторил:

— Джи?! — и опять хижина наполнилась гулом.

— Этот Джи был сильный человек. Он руками стаскивал скалу в море. Очень долго он бродил по горам и что-то искал. Я ходил вместе с ним. Он научил меня говорить по-английски. Но я не знал, чего мы ищем. Я думаю, он не верит нам и ищет кости Роба. А он искал простой камень. Когда он принес этот камень сюда, мы поняли: Джи тоже болен. Было жалко такого сильного человека... Он положил камень на землю и сказал: «Огонь!»

Четыре месяца наши люди работали на той горе, где он нашел этот камень. Камня было много. Мы вырывали его из земли, обивали кусками железа и бросали в огонь. Дым становился горьким, и люди теряли свет. Четверо умерло. Девять стали слепыми. Но на берегу мы сложили большую кучу камней и все продолжали работать. Мы знали, что это нужно и что Джи не забудет нас... А он пришел на берег, походил, посмотрел и сказал: «Нет, этот камень не годится... Выбросьте его в море».

Мы плакали все, плакали наши слепые, а он говорил: нет! И тоже плакал, и зубы его стучали, как железо; он трясся от лихорадки и от слез и говорил, что никогда не увидит своей страны, и вскоре умер там, на маяке...

Потом опять приехали солдаты. Они отрыли его тело, и главный сказал: «Как мог умереть такой сильный человек? Это вы виноваты».

Мы это знали уже, мы всегда были виноваты. Но он сказал: «Огонь!» — и наша деревня загорелась. Нам не позволили тушить пожар. Они ходили по деревне и поджигали хижины, а мы стоя-

ли на берегу. Разве можно куда-нибудь уйти отсюда?.. Мы бы ушли в горы, но там нет рыбы. Мы стояли на берегу, мужчины, женщины и дети, и смотрели, как горит деревня.

Он замолчал. Желтое пламя лампы уменьшилось. Оно стало похожим на птенца; маленькие крылья трепетали.

— Чего могли ждать наши люди от вас? Недавно умер третий сторож. Вы пришли и сказали: «Огонь!» Расскажите об этом у себя, пусть ваши матери вспомнят о наших детях.

У потухшего небольшого костра мы сидели молча, слушая свист ветра. Блики света проносились по черным, еще не высохшим лицам, по широко открытым глазам. Клокот прибоя переместился, он стал ближе теперь. Огненный птенец бился над лампой и никак не мог улететь.

Громадный, словно кованный из железа, негр шагнул от двери к свету. Пламя плескалось в его глазах. Он поднял руку и с силой опустил ее вниз, словно бросая невидимый камень. Он что-то сказал. Глубоко, в самом горле его, бился крик.

Вождь приподнялся еще выше, и руки его обрели вдруг легкость и напряжение. Он поднимался все выше и выше, пока говорил молодой. Потом он опустил голову, руки опять упали, он даже не ответил ему. Все было ясно и так.

Но хижина снова стала похожей на костер. Горячее дыхание шумело, как ветер. Пламя трепетало на мокрых телах, и в этом желтом трепете огня все руки были судорожно сведены, все лица окаменели.

— Почему же виноват огонь? — спросил Савельич. — Огонь всегда боится кузнеца.

Вождь не поднял головы.

— Мы очень мало знаем, — сказал он. — Мы видим только этот берег и горы. Мы стоим и смотрим перед собой...

...Только к вечеру немного утих океан. Близко, за мысом, прогудела сирена.

— Пора, — сказал штурман. — Ждут.

По крутым каменистым тропинкам, окруженные тихой толпой, мы спускались к океану. Большие синие звезды стояли в небе, медленно скользили по склонам волн. Кудрявая пена светилась на рифах. Глухо и неумолимо гремел прибор.

На берегу, на белой отмели, мы остановились на минуту. Нет, нам не хотелось уходить. Было слышно дыхание этой земли, — легкая, телесная теплынь. Апельсины в наших руках были горячие еще от рук друзей. Но мы не все сказали. Мы просто не могли все сказать. Мы стояли на берегу, перед бескрайним простором, почти не заметив, что плечи наши сомкнуты и руки сплетены. И мы не слышали океана в этой великой тишине сплетенных рук и земной теплыни.

Женщина с ребенком на руках стояла у шлюпки, впереди. Ветер трепал ее волосы. Пена прибора всплывала у ног. Казалось, она летит над пеной, над синевой.

Так, забыв слова, мы покидали эту печальную страну. Издали берег стал серым, как пепел. Я оглядывался много раз: отсветы луны полыхали над скалами дымными столбами, и люди на берегу уже разжигали костры.

2. На древнем пути

Девять дней мы идем океаном, древним арабским путем. Синие ночи проходят на запад. Вспыхивает и угасает текучее пламя зари. Далеко, в сумраке горизонта, остались огни пустыни... Аден... Перим... Соленым ветром и гулом объята океан и этот извечный путь, дорога мертвых героев, дорога легенд. Здесь на своих крылатых кораблях проносился Синдбад-Мореход. Притушив огни, крался к малабарскому берегу бородастый португалец Васко де Гама. Трупы мавров качались на ряях альмейдовских каравелл. И в ожидании берега чистил свои аркебузы Альфонсо Альбукерк.

Старый, испытанный путь европейских пиратов, конквистадоров, миссионеров, банкиров и карательных крейсеров. Что изменилось здесь за четыре-

ста тридцать лет после Де Гама? Запах имбиря и корицы, каучука и пороха блуждает в синих просторах до сих пор. Арабские парусники попрежнему качаются на рейдах портов. И только изредка из самой пучины поднимается гул больших кораблей.

Медленными световыми смерчами движутся гигантские экспрессы в плотном сумраке ночи. Леди танцуют на палубах. Тонко звенит джаз. И внизу, у топок, задыхаются кочегары.

Дорога больших мертвецов, синее поле славы и забвения, пена на гребнях, — кто укажет здесь след твой, Альфонсо Альбукерк?..

Но он повторяется вновь и вновь, и мало кто знает об этой трагической повседневности океана.

Не личное мужество и гениальность вели конквистадоров через этот синий простор. От самой Мелинды арабы-мореходы указывали путь в Индию кораблям Де Гама и Альбукерка. Еще с XIII столетия здесь свято чтится морской закон, главным условием которого были гостеприимство и помощь. Европейцы первые внесли комментарий к нему картечью и огнем. Изумруды и шелка ослепляли людей, пряности заглушали запах крови, и величие измерялось жаждой наживы. Но призраки пиратов оживают через сотни лет в наши дни, на этой древней дороге к богатству и славе.

Большой, непокойный путь. Девять дней мы идем океаном сквозь гулкий муссон и синеву. По ночам, оглушенные шквалом, черные чайки падают на палубу корабля. Мы ловим их и несем к свету, и, пытаясь взмахнуть крыльями, они широко открывают зеленые, с золотыми ободками, глаза, и нам слышен стук их маленьких сильных сердечек.

Целую ночь в кубрике царит картавый яростный крик, а утром мы выпускаем чаек на свободу. Мы долго смотрим им вслед, следим, как скользят они над волной, как ликуют их могучие крылья.

Окруженные белой пеной, вдали проплывают коралловые острова. Земли не видно совсем... только неподвижная стена пены и одинокие черные макуш-

ки пальм над ней. А дальше снова густая полдневная синь, и в знойном дыму горизонт, и где-то там, за горизонтом, — вечер. Но утром тоже не будет берега, и, может быть, поэтому все чаще поглядывают матросы на восток: каким он должен быть чудесным — Цейлон!

Так всегда, в нарастающем ожидании проходит время. Птицы летят неведомо куда. Серебристой картечью с наката волны поднимаются стаи летучей рыбы. Они пролетают над палубами, залетают на самый мостик, и солнце маленькой радугой светится в их прозрачных крыльях-плавниках. На корабле все уже к этому привыкли, и никто не обращает внимания на залетных гостей. Спокойной и в то же время настороженной жизнью живет маленький мир корабля. Под тентом на палубе отдыхают кочегары. Устало шагает штурман по мостику, вдоль перил; неподвижен рулевой у штурвала.

Все привычно, все видано тысячи раз, но неожиданно в сонной и горячей тишине раздается пронзительный крик сирены. И мгновенно оживает маленький мир корабля.

— Тревога! — Сигнал бедствия на горизонте...

Капитан сменяет курс корабля. Что происходит там, на едва заметной точке, качающейся в круглом синеватом стекле подзорной трубы? Долгие томительные минуты мы стоим на спардеке, у шлюпок, в ожидании команды.

Вдалеке на волнах поднимается и снова тонет черный продолговатый предмет. Уже приготовлены спасательные пояса. На баке матросы разматывают канат. Красное полотнище зова на помощь, сигнал надежды, развевается над маленьким далеким кораблем.

Вот он приближается к нам, все ближе, ближе... Одинокая мачта кренился на волне, но мы не видим знакомых очертаний парохода, — черный обломок взлетает и падает, и человек на вершине мачты машет нам красным полотном.

С мостика раздается, наконец, долгожданный приказ.

— Приготовить шлюпки!

Минута — и сброшены брезентовые чехлы, развернуты шлюпбалки, и судно уже замедляет ход.

Маленький, разбитый парусник беспомощно качается на зыби впереди нас, и на тесной палубе его суетятся полуголые черные люди. У парусника в щепы раздроблена корма. Невысокий пенек остался на месте гротмачты, обрывки несложного такелажа свисают с бортов.

Мы подходим ближе, и теперь становится слышен крик людей, долгий, прерывистый вой. Мы видим их руки, протянутые к нам, и худые, измученные лица. С мостика раздается новая команда:

— Отставить шлюпки! Подать конец!

Тонкой змейкой взлетает выброска, и несколько жадных рук одновременно ловят ее на маленьком судне.

На юте зарокотала лебедка, натянулись тросы, парусник медленно причаливает к борту нашего корабля.

Первым по штурману поднимается высокий, иссушенный зноем старик. Пестрые клочья халата развеваются на его плечах. Он один кое-как одет из всей команды. Мы сразу понимаем, что это капитан. Когда он выходит на палубу, мы видим кривой и сточенный нож на его поясе и под распахнутым халатом бумажный сверток, прижатый к груди.

Он останавливается у трюма и, протянув руки, вдруг падает на колени. Он прижимается лицом к накаленной палубе, и плечи его дрожат, словно в ознобе. Мы стоим широким полукругом, еще не понимая ничего, но черные матросы парусника один за другим выбегают на палубу и тоже падают на колени сзади своего капитана. Все они молчат, и в этом бескрайнем одиночестве океана, под небом, равнодушным и пустым, нам становится не просто жаль их, за отчаяние и нищету, становится страшно за них, героев безвестной страны. Рядом качается их древний корабль, как будто выплывший из тьмы столетий. Мы видим их руки, раз'еденные солью, измозоленные канатами, руки большого, жестокого труда. Почти насильно мы поднимаем их с палубы и ведем под тент. И первое слово, которое произносит их капитан:

— Water!..

Повар приносит воду, но, не обращая внимания на кружку, они припадают к ободку ведра жадными, потрескавшимися губами, и самым последним пьет черный капитан. Потом мы все садимся на брезент трюма, и, бормоча глухие слова, капитан развертывает карту. Как выясняется, карта издана в Лейпциге, в 1798 году. Далеко на восток, к Никобарским островам, отнесен на ней Цейлон.

Не больше десятка английских слов знают эти чудесные моряки, однако мы говорим не менее часа, прекрасно понимая друг друга.

Удивительный язык улыбок, жестов, угаданных слов, — язык международного порта. И мы узнаем историю этой ветхой скорлупы и ее отважного экипажа.

Почти от самой Момбасы, через океан, они шли в Индию тем самым путем, где в 1498 году предки их впервые провели каравеллы Васко де Гама. Трехмесячный рейс — и в пищу все время только рыба и вода. Они везли для продажи кокос и лимон, собранные на черном материке. Трехмесячный рейс и надежда на «выручку» в сорок долларов — на семерых — за год, штормы, за бессонный труд. Впрочем для них, потомственных моряков, не страшен океан, — страшнее штормов европейские экспрессы. Джентльмены и леди спешат домой, они устали от тропического зноя, и капитан двадцатитысячтонной махины ни на градус не уклонится от курса, даже заметив арабский парусник у носа своего корабля. Третьего дня, на заре, они не успели вернуться от экспреса. Наполовину разрушенный парусник остался в океане, три парохода, прошедших мимо, не захотели помогать «чернокожим». Басни о «пиратах» — постоянное оправдание для них.

... Бессмертной славой покрыто имя Васко де Гама, хотя черные лоцманы указывали ему путь. Забвением покрыты имена первых лоцманов Южного океана. Только легендой сохранено имя Синдбада-Морехода. Но кто знает о мужестве его отважных потомков, сегодня, как столетия назад, на кораблях,

еще более ветхих, чем каравеллы, идущих по древнему пути.

Когда мы даем этим людям хлеб и табак и берем на буксир их разбитую шхуну, с изумлением они узнают в нас друзей, и слезы текут по их обветренным лицам.

— Мы очень бедны, — волнуясь, объясняет их капитан. — Груз выброшен за борт... — И он показывает свои покрытые мозолями ладони.

Мы понимаем: он говорит, что честное мужество никогда не бывает богатым.

Штурман Загоруйко долго подыскивает ответ. Он пробует английские, малайские, китайские слова. Но кто-то из матросов приносит карту и обводит рукой нашу страну.

— Москов! — восхищенно кричат арабы. — Москов! — И каждый из них, словно к самой земле родины, прикасается ладонью к этой карте. Больше ничего не нужно объяснять. Это слишком много для человека — неожиданно найти родину здесь, в синем одиночестве океана.

Три дня, до самого Коломбо, арабы едут на нашем корабле. Днем они помогают матросам, работа кипит в их руках. По вечерам они молятся и поют песню. Похоже, песня эта без слов. Она печальна и длинна. Зной пустыни и глухой говор волны слышатся в ней. И в тусклых отсветах южной ночи, как призрак древности, маленький полуразрушенный парусник взлетает и падает за нашей кормой. Когда сложена эта песня? Сколько столетий назад? Не слышал ли ее Васко де Гама на этой самой широте?

В непрерывном шуме муссона, на палубе, в полусвете огней, мы сидим и слушаем чужую, далекую песню. Голоса арабов тихи. Они поют, как один человек. Закрывать глаза, — и видишь его на берегу, перед огромным простором. Море ли это? Жизнь? Мечта? Арабы поют, раскачиваясь, и лица их становятся теплее, и одно знакомое слово мы угадываем в песне:

— Москов...

Теперь мы понимаем, что здесь же, среди нас, они слагают песню о надеж-

де и мечте, и, может быть, это самая светлая песня.

Зеленым пламенем вспыхивают высокие гребни впереди. Со свистом проходят они вдоль борта. Большие, близкие звезды Юга указывают нам путь...

3. Ведды

В Коломбо мне впервые рассказали о веддах. Все это было похоже на сказку: люди, уходящие все дальше, в лес. Древнее, темное «племя стрелков». Они уходили от шоссеиных дорог, от электричества и автомобилей.

Я знал еще раньше, что есть такие племена. На Формозе я слышал об алтайолах. Те тоже бежали в дебри от японских плантаций и рудников. Но ведды запомнились мне особенно си-но, может быть, потому, что был я один в эти дни лихорадки и скуки.

Я лежал в лазарете, у скванного решеткой окна. Пернатая тень пальмы качалась на стенке. Сквозь темную листву, сквозь ветви и железную ограду синел океан. В комнате было тихо и светло. В полдень и вечером, регулярно в одни и те же часы, приходил врач-англичанин. Молча он слушал пульс и что-то записывал в своем блокноте. Кажется, он был немой, — за целую неделю я не услышал от него ни слова. Эта бесконечная тишина была невыносимой. Я очень радовался, когда ко мне приходил Кунанда — пожилой сингалез, называвший себя португальцем. Худой, черноволосый, с высоким гребнем в прическе, в коротком саронге и тяжелых ботинках, он присаживался поодаль, в углу, и начинал рассказывать новости порта.

Я понимал очень мало. Кунанда говорил на непостижимом морском аргорусские, английские, китайские слова, — все путалось у него, и гость мой не очень заботился о смысле. Все же я узнавал: какие пришли суда, какие уходят, какие ожидаются в порту. Постепенно я с большей легкостью научился его понимать.

Там, за жесткой листвой, за железной оградой, шумела жизнь. Здесь, в белой клетке, были только одиночество и

тишина. Считая минуты, я ожидал прихода Кунанда и долго не отпускал его от себя. Человек этот знал весь остров, он исходил его вдоль и поперек, от Адамовой горы до развалин Ражагири, от Коломбо до Ведда-рат — лесной страны веддов. Он рассказал мне об этих людях лесных трупоб неохотно и с удивлением, как рассказывают о страшном сне.

— Ведды — это якхо, — сказал он. — Здесь все уверены в этом. Зачем человеку прятаться, если он человек? Что они делают у себя, там, в лесу, знают одни черти.

Кунанда был «бюргхером». На окраине Коломбо, в Бамбалапации, бюргхеры, в чьих жилах есть примесь португальской крови, чувствуют себя аристократами среди сингалезов. Я не удивился поэтому его тону. Было удивительно другое — люди, бегущие от городов. Великие памятники древней культуры, сохранившиеся на Цейлоне, замшелые камни храмов в орнаментах и барельефах каких-то забытых времен, и нашествие буддизма, и торговля, и власть португальцев, и власть англичан, — машины, плантации, банки, спекулянты и миссионеры, — ничто не тронуло «племени стрелков». Только часть их кое-как удержалась у морских берегов, но эти позабыли и язык свой, и дедов.

Кунанда ничего не мог объяснить.

— Они совсем глупы, — сказал он, смеясь. — Они даже не любят денег. У одного из них я видел на палке золотое кольцо. Он отдал его за кусок жареной рыбы. Дикари!

Я почти не верил Кунанда, я уже знал бюргхеров — в Бамбалапации не было, наверное, ни одного человека, который не зарабатывал бы на европейцах. Кстати, гость мой и не скрывал назначения своих визитов. С фанатизмом коллекционера он собирал рекомендации наших моряков для того, чтобы открыть торговлю на советских пароходах. Можно было не верить и рассказам о веддах, и я не поверил сначала, но это лишь разожгло Кунанда.

Был август, месяц муссонов, дождей и духоты, когда невозможно понять,

спит или бодрствует этот тропический город. Я вышел из лазарета и подолгу бродил вдоль пестрых улиц, залитых теплыми запахами трав. На рейде дымили чужие корабли. У морского вокзала кричали и плакали рикши. На дороге вдоль моря, на зеленой «марине», у памятника королеве Виктории, где по вечерам сплошным синим пламенем вспыхивал прибой, какие-то сонные люди — туристы ли, чиновники — бесцельно блуждали на машинах. Невидимой стеной был замкнут город, — зной, деньги, исступление торговцев, монахи и тишина. Только в порту, куда приходили все новые суда, легче дышалось и свободней жилось. Здесь был выход из круга, большие, далекие пути, и чудилось: ветер с моря — ветер родной земли.

Мы сидели на камне и молча смотрели вдаль. Легкий дымок поднимался на горизонте, приближался, выросал. На западе уже совсем утонули высокие мачты лесовоза. Синяя, живая гора океана рождала и вновь поглощала корабли. Бесконечен и безначален, как время, был этот синий текучий простор.

Мы сидели на камнях или бродили по городу, по шумной Бамбалапатии и Марадану, где каждый знал Кунанда, — черные пришельцы из Мадраса, бенгальцы и афганцы, каждый рикша и полисмен.

Я жил в маленькой комнатке при лазарете в ожидании корабля. В одно раннее утро — еще светало — Кунанда постучался в дверь. Он очень спешил, и я сначала не понял ни одного слова. Размахивая руками, он торопился что-то рассказать. Он звал меня на какую-то шхуну, где, оказывается, устроился... капитаном. Это, впрочем, не было удивительно, он все мог, — если бы предложили, он сегодня стал бы даже оперным певцом.

— Мы идем на восток, — сказал Кунанда. — Ты можешь увидеть вдов. Там они кое-где встречаются. Я согласился с радостью, и уже через час мы были на борту шхуны. Она стояла в дальней части порта, среди баркасов и катеров, и только промкое название

«Молния» выделяло ее из всей древней морской рухляди, собранной у причала. Шхуна была одним из тех «гробов», на которых отказываются плавать моряки и которые эксплуатируются купцами, что называется, до последней заклепки.

Команда, включая самого «капитана», состояла из трех человек. Но зато как держал себя капитан! Он сразу обратился в морского волка, даже охрипнуть успел. Раскрыв от удивления рты, матросы заслушивались отборной ругани своего капитана. Все здесь делалось как бы шутя, дикая команда кричала и суетилась, но работы не было никакой.

В полдень все же мы вышли за стенку мола. Дул слабый ветер, потрепанный парус отчаянно «полоскал», медленно плыл низкий, пологий берег. Кунанда сидел на корме, у руля, снисходительно улыбаясь матросам.

— Через два дня доплывем, — говорил он весело, поминутно раскуривая старую английскую трубку. — Приведем рыбу, и тогда, хозяин, — плати!

Совершенно серьезно он поглядывал на небо.

— Будет, пожалуй, шторм. Интересно испытать «Молнию» в шторме...

Было сомнительно, однако, выдержит ли она эту легкую зыбь...

Мы шли мимо берега, окаймленного белым прибоем, вдоль черных деревьев, раскинувшихся на холмах. С дальних отрогов к морю спускался лес.

К вечеру ветер закрепчал, и наша старая развалина пошла быстрее. Черные матросы смеялись — жизнь снова наладилась. Скоро будут деньги, пиво и табак. Склонив головы, они тихо говорили о чем-то своем, о городе, где остались их жены. Уже зажглись Центавры и Южный Крест, последние отсветы заката угасли на горизонте.

Ночью, поблескивая единственным тусклым фонарем, близко мимо нас прошла рыбацья шхуна. Почти мгновенно она утонула в ночи, дальше снова лежала пустыня, и только берег подобно туче высился в стороне. Океан был усеян звездами, как золотые водоросли, плыли они по воде, дымчатой, нереальной, — словно не по морю, а в небе мы шли между звезд.

За мысом, черной тенью упавшем в океан, простор открывался еще шире и светлее. Но берег стал круче. Мы шли в двух милях от него. Глухие, темные массивы гор уходили в небо. Кунанда перешел на нос шхуны. У руля остался оборванный матрос, все время жевавший бетель. Сидя рядом со мной, свесив за борт ноги (капитану все можно!), Кунанда рассказывал мне об этих краях. Он рассказывал о якхо — цейлонских демонах, в которых, как и в Будду, и отчасти в Христа, как и в деревянных идолов, верят сингалезы.

— Все леса полны якхо, — говорил он, смеясь, так как уже не особенно доверял этим басням. — Но только ведды с ними дружат. Они его дети. Они сами якхо.

Незаметно проходила быстрая южная ночь. Легонько покачивала волна, ветер был свежий и чистый. Я вскоре заснул на полубаке и проснулся только на заре. Совсем близко от нас плыл обрывистый берег. До рыбалки, на которую мы шли, оставалось еще восемьдесят миль, путь для нашей шхуны очень далекий.

Берег попрежнему был пустынен и глух, уже давно куда-то в горы повернула дорога.

Вечером за выступом, на крутом обрыве, мы увидели огонь. Кто-то развел костер, слабое пламя вспыхивало и гасло.

— Это рыбаки, — сказал Кунанда. — Может быть, наши? Мы подойдем.

Шхуна повернула влево, и вскоре под килем громко заскрипел песок. Здесь тянулась длинная отмель. Чтобы подняться к обрыву, нам пришлось еще долго брести по воде. На крутом склоне мы не нашли тропинки, все поросло кустарником и густо сплетенной травой. Цепляясь за ветви, Кунанда начал пробираться вверх. Я шел за ним, поминутно путаясь в ползучих стеблях. Склон был очень высок и еще заканчивался обрывом. Кое-как мы нашли овражек и вышли на уступ.

В десятке саженей от нас горел костер. Три человека неподвижно сидели

у огня. Они были голы, красные отсветы пламени текли по их телам. Сразу же за костром начинался лес, высокой черной стеной поднимались деревья. Казалось, вершины их касаются звезд. Кунанда остановился, поднял руку.

— Ведды, — сказал он тихо. — Это они.

Люди неподвижно сидели у костра. Непокойное пламя трепетало перед ними. Непрерывно, как море, шумел лес. Несколько минут мы стояли за кустарником, глядя на них. Совсем близко отсюда были шоссевые дороги, пароходы, электричество, города. Седые профессора изучали древние надписи на буддийских чайтях, воздвигнутых над прахом «святых», спорили о корнях санскрита и пали. Но здесь, перед нами, сидели нетронутые временем первые обитатели Львиного острова — Синхала-двина. Нетронутым остался и лес, лес баобабов, чей возраст на Цейлоне достигает тысячелетий. У этих самых деревьев, может быть, также у костра, сидели древние ведды — племя, покрытое тайной? В сыпучем песке времени что изменилось после них?

Осторожно шагая, Кунанда подошел к огню. Ведды не слышали. Кажется, они спали. Кунанда что-то сказал им, и вдруг, одним движением, все они вскочили с земли. Невысокие, стройные, с резко очерченными выпуклыми губами, с волосами, пучком завязанными на головах, они смотрели на нас молча и равнодушно. Они только отступили на несколько шагов.

У костра лежали топоры и небольшая лопата. Комья свежей земли были рассыпаны в траве.

Самый старший стрелок, заросший черной бородой, что-то сказал, показывая на море. Кунанда кивнул головой. Ведды заговорили одновременно, у них были глухие, хриплые голоса. Лица их оставались равнодушными, — ни удивления, ни улыбки.

Мы сели к огню, и, постояв еще минуту, они тоже присели в стороне.

Кунанда брезгливо усмехнулся.

— Они схоронили здесь кого-то из своих. Давайте уйдем отсюда...

Кажется, он трусил, наш капитан, и я спросил об этом. Но Кунанда засмеялся.

— Нет, — сказал он, — их нечего бояться. — И в доказательство подошел к веддам, сел рядом с ними. Он снова что-то спросил, но ведды равнодушно молчали. Тогда он достал из кармана пачку табака и протянул им. Старший ведда взял табак, внимательно осмотрел при свете. Лицо его не изменилось. Темные глаза смотрели угрюмо. Коротко он что-то сказал своим.

— Сейчас они будут смешить нас, — объяснил Кунанда. — Они это делают всегда.

Ведды встали. Повернувшись друг к другу лицом, они подняли и тесно сплели руки. Медленно топчась по траве, раскачивая плечами, они двинулись по кругу. Ноги их шли все быстрее, и тяжелое дыхание переходило в голос. Но это не было песней, хотя они выкрикивали какие-то слова. Близко в лесу откликалось им громкое эхо. Чудилось, что рядом, за деревьями, целая толпа повторяла этот крик. Я оглянулся невольно: за кустарником, под высокой луной, светился океан. Неподвижные ветви висели над нами, и звезды текли по влажной листве. Да, это было правдой, — не сказкой и не сном, — большая человеческая тоска звучала в нестройных голосах.

Я спросил у Кунанда, о чем они поют. Он не смог ответить. Это не было песней, скорее страдание, не облеченное в музыку, передаваемое прямо, как его переживает человек.

Ведды остановились. Опустив руки, они вернулись к огню. Лица их были попрежнему мертвы. С большой неохотой и равнодушием они исполнили просьбу Кунанда. Теперь они стояли перед нами, тяжело дыша, словно не зная, что делать дальше. Так прошло несколько минут. Старший нагнулся, поднял топоры и, не сказав ни слова, даже не кивнув головой, повернулся и медленно двинулся к лесу. Остальные пошли за ним. Качнулись ветви кустарника, захрустел валежник — и мы одни остались у костра. Мне показалось, Кунанда хочет идти за ними. Но он

прошел только десяток шагов и поднял пачку табака, недавно подаренную веддам. Они отказались от подарка, и похоже, Кунанда этого ожидал.

Недалеко от костра мы нашли могилу — свежее-взрытую землю, старательно присыпанную листвой. Было видно, как хотели они спрятать товарища от посторонних глаз. Может быть, он любил этот синий простор, и поэтому его принесли сюда, к обрыву?...

Вскоре мы возвратились на шхуну и продолжали свой путь.

До самого поднебесья уходили лесные кряжи, окутанные лунным туманом. Где-то там, по глухим тропинкам, пробирались они теперь, люди, встреченные нами на берегу; лесные стрелки, жгущие костры у древних развалин, хозяева острова, которые сами, может быть, не смогут рассказать своей тайны.

... В полдень мы пришли на рыбалку, в небольшое селение, к темным хижинам, тесно столпившимся у воды. Здесь Кунанда легко узнал о человеке, похороненном на обрыве. Он был повешен за убийство, три дня назад. Он убил тамилла, оскорбившего его дочь. Но до самой последней минуты он смеялся. Он не мог понять своей вины.

— В нем просто проснулся якхо, — объяснил Кунанда. — Так говорят здесь все старики.

... Вечером, на самой оконечности кремнистой косы, окруженные океаном, мы снова сидели у костра. Матросы уже успели забыть о вчерашней встрече. «Капитан» был весел и немного пьян.

Рядом с нами, на камнях, тихо шумел прибой, и глухая, непонятная песня веддов неотрывно звучала в моих ушах. Я думал о человеке, оставшемся на обрыве, на берегу. Он был такой же, как и те трое... Но он смеялся, этот человек... И неожиданно истина вдруг сверкнула передо мной. Больше здесь не было тайны. Маленькое гордое «племя стрелков» уходило от власти царей, торговцев, колонизаторов, и этот путь продолжался столетия. Они не могли жить без свободы, как без крови в жилах не может жить человек.

4. Японская идиллия

В порту Осака я прожил две недели. Каждый вечер я бродил по улицам города, и, наверное, не было в нем ни одного переулка, где я не побывал бы. В одной из ночлежек далекой фабричной окраины я встретил Кадо, молодого японца, инженера, который работал грузчиком в доке. Мы познакомились еще раньше, в порту; мне очень понравился этот спокойный человек. Вдобавок он знал русский язык, и многие вещи, мимо которых я мог бы пройти, как слепой, мой друг открывал для меня, и я изумлялся жизни.

Может быть, во всем этом спокойствие самого Кадо поражало меня. Он ничему не удивлялся, даже своей печальной судьбе. Получив диплом инженера-архитектора, он не нашел работы. Зато ему доставляло большое удовольствие остановиться где-нибудь перед новым зданием: перед Высшей промышленной школой или перед знаменитым Имперским институтом иностранных языков, и всячески ругать их планировку. Любопытные прохожие задерживались перед ним, и это лишь разжигало красноречие Кадо. Только перед мрачным замком Осиро, прославленным в истории страны, он вежливо снимал свою потрепанную шляпу.

Ко всему остальному Кадо относился с подчеркнутым спокойствием, если не равнодушием, и я не ошибся, когда однажды сказал ему, что он не просто усталый, но очень старый человек.

Я помню эти молочно-синие вечера, взморье, об'ятое светом луны, далекие корабли на рейде. Мы шли по узкой улице, увешанной гроздьями фонарей, и как-то незаметно очутились в «веселом квартале». Пьяные американские матросы в пестрых нашивных платках бродили от дома к дому; из открытых окон доносились музыка и смех; ярко светились витрины с фотографиями женщин.

У дверей бара стоял пожилой японец, с утомленным, пергаментным лицом, и пел песню.

— Он поет о любви, — сказал Ка-

до. — Онсен — целебный источник — любовь!

Японец пел тихим, надтреснутым голосом. Это был старинный, тягучий мотив. Люди шли мимо, не обращая внимания на певца. Открывавшаяся дверь толкала его. Но он все пел свою песню.

Я посмотрел на своего друга. Он улыбался.

— Послушайте, это интересно, — сказал он: — Нет большего счастья любви, чем в нашей стране Дайнихон Тейкоку. Усталый путник, зайти и отдохни, тебя ждет любовь женщины.

— Кто это — нищий?

— Нет, он приглашает гостей.

Мы двинулись дальше, по булыжной мостовой, и на углу Кадо взял меня за руку.

— Я знаю этого человека... Видите? У фонаря... Почти каждый вечер он стоит здесь. Он тоже слышит эту песню...

У под'езда, под фонарем, стоял молодой японец, в крестьянской одежде, с длинной камышевой трубкой в зубах. Он смотрел через улицу, на окна второго этажа. Он стоял неподвижно, словно окаменев, и глаза его были широко открыты. Мы подошли ближе, и Кадо тихо окликнул его по имени.

Юноша не расслышал. Мужская тень прошла по занавеске окна, потом донесся крик патефона. Японец сделал шаг вперед, но поспешно вернулся. Теперь он крепко прижался спиной к стене, так что казалось, невидимые руки держат его за плечи.

— Бедный человек, — сказал Кадо, отворачиваясь. — Это уж просто глупо... Бедный человек.

Мы перешли на другую сторону улицы! и еще некоторое время издали наблюдали за юношей у стены.

Словно продолжая прерванный разговор, Кадо сказал с усмешкой:

— Человеку можно удивляться. Но и это скучно. Слишком развитый интеллект сделал пыткой самую жизнь. В самом деле — что осталось у человека? Любовь?.. Но и это пытка... Вот вы видите влюбленного... Он ждет невесту. Но ему известно, что невеста не придет.

Это Хосава, я знаю его давно. Сейчас он работает каменщиком на строительстве дороги. Десять ри¹⁾ он проходит каждый день, чтобы постоять здесь, на тротуаре.

— Но значит... девушка не любит его?

— Нет, очень любит. Они знают друг друга с детства. Она ведь его невеста. Сейчас она в этом доме, наверху. По-русски это значит публичный дом.

Я не поверил сначала. Но Кадо повторил спокойно:

— Да, в этом доме. Там весело, наверху...

Он опять усмехнулся:

— Когда говорят о любви... неудобно обращаться к экономике. Однако семейный очаг требует жертв. Он пошел сначала в батраки, потом на дорогу. Она пришла сюда. По контракту. Есть такой закон в стране.

Он огляделся вокруг:

— Как безобразно состряпали этот квартал!...

— Эта девушка не может уйти отсюда?

Он покачал головой:

— Контракт. Впрочем, я думаю, они станут стариками, пока пройдут эти два года.

Меня удивлял его тон и небрежная усмешка, и, чтобы увериться, я переспросил еще раз.

— Вы находите все это смешным, Кадо?...

Он сказал почти со злостью:

— Я не понимаю... почему Хосава не может забыть ее хотя бы на этот срок? — И неожиданно в голосе его мне послышались слезы.

Больше я не слушал своего приятеля. Теперь я понимал его хорошо. Он защищался, как мог, в тяжком угаре этого города. Что ж, он опять говорил об интеллекте, смешной философ в мутных очках. Я смотрел на смуглого парня под фонарем, молодого и крепкого, но словно схваченного невидимыми руками. Он был попрежнему неподвижен, он глядел на окна второго этажа, где тени двигались по занавескам, где была его девушка, его невеста.

Песня, которую пел пожилой японец у входа в бар, была слышна и здесь. Может, Хосава заслушался этой песни о счастье?

Поздно ночью, возвращаясь в порт, я видел его все там же, у стены.

Витрины магазинов, пестрые до головокружения, и распахнутые двери таверн, флаги и фонари, девушки и флейты — все кричало, звало к себе, плакало и смеялось: усталый путник, найди, отдохни... Надтреснутый голос японца преследовал меня по пятам печальной песней о радости, и смуглый каменщик все чудился на перекрестках.

Но рядом начинался порт и дальняя лунная синева, и уже через час, на палубе родного корабля, глядя на дымные нагромождения Осака, я почти не верил, что это правда.

¹⁾ Ри = 3,581 версты.

У Черной Речки

НИКОЛАЙ НЕЗЛОБИН

Здесь два врага, друг против друга,
Сошлись на роковом снегу.
Седое солнце, чуя вьюгу,
Стояло в кровавом кругу.

Друг против друга, у барьера:
Поэт — родной земли заря —
И сволочь в шкуре офицера,
Чиновный прихвостень царя.

Нет, это призрак, бред... Но грянул
Сухим ударом пистолет,

И, крася снег пятном багряным,
В сугроб ничком упал поэт.

Но он упал от подлой пули,
Чтоб после встать по всей земле —
В степном кочевьи и в ауле,
В крестьянской хате и в Кремле.

В работе, в песне, в вихре бранном —

Ему и слава и любовь:

На нашем знамени багряном

Есть и его святая кровь.

Февраль, 1937 г.

И не томит твою душу усталость,
Как не страшит улюлюканье вьюг?!

Если же сын моряка иль пилота
Ныне лежит на коленях твоих,
То распахни этой песне ворота,
Ибо чужды тебе лень и дремота,
Ибо сама ты — как солнечный стих!

Ибо возвысятся новый Тбилиси,
Родина наша и наша земля,
Ибо надежды народа сбылися,
И вдохновеньем, рождаемым высью,
Творчества чудо приветствую я!

Перевел с грузинского

БОРИС БРИК.

Стихотворения

Обращение КУРМАНАЛИЕВА ЮСУПА из Нарына

К ДЕХКАНАМ, ОХОТНИКАМ И СКОТОВОДАМ

О, солнце, с севера и юга
Ты согреваешь наши горы.
О, месяц, с севера и юга
Ты освещаешь наши степи.
О, ветер, с севера и юга
Ты дуновенье шлешь ко мне.
О, солнце! О, луна! О, ветер!
Три вечных силы! Отовсюду —
Теплом и светом, и прохладой
Несетесь вы к моей стране.

А ты — один, любимый Сталин,
Своей любовью и работой
Склоняешься везде над нами,
Как над степями небосклон.
И мы теплом твоей заботы,
Сиянием твоей заботы,
Дыханием твоей заботы
Окружены со всех сторон.

Но солнца я не вижу ночью,
Но месяц прячется в туманах,
Но ветер пролетит бураном
И затихает без следа.
И только ты один, великий,
Теплом и светом, и дыханьем,
Как наше счастье, неустанно
Повсюду с нами и всегда.

С тобой, батыр непобедимый,
Твоим словам призывным внемля,
Мы много лет ходили в битвы,
Мы были храбрыми в бою.
И вот мы видим наши горы,
И вот мы видим наши степи,
Мы видим снежные просторы,
Мы видим Родину свою.

Здесь плодородные равнины,
Готовые для наших пашен,
Луга, открытые для пастбищ,
Ручьи, где золото течет,
Хребты, где кульджи и архары, —
И все богатства эти — наши,
И все сокровища природы
Страна за труд нам отдает.

И говорю я: — О, дехкане,
Охотники и скотоводы!
В горах, лесах и на равнинах
Работайте от всей души!
Вздымайте целину усердно,
Растите золото приплода,
Чтоб, как стахановцам-героям,
Сам Сталин
нам сказал: «Д ж а к ш и»¹⁾.

¹⁾ Джакши — хорошо.

Размышления колхозника БАЙСАЛБАЕВА АБДЫ из Кара-Джона

НА ГОРНОМ ПЕРЕВАЛЕ

Когда передо мною горы
Широко распахнут ашу¹⁾,
Я с любопытством вниз гляжу
И вижу там прекрасный город.

Бессмертным именем зовется
Вершин столица и степей.
Как Фрунзе, город полководцем
Стоит в Республике моей.
Покачивая тополями,
Как будто гордой головой,
Как полководец, как герой,
Мой город вырос над полями.

Дома там, как цветы, растут,
Стоят, как горы, камни лестниц.
Там люди радостно живут,
Там весело кругом поют
О городе счастливом песни.
Чудесно в городе моем,
Но будет в нем еще чудесней.

Когда передо мной вершину
Глубоко рассечет ашу,
Задумчиво я вниз гляжу
И вижу Чуйскую долину.

Тогда с высот полета птицы
Слежу я за тобой, земля.
Под золотым огнем пшеницы
Шумят колхозные поля.

И в полуденный час полива
Ко мне, сюда, под небеса,
Доносит песня голоса
Моих товарищей счастливых.

Прекрасен их великий труд —
Богатства нашего предвестник.
Там люди радостно живут
И громко на полях поют
О золотом колхозе песни.

Чудесно в солнечных степях,
Но будет там еще чудесней.

Когда толпой сереброглавой
Передо мной снега вершин,
Их водопадов и стремнин
Я слышу рокот величавый.
В небесных тучах и туманах
Поток грохочет и ревет,
Но, как ладонью великана,
Его плотина в плен берет.

На поднебесные отроги
Стрелой мчится яркий свет,
И в камнях вырубает след
Навек широкие дороги.

Пути на родину идут
Из снегового поднебесья,
Там люди радостно живут,
Там весело в горах поют
О счастья Киргизстана песни.
Чудесна жизнь в моих горах,
Но будет там еще чудесней.

Пока мне солнце светит с неба,
Пока земля поет в труде,
Что б я ни видел, где б я ни был, —
Я вижу Сталина везде:

И в покоренных водопадах,
И в гордом городе моем,
И в светлых каменных громадах,
И в детском смехе, и во взглядах, —
Я вижу Сталина во всем.

Вошел в равнины, в горы, в дом —
Счастливой жизни провозвестник.
Невиданная радость в том,
Что мы при Сталине живем,
Что мы о Сталине поем
Трудом и сердцем наши песни,
Чудесен Сталин — счастье в нем,
Он на земле всего чудесней!

¹⁾ Ашу — горный перевал.

Песня эрчи¹⁾ ДЖУМАЛИЕВА СУРАМТАЯ из Уч-Терека



Когда прошу я комуз²⁾ мой:
— О старой жизни, комуз, пой! —
Печально дрогнут три струны,
И песня зазвучит тоской.

И я, и комуз мой всегда
Бродили долгие года.
Но ни единый май-манап
Не уважал нас никогда.

Нас звали песню петь на той³⁾,
Дивились люди песне той
И в благодарность гнали нас —
Меня, певца и комуз мой.

Нас звали после похорон,
Нас слушать шли со всех сторон,
От песен плакали, потом,
Поплакав, выгоняли вон.

Вот потому тоской полны
Все песни темной старины, —
В воспоминании о ней
Дрожат печально три струны.

Когда прошу я комуз мой:
— О новой жизни, комуз, пой! —
То запевают три струны,
Как соловьи поют весной.

И даже дряхлая рука
Эрчи, седого старика,
Тогда над комузом летит
Бодрей степного ветерка.

Ручьем прозрачным жизнь течет,
Неся нам счастье и почет,
И вместе с комузом моим
Весь Киргизстан родной поет.

И песня первая моя
Летит в далекие края,
К большому сердцу моему —
К стене Московского Кремля.

Легко дорогу ей найти:
Сердца людей ведут пути
Туда, где светится всегда
Нам солнце счастья впереди.

В дороге песнь моя везде
Поет о счастье и труде,
Со всею Родиной моей
Поет о Сталине—вожде.

С ним началась в стране весна,
С ним жизнь проснулась ото сна,
И с ним по-новому поет
На старом комузе струна!

¹⁾ Эрчи — певец.

²⁾ Комуз — трехструнный музыкальный инструмент.

³⁾ Той — празднество.

Русский текст ВИКТОРА ВИННИКОВА.

Подстрочный перевод ДЖАКИШЕВА.

Каюр

Рассказ

ИВ. КРАТТ

Сани увязаны, собаки нетерпеливо повизгивали возле крыльца. Начальник группы по переписи крайнего Севера давал последние инструкции переписчику Борису Петровичу Мудрому.

— Самое главное, охватите весь район. Стойбища разбросаны... До Анненского я спокоен. Мультя знает тундру, как свою ладонь. Ну, а там... Объясните значение... Ну, все, кажется, а?

Борис Петрович вытянул трубочкой губы с приставшим к ним окурком самокрутки, осторожно прикурил, зачихнул обгоревшую спичку в коробок, неторопливо протянул руку начальнику.

— Покуда!

На дворе Мультя проверял упаковку нарты и покрикивал на собак. Вожак Кэко, чистокровный уроженец Аляски, белый, с черной грудью и такими же черными задними лапами, одним глазом следил за хозяином. Он знал: человек кричит всегда, но сейчас этот крик можно не слушать. Это крик для порядка. И Кэко лениво помогал поддерживать порядок, рыча и скаля зубы на непослушных собак.

Начальник и Мудрый вышли на крыльцо. Собаки заволновались еще больше. Мультя резко крикнул на них. Упряжка на минуту притихла. Начальник подошел к Мульте.

— Ну, Мультя, смотри, голуба. Ни одного чтоб стойбища не пропустил, ни одного человека. Всех чтобы он записал в большую книгу. Большой исполком хочет так. Понял?

— Э, пошто много говорить? Мультя сказал — Мультя сделал... Эй!

Каюр неожиданно бросился к упряжке. Пользуясь тем, что человек отошел от них, собаки затеяли драку. Мультя отстегал зачинщика, восстановил порядок и, уже не отходя от нарты, сердито крикнул Мудрому:

— Садись скорей. Ехать надо.

Мудрый уселся на нарты. Мультя выхватил остол, махнул им, и упряжка с неистовым лаем рванулась вперед. Начальник отскочил, весь обсыпанный снегом, помахал рукой в воздухе и ушел в дом.

Упряжка неслась. Рядом с ней бежал Мультя, изредка вскакивая на нарты. Каюр Мультя — лучший погонщик на всем побережье Берингова моря. Его упряжка, сильная и выносливая, тщательно подбиралась в течение двух зим. Мультя гордился своей упряжкой и в особенности вожакон Кэко. В пути человек и собака дополняли друг друга. Если Мультя уставал и садился на нарты, собака сама вела упряжку. И редко когда нужен был остол, чтобы подогнать самых молодых и неопытных.

Кэко чувствовал, какая собака плутует. Его острые клыки напоминали о честности и добросовестности. Проученная собака долго не пыталась лукавить, а тянула рьяней других.

Когда Мультя бежал рядом с нартами или помогал упряжке взбираться в гору, Кэко знал, что хозяин сам следит за собаками, и все внимание направлял на тропу, на ровный, размашистый бег.

Мульте очень хотелось поговорить с Борисом Петровичем, но дорога требовала напряжения, и целый день они ехали молча. А Мудрый почти всю дорогу не вставал с саней. Разболелась старая рана в бедре. Он чувствовал себя очень плохо.

Мультя видел, что седоку придется туго, но до стойбища Эйвы они должны доехать без остановки. Тундра успокоила Мульту.

Каюр посматривал на серое небо, на горизонт, к чему-то прислушивался и озабоченно крутил головой.

Упряжка устала. Теперь Мультя совсем не садился на нарты. Он с беспокойством поглядывал на согнувшегося Бориса Петровича, на усталых собак и что-то соображал. Проехали еще некоторое время. Мультя поглядел на Мудрого. «Совсем болен, — огорченно подумал каюр. — Ехать нельзя. Собаки тоже не могут тянуть — тяжелый груз». Тогда Мультя свернул с тропы и оставил собак.

— Ночевать будем, — коротко сказал он.

Мудрый открыл глаза, отодрал сосульку от усов, разжал губы.

— В яранге Эйвы ночевать будем.

Мультя удивленно поглядел на него. «Он еще отказывается!». Отрицательно покачал головой.

— Нельзя. Собаки бежать не могут. Тяжелый груз. Пошто отдыхать не хочешь?

Мудрый молча слез с нарты.

— Собаки потянут. Я буду итти.

Мультя с любопытством поглядел на него.

— Кормить собак надо.

— Корми. — Борис Петрович снял варежку и быстро разжег самокрутку. Пальцы на пятидесятиградусном морозе сразу заоченели.

Мультя не возражал. Он кормил собак. На каждую по небольшой рыбе. Это за 10 часов тяжелого труда! Но собак баловать нельзя. Мультя проследил, чтобы не было драки, и, когда собаки покончили с кормом, молча вывел упряжку на тропу.

Стало совсем темно. Высоко в небе зажглись звезды. Мороз усилился.

Снова упряжка побежала вперед. Бежал за ней и Мудрый. Сжав губы, опустив голову, он все свои помыслы сосредоточил в этом беге. Мешавшую ему одежду сбросил на нарты. Бежал в короткой меховой кухлянке.

Из-за его слабости опоздали с ночевкой. А барометр в поселке показывал перемену. Будет пурга. Надо спешить. Мудрый на Севере второй год, кое-что знает.

Мультя бежал впереди и размышлял о своем спутнике. Он пожалел его тогда и предложил привал. «Видно, обиделся русский, — подумал Мультя и посмотрел назад, на неотстающего, усталого совсем человека. — Сильный, ух какой! А совсем дохлый был. Э!..».

Через два часа Мудрый упал. Мультя заметил, когда отъехал шагов триста. Быстро вернулся, хотел поднять его, но Мудрый неожиданно сказал «мерси», поднялся сам и четко пошел вперед.

Мультя больше ничего не сказал ему.

Теперь Мудрый шагал, держась за дугу нарты. Каждый шаг казался последним, больше, казалось, он не мог поднять ноги, но нарты скользили, и Мудрый шагал и шагал.

Боль в левом бедре расплзлась по всему телу. Сердце, казалось, заполнило всю грудную клетку, давило и рвалось наружу. Нехватало дыхания.

Мудрый продолжал двигаться.

Мультя изредка оборачивался, и в его глазах отражалось бесконечное удивление. Он еще не встречал таких людей с далекой земли.

Борьба продолжалась еще целый час. Наконец Мудрый споткнулся и тяжело упал на тропу.

Мультя положил его на сани и продолжал путь. Он сам чудовищно устал, устали собаки, у них дрожали лапы, от испарины обмерзли бока, но Мультя и Кэко не давали им остановиться.

Через семь часов добрались они до стойбища. И во-время. Начинаясь пурга. Мультя заботливо помог добраться до яранги Мудрому и восхищенно проворкотал:

— Однако, умный.

В яранге Эйвы собралась почти все население стойбища. Мульту здесь зна-

ли и с любопытством расспрашивали, куда везет он седока и зачем. Мультя молчал. С огромным уважением слушал он теперь каждое слово Мудрого. Этот спокойный человек, совсем чахлаый с виду, доказал там, в тундре, что такое мужчина. И Мультя поверил в него.

Председатель совета, хозяин яранги, Эйва, с гордостью положил на ящик для пищи, чтобы видели все, письмо в большом белом конверте с сургучной печатью. Читать он не умел.

— Большой исполком послал человека. Эй, варите много еды хорошему гостю.

Эйве хотелось смертельно узнать, что скажет Мудрый, но он знал основной закон тундры. «Надо накормить и напоить путника, а затем спрашивать». Пока все были заняты едой и густым черным чаем, Мудрый обдумывал предстоящую речь. Он знал, что, несмотря на огромное уважение и доверие к «большому исполкому», всякое не совсем понятное для местного населения действие может или затянуться надолго, или сорваться. А это было первое стойбище, и оно будет примером для всех. «Умно бы начать» — думал он.

С чаем покорчили. Мудрый достал несколько пачек табаку. Задымили трубки. Мудрый читал в глазах гостей и хозяина уже несдерживаемое любопытство. Он взял конверт, осторожно раскрыл его, дал сперва письмо Мульте, затем Эйве. В яранге стало тихо. Эйва смущенно повертел письмо в руках. Мудрый, все так же молча, передал конверт следующему. Письмо обошло всех. Когда оно очутилось опять в руках Мудрого, только тогда снова заговорили чукчи.

— Эй, что такое? Совсем белое.

Мудрый свернул самокрутку, закурил и сказал Мульте:

— Я буду говорить.

Мудрый говорил долго, тщательно подбирая слова. Эйва, плохо знавший русский язык, каждый раз радостно смеялся и громко повторял знакомые слова. А Мультя скупые слова Мудрого расцвечивал в своем переводе, увлекся. Мудрый даже стал беспокоиться: очень

уж долго Мультя рассказывал. Чукчи слушали его, затаив дыхание. И даже дети не плакали. Мультя импровизировал. Самый главный вождь, самого Большого исполкома послал их сюда, чтобы записать в большую книгу Великой земли всех охотников, всех женщин, всех детей и даже сосущих грудь. Большой исполком хочет знать, сколько людей на его земле, чтобы правильно разделить пищу, табак, чтобы никто не был обижен и чтобы все были дети одного отца. И каждый день главный вождь будет смотреть эту книгу и думать: «А что делает сейчас старый Каравья? Хорошо ли охотился Лавтырингин?». И радостно станет жить потому, что люди не будут одинокими.

Мультя кончил. Вздых глубокой радости прошелестел по яранге.

— Кайве! Счастливая весть!

Выскочил первый Аттыкей, молодой, горячий охотник:

— Я хочу быть в книге. Давай, пиши!

Эйва сердито оттолкнул его в сторону:

— Я буду первый.

Старики одобрительно закивали. Сконфуженный Аттыкей отошел в сторону.

Через два часа перепись всего стойбища была закончена. Самым трудным вопросом оказался возраст. Спорили, гадели, помогали высчитывать все. Нехватало пальцев рук и ног, занимали у соседей, сбивались.

Три дня деждала пурга Мудрого на стойбище Эйвы. Три дня не выходили люди из яранг.

Пурга бушевала неистово. Казалось, будто лопнуло небо и в гигантскую щель, как в вытяжную трубу, рванулась обезумевшая тундра.

Дубленые стены яранг дрожали, как листы бумаги, каждую минуту буря грозила сорвать их, и спас только снег, заваливший яранги до самых крыш.

На третье утро пурга утихла. Желтое солнце, тусклое, скучное, осветило тундру. Она лежала белой, безмолвной. До самого горизонта ни одного пятнышка на белом пушистом снегу.

Перед отъездом Мульты обошел все яранги еще раз, пересчитал всех по пальцам.

Из стойбища Эйвы дорога сворачивала вправо. До Анненского — конца пути Мульты — надо было сделать большой круг. Обратного Мульты будет возвращаться прямо.

Серая завеса на горизонте посветлела, чуть поднялась. Наступил рассвет.

Мульты вытащил нарты, бросил собакам рыбу, проверил упряжь. За три дня и люди, и собаки отдохнули. Но Мульты встал раньше Мудрого. «Пускай спит. Дорога, ух, тяжелая» — думал он. Однако, когда каюр вошел в ярангу, Борис Петрович уже был одет. Шубу он держал в руках:

— Пора, Мульты.

Мульты не удивился. Он привык.

Прощались с хозяевами. Завеса на горизонте не поднялась. Наступило утро, похожее на сумерки в позднюю осень. День был похож на утро. Впереди лежали девственные снега тундры. Тропы не было. Путь предстоял тяжелый, упорный. Собаки теперь не бежали, а с трудом волочили груженные нарты. Мульты шел впереди, прокладывая тропу в глубоком, рыхлом снегу. Мудрый, налегая на дугу, помогал тащить сани. Стало жарко. И только ледяное ожерелье на воротнике у подбородка показывало, что мороз не уменьшился.

Сделали привал. Мульты развел костер, накормил собак. Собаки улеглись полукругом вокруг костра.

Тишина. Низко нависло серое небо.

Мир казался маленьким и пустынным...

Мудрый вздрогнул и поднялся:

— Пора.

Несмотря поднялись псы. Даже Кэко угрюмо заворчал. Через десять минут снова тащилась одинокая упряжка, покрывая несчитанные километры.

Прошло двенадцать тяжелых дней пути, дымных яранг на стойбищах, радостных, а иногда недоверчивых встреч, искусных речей и неугасаемого пыла и энтузиазма Мульты. После отъезда их с каждого стойбища чукчи радостнее и увереннее смотрели на мир.

Путь Мульты заканчивался. До Анненского остался один переход. Мульты очень полюбил своего спокойного спутника, — правда, молчаливого, ну, что ж! Мульты говорил сам с собой, с Кэко. Каюр в начале пути сам не совсем понимал цели поездки. Он обещал и выполнит, конечно, свое обещание. Но почему все это делалось, разобрался он только теперь, в спорах и рассказах в ярангах, в коротких беседах с Мудрым.

— Все, значит, одинаковы. И русские, и чукчи, и самоеды. Пошто раньше не было так? — спрашивал он Бориса Петровича.

Мудрый затягивался из своей самокрутки.

— И раньше одинаковы были. Только не хотели этого тойоны—шаманы.

— Угу, тойоны. Ух, злые. Шаманы—плохой народ.

— А мы их того... Ликвидировали...

Мульты повторил новое слово.

— Ли-ки-ви-ди-рова-ли...

Мудрый усмехался.

— Ты же сам ликвидировал их. Понял, значит, что они только пугали да отнимали лучшую добычу, обманывали, ну, их и прогнали.

— Прогнали. Ух, хорошо. Ли-киви-ди-рова-ли.

И Мульты весело, по-детски смеялся. Очень интересное слово.

Кэко тоже прислушивался к речам Мудрого. Он уже не бросался на него, а, услышав еще издали его сипловатый голос, весело подлаивал. Но к упряжке не подпускал. Здесь были только два хозяина: он и Мульты.

Поздно ночью приехали в Анненское. Мульты остановил упряжку у райисполкома. Председателя не было, уехал на ближайшее стойбище, и сторож отвел их в комнату для приезжающих. Поставил самовар. Мудрый достал из старого портфеля бутылочку из-под одеколона, со спиртом. Выпили. На рассвете Мульты должен был уехать в обратный путь через стойбище Эйвы.

Мудрый попросил позвать в комнату Кэко. Собака вошла, пугливо озираясь на лампу и осторожно ступая по деревянному полу. Мудрый погладил пса, дал ему кусок мяса. Собака деликатно

с'ела. Как это было не похоже на ди-кого Кэко там, в тундре!

Мудрому стало вдруг грустно. Будто он расставался с близким человеком.

Он вышел на крыльцо. Вверху застыли звезды. Холодным, безжизненным казался мир. Вдруг... вдалеке вспыхнуло, зацвело небо. Легкий треск послышался в тишине. Огромный дождь холодного пламени рассыпался по небу. Пламя дрожало, краски сменялись... И уже не безжизненным казался мир, а величавым, могущественным, полным красоты и жизни.

«Северное сияние. Будет холодно» — подумал Борис Петрович.

Красота Севера утишила его грусть. Успокоенный вернулся он в комнату. Достал тетрадь, вырвал страницу, сел писать письмо начальнику группы.

Мульта тихо сидел с Кэко возле печки. Завтра расстанутся. «Пошто расставаться с хорошими людьми». Вздыхнул, погладил голову собаки.

— Смотри, Кэко! Завтра домой. Хочешь?

Собака молча смотрела в глаза.

— Мультя хорошо проводил Бориса. Все сделал Мультя. Ты тоже помогал. Хорошо, песик. — Кэко вильнул хвостом. — Э, только песцы и зайцы не попали в книгу. Все попали. Мультя смело будет глядеть начальнику в глаза.

Мудрый сложил письмо, неспеша заклеил.

— На, Мультя. Передашь начальнику. Тут я писал, что ты очень хорошо выполнил дело, что если б не ты... Ну, одним словом, я пишу, чтоб начальник сказал тебе спасибо при всех.

Мульта почтительно взял письмо.

— Спасибо, Бориса.

Он волновался.

— Приезжай, Бориса. Кэко тоже очень скучать будет...

Они попрощались. Крепко, как мужчины. Больше они не увидятся, быть может. Мудрый через два дня едет дальше, оттуда у него другой путь. А Мультя и Кэко едут назад.

От Анненского до стойбища Эйвы сто километров. Для упряжки Мульты по-

насту один день пути. Дружно бежала упряжка. Грусть от расставанья сменялась у Мульты чувством гордости за честно выполненное дело: «Хо, только зайцы и песцы не попали в книгу. Пусть найдется хоть одна душа, не указанная Мультой на всем его пути».

К ночи Мультя под'ехал к яранге Эйвы. Собаки устали, устал и Мультя. Хотелось спать, ломило ноги и руки. «Однако будет пурга, — устало подумал он и довольно засмеялся. — Пускай будет. В яранге Эйвы можно переждать. Спешить не надо».

Не заходя в ярангу, распряг собак, бросил юколу. Собаки набросились на еду, дрались. Но Мультя устал и даже не разнимал их: «Кэко справится сам».

В яранге догорал костер. Валялись об'едки, грязные миски.

— Э, видно пир большой был.

Мульту встретил хозяин:

— Вернулся. Пошто сам?

— Бориса поехал дальше.

— Как!.. И не приедет больше?

— Нет. Больше не приедет. — Мультя отвечал с трудом. Слипались веки, смертельно хотелось спать.

Эйва испуганно вскочил:

— Не приедет?

— Нет.

Эйва бросился к пологу. Скользнул под полость, вернулся оттуда, держа грудного ребенка.

— Смотри. Вы уехали, он родился. На четвертую ночь. Смотри. Он не записан в книгу.

Мульта вскочил:

— Э, ты врешь!

— Пусть ворон ест мою печень. Смотри. Это сын. Охотник. Он не записан в книгу. Он не может жить.

Теперь Мультя поверил. На минуту он присел. Горькое чувство душило его. «Только зайцы и песцы не попали в твою книгу, Бориса» — вспомнил он свои слова. Вот как он выполнил слово! А почему он знал? Э, да не в этом дело. Теперь все равно Мультя не может смотреть в лицо начальнику. Разве он может передать письмо? А что будет с сыном Эйвы? Разве он попал в книгу? Разве он будет настоящий человек? Мульту душило отчаянье. Из полога

выползла жена Эйвы, стала причитать. Заплакали дети. Эйва протягивал сына Мульту.

Тогда Мульту решил. Встал спокойный, деловитый.

— Как назвал?

— Ваиргин.

Мульту выскочил из палатки. Мысль лихорадочно работала: «Завтра Бориса уезжает. Только бы его застать».

Прежде чем Эйва мог что-либо сказать ему, Мульту сердито растолкал собак, запряг их, выхватил остол, и упряжка повернула назад, к надвигавшейся пурге.

Целый час гнал Мульту усталых, недоумевавших собак. Кэко, и тот бежал неуверенно. Он еще не понимал намерений хозяина. Но, когда убедился, что отдых и тепло ушли, что предстоит путь долгий и тяжелый, Кэко мужественно подчинился воле человека.

Собаки дышали тяжело и неровно. Мутные тучи закрыли небо, стало теплее. Кэко звериным нюхом находил тропу. Он один еще держался, хотя бока его раздувались от тяжелого дыхания и ледяные сосульки залепили всю грудь.

Мульту бежал с санями рядом. Вначале усталость как будто пропала, но сейчас каждый шаг отзывался во всем теле, и, если бы он не держался за дугу нарт, он упал бы.

Налетел ветер. Закружил поземку, резко ударил в лицо. Пошел снег.

Сани продолжали двигаться. Скоро ветер перешел в ураган. Сани остановились. Истощенные собаки не могли тащить их по мягкому, все залепающему снегу. Мульту привязал конец ремня к ошейнику Кэко и пошел впереди.

Ветер сбил его с ног. Мульту пробовал бороться. Он упал на колени и, взяв ремень в зубы, пополз впереди собак. Завтра он должен быть в Анненском...

Две собаки упали. Они не в состоянии были итти. Мульту с трудом согнул руку, чтобы достать нож. С тупым чувством отчаяния обрезал постромки двух обреченных.

Человек и упряжка проползли еще сотню шагов. Ветер уже не бил резкими

ударами в лицо, а обдавал мощной струей безостановочно, не ослабевая. Снег забивался в рот, залеплял глаза, засыпал все.

Мульту выпустил ремень... Ему стало вдруг все безразличным. Хотелось лечь, спать и спать... Он упал в снег. Стало вдруг тепло и уютно. Где-то безумствовал ураган, а здесь, под сугробом, было спокойно и тихо...

Упряжка, обессиленная, остановилась. Собаки упали в снег. Стоял на ногах один Кэко. Он нюхнул воздух, рванулся и вдруг завыл. Тоскливо, протяжно... Вой урагана потопил его голос. Пурга не утихла.

И все-таки она утихла. Мутный рассвет осветил сугроб. Из-под сугроба вылезли собаки. Они посмотрели кругом и завyli. Этот вой разбудил человека... Мульту не умер и не замерз. Кэко спас его. Собрав последние силы, собака добралась до хозяина. Остальные псы приползли за вожаком. Они улеглись возле человека. Нарты образовали род пещеры...

Мульту поднялся. Отдых немного освежил его. Он покормил собак и с новым упрямством, с новой яростью пустился дальше.

Итти стало еще труднее. Снег лежал высокой пушистой массой кругом. Надо было протаптывать путь. И снова, разбитый, с болью в каждом суставе, брел впереди Мульту, а за ним плелись восемь собак.

На третий день истерзанная упряжка добралась до райисполкома. Шатаясь, вошел Мульту в комнату.

— Бориса, — прохрипел он, падая на скамью.

— Уехал час назад.

Но он не слышал этих слов. Он уже спал.

Через три часа упряжка Мульту снова двигалась дальше. Путь был легче, так как шли по следу упряжки Мудрого. Но измученная невозможным переходом упряжка шла, как во сне. Глаза Кэко подернулись мутной пленкой. Он не видел пути, он шел автоматически, равномерно, как лунатик.

Надвигалась ночь. Кэко беспокойно оборачивался к хозяину. Но Мульта не замечал его взглядов. Неожиданно Кэко остановился. Зарычал. Остановка вывела Мульту из полубесчувственного состояния. Впереди на пригорке двигалась черная точка. Мульта задрожал весь: «Они, Бориса!». Собрал остатки энергии, подгоняя собак.

Точка приблизилась немного. Видно, что это упряжка. Но собаки Мульты не могли уже двигаться дальше. Свалились еще две, и не успел Мульта обрезать постропки, как повалилась и третья. Даже Кэко обернулся на Мульту и оска-

лил клыки. А упряжка впереди двигалась безостановочно. Мультой овладело отчаянье. Он выхватил винчестер и выстрелил в воздух. Раз, два... три раза... Упряжка не остановилась. Тогда Мульта выпустил последние заряды и ничком упал на нарты.

Очнулся он в палатке. Мудрый заботливо растирал ему щеки и нос. Рядом лежали, свернувшись, Кэко и уцелевшие шесть собак.

— Бориса... запиши в книгу... у Эйвы сын... Ваиргин, пятнадцать дней...

И, по-детски вздохнув, заснул снова.

Казачка

Повесть

ИВАН СКЛЯРОВ

1

Кзапорошенному снегом высокому плетню, через который, казалось, не перелезть, подошел Тарас Платин. Поглядел на плетень, потом вниз, на свои опорки, подвязал онучу. В ногах вьюжила метель, задирала ему назад полы стеганого бешмета; тесный он подмышками и распоролся по шву. Мимо Тараса прошли два казака в тулупах, спрятав головы в торчащие воротники. Крепчал февральский мороз. Звенела по обледенелой дороге крупчатая пурга. Липли к железу, к щеколдам, пальцы. А ему, Тарасу, холод нипочем. Он весело потер руки и, как по лестнице, полез через плетень, сокращая дорогу ко двору. На полверсты тянется хозяйская усадьба Сотовых. Чтоб добраться до калитки, надо итти в обход тремя улицами, а через плетень куда ближе, перелез — и хата. Беда, засугробило дорогу к окнам, и Тарас подошел к ним, проваливаясь в снегу по колени. Из хаты через болтовую скважину ясно доносился женский голос. Тарас насторожился. Думал, голос с улицы, оказалось, — из хаты. Щипал мороз ноздри, чесались кончики ушей, а он еще заломил лохматую папаху к затылку, и вовсе уши навывлет — по-казацки. Не даром его дразнили иногородние, как и всех заносчивых казаков, «голоухий». Он не обижался, даже за честь считал, что все его за казака принимают, ухмылялся. Тарас зачерпнул пятерней снегом, потер им уши и прислонился к

скважине от болта. Он услышал знакомые женские голоса: резвый, молодой голос Насти Сотовой и больной, хриплый голос ее матери — Марфы. Тарас присел на корточки и снизу вверх поглядел в окно. За прялкой сидела, почему-то в новом кашемировом платье, Настя, тянула нитку. Марфа, свесив голову с лежанки, говорила:

— Доченька, ты же видишь сама, что ныне батраки не в моде. Без батрака отцу одному не в мочь. А я, как видишь, и вам, и себе не на радость... Небось, в правлении диву дались, что казачка с голодранцем, да еще с мужиком, паруется?

— А я не прислушивалась... Все думаю, маманя, что я стану делать, когда начнет приставать...

— Да ты что? В своем уме? Кто приставать?

— Муженек мой.

Марфа замахала руками, открыла рот для смеха, да вдруг поперхнулась и закашляла долгим и мучительным кашлем. В таких случаях приносили ей холодную воду со льдом. После она принимала зеленую настойку из каких-то ею же припасенных целебных трав. И теперь она с помощью Насти проделала то же самое. Тошно смотреть на Марфу. Тарас и здесь, за окном, на миг почувствовал удушливый запах от нее, от лежанки с лохмотьями, под которыми тоже хранились какие-то зловонные целебные травы. «Дышит, старая, на ладан, молодым поперек жизни становится» — думал Тарас. Сегодня он реги-

стрировался с Настей в станичном совете. Был с ними отец ее, Прохор, и еще двое, закутанные в башлыки, — понятия. Сновали по коридору казачата-комсомольцы. Были среди них в набеленных шубах девушки. Никто и внимания не обратил, что Тарас пришел в станичный совет по такому торжественному случаю, — регистрироваться. Только Прохор нервничал, все подносил шепотками к носу нюхательный табак. И когда секретарь спросил Настю, под какой фамилией желает она регистрироваться, — под мужниной или под своей девичьей, — Прохор ожесточенно чихнул. В комнатушке, стесненной большим оцинкованным сундуком и шкафами, да и в коридоре раздался одобрителный смех, выражавший обычное пожелание здоровья. Настя ответила на вопрос секретаря: «Под мужниной фамилией желаю регистрироваться». Так и записал секретарь. Но не верил Тарас в это счастье. Не станет он к ней приставать, если она пошла на эту сделку не по зову своего сердца, а по отцовской воле... Что ж, он хоть и батрак, но не последний человек. Случись в станице какие хозяйственные дела, он на решение их голос имеет. Сначала с ним посоветуются, как их разрешить. А Прохору не больно доверяют. Что же касается Насти, то он, Прохор, — ее отец. Тут его полное право...

В горле у Тараса першило. Много от волнения курил он табаку сегодня, хотелось кашлянуть. Но Тарас сдержался, притаился... Снова донесся хриплый голос Марфы:

— Гляди, доченька, не промахнись! И к локтю его не подпускай. Ну, по-первах будь с ним подобней, помягче. И соседи, и власти в один голос скажут: не батрак, а муженек он тебе...

Расчистив ногтями заснеженные папы окон, Тарас захлопнул ставню. Навалился спиной на стену, стоял под стрехой. Не заметил, как набевавшим вихрем сорвало с головы папаху и занесло ее мелким сухим снегом.

...Нерадостно складывалась жизнь Тараса. До восьми лет рос он среди кубанских лесов, в будке у железнодорожной насыпи, с отцом да с матерью. И

когда мать уходила на заработки в станицу, а отец — осматривать свой путевский участок, Тарас оставался в будке один. Со скуки научился подражать звукам. Просвистит паровоз — он тоже; прокукует кукушка — и он так же: ку-ку.

Мать не понимала его страсти и часто давала сыну горячих шлепанцев. Часто Тарас ходил с отцом осматривать путь или ловить вершами рыбу. Услышит, бывало, Тарас, шорох уже в камыше и таким же звуком напугает отца. Тот вздрогнет, посмеется и любовно облапит голову сына, потреплет ему волосы. Но вот разразилась германская война, и отца не стало. Из полка, где он служил, Матрене сообщили: «Ваш муж, Петр Артемович Платин, пропал без вести». Уехала Матрена разыскивать мужа и, заболев тифом на неведомом вокзале, потеряла Тараса. Может, и по сей день его ищет.

Пять лет шнырял Тарас по кубанским станицам беспризорником. Прибился однажды ко двору Сотовых. С голоду прилег у плетня. Через пролом собачьих лазов заметил под сливой играющую на траве девочку лет десяти. Это была Настя. Тарас, высунувшись головой из плетня, жалобно по-кошачьи замыкал. Она бросилась на писк — подумала: котенок. А разглядела — в кустах лежал мальчик с белыми вьющимися, отросшими на затылке волосами. Тарас влез во двор, попросил хлеба. Девочка взяла его за руку и привела в жату, попросила отца взять его к себе пастушкой. Отец оглядел мальчика с головы до ног, расспросил у него, чей он, откуда, покрутил с ухмылкой седящий ус и сказал: «Живи у нас. Хорошо будешь пасть скотину, — усыновлю, казаком будешь!».

Настя росла на глазах Тараса. Она покорно впрягалась с ним в крепкое отцовское хозяйство. Выгоняла зорями на пастбище коров, замешивала с Тарасом скотине корм. Любила водить коней на водопой. Мать не спускала с них глаз и однажды что-то шепнула про Настю и Тараса на ухо мужу. Прохор рассвирепел и, как бугай рогом, боднул Марфу сапогом в живот... Она с тех пор

и зачахла. Настя не понимала причины отцовской ярости, удивлялась, почему мать не пожаловалась на отца. Направляла ее к атаману. Но мать только дрожала и плакала: как можно роптать или жаловаться на мужа? Каялась, что безрассудно огорчила Прохора. Но Настя такого терпения не признавала. Хотела сама пойти к атаману и пожаловаться ему на отца, но слезы матери, просившей не ходить, пересилили. С тех пор Настя стала понемногу отбиваться от хозяйства, от степной работы. Реже бывала с Тарасом, больше хозяйничала по дому: выпекала хлеб, обстирывала мужиков, белила перед пасхой хату, сама мазала полы глиной с пометом. Часто ездила с отцом в город торговать сметаной, арбузами, виноградом, утками. Отъезды ее в город огорчали Тараса. Огорчался потому, что Настя задирала нос, кичилась отцовскими подарками. И, чтобы расположить к себе Настю, он прибегал к своему верному средству: к раздражению звукам. Однажды Тарас затеял разговор. Спрашивал, почему она при отце держит себя с ним по-иному, строже и недоступнее: «Почему такое?». Она насупила брови и холодно ответила: «Папанька говорит: я казачка, а ты мужик неотесанный». Тарас опустил голову, врылся глазами в землю, думал: «Ишь ты, какая история выходит, я родом спечен не так и, стало быть, не под пару ей». И тогда он высказал ей свою заветную мысль, что все люди из одного теста и что нет такого запрета, чтобы казачки не паровались с мужиками. «Вон батюшка не из казаков, а выдал свою дочку Надьку, даже подбракованную, раскосую, за Серегу, атаманского сына. А еще сын лавочника-мужика, что у Петрика сорок десятин земли откупил, тоже на Стеше-казачке женился. Всю неделю по станице не давали пыли улечься, — такой пир учинили». Настя кусала губы и, не находя ответа, решила при случае спросить у отца: почему такое?

Как-то, возвращаясь с охмелевшим отцом с базара, она спросила:

— Почему Серегу-казака женили на мужичке, а Стешу-казачку выдали замуж за лавочника-мужика?

Отец не догадался, откуда она набралась такого ветра, и заплетающимся языком отвечал:

— А потому, доченька, что она не кто-нибудь, а родная дочь атамана... Подрастешь, и ты выйдешь за купца... В шелках у меня ходить будешь... А, главное, ссыпка своя будет...

— А кто ж он будет? — с волнением спросила Настя и, не дожидаясь ответа, с гордостью заявила:

— А я, папаня, и слышать не желаю про мужика, хоть он и ссыпку хлебную имеет... Я — казачка, и замуж пойду за казака. Да вы и сами сказывали...

— Дура! И ничего ты в этих делах не понимаешь...

Хотелось тогда Насте оборвать отца, назвать его обманщиком, сказать, что, мол, эту дурость не кто иной, как он сам, каждодневно внушал ей. Но промолчала, поняла, что отец кривит душой.

Когда Прохор уезжал на базар один, Настя помогала Тарасу в земляной работе.

Как-то в один из майских дней Тарас и Настя окучивали картофель. По сторонам цвели акации, источая сладкий до тошноты запах. Настя и Тарас устали, взмокли, побросали лопаты. Настя сбегала в хату за толстой книгой с картинками, и они залегли на мшистой траве. Солнце клонилось за полдень, длинными темными дорогами легли тени. Тарас примостил свою лохматую голову на поделе Насти. Она читала Тарасу из «Детского мира» рассказы. Прочтет страницу, а потом Тарас все слово в слово повторял. Настя умилялась, довольная им. Ведь он не разбирался в буквах, а вот лучше, прочнее, чем она, запоминал все прочитанное... Тянуло прохладой, и они, покоряясь усталости, оба уснули. Не слышали, как в чаще вишняка раздался шорох и показался в синем бешмете Прохор. Он распродал все, не доехав до базара, и вернулся ко двору не, как обычно, ночью, а днем. Марфа рассказала ему все, что видела в окно, как голубятся они, как Тарас тулится к Насте. С полдня Прохор следил за ними, прислушивался к их воркотне. Теперь

сам убедился: непозволительно поганец с его дочкой распоясался. Подойдя на цыпочках, во всю глотку рявкнул:

— Я т-те покажу, голодранец!

Настя первая вскочила на ноги и с протяжным криком, цепляясь не по росту длинной юбкой за кусты крыжовника, побежала к хате. Отец угрожающе затопал ей вслед. В конце сада Настя остановилась, приложила руку ко лбу, защищая глаза от солнца, и увидела, как отец с грозно насупленными бровями оседлал Тараса. Одной рукой он держал его за длинные волосы, а другой стегал хлыстом по босым ногам, по спине. Тарас лежал покорно, ни сто-на, ни просьб, и эта покорность удивила Настю. Обычно Тарас никому не уступал, а тут притих и обмяк, словно лопух от зноя. Заметив торчащий в колоде топор, она хотела взять его и с топором пойти на отца, но голос матери отвлек ее. Подумала: Тараса отец до смерти не забудет, а матери нужна помощь немедленно...

Вечером Тарас лежал в темной, засыпанной пшеницей комнате, запрокинув голову на голую ряднюгу. Как он ни крепился, а от побоев лихорадило тело, стучали зубы. Скрипнула дверь, и вошел Прохор. Положив в голову Тарасу взятую со своей кровати подушку, он прокартавил:

— Будешь слушаться, — куплю тебе черкеску с кинжалом, возьму с собой на скачки джигитовать. Атаману я уже говорил про твою удаль. Отобьешь первый приз, — в казаки пропишем, усыновлю. А Настю не развлекай, Настя тебе не пара...

И всегда был таким Прохор: одной рукой бил, а другой тут же заглаживал на битом месте рубцы.

С тех пор, как перенес Тарас от Прохора побои, прошло двенадцать весен. В станице все стало по-новому. Красные, вытеснив белых, завели большую дружбу с теми, кто жил победнее, кто гнул спину в батраках.

В разжиженные луной вечера тянуло на улицу. У бревен, над плетнями, собирались на гармонь с частушками девушки и ребята. Иные вяли, расточаясь в ласках до зари. Тарас тайл мысли о

другом: ему бы стать на собственные ноги, освободиться от хозяйского ярма. Но куда пойдешь без собственной хаты и без коня? Девушки заглядывались на него, но его к ним не тянуло. Тарас думал: нет на свете лучше Насти Сотовой. Много к ней ездило сватов из дальних станиц, но она крутила головой, не собиралась замуж. В ту пору многие девушки ее лет не торопились замуж: женихов было мало, а за кого хотелось, — уплыли за море, сбитые с толку офицерами-«кадетами». Одни ухаживали из-под родительской воли, не хотели венчаться в церкви; иных отпугивал новый обряд — брачная запись в станичном правлении. Прошлой весной домогался настиной руки секретарь партийной ячейки, и она было согласилась, но Прохор не давал согласия, считал за большой грех обручение по-новому. Настя тоже в конце-концов стала на сторону родителей, — мол, не охота их на старости лет огорчать. Так и не состоялась свадьба. И вдруг — на тебе: выдали ее за Тараса Платина, за мужика, за иногороднего...

...Тарас поднял побелевшую от снежной пыли шапку и нахлобучил ее до ушей. Обогнув хату, он быстро взбежал на крыльцо и взялся за щеколду. Но тут из глубины двора донеслось до него густое мычанье. Тарас подумал: «Как бы не отвязался бугай, он ответственный, за него головой отвечать». И, как ни хотелось к теплу, он сбежал на конюшню, подложил корму бугаю, подмешал посыпки лошадям и только после этого вошел в хату. Дохнуло теплом и знакомым прогорклым запахом лекарственных трав. Из растопленной будильями подсолнухов и соломою печи полыхал свет. Посреди хаты, на земляном черном и мокром полу стояла дубовая лохань. Из нее, помахивая розовым хвостиком, жадно пил ржаную жижу поросенок. У печи, вытянув настороженно уши, стоял телок с золотистой курчавой головой и белыми, как тыквенная кожура, ноздрями. Он потянулся к Тарасу и жалобно замычал. Тарас ответил знакомым коровьим голосом «му-му-у!» и сунул палец теленку в рот. Через прореху гардин он увидел

в горнице Настю. Она сидела за жуежащей прялкой, перебирала пушистую кудель; проворно бегали пальцы, сучившие нитку. Переглянулись. Настя почему-то виновато опустила глаза. Хотелось к ней, туда, к теплу и свету, но не смел Тарас входить без позволения.

Прохор пил чай, скрючив под блюдечком свои короткие, круглые пальцы. Из горницы тянуло приятным запахом промасленных пирожков с капустой. Заметив Тараса, Прохор встал из-за стола, подошел и, поздравив с законным браком, предложил:

— Снимай, Тарас Петрович, одежку. Промерз, чайком погрейся. Чаек у нас сегодня не на сахарине, а с настоящим русским сахаром.

Зашелестела в своем травяном логове Марфа. Вытянув голову, с черным курьим перышком в седых ломах, она заметила на плечах Тараса ошметки сена и спросила:

— Небось, на конюшню бегал?

Хотела еще спросить, что нового вычитывали на собрании, да напоролась на колючий взгляд Прохора, говоривший ей: «Не вмешивайся не в свои дела».

Тарас долго искал вешалкой гвоздь в стене, — вешалка оказалась оборванной. Недогадел, да и без надобности была она ему до сих пор. Бешмет он обычно не вешал, а клал себе на ночь под голову вместо подушки.

Прохору интересно было послушать, что скажет Тарас о мнении станичников по поводу своего «обручения».

— Председатель колхоза, небось, допытывался? — спросил он.

— Допытывался, как присматриваю за бугаем, — отвечал Тарас, не сообразив, о чем его спрашивает тесть.

Прохор и тут не преминул заметить:

— А за чужим как ни гляди, зятек, а ежели свое и чужое разом чихнут, сперва к своему побежишь. Ты бы так и сказал председателю. И в природе так: важный коршун за свое дитя бьется...

Прохор, когда был в хорошем расположении духа, любил поучать пословицами.

— Садись, Петрович, садись, голубок, погрейся,—вдруг засуетился он.— А ты, Настюша, брось нитку тянуть. Всего за вечер не переделаешь.

Настя села против мужиков. Прохор исподволь глядел на дочь, довольный, что она держит себя скромно, не вмешивается в разговор. Перевел взгляд на Тараса. И этот держал себя, как ему хотелось. «Обрученные, а как чужие друг с дружкой». Не так скуп и бедно справлял бы Прохор замужество своей единственной дочери, если бы считал он регистрацию «путным», настоящим браком. Тесно стало бы от гостей в этой просторной горнице, хмельной гул пошел бы по всей станице. Да не пришло время, и не за голодранцем, не за Тарасом безродным жить Насте Сотовой!

Прохор подставил Тарасу вазу с пеньем на пахучем бараньем сале, нацедил пахнущего сушеной розой чаю в эмалированную чашку, а затем облапил его широкие плечи и заговорил:

— Мы вот что, голубчик, порешили... Пока в станице не прояснится, может, до весны, скажу напрямик, житья хорошего мы не дождемся. Единоличные ноне не в моде... Хоть ты и не казак, а по всем признакам казаком растешь: хозяйство пестуешь, джигитуешь, певун на всю станицу. Словом, молодец-молодец. Не спуста я свою дочь за тебя хочу выдать, — регистрация, сам знаешь, не в счет. Ну, для пущей важности переселитесь вы теперь в дедовский курень, где пасека была... Но жить врозь будете. А вот как вернутся наши из чужих земель, заживете вкпе и влюбе. Своя хата у вас будет, воли не надыхитесь. Хлебца сбережем с полсотню мешков, ежели полюбите друг дружке, оженитесь по-настоящему, поцерковному, с батюшкой. Сотовский род колхозам не сдастся!

Прохор поднес ко рту обмасленный пирожок; по пальцам червячком поползло масло, стало капать на бороду. Настя подложила отцу салфетку. В горнице на миг стало тихо. Где-то тянул свою серебряную цепочку сверчок. На стене висели под стеклом в два яруса в черных, покрытых лаком рамках с позоло-

той изнутри фотографические карточки. Прохор снял одну из них, смахнул кончиком рукава со стекла пыль и показал Тарасу:

— Вишь, орлы сидят. А вот наш дед, — и он ткнул пальцем в braveго, плечистого чернобородого казака в черкеске. Руки казака лежали на рукоятке кинжала, на груди виднелись четыре георгиевских креста и медаль.

— Чего же молчишь, понял?

Тарас давно раскусил уловку Прохора: Сотовым нужен батрак, и, пока ~~со-владельцем~~ власть в это дело не вмешивалась, Тарас батрачил открыто; теперь это не полагается, и Прохор ухитрился прикрыть его батрачество родством. Но ведь он, Тарас, пока не в проигрыше. И покорным тоном, как ни в чем не бывало, он ответил:

— Вестимо, понял, как не понять: жить, значит, у вас за сына, а токмо с Настюшей врозь.

Прохор, не вставая со скамьи, снова повесил на стену фотографию деда и мягко заговорил:

— Вот, вот. Я знаю, ты парень — в рот пальца не клади... Я и приданое могу. Возьмешь себе гнедого, хоть с сегодняшнего дня считай его своим. Конь малость подбитый, старый конь, но зато выученный, в боях бывал. А, как говорится, старый конь борозды не испортит...

Настя сидела в стороне, посыпала себе солью хлеб, натирала корку чесноком. Никогда еще лживость отца так не раздражала ее. Стыдно было выслушивать его барышнические хитросплетения и смотреть на странное, униженное поведение Тараса. Кровь ударила Насте в щеки. Она накинула на плечи пуховую шаль и вышла из хаты.

Тарас, слушая Прохора, незаметно выпил с десятков стаканов чая. Чувствовал, как по спине скатывается к поясу пот. Встал из-за стола и поплелся к вешалке одеваться — собирался в дорогу.

— А ты малость остынь, дорога не легкая, — завистливо оглядывая статную фигуру Тараса, посоветовал Прохор и, заметив свисавшую из опорки онуючу в навозной жиже, добавил: —

Ты валенки мои обуи, в них все теплее, чем в твоих шкрябанцах.

Добродушно покряхтывая, он стянул с ног покрытые кожей ноговицы и протянул их Тарасу.

2

До регистрации Настя и Тарас слепо выполняли указания отца по хозяйству. Работали молча, по-воловыи, больше по ночам, и лишь днем на часок-другой ложились поспать: Тарас — на лавке, на своем неизменном дырявом войлоке, она — в другой половине, в своей горнице, на пышной перине. А с зари, опять молча, каждый со своей думой, колотились в темном, холодном амбаре. Днем насыпали зерном мешки, вечером носили их в крылатые дубовые сени.

Прохор суетился тут же и квохтел о том, как они славно заживут с весны, когда хлеб поднимется в цене: так ведь, по его приметам, из года в год бывало. Пробовал заузленные мешки: не ладно — журил, ладно — похваливал. Поддавал мешки на спину Тарасу. А то иной раз, чтобы показать еще не перебродившую в крепко слаженном теле молодецкую удаль и силу, без поддачи сам взваливал себе увеличенные семипудовые мешки на плечи и, не торопясь, осторожно относил их в сани.

Прохор с досадой поглядывал на племенного «чужого» бугая, которого навязала ему станичная власть. Обидно, почему не соседу, а непременно ему, Сотову. Он должен кормить и присмотрщика Тараса, и бугая. Конечно, от этого не много убудет в крепком хозяйстве. А вдруг как отобьется Тарас да еще обманет, уведет со двора единственную дочь?

Когда в окнах соседних хат гасли огни, Прохор велел Тарасу запрягать коней и вместе с Настей ехать в степь. Сам перед выездом показывался в станичном совете. Вернется из совета, нахмурит брови и бросит таинственную фразу:

— Ну, дети мои, с богом, подальше беду от порога!

Сегодня выпала на-редкость удачная ночь: не смолкая, тонко посвистывал

ветер, не унималась метель. Укрываясь такими вот вьюжными длинными ночами, Тарас вывез и закопал у песчаных берегов «бездонного озера» восемь подвод, а на девятой ему стало не по себе. словно везет он не мешки с кубанкой, а смердящих покойников.

Подвода тронулась со двора в полночь. Коней, погружаясь копытами в хрупкий снег, взяли с места весело. Настя села с Тарасом у передка, — обычно садилась позади, одна, — и Тарас чувствовал через тулуп упругость ее тела. Скоро отмелькали огоньками станичные хаты, кони легкой рысцой вынесли сани в степь. В глаза Тарасу бил холодный, шершавый снег. От лошадей пахло навозом и потом. Жавшаяся к нему Настя вздрагивала. Хотелось Тарасу спросить у нее: чего ей от жизни надо, как она думает устраивать ее и, наконец, самое сокровенное для него — будет она с ним жить врозь или как?.. Не спросил, кони помешали, сбились с дороги, надо было вести их под уздцы... Закурил, сел в сани.

Сумрачно в одичалой, безлюдной степи: все живое попряталось в теплые углы от лютой стужи. А его с Настей принесла сюда вражья сила. Над головой неподвижно висела молочным кругом луна, застрявшая в грязных лохмотьях туч.

Тарас направил заиндеветых коней в камыши, где начинался оперенный снегом, еще не растерявший листья дубовый лесок. Остановил подводу. В мае, когда разливаются Кубань, это место омывает водой, заносит сладким корнем камыша и лесного мусора. Тут осенними ночами вырыта ямба для силоса и облицована тонкой корой цемента саженная яма. На две трети она заложена теперь семенной, очищенной пшеницей. До сих пор все Тарас делал механически: Прохор велел ему возить хлеб, как бы про запасец, на семена, он и возил. Теперь же его не оставляет мысль, что этого делать не следует, что, оказывая услуги Сотову, он обманывает советскую власть...

Тарас, не торопясь, закурил. Но тут до него, словно из-под земли, донеслось вдруг странное хрипло-напряженное ры-

чанье. Кони затопали на месте, пугливо зафыркали. Рычание повторилось. Тарас выхватил из-за кушака топор, смахнул с головы капюшон свитки, поодаль от ямы присел на колени и насторожился: на поверхности ямы сверкнули глаза волка. Тарас замахнулся на него топором. Волк стремительным прыжком бросился к саням. Кони шарахнулись в сторону. Раздался испуганный крик Настя. Тарас, перерезав волку дорогу, наотмашь ударил его топором. Зверь клубком покотился под ноги, и Тарас вторым ударом топора раскрыл ему голову.

Настя успокаивала лошадей. Она почувствовала на себе взгляд Тараса и приветливо улыбнулась ему, словно они встретились как жена и муж после долгой, томительной разлуки. Тарас вытер лезвие топора о снег, положил волчью тушу в сани и затем начал сваливать в яму мешки.

На обратном пути в станицу хотелось ему обо всем откровенно поговорить с Настей: «Неужели и она заодно с отцом?». Не знал Тарас, что Настя осуждала поведение отца. Она, когда еще бегала девчонкой в школу, без страха вступала с ним в спор, уверяла его, что советская власть — защитница трудящихся и потому не переломится. Говорила она это отцу словами из школьной тетради. Прохор злился, но виду не подавал и, чтобы оторвать ее от ученья, потихоньку загружал домашней работой. Настя жаловалась учителю: отец не хочет, чтобы она была агрономшей, а учиться большая охота. Как быть?

Учитель посоветовал:

— Ходи ко мне на дом по утрам, заодно и тебя, и секретаря ком'ячейки буду готовить в высшую школу.

— А как отец узнает?

— Не узнает. Отведешь корову на выгон, а с выгона ко мне...

Так и перехитрила отца, подготовилась в вуз.

Просилась к тетке в город, но в город отец не пускал. Косился на Настю всякий раз, когда она бегала в правление колхоза, помогала там вести какую-то переписку. Однако в глаза станичным

«управителям» хвалил дочь и не без гордости повторял:

— Вот какие мы единоличники: с колхозом в одну душу.

А дома мягко корил ее:

— И охота тебе, Настя, в такое ярмо голову совать...

В станицу Тарас с Настей вернулись перед рассветом. Горланили петухи, путался у ног заиндевших коней знакомый лохматый пес. Как только донеслись четкие сечки лошадиных копыт, Прохор широко растворил ворота. Сани толкнулись крылом в дубовый косяк и вехали во двор. Настя, слезая с саней, будто невзначай коснулась размянутой щекой лица Тараса и побежала, путаясь ногами в полах тулупа, в хату. Прохор закрыл дубовым засовом ворота и потянулся за ней. С завистью поглядел на них Тарас. И ему хотелось к теплу. Одеревятели, скрючились шершавые пальцы, по-всему телу пробегала морозная дрожь...

Распряг лошадей; натаскал полную кадку воды из обледенелого колодца; гремя о корыто дубовой мешалкой, задал лошадям корм. Ласково потрепал за гриву гнедого, теперь уже не хозяйского, а своего коня, и тут же придумал ему новую кличку: «Бродяга». Он будет пестовать его так же, как пестует колхозного бугая. Завтра же он забежит к председателю станичного совета и бумагами закрепит за собой «Бродягу». А там заодно будет добиваться и земли, сколько положено на душу советским законом. С весны отгородится подальше от Прохора. Не пойдет за ним Настя, — отгородится сам.

От фонаря разливался по конюшне мутно-желтый свет. За перегородкой лежала отелившаяся корова, лениво похрустывала сеном. За дубовыми перекладинами бугай облизывал просмоленный узел бечевы. Он был развязан и, видимо, голоден. «Кто-то хозяйничал в конюшне» — подумал Тарас и вошел к нему в стойло с оберемком мягкой пшеничной соломы. Бугай подался всем туловищем назад, приземлил голову и баковито замычал.

— Ну, ну, бешеный! Своих не опознал, — окрикнул бугая Тарас и, стоя

к нему спиной, стал постилать скотине свежее логово. Но бугай вдруг с яростным хрипом боднул Тараса в спину, а затем, словно освобождаясь от ярма, откинул его в обледенелое корыто...

На заре, тонко повизгивая дужкой ведра, прибежала на конюшню Настя. Она еще не спала, все следила за отцом, поджидала, когда он уйдет со двора либо в амбар, либо к соседу. И вот дождалась, пришла к своему Тарасу. Думала, что он заночевал в конюшне, ревниво охраняя бугая. Пришла в темный угол конюшни, где Тарас обычно спал. Толстый войлок был покрыт сизым, холодным инеем. Поняла, что Тарас на нем не лежал. В хату он тоже не возвращался. «Где он мог запропасть?» — подумала Настя и, направляясь к выходу, заметила кисть его руки, вяло свисавшую из корыта.

3

Смерть стучалась в хату Сотовых. Помирала мать, и с Тарасом было плохо, не приходил в чувство.

Потухал короткий зимний день... Прохор во дворе снаряжал подводу, сам грузил на нее мешки с пшеницей, и не с яровой, а с озимой, в новых, казенных мешках. Настя накинула на плечи полушубок и вышла к отцу. Тихо спросила:

— Опять в степь?

— Опять. Иди одеваться!

Настя, понуриив голову, несколько мгновений стояла молча.

— Ты почему не яровую, а озимую погрузил? — вдруг обратилась она к отцу, впервые называя его на «ты».

Прохор озадаченно посмотрел на нее:

— Дуреха, не понимаешь? Пока на полях безлюдно, хлебец, хоть умри, вывозить надо!

— Не поеду и тебе не советую! — отрезала Настя.

Прохор нервно повел плечом, достал из кармана табакерку, пихнул щепотку табаку в ноздри и, не чихнув, а только покривившись, с иронией протянул:

— Похвально!

Не желая ввязываться в разговор, Настя ушла в хату. Прохор не на шутку встревожился: не было еще в роду

Сотовых такого, чтоб отец покорялся дочери. Но тут же решил сначала прощупать, чем недовольна Настя, и один вышел в степь.

... Теплый уход и ласки Насти, как солнце, тянули Тараса к жизни. Лежал он теперь не на глиняном полу, а на настиной дубовой широкой кровати с пышной периной.

Проخور молчал, хмурился, таил свои черные думы. Для него ясно было: Настя отбилась от рук, и, если не проучить ее, не миновать ему лиха. После того, как Тарас слег, на Прохора навалилось много забот по хозяйству. Он суетился по двору, а толку было мало: скот плошал, всюду по двору валялось втоптанное в грязь сено.

Как-то Проخور подошел к окну хаты и насторожился. Из хаты доносился гомон. «Воркуют, как голуби, несут в дом беду» — подумал он и быстро вошел в хату. Настя сидела у изголовья тарасовой постели. На топот отца, отряхавшего с ног грязь, она обернулась и недружелюбно протянула:

— А на дворе нехватило ума очистить сапоги...

Проخور не стал оправдываться, а, желая выпроводить Настю из хаты, приказал:

— Пора тебе закрывать ставни!

Настя, даже не взглянув на отца, вышла из хаты. Почти тотчас же раздались глухие хлопки за стеной. Это Настя закрывала ставни. В комнате стало совсем темно, лишь из горницы струился легкий свет лампадного огонька. Проخور нащупал в потемках краешек лавки и медленно, со вздохом, присел на нее. Давно ему хотелось покалечить с Тарасом один-на-один. Проخور подсунулся ближе и бесцеремонно толкнул Тараса в бок.

— Что ж это ты, разбойник, пригрелся на моей перине! Думаешь, Настю осрамил на всю станицу, а я и управы на тебя не найду! Погоди, шельмец, весна не за горами, упадешь в ноги, да поздно будет. Ну, чего притаился? Обдурил Настю?

— Об этом не вам знать, — ответил Тарас, отвернулся и больше до прихода Насти не промолвил ни слова.

Когда дочка вернулась в хату, Проخور нервно зачиркал спичкой. Но огонь не зажигался. Не то отсырел коробок, не то Проخور чиркал по широкой стороне его. Настя прошмыгнула в горницу, где перед божницей мигал в граненой лампаде огонек, и от него зажгла промасленную тряпку. Мать заметила с печи, покачала головой: грех, дескать, от лампы огонь брать. Проخور же не придавал этому никакого значения, он и сам, когда Марфа не замечала, тянулся цыгаркой к лампаде. Проворно сняв с гвоздя жестяную лампу, он поднес ее фитилем к огню.

После ужина Проخور приказал тушить свет, а Насте — стелиться и итти себе в горницу спать. Но Настя и плечом не повела. Она только теснее прикурнула на кровати к ногам Тараса.

— Слышь, что я тебе говорю, пора спать, — сердито повторил Проخور. — Не наголубились за целый день. Иди, с полночи в город поедем.

— За каким еще родимцем в город? — отозвалась Настя.

— Тетушка в гости зовет. А понравится — у нее жить останешься.

— А мне и дома не худо, — заявила Настя, поправляя Тарасу подушку.

— Худо ли, нет ли, а в город поедешь! Осмотришься там на месте. Свои глаза лучше чужих хорошее от плохого отличают, — настаивал Проخور.

И он напомнил дочери, что она сама надоедала ему еще с прошлого года — просилась поехать в город.

— Собиралась учиться, а теперь, выходит, раздумала. Ну, ежели так, сиди дома. Не будешь агрономшей.

Но Настя ничего не ответила. Не в силах больше переносить ее упорство, Проخور ушел к себе.

Настя так до зари и не возвратилась в горницу. А Проخور всю ночь не смыкал глаз, все думал, как остепенить ему дочь. Пожалел, что еще в прошлом году не отпустил ее в город учиться. Теперь, вишь, как присохла к батраку, даже про школу забыла. Войной решила итти на отца. Не бывало еще такого в роду Сотовых!

С нетерпением дожидался Прохор утра, и, когда, чуть свет, Настя вышла доить корову, Прохор спросил у нее:

— Ну, как, доченька, отбрасывала ноченьку? Без благословения слаще, небось.

Настя промолчала.

— А ты перестань губы дуть, — продолжал Прохор. — На отца и по божьему закону, и по людскому гнев тзить не положено!

Он взял ее за руку чуть пониже плеча и, насупив черные, колючие брови, совсем уже не по-отцовски, строго повышая голос, спросил:

— Почему в город не поехала?

— А потому, что ехать незачем... И некому за скотиной смотреть.

По-хозяйски невозмутимый ответ Насти мигом расхолодил Прохора. В самом деле, как это он не подумал, что не на кого ведь оставить скотину...

В конюшне Настя работала, когда замечала там беспорядок. И теперь все у ней переворачивалось внутри. Шерсть на коне, как у чесоточного, разлохматилась. В стойлах под ногами хлюпада навозная жижа. Не мог не видеть этого отец. «Ну, хорошо, — подумала Настя, — пусть не жалко ему чужого, но ведь «свое» захирело. Надеется на Тараса? Но он ведь нескоро еще поднимется с постели. И почему Тарас должен, как проклятый, колотиться один возле скотины? Отец не так уж стар, крепко стоит на ногах. Он недавно еще состязался с Тарасом на скачках: двенадцать препятствий взял без заминок. Даже Тарасу, самому смелому в джигитовке, на рубке лозы и чучел, утер нос. Первую премию — тельную корову — привел во двор... Хитрит отец! Но не позволит она ломать свою жизнь. Не пойдет у отца на поводу с этой комедией замужества. Не даст ему под видом хозяйственного изворота прятать хлеб. Все, ставшее совершенно ясным для Насти, должно, наконец, стать очевидным и для станичного совета! Иначе не посмеет она воспользоваться широко открытой для нее, как и для других, возможностью учиться».

Настя пристально посмотрела в беспокойно бегающие, колючие глаза Прохо-

ра. За всю свою жизнь она не видала от него искренней ласки. Нужно было выехать с дочкою на базар, — он нежничал, лебезил перед нею, обещал купить резиновые сапожки с «молнией». Понадобилось прикрыть батрака, он даже и тут поступился ею, не спросил, нравится ей Тарас или не нравится, любит она его или не любит. Ему дела нет до ее житейской доли, хороша или горька она будет...

Настя в раздумье уселась на бревно у амбара. Разгуливающие по двору куры с кудахтаньем окружили ее, но затем, видя, что ничего им не посыпают, одна за другой разочарованно разбрелись по усадьбе.

Заметив, что отец прошел в хату, Настя стремительно поднялась и направилась к перелазу. Но у самого плетня она услышала за спиною шаги и обернулась. Рядом с ней стоял Прохор.

— Что ж это ты надумала, отца остричь? — спросил он.

Широкие скобы черных настиных бровей сдвинулись. Что нужно ему от нее?

Прохор, видя, что остановить дочку не так-то просто, решил прибегнуть к хитрости.

— Мать при смерти, зовет тебя, — сказал он.

Но Настя молча выслушала его, проворно перемахнула через плетень и побежала к крыльчатому дому станичного совета. Прохор, как ужаленный, завертелся по двору, а затем кружным путем, через калитку, тоже поспешил в станичный совет.

4

В первый раз после долгой болезни вышел Тарас на воздух. Кутались в бирюзовый шелк холмики бархатной, обогретой земли. Над метлами густого вишняка вихрем носились воробьи, радостным чириканьем встречали весну.

Тарас присел на дубовый пенек у плетня и, греясь на солнышке, щелкал белые с поджаренной коркой тыквенные семечки. Надо бы сходить потолковать с председателем станичного совета о

своей головушке, о том, что нет мочи присматривать за скотиной. На Прохора надежда плоха, да и не он, а Тарас — ответчик за скотину. Закружилась от слабости голова. Нет, пока не окрепнет, не пойдет он в станичный совет. Не в его характере показывать людям свою слабость.

Тарас поднялся, заглянул на конюшню и ахнул от удивления. Разило густым, спертым навозным духом. Ноги коней по самое брюхо были забрызганы навозной грязью. А бугая он едва узнал: не отливала больше сталью его темносерая шерсть, залохматилась, потеряла блеск. В яслях не было сена. Загорелся Тарас, надергал оберемок сена и положил бугаю. Потом сбегал в хату за теплой водой, смыл бугаю грязь с боков. Отмывая копыта, заметил, что на развилке передней ноги, которой бугай любил ковырять землю, гноилась рана. «Откуда такая напасть?» — взбодражился Тарас. В яслях он заметил скребницу всю в клочьях шерсти цвета ржавчины.

— Порезали! — крикнул на всю конюшню, поднял скребницу и побежал в амбар, искать Настю. В амбаре ее не оказалось. Тогда он бросился в хату, окликнул Марфу. Не отвечает. Никак совсем оглохла и онемела. То, бывало, чуть кто войдет в хату, старуха кашляет, заворочается, предупреждая, что в доме, мол, есть живая душа. А тут и знака не подала, и дверь брошена настежь. Вовсе же был изумлен Тарас, когда, приподнявшись на носки, заглянул на лежанку. Из рассыпанных по засаленной наволочке седых волос резко выступал глиняно-желтый остроносый профиль Марфы. «Кончилась» — подумал Тарас и безотчетно снова вернулся на конюшню. Но работать уже не могло, щемилó в животе. Вышел, присел на солнышке. За полетнем показалась Настя. Она оседлала плетень и с высоко подобранной юбкой проворно перелезла во двор. Подошла к Тарасу и присела рядом. Отдышавшись, сказала:

— В совете была. Теперь всем хитростям отца конец! Знаешь, он хотел всю вину переложить на тебя...

Тарас вздрогнул:

— А что Марфу со света сжил, что скотину попортил, скрыла? Пожалела отца?

— Сказала. Он и тут начал, было, отпираться, да ничего не вышло. Подоспел учитель, и он запнулся. Хотел бежать — напоролся на милиционера. Теперь кончено, увели в город...

— Отца? — недоверчиво спросил Тарас.

— Тот не отец, кто радость нашу тучью застил, — отвечала Настя.

... Настя почувствовала себя в доме свободной птицей. Целыми днями носилась она по усадьбе, таскала ведра, мешки с половой, копала в палисаднике грядки для цветов, успевала побывать и в колхозном правлении, помогала колхозу подсчитывать и записывать трудодни, а вечером засиживалась за какими-то толстыми в красных переплетах книгами. Находила часы и с ним, с Тарасом, «поворковать».

Однажды Тарас, удивленный ее непоседливостью, спросил:

— Небось, гудят ноженьки, целый день бегавши?

— Гудят, Тарас, а хорошо гудят. — Помолчала и добавила: — Скоро еду к тете в город, экзамен держать в вуз.

Тарас поперхнулся и грубо протянул: — Да ты кто мне такая? Жена законная, или... Выходит, жену отдай тете, а сам иди к Моте.

Обидно стало Тарасу, почему она сама решила ехать в город. Небось, отцу, когда он и слушать про вуз не хотел, уступала, а ему, законному супругу, напрямик заявляет: еду! А ежели Тарас не пожелает, тогда как?

Ночь прошла в напряженной размолвке. Тарас долго не сдавался, но Настя предупредила его:

— Будешь упираться, пеняй на себя. Слова не пророни больше. Завтра же возьму подводу в колхозе и уеду!

— Такого закона нет, чтоб всем в колхоз! — проворчал Тарас.

— И незачем такой закон! Вся жизнь к тому ведет, — отвечала Настя.

... Настя стирала, вечерами штопала

чулки, чинила белье. Ездил с Тарасом на базар, продали в колхоз телку,— сколачивала на дорогу деньги. Помогала Тарасу бороться и сеять на «собственной» полоске в три четверти гектара. Советовала ему кончать со своим хозяйством и проситься в колхоз.

Наступил день отъезда. Настя заказала подводу. Тарас запряг своего «Бродягу» и проводил жену до самого города. Настя поцеловала Тараса в дрогнувшие губы и, запустив пятерню в его побелевшую от солнца шевелюру, на прощанье посоветовала:

— Ходи к учителю. Он говорил, что ты скоро меня перегонишь... А будешь

гнездиться только в усадьбе, помни мое слово: завязнешь в нужде!

На обратном пути Тарас, срезав ветку молодой акации, горячо хлестал ею по худым бокам «Бродягу», поторапливался к заходу солнца быть в станице. Вечером заседают правление колхоза — бьются в поисках семян для ярового поля. А поле-то какое нынче! Трепетно вьются молочно-голубыми струйками в жирной распашке готовые к жизни пары. Горит, сатанеет земля в извечной жажде оплодотворения. И Тарас, радуясь тому, как угодит он Настюше, твердо решил указать колхозу ямы Прохора.

Люди и факты

1. И. ЭКСЛЕР — Москва — Волга. 2. Евгений ЮНГА — Конеч Ольской тропы.
3. Э. ВИЛЕНСКИЙ и М. ЧЕРНЕНКО — Полярник Георгий Ушаков.

1. МОСКВА — ВОЛГА

И. ЭКСЛЕР

Вода! Можем ли мы прожить без нее хоть день? Прекрасная, свежая, кристально-чистая, утоляющая жажду и очищающая поры нашего тела, поливающая улицы и брызжащая в фонтанах... Как приятен по утрам плеск у раковины, как радостен летний вечер на реке, когда тихо плывет лодка, не хочется грести и с поднятого весла на руку теплыми каплями стекает вода.

Вода — подлинный спутник культуры.

Москва — крупнейший город нашей страны, столица великого социалистического государства — была во времена царизма одним из самых грязных городов Европы. На одного жителя Москвы приходилось тогда около 88 литров воды в сутки, тогда как в Париже эта норма равнялась 450 литрам, а в Нью-Йорке — около 500 литров.

Увеличение населения Москвы, неуклонный рост культурных запросов ее жителей, развитие промышленности со всей остротой поставили вопрос об обеспечении столицы водой. За годы советской власти водоснабжение Москвы значительно увеличилось и достигает 156 литров на каждого жителя. Уже сейчас эта норма выше берлинской, где подушное потребление воды равно 132 литрам.

Однако Москва должна получать значительно больше воды.

Многолетняя борьба партии и советской власти за водоснабжение Москвы показала, что все имеющиеся возможности увеличения водоснабжения за счет Москва-реки и ее притоков уже исчерпаны.

Надо было круто, по-большевистски, разрешить эту проблему.

В 1931 году Пленум ЦК ВКП(б) принимает по докладу тов. Л. М. Кагановича следующее постановление:

«ЦК считает необходимым коренным образом разрешить проблему обводнения Москва-реки путем соединения ее с верховьями реки Волги и поручает Московской организации совместно с Госпланом и Наркомводом приступить к проекту этого сооружения, чтобы в 1932 году начать строительные работы по соединению Москва-реки с Волгой».

Это историческое решение о канале Москва — Волга было поручено осуществить Наркомвнуделу, уже имевшему блестящий опыт строительства Беломорско-Балтийского водного пути. Началось проектирование канала. Вскоре определилось три варианта трассы: первый шел от города Старицы на Волге, второй — от устья реки Шоши — притока Волги и третий — от местности, находящейся выше устья реки Дубны, между Калининским и Савеловом.

Этот последний вариант и был утвержден правительством.

Началось строительство канала. Это должен был быть не только канал, снабжающий Москву водой: строился глубоководный судоходный путь, который должен соединить Москва-реку с Волгой, поставить водоснабжение Москвы на первое место среди других столиц Европы и Нью-Йорка и превратить Москва-реку в полноводную реку.

После окончания строительства волжских плотин у Рыбинска и у Углича и сооружения канала Волга—Дон канал Москва—Волга соединит столицу с Белым, Балтийским, Каспийским, Азовским и Черным морями.

Москва станет портом пяти морей.



Большевики решили заставить Волгу течь под стенами Кремля...

В старой народной песне поется:

Не заставить солнце красное,
Не заставить месяц на небе,
Не заставить Волгу-матушку,
Волгу-матушку, кормилицу,
Изменить свое стремление,
Что всевышним преудказано...

Но Волга уже изменила «преудказанное всевышним» стремление...

Для этого потребовалось только четыре года ударной, героической работы.

Канал Москва—Волга является грандиозным гидротехническим сооружением. Он мог быть построен в такие рекордные сроки только благодаря мощной индустрии социализма, которая вооружила строителей канала всем богатством современной строительной техники.

Для того, чтобы представить себе проделанную гигантскую работу, достаточно сравнить объем работ на канале Москва—Волга с объемом работ на других каналах. Беломорско-Балтийский канал, длиной в 227 километров, потребовал 21 млн. куб. метров земляных и 390 тыс. куб. метров бетонных работ; канал Москва — Волга, длиной в 128 километров, — 202 млн. куб. метров земляных и 3112 тыс. куб. метров бетонных работ; Панамский канал, длиной в 80 километров, — 160 млн. куб.

метров земляных и 3860 тыс. куб. метров бетонных работ.

За один 1936 год на канале Москва—Волга было выполнено 51 млн. кубометров земляных работ. Это в два с половиной раза превышает весь объем земляных работ, произведенных на Беломорстрое. За один 1936 год на канале Москва — Волга было уложено 1322400 кубометров бетона — почти в 4 раза больше, чем на всем Беломорстрое, и на 200 тыс. кубометров больше, чем за все пять лет строительства Днепростроя.

Беломорский канал длиннее канала Москва — Волга на 100 километров. Однако на Беломорстрое пришлось пробиваться через скалы и грунты только на расстоянии 40 километров, вся же остальная трасса канала прошла по естественным озерам и рекам, которые пришлось лишь несколько углубить и расширить. Канал же Москва—Волга почти целиком является искусственным гидротехническим сооружением.

Строительство канала Москва—Волга — это девять Беломорстроев по земле и семь Беломорстроев по бетону.

Преодолеть такие гигантские объемы работ в жесткие сроки, поставленные перед строителями канала партией и правительством, могла только стройка, богато вооруженная механизмами. Мощная индустрия социализма вооружила строителей канала всем богатством современной строительной техники. На строительстве Москва — Волга имелось 171 экскаватор, 160 паровозов, 225 моторов, более 3 тысяч автомобилей, около 300 тракторов. Таким мощным парком машин не располагало до сих пор ни одно строительство. На строительстве Панамского канала, тянувшемся чуть ли не десятки лет и получившем скандальную известность злоупотреблениями и махинациями капиталистических воротил, работало только 50 экскаваторов.

На строительстве Москва — Волга впервые была широко применена гидромеханизация. Гидромониторы, водяные пушки, силой водяной струи размывали почву, которая затем в жидком виде транспортировалась по трубам в

сторону от выемки. При помощи гидромеханизации намыты такие огромные сооружения, как Волжская земляная плотина высотой в 24 метра, преграждающая старое русло реки, Сестрореченские дамбы, высотой в 18 метров и длиной более 2 километров.

Лесу на строительстве канала потребовалось так много, что для этой цели пришлось вырубить леса на площади в 25 тысяч га. Строителями канала сооружено 125 километров железных дорог, 375 километров под'ездных железнодорожных путей, 274 километра узкоколейных и грунтовых дорог. В Дмитрове был построен для ремонта машин большой механический завод, на котором работает около 2,5 тысячи рабочих.



Канал Москва — Волга строили чекисты, инженеры, рабочие-стахановцы, каналаармейцы-заключенные. Главным инженером строительства канала и автором проекта канала является Сергей Яковлевич Жук. Этот человек очень тонко чувствует землю, ее холмы и низины и с удивительной точностью предугадывает поведение природы. Инженер Жук, вероятно, единственный человек на всем гигантском строительстве канала Москва — Волга, который точно, до мельчайших деталей, заранее представлял себе, «как это все будет». Он определял будущие горизонты воды в канале и водохранилищах буквально с точностью до одного сантиметра.

Инженера Жука, получившего теперь мировую известность, любят все строители канала. В 1925 году, еще молодым инженером, он оставил Ленинград, налаженную жизнь и быт и ушел простым прорабом на постройку шлюза. Это был один из тех советских инженеров, которым не сидится в канцеляриях. С этого момента творческая биография гидротехника Жука пошла ровнень с жизнью страны. Через два года он уже участвует в проектировании Волго-Донского канала, затем увлекается проблемой соединения Камы и Печоры.

Не было ничего удивительного в том, что чекисты, которым партия поручила построить Беломорский канал, проектирование его доверили Жуку, который в это время уже выделялся среди массы инженеров-гидротехников не только своей скромностью и застенчивостью, но и неутомимой страстью к гидротехническому творчеству. Как подлинный большевик, преодолевая огромные трудности, объединив вокруг себя творческую мысль своих сотрудников, Жук создал замечательный проект замечательного канала. Жуку и его помощникам мы обязаны тем, что Беломорский канал построен дешево и быстро. Человек смелый, человек, идущий в открытый бой с маститыми академиками, он тем не менее должен быть и осторожным. Малейшая ошибка может стоить стране десятки миллионов рублей. Поэтому он тщательно проверяет и взвешивает каждую деталь, прежде чем останавливается на том или ином варианте.

Рассказывают, что однажды Жук, увидев пучок травы в новой дамбе, поднял всех на ноги.

— Небольшой пучок травы может вызвать фильтрацию воды и погубить всю дамбу, а с нею и весь канал! — говорил он своим ученикам-инженерам, призывая их к бдительности даже в мелочах.

Человек, не забывающий о мелочах, он в то же время очень далек от мелочности. Жук никогда не идет по проторенным тропам. Он всегда ищет.

Внешне мягкий и робкий, он кажется человеком мысли, но не дела. Это впечатление обманчиво: немало инженеров канала Москва — Волга могут рассказать, как они на собственной шкуре испытали требовательность Жука.

Четкость, организованность, высокая культурность — отличительные черты в стиле работы чекистов, строивших канал Москва—Волга.

В самые напряженные дни стройки можно было видеть начальника строительства зам. наркомвнудела М. Д. Бермана все таким же невозмутимым, ровным и спокойным.

Несколько лет назад, в дни пуска Беломорско-Балтийского канала, немало

писалось о «перековке», перевоспитании бывших преступников, нашедших на стройке путь к честной, трудовой жизни.

Однако удивительное дело: с кем бы из чекистов вы ни заговорили теперь о

работали. К таким найти подход очень трудно. Из этих людей нужно буквально выцарапывать озлобленность к труду.

Задача большевиков-чекистов, работавших на канале, заключалась не толь-

Фото Г. Зельма.



Первое шлюзование теплоходов в шлюзе № 1

перековке, они отвечают в один голос: «Не так все это просто, как изображается вашим братом-писателем!».

Перевоспитание рецидивистов—сложный процесс. Есть люди, которым уже по 35—40 лет, и все же они никогда не

ко в постройке канала, но и в перековке людей. Среди каналоармейцев немало осужденных за такие преступления, как хулиганство, растрата, убийство из ревности. Эти люди не потеряны для нашего общества, и чекисты-воспи-

татели возвращают их в большую жизнь.

Все это, однако, осложняет работу на строительстве. Интересы производства должны сочетаться с задачами изоляции и перевоспитания.

Инженеры и рабочие, работающие по вольному найму, — а их на стройке канала Москва — Волга многие тысячи, — сначала рассуждали так: «Чекисты — няньки над ворами, гувернантки над жуликами. Нам же возиться с каналармейцами не дело...».

Однако каждый настоящий создатель не может не порадоваться, когда видит, что люди, которые в капиталистическом обществе при известной ситуации были бы растоптаны и опустелись бы на дно, потеряв человеческое достоинство, здесь возвращаются в большую жизнь. Чекисты-воспитатели нашли такие методы, слова и струны, которыми они воздействуют на каналармейцев.

И инженеры, дело которых, казалось бы, только строить, нередко уже сами приобретают вкус к этой замечательной работе по воссозданию гражданина. Инженеры, работающие на этой своеобразной стройке, видят воров, которые разучились воровать, и они делают из них прекрасных бетонщиков и экскаваторщиков...

Вместе с каналом Москва — Волга наркомвнудельцы сдадут стране тысячи верных сынов родины, квалифицированных работников и полезных граждан республики.



Подавляющее большинство инженеров строительства — молодые люди, пришедшие сюда прямо со школьной скамьи. Кроме чекистов-воспитателей, немало здесь и чекистов-строителей. Так, например, инженер Губанов.

... Три года тому назад в майский солнечный день человек в форме чекиста с котомкой за плечами пешком покинул Москву. Шел он неспеша, тщательно избегал населенных мест, часто сворачивал с тропинок, продирался сквозь кусты, перерезал напрямик луга

и родники, забредал в чужие огороды. Путеводителями этого чекиста с котомкой за плечами были карта и компас, единственным курсом — норд-вест.

После целых суток такого движения напролом путник уперся в забор какого-то аэродрома. Полный огорчения, чертыхаясь, повернул он назад, вышел на большую дорогу, поднял руку проходившей машине и через несколько часов возвратился на ту же самую тихую окраину столицы, которую покинул накануне. Здесь он посидел на лавочке, пощурился на солнце и, взяв в руки карту, снова двинулся напрямик через огороды, луга, лес. Спустя несколько дней созданная в его воображении прямая линия опять наткнулась, не на стену аэродрома, но на спрятанный в ложбине дачный поселок.

Пришлось опять возвращаться в Москву и начинать все сначала.

Препятствия заставляли этого человека несколько раз отступать обратно к исходной точке.

Окруженный молчанием полей, этот чекист износил в то лето две пары сапог, обветрился и загорел. 75 километров от Москвы до Яхромы он шел с самой весны до поздней осени.

Молчаливый, сдержанный человек этот стоял когда-то на часах в кремлевском коридоре у дверей Ленина, охранял золотой запас Республики, допрашивал белых офицеров в Особом отделе юго-восточного фронта. Сын кухарки, он рос в кухонном чаду неграмотным мальчишкой и, только поступив на завод, стал учиться там в вечерней школе. Октябрь семнадцатого года застаёт девятнадцатилетнего Ивана Губанова слесарем завода Гужона. Еще через несколько месяцев он становится большевиком и красногвардейцем.

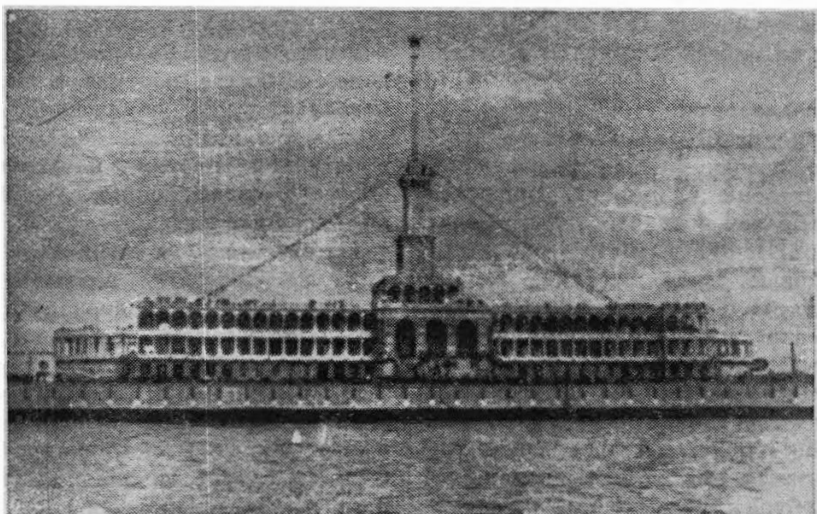
Чекист Губанов хотел учиться. Как только окончилась гражданская война, он поступил на общеобразовательные курсы при клубе ОГПУ в Москве. Только в 1928 году осуществилась давнишняя мечта. Чекист поступил в вуз. На тридцать пятом году своей жизни Иван Губанов получил диплом инженера. Профессора прочили ему научную карьеру, но партия решила иначе. Вме-

сто научно-исследовательского института чекист был возвращен к борьбе с тайными замыслами врагов — вредителей и диверсантов.

Через два года этому чекисту и инженеру поручили спроектировать высоковольтную линию передачи Москва — Яхрома, по которой канал Москва — Волга будет получать энергию для своих насосных станций. Губанов прошел пешком всю трассу линии передачи, которую он сам намечал.

Волжская плотина была призвана поднять уровень реки у входа в канал Москва — Волга. Водохранилище, которое Волга образовала здесь, разлилось на 327 кв. километров и обеспечило подачу воды в канал. Еще падал мокрый снег, еще только набухали ручьи и реки, как весенние воды уже были остановлены там, где когда-то на берегу Волги стояло село Ивановково. Перечеркнув географические карты, раздавшись вширь и ввысь, Волга родила-

Фото Г. Зельма.



Химкинский вокзал



Самоотверженная героическая работа строителей дала свои результаты. К весне 1937 года, через четыре года после разворота строительных работ, стали уже вырисовываться очертания этого сложнейшего гидротехнического сооружения. Трасса канала длиной в 128 километров от самой Волги до Москвы уже была готова к заполнению водой.

23 марта 1937 года может считаться историческим днем. В этот день большевики сказали Волге: «Стой!» — и река, полная силы, беспомощно споткнулась о сооруженную человеком бетонную преграду...

Московское море. Оно явилось основным источником питания канала Москва—Волга.

Любопытно было наблюдать, как рождалось это замечательное море.

... В летописях канала Москва—Волга будет записано:

«23 марта 1937 года в 10 часов 37 минут утра Волга впервые за свое существование была остановлена человеком...».

В 10 часов 30 минут утра начальником строительства тов. Берманом был отдан приказ закрыть щиты плотины и остановить Волгу на несколько минут. В течение семи минут щит опускался вниз и, наконец, глухо звякнув, вплотную прикоснулся к нижнему донному

щиту. Белый кипень выдыхался, тускнел, гас, и, наконец, настала минута, когда дно реки у плотины обнажилось. Ровно через три минуты — в 10 часов 40 минут — портальные краны чуть приподняли щит, чтобы не дать Волге обмелеть ниже плотины...

И началось рождение Московского моря.

Несколько дней творилось нечто непостижимое. До обеда река Шоша, впадающая в Волгу с запада, повыше плотины, текла вниз, после обеда — подымалась вспять. Плоты проходили мимо села Завидово утром, к вечеру они снова возвращались. Плотовщики стояли на плотях и кричали в отчаянии:

— Заиграла река!

Но Шоша не играла. Она пела свою лебединую песню. Бедная речка металась из стороны в сторону. Волжская плотина, образовав подпор воды, «села» маленькую Шошу. Там, где еще вчера текли бедовые речки, сегодня зарождалось «море».

На высокие места со дна будущего моря были переселены 203 селения и город Корчева — всего 6 693 хозяйства с 40 тысячами отдельных строений. Управление строительства канала ставило колхозникам вместо их покосившихся черных избушек новые просторные избы. Несмотря на это, немало было таких людей, которые неохотно переселялись с насиженных мест. Немало было и таких, которые не верили, что вода придет.

Но вода пришла. В течение одного дня она залила десятки квадратных километров. Уровень воды за 30 часов поднялся на 5,5 метра. Строители канала Москва—Волга не только перенесли деревни со дна будущего моря, но и очищали это дно. Весь лес в зоне затопления был вырублен. Огромная территория была очищена не только от леса, но и от навоза, соломы, сена, бревен, хвороста — от всего, что может загрязнить или заразить волжскую воду, идущую на питье москвичам. Тысячи га будущего морского дна были подготовлены для рыболовства. Для этого пришлось убрать даже пни спиленных де-

ревьев, выкорчевав их и создав настоящие подводные луга.

В селе Барки, перенесенном на новое место, оставили неприкосновенной только церковь. На ней устраивается маяк, который будет указывать путь проходящим судам...



30 апреля 1937 г. волжская вода, подпертая плотиной, вошла в устье канала Москва—Волга.

У входа в канал, на Волге, расположен головной узел сооружений: аванпорт, шлюз для пропуска судов вниз и вверх по Волге, большая бетонная плотина, земляная плотина и восьмиклометровая дамба, образующие Московское море, питающее канал. Здесь же, в бетонной плотине, находится Ивановская гидростанция мощностью в 28 тыс. киловатт.

Направляясь на юг к Дмитрову, канал преодолевает возвышенность и поднимается к водоразделу шестью шлюзами. Подъем судов и обратный спуск их на 49 метров производятся так: первый шлюз на Волге поднимает суда на 11 метров, второй шлюз поднимает их на 6 метров, третий — на 64-м километре канала (у станции Яхрома Савеловской ж. д.) — на 8 метров, четвертый — на 68-м километре канала (у станции Влахернская) — на 8 метров, пятый — на 77-м километре канала — на 8 метров и шестой шлюз — на 80-м километре канала (у станции Икша) — тоже на 8 метров.

Затем начинается водораздельный бьеф канала. Он образован подпором рек. На протяжении 19,5 километра суда будут плавать по пяти искусственным озерам-водохранилищам: Икшинскому, Пестовскому, Пяловскому, Клязьминскому и Химкинскому. Подъем и спуск по южному склону канала на 36 метров производятся двумя двухкамерными шлюзами. Верхний опускает и поднимает суда на 19,7 метра, нижний — на 16,3 метра.

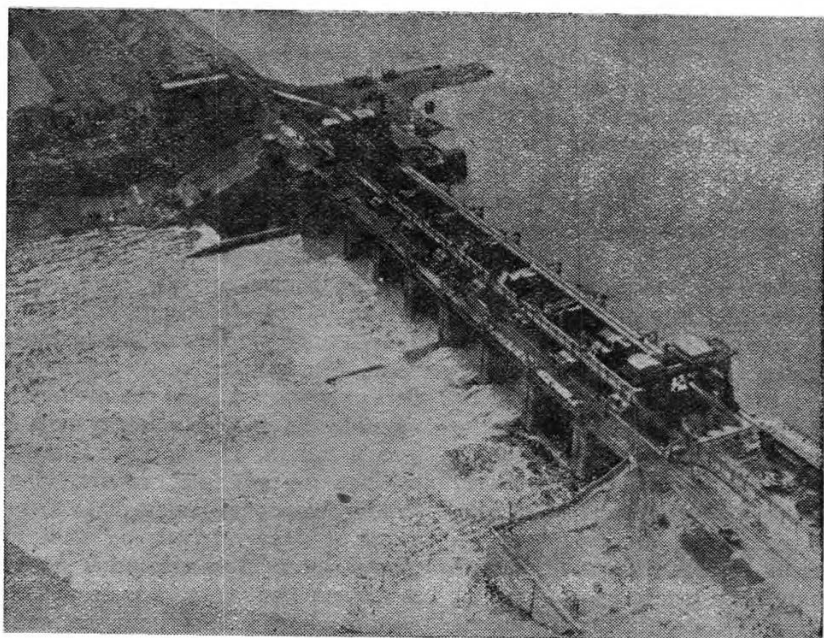
Однокамерные шлюзы на Москва-реке опускают и поднимают суда у Ка-рамышева и у Перервы на 6 метров.

Только первые 16 километров волжская вода идет по каналу самотеком. В водохранилища на водоразделе она поднимается пятью насосными станциями, находящимися при втором, третьем, четвертом, пятом и шестом шлюзах. Эти станции питаются электрической энергией из сети Мосэнерго, которая в свою очередь будет получать у канала энергию его восьми гидростанций, построен-

канала Москва—Волга, следовало бы сохранить навсегда как одну из реликвий нашего технического прогресса.

В этом доме на окраине Дмитрова в результате упорной работы был создан пропеллерный насос. По инициативе инженера А. И. Баумгольца — одного из учеников С. Я. Жука — на канале устроены вместо диагональных насосов вдвое более быстроходные пропеллерные

Фото Г. Зельма.



Волжская плотина

ных при плотинах и на сбросах водораздела.

День 19 апреля, когда завертелось колесо первого пропеллерного насоса, явился итогом упорнейшей борьбы за создание в нашей стране пропеллерных насосов, не имеющих себе равных в мире.

На окраине Дмитрова, на горе, неподалеку от старой, вросшей в землю подленичевской церкви, стоит маленький двухэтажный дом. Странные звуки слышатся из него: всплеск воды, тихий гул моторов, визг напильника...

Этот дом, в котором помещается опытная насосная станция строительства

насосы. Автор математической теории пропеллерных насосов профессор Вознесенский работал в Дмитрове, на опытной насосной станции-лаборатории. Круглые сутки испытывалась уменьшенная модель пропеллерного насоса с различными профилями винтов, изготавливавшихся по математическим выкладкам профессора Вознесенского. Молодые инженеры Лабутин, Чистов и Саватинов, не смущаясь неудачами, испытывали десятки моделей винта, пока не добились успеха.

В этой кропотливой, однообразной, но необходимой работе им помогали три женщины — Николаева, Щепотье-

ва и Дитман, сменявшие друг друга на круглосуточной вахте у измерительных приборов.

Насосы построил московский завод «Борец».

Для работы насосных станций необходимо огромное количество энергии: 300 млн. киловатт-часов в год. Столько, сколько дает целый Волховстрой!

Но стройные технические идеи, вложенные в проект канала, дают выход из положения. На всех перепадах воды построены гидростанции. Насосы будут работать только в те часы, когда станции Мосэнерго не загружены. В свою очередь гидростанции канала, которые дадут 150 млн. киловатт-часов в год, будут включаться в систему Мосэнерго только в часы «пик».

Энергия обойдется каналу почти даром.

Канал Москва — Волга имеет свыше 200 гидротехнических сооружений, в том числе 11 плотин и 8 гидростанций. Кроме Ивановской гидростанции, на канале сооружены следующие станции: Сходненская, мощностью в 30 тыс. киловатт, Карамышевская — 2 700 киловатт, Перервинская — 2 700 киловатт, Листвянская — 700 киловатт, Акуловская — 280 киловатт, Пироговская — 280 киловатт и Истринская — 840 киловатт. Бетонные плотины построены на Волге, а также в Карамышеве и Перерве. Последние две предназначены для подема уровня воды в Москва-реке ниже впадения в нее канала (между селами Перерва и Щукино).



Сейчас, когда канал уже наполнен водой, когда волжская вода двинулась в Москву и первый пароход прошел всю трассу канала от Волги до Москвы, можно совершить путешествие по каналу...

Наш теплоход входит в волжский шлюз.

Представьте себе огромный, размером в многоэтажный дом, бетонный ящик. В этот ящик пускают воду. Всего только 13 минут нужно для того, чтобы во-

да наполнила его и подняла судно для следующей ступени канала.

Эти 13 минут не будут томительны для самого взыскательного туриста: зрелище, которое пассажиры будут наблюдать с палуб теплоходов, вознаграждает за потерянное время. Стальные ворота, напоминающие по форме безопасную бритву, лежат поперек шлюза. После нажатия кнопки они начинают медленно, едва заметно для глаза, подниматься вверх. В образующуюся щель врывается вода. Когда она готова сравняться с уровнем воды выше шлюза, ворота — этот огромный стальной, чуть выгнутый затвор, лежащий всей своей громадой поперек шлюза, — вдруг начинают... погружаться в воду и исчезают в пенящейся пучине.

В конце-концов ворота спокойно укладываются в бетонном дне шлюза, в глубоком, специально устроенном для них логовище...

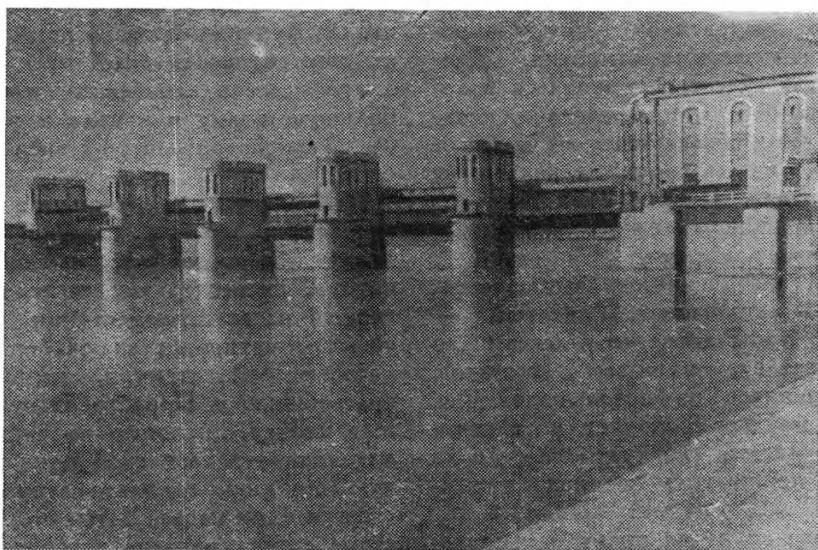
Теплоход — прекрасный, просторный, обтекаемой формы — в аванпорте канала. Он отдает салют стоящим на берегах грандиозным гранитным статуям Ленина и Сталина. Затем теплоход входит в канал. Перейдем на левый борт: отсюда мы увидим газоны и аллеи на берегу, который значительно ниже плотины и плещущегося за нею Московского моря. Заглядевшись на столь необычную панораму, мы не замечаем, что наш теплоход уже идет по каналу. Белый маяк с обвитой спиралью наружной лестницей, похожей на средневековую башню, уже остался позади. Восьмидесятипятиметровая ширина канала не мешает теплоходу идти полным ходом. В четырех километрах от устья проходим мимо изящных павильонов на обоих берегах. В них скрыто управление заградительными воротами, весящими 1 150 тонн. В течение пяти минут силой электрического тока они могут быть выдвинуты из бетонных ниш, в которые спрятаны, и преградить доступ волжской воде.

Еще через три километра проходим мимо одного из замечательных сооружений канала — бетонного русла реки Сестры, спрятанного под дном канала...

На шестнадцатом километре теплоход останавливается у входа во второй шлюз. Вот он проходит в камеру, которая наполняется водой. Открываются ворота, и теплоход идет дальше. Уже скрываются вдали оригинальные, похожие на древнеримские сооружения башни шлюза и насосная станция, отделанные мрамором и скульптурными фигурами. Теплоход идет мимо низких лесных пространств, еще несколько лет назад диких и пустынных. Здесь канал про-

явился новый. Канал пробудил к жизни этот маленький городок, имеющий, однако, свою большую историю. Дмитров — ровесник Москвы, он был крупным торговым центром древней Руси. Река Яхрома проходила когда-то у самых стен города. Когда рыли трассу канала, нашли на старом русле реки следы древней пристани. Много веков влачил затем Дмитров жалкое существование, пока канал Москва — Волга снова не воскресил его.

Фото Г. Зельма.



Карамышевская плотина

ходит среди болот в высоких дамбах — берегах.

Свисток. Подходим к пристани Запрудня. Бетонный мол чуть выделяется из береговой линии. Несколько пассажиров входят на теплоход, чтобы следовать с нами в Москву. Они работают на стекольном заводе, находящемся недалеко от этой пристани. Теплоход идет мимо болотистых лесных пространств. Скоро показывается новая пристань — Торфяная. Через час с небольшим наш теплоход подходит к Дмитрову.

Издалека видны его старинные храмы, монастырские здания, вал, окружающий древнюю часть города. Но наряду со старым Дмитровом уже по-

Теплоход пришвартовывается у пристани, перед которой разбит прекрасный бульвар со скульптурами и фонтанами. В Дмитрове находится управление канала.

Дальнейший путь к Москве еще более приятен. Ландшафт заметно изменился. Вокруг виднеются живописные холмы, — мы проходим «Подмосковную Швейцарию». Река Яхрома приближается здесь к каналу и через водосбросы пересекает его. У самого моста, нависшего над каналом, — пристань. Впереди видны третий шлюз канала, насосная станция и большой дом, в котором помещается «РУ» — распределительное устройство.

Здесь сосредоточено все управление каналом, — его пятью насосными станциями, его электрическими подстанциями при шлюзах, большой Волжской гидростанцией. Один человек — дежурный диспетчер — сидит здесь в отдельной угловой комнате и простым нажатием кнопок управляет всеми сооружениями северного склона канала...

Щит телемеханики занимает всю стену. Панели из толстого матового стекла имеют прозрачные полосы, квадратики и кружки, так называемые «символы» отдельных агрегатов канала. Позади этих прозрачных квадратиков и кружков помещены разноцветные лампочки. Диспетчер видит на стене светящиеся полосы подстанций и линии передачи, квадраты масляных переключателей, кружочки каждого из двадцати пропеллерных насосов канала. Позади этих прозрачных квадратиков и кружков помещены разноцветные лампочки.

Красный цвет означает «выключено», зеленый — «включено», желтый — «авария». Чтобы диспетчеру легче было ориентироваться, «символы» агрегатов, переключившихся на новое положение, не только меняют свой цвет, но и начинают еще мигать до тех пор, пока диспетчер не обратит на них внимания.

Диспетчер сидит за пультом управления — красивым столом с двумястами кнопок, нажатием которых он пускает и останавливает нужные ему насосы и агрегаты в любом пункте канала. Кнопки снабжены миниатюрными лампочками. Агрегат, подающий сигнал на щит, в то же время зажигает на пульте диспетчера соответствующую кнопку. Диспетчеру остается нажать ту из них, которая должна привести в действие или остановить какой-нибудь агрегат.

Нажав одну из специальных кнопок, диспетчер может также увидеть на щите показания относительно глубины канала в районе любой насосной станции. Если же диспетчер почему-либо забудет поинтересоваться этими показаниями, а уровень воды в канале резко упадет, — звуковой сигнал и мигающий свет настойчиво напомнят об этом.

Как мы уже говорили, канал имеет пять насосных станций, а каждая из них — четыре пропеллерных насоса, являющихся самыми большими в мире. Любая из этих станций подает 8.100 ведер воды в секунду. Достаточно одной насосной станции остановиться, чтобы другая, соседняя с ней, в течение пятнадцати-двадцати минут выкачала всю воду из канала на участке, отделяющем эти станции друг от друга.

Отсюда ясно, что без подобного автоматического управления на расстоянии из одного пункта сложная техника канала функционировать не может. Кроме того, одновременный пуск всех двадцати насосов неизбежно вызвал бы большую волну в канале и потребовал бы перенапряжения энергетической сети.

Поэтому насосы пускаются постепенно, один за другим. Телеуправление канала устроено так, что, нажав один раз кнопку, диспетчер тем самым включает первый насос первой станции, а затем уже автоматически включается первый насос второй станции, первый насос третьей и т. д. Происходит это так: нажав кнопку, диспетчер по системе телемеханики передает свой приказ на первую станцию, где автоматически запускается один насос. Затем по той же системе сигнал о пуске возвращается на диспетчерский пункт и уже без всякого участия диспетчера передается оттуда на следующую станцию.

Одного человека вполне достаточно, чтобы управлять всем каналом, однако дежурят на центральном диспетчерском пункте двое. Диспетчер может внезапно почувствовать себя плохо и бросить руль... Агрегаты канала не могут оставаться без присмотра и управления ни на одну секунду!

Ознакомившись с этой интереснейшей системой управления канала, поспешим скорее на теплоход, который подает уже настойчивые гудки, призывая нас на борт.

Теплоход входит в третий шлюз — один из самых красивых на канале. Его оформлял архитектор Мовчан. Башни шлюза окружены балконами, выдаю-

щиеся части украшены массивными чугунными якорями и цепями. На башнях стоят выбитые из меди колумбовы каравеллы.

Темный лабрадор, серый гранит, белый камень, бронза — все это превращает шлюзы канала, как и станции метро, в монументальные произведения искусства и радует глаз.

Большой железнодорожный мост с длинными бетонными подходами-виадуками пересекает канал. Теплоход подходит к пристани Влахернской, находящейся у четвертого шлюза. Здесь у насосной станции разбит бульвар с большим фонтаном.

Затем — Икша. Теплоход шлюзуется еще два раза и подымается, наконец, на водораздельный бьеф канала. Уже не видно больше ровных откосов, берега раздвигаются в стороны, мы идем по озеру. Берега его очень живописны. Это — Икшинское водохранилище. Образовалось оно после сооружения плотины, преградившей путь реке Икше.

Примерно с час плывем мы по длинному узкому озеру, водоразделу, состоящему из Икшинского, Пестовского, Пьяловского и Клязьминского водохранилищ. В систему канала входит еще и Акуловское водохранилище. Оно лежит в стороне от нашего пути — восточнее Пьяловского и Пестовского водохранилищ и предназначено специально для отстоя волжской воды, идущей для питья москвичам.

В районе села Хлебниково теплоход проходит под железнодорожным и шоссе-скими мостами, затем под мостами Октябрьской железной дороги и Ленинградского шоссе. Вступаем в Химкинское водохранилище. Еще несколько минут — и причаливаем к красивому двухэтажному зданию Северного вокзала.

Химкинский вокзал находится на тринадцатом километре Ленинградского шоссе. Это здание, украшенное легкой аркадой, напоминающей палатку дождей в Венеции, имеет высокую башню со шпилем, увенчанную стальной звездой с самоцветами. Поднятая на тонком двенадцатиметровом шпиле, она кажется висящей в воздухе.

Большая лестница спускается к воде. Теплоходы и яхты, толпы веселящихся людей, фонтаны, зеленый парк — таковы сейчас Химки...



Если мы решаем продолжать путь дальше до Парка культуры и отдыха им. Горького, — пересядем на другой теплоход. Он отчаливает от вокзала и направляется к седьмому шлюзу. Теперь мы уже не поднимаемся вверх по лестнице шлюзов, а спускаемся вниз — к Москва-реке. Близ шлюза, под дном канала, проходят здесь два тоннеля Волоколамского шоссе, а над каналом и над нашим теплоходом висит железнодорожный мост.

Еще несколько минут, и ворота восьмого шлюза — последнего на канале — закрываются за нами. Наш теплоход входит в Москва-реку и отсюда по Хорошовскому спрямлению и Карамышевскому шлюзу держит путь к Парку культуры и отдыха.

На этом заканчивается наше путешествие от Волги до Москвы. Однако этим не исчерпывается то, что обычно называют каналом Москва — Волга. Особый водопроводный канал отвляется от главного канала — от Акуловского водохранилища на водораздельном бьефе — и направляется к Сталинской водопроводной станции. Частично, из санитарных соображений, он проходит в железобетонных трубах.

Вода по водопроводному каналу идет самотеком до деревни Щитниково, откуда насосами подается на фильтры Сталинской станции.

Сталинская водопроводная станция — сложный технический комбинат. Эта громадная фабрика питьевой воды мощностью в 50 млн. ведер в сутки превышает мощность всех водопроводных станций Москвы, взятых вместе, дающих всего 44 млн. ведер. Она занимает площадь в 142 га. Вода поступает сначала в открытый отстойный бассейн, затем насосами вода подается на очистные сооружения станции. Здесь вода хлорируется, фильтруется, снова отстаивается.

вается. И только после всех этих операций она подается в водопроводную сеть Москвы.

Строители канала Москва — Волга построили также Истринский узел — земляную плотину с бетонными водосбросами и гидростанцию на реке Истре. Это сооружение предназначено для дополнительного водоснабжения Москвы через Рублевскую водопроводную станцию.



Такова стройная система гидротехнических сооружений канала Москва — Волга, который в течение четырех лет создали чекисты, инженеры, рабочие и

Дмитров, апрель 1937 г.

каналоармейцы. Завершение строительства канала Москва—Волга открыло дешевый водный путь в Москву хлебу и углю Юга, рыбе и нефти Каспия, лесу, строительному камню и рудам Севера.

Канал, соединяющий Москву с Волгой, служит целям социалистической культуры. В то же время он является замечательным произведением искусства, его берега предназначены для отдыха миллионов людей. Его водные пространства, его парки, его замечательные вокзалы и пристани — все это построено не только для нас, но и для будущих поколений.

Канал Москва — Волга — замечательный памятник сталинской эпохи социалистического строительства.

2. КОНЕЦ ОЛЬСКОЙ ТРОПЫ

Главы из книги очерков о Колыме

Евгений Юнга

«Нет такой земли, которая бы в умелых руках при советской власти не могла быть возвращена на благо человечества».

С. М. Киров.

1. Сказание о стране Кулу

«... Жил в старину большой вождь, звали его Кулу.

Никто не знает, какого племени и рода был мудрый Кулу, но боялись и почитали его все люди, жившие в богатой стране, которая начинается от моря Вечного Льда, от острова Четырех Столбов и кончается у моря Вечных Бурь, называемого Охотским. Признавали Кулу своим главным вождем все племена и народы этой страны: юкагиры и чуканцы, чукчи и ламуты, эвенки и коряки, камчадалы и якуты. И потому всю страну называли страной Кулу.

Древние старики слышали в детстве от своих дедов:

— Вот слово мудрого Кулу:

«Никогда не живите на одном месте, не стройте прочных чумов из дерева, камня и глины. От таких мест бежит

зверь, улетает птица и уплывает рыба. И тогда приходят в эти места братья-богатыри — Голод и Смерть, и гибнут люди, и олени, и собаки.

Вечно кочуйте, меняйте стойбища, следуйте путем птицы, рыбы и зверя. И будут у вас шкуры и мясо, кожа и сало, пушнина и перо».

Говорил Кулу и другое слово:

«Никогда не ройте землю, не тревожьте в ней желтый песок и желтый камень, за которые чужаки—люди из теплых стран—продают свои души. Хороните эти камни, засыпайте снегом желтый песок, и когда будут спрашивать вас чужаки-люди, говорите: не знаем, не понимаем, не видели, нет у нас желтого песка и желтых камней».

Завещал Кулу племенам и народам: «Не стройте дорог, заматайте следы, прикрывайте охотничьи тропы, чтобы

по вашим следам не проник чужак вглубь страны».

Ушел Кулу на высокую ахору, давно ушли за ним его дети. И стали племена забывать слово Кулу, и занесла пурга его законы.

Кто помнил законы Кулу, те уходили вглубь, но чужаки пробирались по их следам и находили их всюду.

Погибала страна Кулу...»

2. Тайна старого Панка

Старый Панк из рода оленных эвенков покинул аласу¹⁾ и гнал оленей к склонам хребта Тас-Кыстабай, где Кулу и Аях-Урях, сливаясь, образуют реку Колыму.

Караван занял всю долину и издали был похож на передвигающийся забор, обрамленный ветвистыми оленьими рогами.

Панк важно восседал на переднем олене. Он дремал в седле — на двух продолговатых подушках, привязанных к лопаткам животного. Стремлян эвенки не знали. Панк сидел на подушках, подбрав под себя ноги, и лишь изредка, на крутых спусках и подъемах, восстанавливал равновесие палкой, которую на-ходу втыкал в землю.

Внезапно олень метнулся в сторону. Панк едва удержался в седле.

На краю тракта лежал человек.

Панк успокоил оленя и позвал сыновей. Они удивленно разглядывали незнакомца, из разбитой головы которого на дорожную пыль тонкой струйкой стекала кровь.

Панк приказал женщинам перенести Слипку на последние нарты и погнал оленя вперед. Отъехав на безопасное расстояние от дороги, он сделал привал у ближайшего ручья.

Женщины осторожно обмыли окровавленное лицо незнакомца.

Тот открыл глаза, с трудом поднялся на нартах и увидел сморщенное лицо старого эвенка, стекла квадратных очков и длинную, обшитую жестью трубку. Из-за спины старика выглядывали любопытные женщины. За

прошедшие три недели машинист рейдового катера Охотского порта красногвардеец Игнат Слипка, бежавший из захваченного бандитами есаула Бочкарева Охотска, не видел ни одного живого человека. Истощенный от голода, он брел по древнему почтовому тракту к советскому Якутску. Затем произошло неизбежное: изнеможенный машинист пластом рухнул на тракт, разбив голову о придорожный камень. Там и нашел его, пересекая дорогу, Панк.

— Воды! — простонал Слипка и бессильно упал на нарты.

Панк неодобрительно покачал головой. Несколько глотков воды было недостаточно, чтобы этот человек мог встать на ноги. Провалы на щеках и болезненная желтизна кожи говорили, что машинист давно ничего не ел.

Панк знал более верное средство, чем вода. Оно одновременно утоляло и жажду, и голод. Он достал мамыкту — длинный ремень, похожий на лассо, с костяным кольцом на конце, и протянул его старшему сыну. Тот ловко запустил мамыкту в воздух. Мертвая петля захлестнула шею ближайшего оленя.

Панк связал оленя, привычно, ударом ножа, проткнул ему сердце и надрезал горло. Старуха Мынтах подсадила к ране ржавую жестяную кружку и нацедила в нее дымящуюся оленью кровь.

— Пей!

Слипка жадно прильнул к кружке. Эвенки толпились вокруг нарт. Они молчали, ожидая, когда незваный гость опорожнит кружку до дна.

Слипка вытер испачканные в крови губы.

— Ты знаешь, кто я?

Панк подтвердил.

— А если найдут?

Старик отрицательно помахал трубкой.

— Панк знает все. Много людей ушли туда, — показал он в сторону моря. — Панк идет обратно. — Он снова протянул машинисту кружку, наполненную оленьей кровью.

— Пей, большевик!

Слипка выпил и облегченно закрыл глаза.

¹⁾ Болотистый луг.

Караван продолжал путь.

Поздняя осень лежала над Колымой. Полозья нарт скрипели по голой земле, мягко шуршали по ковру опавших листьев, с звонким треском ломали тонкую ледяную корку скованных первыми морозами ручьев. Со всех сторон караван окружала глухая тайга — океан оголенных лиственниц, корабельные мачты стволов гигантских елей и сосен, мохнатые кусты вечнозеленого кедрового сланника.

Почти все время, пока продвигался в тайгу караван, Слипка был в забытьи. Силы медленно возвращались к машинисту. На редких привалах к нартам подходили женщины, угощали его сырой оленьиной и знаками объясняли, что он должен много есть, если не хочет умереть.

Чаще всего машиниста навещали олениа. Они щекотали его лицо легким прикосновением влажных губ. Слипка любил наблюдать за ними. Обычно на стоянках они лежали, свернувшись клубком, возле матери. На переходах самые крохотные из них размещались на нартах, а старшие трусили мелкой рысцой за караваном, жалобно блея и тычась теплыми мордочками в лицо Слипка. Важенки не подпускали к ним ни самцов, ни собак и с такой яростью бросались на псов, что последние, трусливо рыча, убежали.

Наконец, Панк привел караван к восточному склону хребта Тас-Кыстабай и остановил его в долине, где быстрые речки, сбегая с гор, текли дальше порожистой Колымой. Панк избирал это место для зимовки каждый год с того дня, когда наследственные обязанности главы стана перешли к нему. Он считал, что у слияния рек — лучший подножный корм для оленей и много пушного зверя.

Машинист совсем поправился и до первого снега проводил время на охоте либо учил русскому языку младшего сына Панка, семилетнего Эгета.

Однажды, когда Панк ушел на охоту, Эгет притащил из чума два замусоленных камня, каждый величиной с грецкий орех, на вид осколки меди, неизвестно как попавшие в стан бродячего эвен-

ка. Ребенок играл ими. Его забавлял металлический блеск камней.

Слипка соскоблил с камней грязь и, внимательно осмотрев их, вернул Эгету.

Точно такие камни, только меньшего размера, он видел в Охотске у старателей, которые приходили с приисков. Камни несомненно были золотыми самородками. Он сказал об этом Панку. Но тот сразу стал неприветливым. Старый эвенк хорошо помнил законы Кулу.

— Тебе, большевик, скоро уходить надо. У Панка много своих людей, мало оленей. Панк — бедный человек.

Машинист понял, что допустил ошибку.

Спустя несколько дней выпал снег. Он запорошил тайгу и долину, одел саваном сопки. Умолк грохот воды на колымских порогах. Слипка решил распрощаться с эвенком. Непредвиденное обстоятельство отсрочило его уход.

Возвращаясь с охоты, он подходил к аласе, где раскинул свой стан Панк. За плечами Слипка висели убитые белки. Он шел, думая о предстоящем переходе в Якутск по тайге, без компаса и, возможно, без оружия, и вдруг услышал неподалеку незнакомые голоса. Машинист притаился за деревьями.

Голоса раздавались все ближе, а затем на аласу вышла группа вооруженных людей. По отдельным фразам, которые долетали до Слипка, он догадался, что это часть отряда пепеляевского соратника, эсера Сентяпова, посланная на усмирение колымских поселков.

Пепеляевцы хозяевами засновали на аласе. Двое из них, один необычайно длинный и худой, второй низенького роста, с огненной бородой и рыжими усами, погнались за оленями. Животные пытались бежать, но бревна, подвешенные к шее¹⁾, мешали им скрыться от преследователей.

На аласе задымился костер. Длинный и Рыжий свежевали важенку.

Пепеляевцы отдохнули, забрали еще четырех оленей и ушли вверх по Колыме, к Верхнеколымску.

¹⁾ Так называемые чанки, привязываются к оленям для того, чтобы последние не могли далеко уйти от стана.

Рыжий незаметно отстал от них и вернулся обратно.

Через минуту к нему присоединился Длинный.

— Где нашел? — отнял Рыжий у Эгета самородок и поднес его к глазам Панка.

Ребенок испуганно спрятался за спину старухи Мынтах.

Панк ответил, что до того места, где он видел золото, двое суток пути.

Бандиты посовещались.

— Веди! — приказал Рыжий. — Показывай жилу.

Они забрали из чумов охотничьи ружья и все патроны.

Панк вздохнул:

— Оставь ружье, русский, оставь патроны. Иначе Панк умирать от голода будет.

— Ша! — цыкнул на него высокий пепелявец. — Не сдохнешь! Вы, грязные черти, живучи, как червяки. До ста лет плодиться можете. Давай ругай!

Эвенк, вздыхая, привел оленей. Бандиты погрузили на них свои сумки и винтовки и погнали старика вперед.

Слипко зарядил винчестер и, не замеченный бандитами, последовал за ними.

Вечером белые остановились на отдых. Спали они по очереди. Один караулил Панка. Старик сидел у костра, обняв колени, и сосал потухшую трубку. Табак он забыл в стане, а просить у чужаков не хотел. Он был непроницаем и неразговорчив.

Слипко лежал за деревьями, прислушиваясь к каждому шороху и всю ночь не смыкал глаз.

На закате второго дня Панк привел белых в долину, по дну которой, блестя ледяными заберегами, бежал прозрачный ручей, заросший тальником и сланником.

— Здесь, — показал он на ручей.

Пепелявцы разочарованно переглянулись.

— Обманул, гад! — подскочил Рыжий к Панку. — Говори, где золото?

Но Панк призвал на помощь мудрое слово Кулу.

— Не знаю, не понимаю, не видел, — нараспев прогнул он. — Нет у меня

желтых камней, из-за которых вы, чужаки, продаете свои души.

— Так ты смеяться?!

Рыжий изо всей силы ткнул его в грудь прикладом. Старик упал.

— Беги! — крикнул ему Длинный.

— Да он крещеный! — засмеялся Рыжий, показывая на крест на груди Панка. — Целуй крест, гад! Сейчас умирать будешь!

И он вскинул винтовку.

... Загрохотал выстрел, наполнив гулким эхом долину. Белка, с любопытством смотревшая на людей, выронила от неожиданности кедровую шишку, распустила парусом пушистый хвост, перелетела на соседнее дерево и скрылась в его густых ветвях. Потревоженные ветви стряхнули на Слипко тучи снежной пыли. Рыжий вскрикнул, уронил винтовку и повалился лицом в снег. Длинный подпрыгнул от страха и журавлиными шагами поспешил наутек.

Загремел второй выстрел. Пуля настигла Длинного в тот момент, когда он раздвинул спасительные кусты тальника.

Из-за деревьев выбежал Слипко. Он поднял Панка и прикладом винчестера постучал по голове Рыжего. Тот был мертв.

У кустов тальника, раскинув руки и ноги, лежал Длинный. Пуля попала ему в глаз.

— Толковый у тебя винчестер, старина, — сказал машинист. — Не одолжишь ли дойти с ним до Якутска?

— Бери, большевик, — подобрел Панк.

Слипко поинтересовался:

— Чего это они на тебя разозлились? Так и не сказал им, где золото?

Панк упрямо повторил:

— Не знаю, не понимаю, не видел, нет у меня желтых камней, из-за которых вы, чужаки, продаете свои души.

— Да я не допытываюсь, — успокоил его машинист. — Когда понадобится, мы сами найдем. Нынче не до золота.

На другой день они вернулись в стан, привели оленей и принесли две лишних винтовки, которые сняли с убитых бандитов. На следующее утро

Слишко пробирался через тайгу на запад, где, как остров в бушующем море гражданской таежной войны, лежал советский Якутск.

3. Ключ Юбилейный

«Кореи в одном из многих притоков Колымы нашел золото. В один прекрасный день в эти места устремятся золотоискатели».

Р о а л ь д А м у н д с е н. — «Экспедиция на корабле «Мод».

Билибин с досадой перелистал книгу. Тусклое пламя свечи рывком устремилось вверх. Тень волнистыми клубами побежала по стене, словно дым из трубы на экране. Со страниц книги смотрели взглядом в будущее пронизательные глаза великого арктического исследователя.

Инженер отложил книгу и вздохнул. Норвежцу было нетрудно утверждать, что золото на Колыме есть. Случайная фраза в его дневнике, основанная на беседах с жителями приустьевоего участка в месяцы зимовки «Королевы Мод» во льдах Чаунской губы, ни к чему не обязывала Амундсена.

— А каково мне! — запальчиво воскликнул Билибин. — Целое лето пропало впустую. Нельзя же всерьез считать удовлетворительным результатом кустарный промысел на Среднекане. Он для страны — мелочь и в сегодняшнем состоянии годен только для индивидуального обогащения Кафтуновых.

Из угла палатки, в которой разместились экспедиция Геологического комитета Академии Наук, возглавляемая горным инженером Билибиным, приподнялась лохматая, с длинными, как у папа, волосами, голова старателя.

— Звал, Юрий Александрович? — спросила голова.

Билибин, недоумевая, взглянул в угол и с трудом сообразил, что высказал вслух мысли, которые не давали ему покоя в последнюю неделю.

— Спи, Кафтунов, — ответил он. — Показалось тебе.

Он снова придвинул к себе книгу, затем раздраженно отбросил ее и достал

тетрадь, которой поверял свои радости и сомнения.

— Ложись и сам, начальник, — посоветовал Кафтунов. — Не может быть, чтобы Леший ошибся. Но золото найти — требуется особое счастье иметь. А ты несчастливый. Не везет нам с тобой, — охотно завязал он разговор.

— Молчи уж! — в сердцах прикрикнул на него Билибин.

Кафтунов обиженно засопел и умолк.

В палатке близ ключа Юбилейного, отдающего студеную прозрачную глады Утинке — верхнему притоку Колымы, снова наступила тишина. Надоедливо пели комары. Их противное жужжание путало мысли.

Билибин подрезал фитиль свечи, накинул на лицо сетку и раскрыл тетрадь. На ее титульном листе жирным карандашным штрихом было выведено вечное живое изречение Шекспира:

«Как беден тот, у кого нет терпения!»

4. Встреча с „Лешим“

(Начало дневника Билибина).

«... Дни мчатся, как угорелые, а я попрежнему далек от цели, как и в ту минуту, когда вступил на Ольский тропу.

Двое суток мы прожили на Среднекане, отдыхая после изнурительного полуторамесячного перехода из Олы. Позади 500 безлюдных таежных километров, и я, наконец, увидел порожистую Колыму, сжатую со всех сторон тайгой и хребтами. Однако общение с новыми людьми мало меня порадовало. Равнодушие и ограниченность — основные достоинства работников приискового управления. Они просиживают половину суток за преферансом, ссорятся друг другом, сплетничают, изнывают от безделья и ничего толком не знают ни в своем районе, ни об остальной Колыме. Я тщетно пытался получить у них подтверждение золотоносности Бохалчи других верхних притоков, пока над мной не сжалился Кафтунов.

— Лучше сходим на прииска, — предложил он. — Народ там не ахт

грамотный, но места ему разные известны.

И мы отправились на Нижний прииск, расположенный в десяти километрах от устья Среднекана, бурливой таежной речки, с шумом впадающей в Колыму. Болотистая выпуклая равнина левого берега, по которой вел меня Кафтунов, выглядела однообразной и унылой. На горизонте замыкали путь на запад гранитные массивы хребта Черского. Глушь, бездорожье, потерянности.

— Сколько добра пропадает, — сокрушенно сказал Кафтунов, когда мы вышли на опушку, вырубленную старателями среди тайги.

Земля на опушке напоминала поле битвы, изуродованное воронками снарядов. Артели хищников изрешетили землю гигантскими оспинами шурфов и засыпали галечником, извлеченным из ям. Солнце пригрело ледяные стенки шурфов и затопило ямы водой. Вода скрыла щетки золотоносных сланцев, из-за которых старатель мерзнет среди жаркого лета в студеных шурфах.

Хищник — наиболее точное определение дореволюционного старателя. Он не любил задерживаться на одном месте, снимал верхки, бросал первый шурф, рыл другой, пакостил весь участок и уходил дальше, оставляя большую часть золота в залитых водой ямах. Эта варварская порча площадей долго практиковалась на Среднекане и прекращена лишь недавно. Но следы ее остались.

— Богата колымская земля, — выказал мои мысли Кафтунов и вдруг оглушительно завопил: — Дядя Алексей!.. Леший!..

Из-за горы галечника крайнего шурфа вылез маленький, словно сказочный гном, человек. Он взглянул в нашу сторону и, узнав Кафтунова, радостно замахал руками.

Кафтунов скачком перемахнул через шурф и заключил человека в свои медвежьи объятия.

— Да это Алексей, спарщик Бориски, — объяснил он мне. — Мы его Лешим зовем. Нет ему равных на Ко-

лыме. Я с ним всю тайгу исходил, но и четверти не знаю. Он столько золота намывал, что самый большой дом во Владивостоке мог построить, да не захотел.

— Друг, — сказал мне Леший, узнав от Кафтунова все новости. — Раз Слипка говорит, что видел в руках у тунгуса золото, значит, там его много. Тунгус не станет рыть землю. Ему закон не позволяет. Он только охотник. Слушай меня. Иди вверх до Утинки. Там много ключей, там всегда зимуют тунгусы и там, сдается мне, потерял Слипка свою долину...

Совет итти вверх я слышу вторично».

5. По следам копачей

... «Хвост на Аляске, голова на Колыме», утверждают патриоты этого края, геологи Салищев и Обручев, когда заходит речь о колымском золоте, о котором сложено столько легенд и распространено еще больше всяческих слухов. Этим сказано все и ничего. Верно одно: человек нашего времени больше, чем когда-либо, обязан смотеть вперед себя. Если на Колыме действительно водится золото промышленного значения, я не сомневаюсь, что история этой страны будет переписана начисто в несколько ближайших лет.

Нашу экспедицию ведет Игнат Слипка, человек бывалый, симпатичный и весьма интересный собеседник. До революции он плавал машинистом на пароходе Добровольного флота «Кишинев», который дважды за лето посещал порты Охотского моря, вывозя оттуда рыбу, пушнину и всевозможный люд, преимущественно старателей, ездивших «прогуляться на материк». Слипка — выходец из Украины, вспыльчивая и откровенная натура. Эти качества содействовали принципиальной размолвке между ним и старшим механиком парохода — владельцем трех домов во Владивостоке. Слипка отказался воровать для него казенное машинное масло, повздорив, выбил механику два зуба и остался на побережья. Там он работал на рейдовом катере, затем устанавливал советскую власть в Охотске и прошел всю

якутскую тайгу с партизанскими отрядами. Ему принадлежит версия о золотой жиле исключительной мощности в пустынных верховьях Колымы. Точно этого места он не знает, но рассказал мне о месяцах своей жизни у старого бродячего эвенка, ребенок которого играл самородками, как городские мальчишки обыкновенными камешками. У меня нет причин сомневаться в правоте его слов, но эта история слишком неправдоподобна и похожа на жюльверновские романы. К тому же Слипка не помнит дороги к долине, где должно, по его словам, находиться золото. Он обещал признать долину только в том случае, если мы вдруг натолкнемся на нее. Рассказ его изобилует такими подробностями, что у старателя Кафтунова, взятого мной в Оле, жадно загораются глаза, появляется, как уверяет он, зуд в ногах, и в итоге мы двигаемся вдвое быстрее обычного. Во всяком случае надо быть признательным Слипке за его неожиданную помощь. Он предложил свои услуги весьма кстати в тот момент, когда я был готов изрядно разругаться с Вознесенским за то, что тот переманил к себе лучшего проводника, якута Макара Медова, которого мне рекомендовал старик Килланах.

Килланах — знаменитый проводник, знающий колымскую тайгу лучше, чем я родной Ленинград. Его зовут железным стариком. Дела Килланаха давно стали достоянием истории. Он надолго пережил свой век. В день моего приезда в Олу ему исполнилось сто два года. Это он для выгоды якутских купцов проложил некогда через Яблоновый хребет Ольскую вьючную тропу на Колыму¹⁾. Я разглядывал его, как чудо, как пришельца из другого мира. Он был когда-то ямщиком на Якутском тракте и вез Чернышевского в Вилюйскую ссылку.

— Дорога тяжелая, — сказал Килланах, — не раз'ехаться. Первый раз мы шли с Макаром пять месяцев. Макара совсем маленький был тогда. Нужна большая дорога, чтобы ямщик мог

много товара возить колымским людям. Ты, русский, приехал строить большую дорогу?

— Большая дорога будет потом, — ответил я. — Сначала нужно искать золото.

— Правду говоришь, — согласился старик. — Для большой дороги нужно много золота. Золото есть за Яблочным перевалом. Иди на устье Среднекана, оттуда поднимайся вверх. Там искал золото Бориска, там он и кончал свою жизнь, когда я в последний раз вел караван с Олы.

Все рассказы о колымском золоте так или иначе связаны с человеком, по имени Бориска Гафиулин, дезертиром царской армии, который хищником рыскал по тайге вместе с двумя друзьями, Кановым и Софеем Гайдулиным. В поисках золота они исходили все притоки верхнего плеса Колымы. Одеждой, лошаадьми, провизией и спиртом их снабжал некий Розенфельд, доверенный забайкальского купца Шустова, посланный фирмой на Колыму еще в тот год, когда компания предприимчивых американских дельцов оповестила мир об автотребеге из Нью-Йорка в Москву через Аляску, Чукотский полуостров, болота и топи устьевое участка Колымы и Якутию. Фантастическое по тогдашним и даже нынешним условиям намерение не осуществилось из-за колымского бездорожья. Розенфельд был оставлен на Колыме с наказом — найти золото. Он два года пробирался из Среднеколымска в Гижигу на Охотском море, избрал неверное направление, золота не нашел и послал в верховья реки Бориску с Гайдулиным и Кановым. Они искали золото в ключах, натыкались на мелкие россыпи, но легендарной жилы так и не нашли и, поругавшись, разбрелись в разные стороны. На устье Среднекана остался один Бориска. Он бил шурфы в самых различных местах, голодал, уходил на подсобные заработки в Сеймчан и, гонимый старательским чутьем, снова возвращался обратно, снова рыл ямы. Возле очередного шурфа, на дне которого блестели золотые зерна, нашел мертвого Бориску старик Килланах, когда вел свой послед-

¹⁾ Килланах умер в 1936 г., 108 лет от роду.

ний караван с Охотского моря на Колыму.

— Жадный был Бориска, — сказал Килланах. — Нашел золото и кончал жизнь от радости. Возьми, русский, с собой Макара. Макар приведет тебя на реку. Там, за могилой Бориски, сплошь золотые места.

Так я и сделал, но за день до отъезда из Олы, едва закончился период дождей за перевалом, Медов ушел с Дмитрием Владимировичем Вознесенским. Тот командирован на Колыму Институтом цветных металлов и прибыл в Олу почти одновременно со мной. Цель его приезда та же, что и моя, — найти колымское золото и выбрать наилучший вариант трассы, которая должна соединить будущие прииски с Охотским побережьем. На первый взгляд кажется, что мы делим шкуру неубитого медведя, но без дороги колымское золото наполовину теряет свое значение.

Медов несколько смягчил свой поступок, приведший меня в уныние. Перед тем как уйти с Вознесенским, он принес карту перехода и верхних колымских притоков, выполненную с детской наивностью.

— Среднекан, — сказал он мне, — известное место, а ты ищешь новое, богатое. Ищи ниже Бохапчи, на Утинке.

Мы продвигались из Олы точно по направлению, указанному Медовым. Слипка легко вел экспедицию от привала к привалу. Останавливаясь на ночевку, мы находили следы костров предыдущих караванов. Это искусство, достойное восхищения. Ольская тропа не может быть названа даже тропой. Лишь изредка мы попадали на узкие дорожки, полускрытые травой и ягодами голубики, а большей частью продирались сквозь таежные заросли. Сучья грозили глазам на каждом шагу. У лошадей давно были исцарапаны бока. А вокруг, охватывая нас кольцом и наполняя сознанием одиночества, властвовала глубокая таежная тишина.

И вот караван подошел к обрывистым склонам Яблонового хребта.

Путь через перевал до того тяжел, что невольно сравниваешь его с памирскими высокогорными экспедициями.

Узенькие покатые тропы кружат над самыми обрывами. Разойтись со встречным здесь невозможно. Снизу едва слышен бег ручьев. Лошади скользят, люди выбиваются из сил. Нам пришлось разгрузить животных и принять на свои плечи по лишнему пуду продовольствия и снаряжения. Нельзя сказать, чтобы такой выход (к сожалению, он единственный) повысил настроение моих спутников. На коротких стоянках между сопками они моментально засыпали, даже не сняв рюкзаков и не подождав, пока Слипка разведет костер и разогреет консервы.

Вид гранитных скал прибавляет мне энергии. Они — верный признак близости благородных металлов и всяческих полезных ископаемых.

Слипка и Кафтунов поставили палатку на берегу, несмотря на протесты Раковского, который считает, что у реки нас заедят комары. Он предложил для лагеря теневую полосу у зарослей чосени.

Кафтунов решительно отверг его проект.

— Тоже ученый, — добродушно проворчал он. — В такой густоте гнездится всякая нечисть почище мошкары.

Кафтунов был трижды прав. Заросли чосении, или корянки, как называется этот древовидный тальник, — естественная маскировка для хищного зверя. Не успели мы как следует расположиться, — из тальника, подтверждая слова старателя, вышел ленивой походкой бурый колымский медведь. Он, очевидно, не учуял нас, — легкий ветерок дул на палатку, — и направлялся к реке, полакомиться рыбой. Лошади, щипавшие траву на лугу, испуганно заржали и понеслись, кто куда. Медведь раздумывал недолго и, не обращая никакого внимания на нас, неуклюжими прыжками помчался за ними. Дело приняло нежелательный оборот. Кафтунов и Слипка, схватив винчестеры, ринулись наперерез медведю. Кафтунов на-бегу прицелился и, не рассчитав, промазал. Пуля, как мы выяснили потом, только просверлила обрубок медвежьего хвоста. Топтыгин взревел от испуга и боли и повернул на старателя. Кафтунов снова прицелился, но

Слишко опередил его. Он безошибочно попал в глаз медведю, и тот рухнул на траву в двух саженях от Кафтунова.

Едва мы перевалили через Яблонный хребет, как все мои представления о Колыме были опровергнуты действительностью. Несовместимые понятия: приарктическая область, вечная мерзлота и немилосердное солнце. Моему загару позавидуют и жители Средней Азии. Лето в этих широтах необычайно знойное и нетерпимое из-за всевозможного гнуса. Таково свойство местностей, имеющих резкий континентальный климат, пересеченных реками и необжитых людьми.

Термометр показывает в тени плюс 43 по Цельсию.

6. „Сезам открылся...“

Разбуженный трубным голосом старателя, Раковский так и не смог больше заснуть. Он зло прислушивался к сопенью обиженного Кафтунова.

Раковскому надоела экспедиция: бесполезные шатания в поисках каких-то немислимых жил по болотистым долинам, каменистым берегам реки, крутым сопкам. Он мечтал о шуме прибоя на отлогом берегу Олы. Тело, искусанное мошкаррой, зудело и чесалось. Он не вытерпел и встал. На ящике у выхода спал с тетрадь в руке Билибин.

Раковский поднял полог палатки и зажмурился. Яркий свет белой колымской ночи ослепил его на миг. Колыма еще спала.

Монотонно, как самолет в небе, гудела мошкара над устьем. Отмахиваясь от нее полотенцем, Раковский пошел вверх по берегу реки и, увязая в высокой траве, еще не прибитой августовскими заморозками, поднялся на пригорок, откуда был виден прозрачный ручей, называемый ключом Юбилейным.

Было два часа ночи, и над колымскими долинами клубились туманы. Сквозь молочную белизну туманов выступали незаконченными конусами оголенные вершины сопки. Снег на них по-

чти стаял. Раковский усмехнулся. «Кафтуновский барометр», подумал он.

«Если снег сошел с сопки, — говорил Кафтунов, — значит, рядом зима, и со дня на день можно ожидать нового снега».

Прорываясь через долины, стальной спиралью кружила между сопками Колыма, несла студёные воды к Ледовитому океану. Вокруг нее расстилалось рыжее море тайги, в котором маящими оазисами зеленели островки хвойных пород.

Раковский спустился с пригорка и, не думая ни о чем, наслаждаясь предугрошенной тишиной, побрел вдоль отлогого берега ключа. В быстрых струях его купала свои ветви корявка, похожая на иву, вытянулись в ряд стройные бальзамические тополя. Тальниковые заросли, схожие с бамбуком, естественным барьером стояли у самой воды.

Человек потревожил чуткий сон таежного мира. Хруст сучьев под ногами Раковского испугал диких уток, спавших в береговых зарослях. Утки сонно крякали и, тяжело поднимаясь над тальником, перелетали на другое место. Горностай взвилась на дыбки, некрасивый в летней полинявшей шубке, и, поняв опасность, стремительно юркнул в кусты. Ужом скользнул, вытянув узкое тело, полосатый бурндук.

Над ключом взмыл, выпинчиваясь в небо и расправив метровые крылья, орел-стервятник. Тень его, уменьшаясь по мере того, как он поднимался, слегка колыхалась на стеклянной поверхности ключа и вдруг исчезла. Над долиной пронесся и замер жалобный крик беззаботного зверька. Через минуту, кровожадно клекоча, орел вместе с жертвой снова взлетел над ключом.

Раковский восторженно замер на месте. У противоположного берега плескались рыжие медвежата. Они шумно фыркали, неуклюже топтались, обливали друг друга и яростно разгребали воду. Огромная медведица следила за ними с косогора и настороженно нюхала воздух. Старатель свистнул от изумления. Услышав свист, медведица забеспокоилась. Она спустилась к воде и шлепками вы-

толкала медвежат на берег. Те недовольно отряхнулись, взметнув над собой тучу серебряных брызг, и утонули в зарослях.

Раковский долго разглядывал свое отражение в ключе и никак не мог понять, почему желтыми пятнами покрыто его лицо. Он потерял лоб и щеки, но пятна не исчезали. Тогда он расплескал воду. Легкая рябь побежала в стороны, и он увидел желто отсвечивающее дно.

Его руки инстинктивно окунулись в прозрачную глубину, расплылись в ней, вдвое уменьшились и нащупали опору.

Дно было податливым, как всякое песчаное дно. Раковский сложил ладони лопаткой, вонзил их в дно и потом быстро поднял над водой. Ледяные струи пролились сквозь пальцы, забрызгали старателя. Раковский даже не почувствовал холода. Он ожесточенно мямл песок, выжимая из него влагу, и, разглядев то, что осталось на ладонях, помчался к палатке.

Его в эту минуту можно было принять за сумасшедшего. Полотенце он потерял возле ключа. Расческа и кiset с табаком были утеряны у самой палатки. Он вихрем ворвался в палатку и заорал не своим голосом:

— Юрий Александрович! Слипко, дорогой! Кафтунов, чортова борода! Взгляните, пожалуйста!..

Билибин, уронив тетрадь, соскочил с ящика. Слипко и Кафтунов стремительно поднялись из угла. Раковский протягивал к ним сложенные вместе ладони. На ладонях старателя блестело золото.

Билибин торопливо достал весы.

— Где? — коротко спросил он.

— В ключе Юбилейном! — задыхаясь от бега и радости, сообщил Раковский.

— Сколько раз зачерпнули?

Старатель вспомнил и рассмеялся:

— Не поверите, Юрий Александрович. Всего один раз.

Инженер ахнул.

— Здесь двести два грамма чистого золота! Невероятно! Ведите!

Едва поспевая за Раковским, они взбежали на пригорок.

Слипко мучительно напряг взгляд и внезапно закричал:

— Нашел! Товарищи, нашел! Вот, — показал он на долину, — тальник, куда чуть не сбежал второй бандит. У тальника я вместе с Панком зарыл обоих пепелявцев. Вспомните мои слова. У самого тальника лежат два круглых камня. В эту долину старый Панк завел белых. Ура!..

Из-за сопки величаво выплыло солнце, и тотчас же люди на пригорке заметили, как засверкало золотыми пятнами дно ключа. Будто солнце разбилось на множество кусков, и они утонули в ключе Юбилейном.

«Сомнения мои кончились, — записал в дневнике Билибин. — Будущие колымчане отметят во всех календарях 18 августа 1930 года. В этот день бывший студент юридического факультета, алданский старатель Раковский, участник экспедиции Геологического комитета Академии Наук, нашел на среднем течении ключа Юбилейного, притока реки Утиной, впадающей в Колыму, золотую россыпь небывалой мощности и протяжения. Сезам открылся...»

7. Разговор на берегу Ангары

— Кладовая, наполненная разнообразными ценностями, ключ от которой царские чиновники не удосужились найти за триста лет владения краем, вот, дорогой капитан, что такое Колыма!

Молодых со страстью прокричал последние слова и подставил разгоряченное лицо едва ощутимому дыханию ветра.

Разговор этот происходил на закате августовского дня 1931 года на тихой набережной изнывающего от зноя и пыли Иркутска, в служебном кабинете исследователя рек Восточной Сибири инженера Молодых.

Приятный полумрак наполнял комнату, тесную от обилия шкафов и полок с книгами. У окна стояли два глубоких кресла. В одном из них утонул собесед-

ник исследователя, человек небольшого роста, с симпатичным вдумчивым лицом. Форменный китель капитана морского торгового флота мешком висел на его узких плечах, образуя множество складок на спине.

Было много необычного и в этом человеке, и в его появлении в центре Азиатского материка, далеко отстоящем от любого морского бассейна.

— В Москве мне аттестовали вас, Иван Федорович, — полным уважением голосом сказал он, обращаясь к инженеру, — как единственного знатока Колымского края и его речной системы. Льшу себя надеждой ознакомиться с вашими выводами.

— Охотно поделюсь с вами, капитан, моими мыслями, которые, как вам известно, признаны в некоторых наших организациях, не так давно ведавших судбами водного транспорта, вредными и нелепыми.

— Не возражайте, — остановил он открывшего рот капитана. — Проект мой отвергли в центральном управлении водопутями как фантастический, по мнению одних, и открывающий Колыму врагам, по заключению других. Умники, — ироническим тоном продолжал он. — Что значит для них Колыма, если они не способны видеть ее перспективу! Развитие этого края может быть более головокружительным, нежели расцвет Аляски. На Колыме двадцать пять наименований полезных ископаемых, в том числе золото, серебристо-свинцовые руды, олово, самородная ртуть, слюда, самоцветы, каменный уголь. Опускаю пушной промысел. Бобры, сохатые, соболя, белый и голубой песцы, горностаи, — это одно, при правильной постановке промысла, даст свыше миллиона рублей золотом ежегодно.

Инженер задержал мечтательный взгляд на глади Ангары, несущей ледяные струи мимо окна. Река была окрашена в цвет безоблачного неба. Холмистые вершины противоположного берега, на котором виднелись серые строения привокзального поселка, делили глубокую синеву реки и бездонную глубину поднебесья на две искусственно разоб-
щенные части.

— Я не покидал Колыму в течение двух лет и не видел другого столь дикого и нетронутого края. Отсталость его в смысле путей сообщения настолько серьезна, что деятельность колымских организаций не может развернуться, будучи ограничена вопросами снабжения. Единственный, издавна практикуемый способ связи с Колымой — морские рейсы из Владивостока через Берингов пролив. Ни метеостанций, ни предварительных ледовых разведок в тех широтах не существует. Капитан ведет корабль, полагаясь лишь на свой опыт и чрезвычайно приблизительные сообщения прибрежных туземцев. Из двух с половиной месяцев полярной навигации добрая половина уходит на труднейшее плавание в одну сторону. А разгрузка? А возвращение? Не мне говорить вам о трудностях этих рейсов. Вы — моряк, плавали на Колыму, но приходила вам в голову мысль о другом направлении? Пытались ли вы и ваши коллеги вдуматься в целесообразность таких дорогостоящих походов?

— Погодите, погодите, — снова остановил он капитана, который порывался что-то сказать. — На вашей совести снабжение края, равного почти половине Европы. Ведь в случае зимовки корабля тысячи колымчан обречены на голод в течение целого года или, как они говорят, на «бесхлебницу», «бесчайницу», «бессахарницу», «бестабачницу».

Молодых снял очки, пожаловался на невозможную духоту, обычную для августа в Иркутске, и протер запотевшие стекла:

— Прошу не счесть меня морененавистником, — улыбаясь, сказал он и пояснил: — Мною выведена кривая посещения Колымского бара пароходами, и свидетельствует она не в пользу морских рейсов. Я не хочу охаивать морские рейсы, но их нерегулярность и частые зимовки кораблей, все это не то...

— И вы предлагаете? — поднялся из глубины кресла капитан.

Молодых усмехнулся.

— Ничего нового, кроме того, что признано нелепым и фантастическим. Я предлагаю направить основной поток грузов также морем, но через Охотское

побережье, минуя, однако, Олу. Ола не годится. Это открытый мелководный рейд, негодный для судов с большой осадкой.

— Бухта Нагаево? — догадался капитан.

— Вот именно, — подтвердил Молодых. — Бухта Нагаево, расположенная в двадцати пяти километрах от Олы. Сама природа позаботилась о Колыме, создав эту бухту. Она защищена от всех ветров за исключением западных. Естественные глубины позволяют судам производить в ней разгрузку в непосредственной близости от берега.

— Я заходил в Нагаево, — сказал капитан. — Мы брали там воду по желобкам из ручья, бегущего с горы Каменный Венец. Место действительно удобное и, как порт, равноценное, — на мой взгляд, Владивостоку, Петропавловску-на-Камчатке и бухте Провидения. Это лучшая якорная стоянка на всем Охотском море. Но я не представляю дальнейшего пути. Снабжение Колымы по Ольской тропе невозможно, а строить шоссе на 750 километров через Яблоновый перевал — нужны годы и годы. Карты Колымы...

— Все колымские карты врут, дорогой капитан! — перебил его Молодых. — Географическое положение реки и горных перевалов не соответствует официальным данным. Мною выяснено, что истинное географическое направление верхнего течения Колымы, при сравнении с картами, отклоняется от Сеймчана в сторону Охотского моря на 400 километров. Исправление ошибок, допущенных предыдущими исследователями, помогло мне установить отдаленность истоков Колымы от Охотского моря в 250 километров вместо 750.

Капитан взволнованно заерзал на кресле.

— Не может быть!..

— Вам еще многому придется удивляться, — предупредил его инженер. — Наши окраины богаты не только полезными ископаемыми, но и абсолютными нелепостями. На Колыме много подобных белых пятен.

Молодых встал и прошелся по комнате.

— Вместо Ольской тропы, — медленно, отчеканивая каждое слово, говорил он, — надо строить гужевую или автомобильную дорогу из бухты Нагаево на Среднекан. Вот основной вариант. Он признан фантастическим в управлении водопутями. Человеческая ограниченность, боязнь нового, вероятно, будет существовать во все времена. Ведь не хотят люди понять реальность и насущность моего предложения. Все, как один, отрещиваются от него.

— А плавания к устью? — сомневаясь, спросил капитан.

— Проект нагаевской трассы, — развил свою мысль Молодых, — не исключает морские рейсы вокруг Чукотки. Северный морской путь должен функционировать, но как подспорье охотскому направлению. Вы понимаете меня? Два варианта, два пути. Один дополняет другой. Если тяжелые льды отрежут устье, край имеет выход в Охотское море. Какая нелепость! — подсочил он к капитану. — Богатства сосредоточены главным образом на горной Колыме, которая занимает площадь примерно в полмиллиона квадратных километров на верхнем течении реки и ее золотоносных притсках. И вот, представьте, что население именно этого богатейшего района не обеспечено прожиточным минимумом, тогда как устьевый участок, куда приходят морские суда, частично затоварен. На Колыме пока есть один вид транспорта — собачья упряжка. Но собаки не в силах развезти все грузы по огромному краю. Продовольствие погибает на мысе Медвежьем от штормов. За время моего пребывания на Колыме жители устья, составляющие пятую часть населения края, имели три четверти всех запасов продовольствия и снаряжения. Стоит ли удивляться, что средняя цифра плотности населения в крае — один и три десятых человека на 100 квадратных километров!

— Вы правы, Иван Федорович, — согласился с ним капитан. — Решение правительства, выполнение которого поручено мне, предусматривает в первую очередь отправку грузов в отдаленные районы верхнего течения.

— Весьма своевременное решение, — сказал Молодых. — Бездорожье — трагедия Колымы. Чтобы освоить край, нужно разрубить гордые узел, разрешить, наконец, транспортную проблему. Это имеет огромное практическое значение для всего советского северо-востока. Однако прошу объяснить подробности похода. Судно окончательно выбрано?

— Да, — кивнул капитан.

Он извлек из внутреннего кармана чертеж и, пользуясь случаем, расстегнул китель еще на одну пуговицу. Легкий ветерок, дувший в окно с Ангары, совсем прекратился.

— Ну и пекло, — пожаловался капитан. — Не Сибирь, а тропики.

— Попробуйте окунуться в Ангару, — засмеялся Молодых. — Моментально остынете. В самое жаркое время года нулевая температура. Невозможная река. Я, сознаюсь, люблю ее за быстроту течения, за студеность, за синеву, за колоссальную мощь, в которой заложено будущее Восточной Сибири. Завтра вы пролетите над Балаганском и увидите в стороне от поселка палатки изыскательской партии. Там закладывается величайшая в мире гидростанция, равная десяти Днепрогэсам.

— Да, — повторил капитан, — судно выбрано: рейдовый буксирный пароход «Ленин». Он имеет небольшую осадку, позволяющую держаться вблизи берегов в море и подняться как можно выше по реке, и, кроме того, пароход двухвинтовой. Удобство неоспоримое, если учесть возможность встречи со льдами. Две машины помогут нам лучше маневрировать. Недостаток — ординарное днище. Любая льдина, напорись на нее, проткнет, как букашку. Риск несомненный, но какое настоящее дело, спрашиваю я вас, обходится без риска?

— Это не выход, — раздраженно протянул Молодых. — Освоение Колымы не должно идти за счет Лены. А вы хотите отнять одну восьмую тяговой силы Ленского флота и оголить Алданские прииски.

— Другого выхода нет, — тихо сказал капитан. — Нельзя допускать голдовку. Миловзоров и Сергиевский ведут из Владивостока два судна, то-

есть количество грузов удвоено против прежнего. Так что же, оставить их на мысе Медвежьем?

— И вы мечтаете, — скептически спросил Молодых, — добраться на этом судне до Среднеколымска?

— Я — моряк и привык выполнять до конца порученное мне дело. — Капитан произнес эти слова со спокойным достоинством. — Спорить о пригодности судна не имеет смысла. Важно — провести его через ледовый район моря Лаптевых и перебросить грузы, доставленные морскими пароходами, вверх по реке, пусть только до Нижнеколымска. Такова цель экспедиции. Я просил бы вас разрешить мне воспользоваться вашими картами реки Колымы, которые, по отзывам речников, составлены изумительно точно.

— И все-таки это не решает транспортную проблему Колымы, — сердито сказал Молодых. — Нагаевская трасса — вот ключ к освоению края. А карты я вам, конечно, дам.

Капитан встал и застегнул китель на все пуговицы.

— Переход «Ленина», — убежденно возразил он, — совершенно необходимое начало решения колымской проблемы.

8. „Ленин“ идет на Колыму

Унылой равниной сливается с безлюдными болотистыми топиями ленско-колымского побережья мертвое море Лаптевых. Ни одно судно не бороздит мутную зыбь его мелководья. Ни одно живое существо не нарушает его величавый покой на всем протяжении от мыса Челюскина и Северной Земли до Новосибирского архипелага и Ляховских островов. Только несметные полчища голубых паковых льдов, оторванные штормами от вечных полей Арктики, блуждают по воле ветра и течений в его безбрежных просторах.

Редкие смельчаки пытались проникнуть в тайны моря Лаптевых. Дважды торопливо пересекал его Амундсен на «Королеве Мод». Шведский исследователь Адольф Эрик Норденшельд с великими трудностями провел «Вегу» к

бухте Тикси и, не рискуя итти вдоль берегов, поспешил на восток через проливы Новосибирского архипелага. Без вести затерялся в ленской дельте барон Толъ, начальник экспедиции Академии Наук. На пустынных берегах моря Лаптевых погиб со всем экипажем лейтенант де-Лонг. Брошенную им шхуну «Жаннету» дрейфующие льды унесли неведомым курсом в небытие.

Опасно мелководьем, усеяно белыми пятнами неизученных глубин и пространств, коварно для человека море Лаптевых, самый неприветливый водный бассейн Великого Ледового пути.

Северная часть его никому не известна. Гидрографы и гидрологи предполагают, что там находится не нанесенный на карты архипелаг, так называемая Земля Санникова, которую никогда не видели люди. Южные границы моря Лаптевых, омывающие ленско-колымское побережье, отмечены на картах черточками пунктиров. Точность их условна.

Мощные реки советского северо-востока—Яна, Колыма, Индигирка, Лена—отдают ледовому морю потоки пресных вод. Эти воды способствуют почти моментальному замерзанию его южной части после первого сентябрьского шторма. И поэтому корабль, попавший в сентябрьский шторм, не достигнет намеченного порта, если предпочтет укрыться от шторма у берегов.

В 1919 году, попав в такой шторм, Амундсен увел «Королеву Мод» под защиту Медвежьих островов и был вынужден зимовать во льдах.

В 1931 году точно такой же сентябрьский шторм захватил Бочека на рейдовом пароходе «Ленин».

Арктика мстила отважному капитану за попытку сорвать с нее покрывало недоступности и воспользовалась ошибкой, которую он допустил в самом начале морского перехода.

Поступок Бочека был свойственен его натуре. Суть поступка заключалась в следующем.

Авантюрист Турутин, каких в тот год было много в глухих уголках нашей страны, повел крохотный речной пароход «Лена» с грузом строительных материалов на Ляховские острова. Мате-

риалы предназначались для постройки метеорологической станции на острове Ближний или Большой Ляховский. Станция была включена во второй международный полярный год как одна из основных точек восточного сектора советской Арктики.

Остров Ближний чрезвычайно удобен для научных наблюдений. Он разделяет ледовые бассейны Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых, расположен на середине пути между Леной и Колымой и представляет наслоенную тысячами массы окаменелого льда, в толще которого погребены обитатели доисторического мира — мамонты, мускусные быки, исполинские носороги. Ветры и море, постепенно разрушая крутые мысы и отлогие берега острова, обнажают богатые всевозможной ценной костью его ледяные недра.

Якутский гидрометеорологический комитет командировал на Ляховские острова семь научных работников и радистов. Они совершили героическое путешествие по льду пролива Дмитрия Лаптева, который соединяет остров с материком, построили на Ближнем радиостанцию и остались там на зимовку.

Три навигации тяжелые льды окружали остров и не подпускали к нему ни одного судна. Метеосводки, посылаемые зимовщиками в Якутск, все чаще чередовались с просьбами о помощи: продовольствие было на исходе.

В начале августа 1931 года ляховский радист радостно сообщил, что море до горизонта свободно от льдов. Гидрометеорологический комитет обратился за содействием к руководителям Ленского пароходства. Те сослались на отсутствие подходящего судна. Работники Гидрометеорологического комитета указали на «Ленин». Однако техник судонадзора Крысов забраковал пароход. Выбор пал на «Лену». Крысов считал «Лену» наиболее пригодным судном для ляховского рейса.

«Лена» пришла в Якутию в 1878 году вместе с «Вегой» Норденшельда. Годы изъели ее корпус. Котельщики боялись бить молотками по железу ее бортов: из ржавого корпуса, как пули, вылетали заклепки.

Начальником экспедиции и морским капитаном «Лены» был назначен штурман Турутин, приехавший из Владивостока.

Он гордо сказал:

— Хоть на плоту, но поплыву.

Руководители Ленского пароходства аплодировали этим словам отважного моряка.

«Лена» благополучно спустилась вниз по реке, вышла с баржей на буксире в море и бесследно исчезла.

В Якутске поднялась паника.

Эфир был заполнен тревожными возгласами:

— «Лена!» «Лена»!.. Сообщите, где находитесь... Почему не отвечаете?..

Турутин молчал. Так миновала неделя.

«Ленин» давно покинул Якутск и шел Быковской протокой через дельту к морю. Плавание по реке измотало капитана. Он почти не спал. Лучшие лодчаны, провожавшие экспедицию до устья, надолго запомнили этот переход: бесконечные сидения на мели перекатов, именуемых по-местному шиверами. Фарватер Лены оказался таким же изменчивым, как фарватер Миссисипи.

На рассвете восьмого дня Слипка увидел дымок за песчаными холмами дельты, за которыми, окаймленная овалом безлюдных берегов, покрытых белым ковром нежного ягеля, лежала бухта Тикси, будущий выход Якутской республики в море.

— Судно, Александр Павлович! — крикнул он.

Это дымилась тщетно разыскиваемая «Лена».

Турутин приехал в гости. Два капитана встретились.

Турутин в самых мрачных тонах информировал Бочка о своей неудаче.

— Торосистые льды забили вход в пролив. Попал в шторм. Один и шурую, и у штурвала стою. Не дошел всего сорока пяти миль. Течь в корпусе. Вернулся. И вам не советую выходить. Все равно застрянете!

Бочек холодно взглянул на него.

— Чем вызвано ваше молчание?

Турутин засмеялся.

— Адресуйте к радисту. Вот еще идиота прислали! Не умеет заряжать аккумуляторов и передавать радиogramмы.

— Но вы капитан! — не сдержался Бочек. — Как вы, не проверив, приняли такого радиста?

— Ну, а дальше? — спросил он.

Турутин пожал плечами.

Тогда Бочек распорядился перегрузить материалы и продовольствие на борт «Ленина» и послал радиogramму в Москву. Наркомвод дипломатично ответил, что заход на Ляховские острова на ответственности Бочка.

Зимовщики ждали помощи. И маленький капитан взял на себя эту ответственность. Через сорок часов, не встретив ни одной льдины, «Ленин» отдал якоря напротив радиостанции острова Ближнего.

На море стоял штиль. Турутин согласал дважды.

А дни летели, как самолет на полном газу. Навигация в море Лаптевых подходила к концу.

Шторм настиг «Ленина» у самой Колымы, когда капитан исправил последнюю погрешность на картах. Береговая линия к востоку от реки Большая Куропаточья была нанесена на них неправильно и в действительности лежала на десять миль к югу от официального направления.

— Вот и верь картам! — горько вздыхал Бочек. — Придерживаясь их, мы должны плавать по земле. — Он зябко ежился под ударами ветра. — Как плохо мы знаем свою страну!

Шторм примчал косые снежные шквалы. Они ослепили капитана, скрыли от него горизонт, запорошили тающими хлопьями судно. Восточно-Сибирское море разъяренно бросало тонны воды на палубу, сорвало наглухо закрепленные канатами бочки, унесло их за борт. Жалобно скрипели корабельные переборки. Волны торопливыми ворами сновали по судну, урча, перекатывались через дощатую загородку на шлюпочной палубе, где прижались друг к другу мокрые от брызг животные, взятые на случай зимовки.

Животные испуганно мычали. Морская болезнь действовала на них, как и на людей.

Команду укачало. Матросы и кочегары, никогда до этого рейса не видевшие моря, лежали с зелеными лицами и мутными глазами на койках.

Бодрствовали пять человек — моряки, прилетевшие с Бочком в Якутию. Боцман Алексеюк бесшумно стоял у штурвала. Радист нес вахту у передатчика. Старший механик Мазанка и машинист Слипка задыхались в смрадном чаду перегретого масла. Машинное отделение было похоже на неисправную кухонную плиту. Едва Слипка открывал дверь на палубу, чтобы подышать свежим воздухом, яростные потоки обрушивались на него, забивали рот и ноздри соленой горечью, каскадом падали в машинное отделение, звенели о железные плиты, шипели и вскипали пузырьками на разгоряченных мотылях.

Капитан не покидал мостика. Он вел пароход прямым курсом на Колыму, наверстывая время, потерянное у Ляховских островов. Больше всего на свете он ненавидел сейчас Турутина.

Арктика мстила за промедление. Невидные за снежной стеной, гонимые восточным ветром, навстречу плыли, мерно покачиваясь на волнах, фаланги паковых льдов. Их принесло из Чукотского моря.

Капитан ощутил близкую опасность по незаметным для берегового человека признакам: гребни волн стали более округлыми, зыбь плавно катилась на запад, грохот моря напоминал приглушенное рычание усмирленного зверя.

Капитан рывком повернул ручку машинного телеграфа. Мелодичные звуки утонули в стогах ветра. Стук мотылей прекратился.

Вскоре ветер прогнал шквалистую мглу за горизонт.

— Куда итти? — спросил сам себя Бочек.

Все море до горизонта было заполнено дрейфующими ледяными полями. Они медленно двигались навстречу «Ленину». Справа желтела узкая полоска воды. За ней угрюмо вздымались гра-

нитные вершины острова Четырехстолового.

Капитан медлил. Печальный опыт Амундсена и неуверенность в ледовых качествах рейдового парохода раздирали Бочека противоречивыми желаниями.

Повернуть к острову и там переждать, пока штормовой ветер унесет льды в море Лаптевых? На это напрасно надеялся еще старик Амундсен. Форсировать льды и пробиваться к реке? «Ленин» мог потерять выдающиеся рули, сломать винты, стать пленником дрейфующих льдов. «Дрейф во льдах на однодонном пароходе!..».

Бочек даже зажмурился от такой безрадостной перспективы.

Его не страшила зимовка. Продовольствием, теплой одеждой и топливом экспедиция была обеспечена. Но не дойти — означало посадить на голодный паек население Колымы и признать правоту человеческой ограниченности.

— Сорок восемь миль отделяют нас от устья, — передал капитан механику, когда тот прильнул ухом к переговорной трубке. — Мы совершим преступление, если повторим ошибку Амундсена и уйдем под защиту Медвежьих островов. Терять сутки в этом районе — наверняка зимовать, как зимовала «Королева Мод».

— Прикажете Слипку следить за коридорами гребных валов. Если льды попадут туда, немедленно стопорите машины.

— Полный вперед, Семен Касьянович!..

Первые удары паковых льдов потрясли судовую корпус.

Слипка стоял на полубаке, счастливый и гордый, как Колумб.

— Устье реки Колымы! — весело кричал он и посмеивался над сконфуженными речниками, которым все еще чудилось, что палуба ускользает из-под ног. — Остановка строго по расписанию. Кому во Владивосток, здесь пересадка!

На желто-коричневой ряби Колымского бара приветственно дрожали силуэ-

ты морских кораблей, пришедших из Владивостока.

Было 11 сентября 1931 года.

Ледовый вояж рейдового буксирного парохода «Ленин» через неизученный район Великого Северного морского пути занял семь суток вместо четырнадцати месяцев, запланированных досужими скептиками.

Капитан сдержал слово, которое дал правительству. Он завоевал Колыму с запада.

9. На курс № 23

В кают-компании было тесно и накурено. Мягкий свет ламп золотистыми лужицами разлился на линолеуме палубы, сверкал на мельхиоровых узорах кардановых подвесов, отражая в их полированной зеркальной глубине скучающие лица людей. В квадратные иллюминаторы скупое проглядывали сумерки полярного дня.

Третью неделю товаро-пассажирский пароход «Сахалин» форсировал ледяные поля Охотского моря. Послушный воле штурманов, он шел генеральным курсом на северо-восток.

Капитан начертил карандашом жирную линию на карте. Линия пересекала Охотское море и упиралась в Тауйский архипелаг.

На картушке компаса направление судна было обозначено условной цифрой:

№ 23.

На курсе норд-ост двадцать три лежала бухта Нагаево.

Необозримая белая пустыня расстилалась вокруг корабля. Ни одной синеватой полоски на горизонте, по которой опытный глаз полярника угадывает свободное от льдов море. Лишь узкий канал, пробитый форштезнем, как хвост, протянулся за кормой, да впереди, будто дыры от пуля на диске мишени, чернели крошечные точки нерпичьих лунок. Терпеливые зверьки просверлили их в метровой толще льда теплотой своего дыхания.

Стремительные толчки и скрежет льдин, царапающих корпус, заглушали человеческую речь в кают-компании.

Рывками раскачивались лампы на кардановых подвесах. Вода в графинах взлетала к пробкам. Жалобно дзинькала посуда в буфете. Пассажиры удрученно вздыхали и, чтобы удержаться на месте, цеплялись за выступы наглухо ввинченных в палубу столов. Это продолжалось третью неделю и начинало надоедать...

Третью неделю пароход взбирался на лед, дрожа мачтами, скрипя переборками, обнажая исцарапанную подводную часть. Он гулко дробил льдины, подминал их сокрушительной тяжестью корпуса, выталкивал наверх, нагромождал перед собой горы торосов и, пробежав несколько сажень вперед, устало крепился на борт. В сухом морозном воздухе раздавались, как шелканье кастаньет, перезвоны машинного телеграфа. «Сахалин» медленно сползал в канал, нехотя пытаясь и, снова взяв разбег, с неудержимой яростью бросался на ледяную толщу.

Изредка в кают-компании появлялись свободные от вахт моряки. Они подлогу пили чай, обменивались мнениями о прошедших вахтах, о вероятности зимовки во льдах. На взгляд штурманов, механиков и радистов, последний рейс «Сахалина» был самым тяжелым из всех ледовых вояжей торговых судов, работающих на Дальнем Востоке.

Капитан Успенский приводил в доказательство выдержку из лоции. Пухлая, как библия, лоция была для него и для остальных судоводителей нерушимым каноном.

«Началом образования ледяного покрова в Охотском море, — указывалось в ней, — следует считать первую половину ноября. Весь ноябрь, декабрь, январь, февраль, а для северного побережья и март, идет нарастание толщины льда».

Рейс «Сахалина» действительно был беспрецедентным.

Кончался январь. Зима на северном побережье Охотского моря оказалась редкость суровой. Пароходы «Свирьстрой» и «Дашинг», покинувшие Владивосток еще в навигационное время, едва успели добраться до Нагаево, разгрузили там продовольствие и, пытаясь вый-

ти обратно, застряли у «ворот» бухты.

Ледорез «Литке», поспешив на помощь судам, израсходовал все топливо и вынужденно зазимовал в Охотском море.

Несмотря на такой удручающий пример, 5 января 1932 года из Владивостока курсом на бухту Нагаево снялся товаро-пассажирский пароход «Сахалин» типа «северников», построенных на верфях Ленинграда.

Моряки были уверены, что не дойдут до порта назначения, но со свойственным им оптимизмом примирились с мыслью о зимовке. Их увлекали рассказы о колымских богатствах. Они слышали одним ухом, что геолог Билибин нашел на устье реки Утиной за Яблоновым перевалом баснословную золотую россыпь, затмевающую сказочные жилы Клондайка и Калифорнии. Участники разведочных экспедиций, которые возвращались с Колымы на пароходах, сообщали о том, что золотые россыпи найдены не только на ключе Юбилейном.

— Все ручьи, впадающие в Утиную, — утверждали одни, — текут по золотому дну.

— Дмитрий Владимирович Вознесенский, — сообщали другие, — вышел из Олы в одно время с Билибиным, взял направление на реку Орутукан и открыл на ней равноценные Утинским месторождения золота.

— Инженер Новиков, посланный на Орутукан для детального изучения района, спустя год после экспедиции Вознесенского, вернулся с вестью о золотосности всей реки, ее притоков и окрестностей.

— Геолог Цареградский обнаружил золото на реке Таскан, в среднем течении Колымы. Мощности этого района не имеет равных на всем северо-востоке.

Многое говорили участники экспедиций. Достоверность их рассказов подтверждали морские рейсы из Владивостока в бухту Нагаево. В навигацию 1931 года туда было отправлено такое количество рабочих и грузов, какого не видела Колыма за пятьдесят два года существования Ольской тропы старика Килланаха.

Ледовый поход «Сахалина» завершал эти рейсы.

Основной темой разговоров на борту была Колыма. Она вызывала затяжные споры между обитателями кают-компании.

— Наше время, — говорил старый моряк штурманам, — прививает совершенно иные взгляды. Плавали мы с вами на многих линиях и, надо признаться, дальше портовых магазинов и кабачков не заглядывали. А взгляните на молодежь, — кивнул он на штурманских учеников. — Колыма для них не только советское Эльдorado. Они заглядывают за границы бухты Нагаево, пытаются проникнуть в будущее этого края. Я завидую нашей молодежи и хотел бы вернуть свою юность, растрченную на дансинги и чайные домики.

— Опоздали, дорогой, — с'язвил радист. — Наше дело извозчицье. Новое время, новые песни, новые герои.

— Согласен с тем, — сказал старый моряк, — что всякое время выдвигает своих героев, но каждый из нас — винтик, приносящий пользу. Надо лишь уметь найти свое место, и жизнь станет куда содержательнее. Возьмите Александра Павловича Бочка. Он еще в мореходном училище мечтал стать полярником и осваивать неизученные земли.

Когда капитан умолк, в дверях кают-компании появился Берзин. Его лысая голова сверкала под матовыми абажурами ламп, как гладко отполированный костяной шар. Тщательно подстриженная бородка сглаживала угловатость его удлиненного лица. Ничто так не отличало его от других пассажиров, как взгляд. На моряков и пассажиров смотрели глаза мечтателя.

Берзин был прост и отзывчив. Некоторые ошибочно принимали эти его качества за мягкотелость. Рассчитывая на нее, один из штурманов, еще у Карафута, где пароход столкнулся с оторванными от берегов Сахалина ледяными полями, пытался уговорить Берзина вернуться назад. Штурман предпочитал плавать проторенным курсом в японские порты и, в душе смеясь над Берзиным за его сухопутный вид, красочно изо-

бразил ужасы зимовки в дрейфующих льдах.

Берзин внимательно разглядывал его и сожалеюще качал головой, когда тот передавал подробности полузабытых ледовых трагедий.

— Так, — мягко сказал Берзин, выслушав штурмана. — Встречался я и раньше с моряками... Вы трус или моряк? — в упор спросил он. Тем дело и кончилось.

Прошло двадцать суток, заполненных перезвонами машинного телеграфа и грохотом взломанных льдов.

Берзин переступил порог кают-компании.

— Веселитесь, товарищи, — подмигнул он. — Берег виден!

Моряки и пассажиры ринулись к иллюминаторам. Капитан взглянул поверх их голов.

— Ваша правда, Эдуард Петрович, — сказал он. — Долгожданный остров Завьялова. Осталось пятьдесят миль.

— Можно чемоданы укладывать! — обрадовались в кают-компании.

Капитан умерил восторг пассажиров.

— По чистой воде, — разъяснил он, — действительно на одну вахту ходу. Не забывайте про льды и не волнуйтесь. Через неделю будем в Нагаево.

— Поздравляю, — повернулся он к Берзину.

Тот засмеялся.

— Не меня, — вас поздравлять надо.

«Сахалин» отвоевывал пядь за пядью. Моряки вели его напролом сквозь льды, решив, что лучше зимовка, чем позорное отступление назад. Ибо двадцать пять пассажиров, которых вез пароход, были не совсем обычными пассажирами. На борту «Сахалина» находился штаб армии освоения горной Колымы: руководители, инженеры, геологи треста «Дальстрой», созданного по решению правительства.

Партия и страна поручили железному племени чекистов вдохнуть жизнь в огромный край вечной мерзлоты и головоломных загадок. Совнарком назначил директором Дальстроя Эдуарда Петровича Берзина.

10. Коррективы к лоции Давыдова

В лоции Охотского моря, принадлежащей перу знаменитого исследователя наших дальневосточных водных пространств и побережий гидрографа Давыдова, о бухте Нагаево упомянуто много и пространно. Не вдаваясь в подробности, интересующие прежде всего моряков, любознательный путешественник прочтет в ней следующие строки:

«В самой бухте Нагаево нет ни домов, ни селений, ни отдельных юрт; только на другой стороне перешейка, на берегу бухты Гертнера, близ берега моря находится несколько тунгусских летних чумов; сюда на лето из глухой тайги переселяется несколько семейств тунгусов для ловли рыбы и заготовки ее на зиму. С наступлением холодов и прекращением хода рыбы они бросают эти юрты и уходят вглубь материка для зимней охоты на пушного зверя».

1600 миль разделяют Владивосток и мертвые, в снежных шапках снегов на отвесных утесах, острова Тауйской губы, преграждающие путь кораблям, идущим в северо-западную часть Охотского моря. За островами скрыта в густых туманах длинная, будто огромный язык, бухта Нагаево, или, как называли ее в старину, бухта Волок. Отсюда казаки, приплывавшие с Амура за «мягкой рухлядью», волоком переправляли свои кочи на колымские притоки.

В бухте не бывает туманов, но подход к ней нередко в летние месяцы затянут слякотной мглой Тауйской губы. Капитаны не любят водить сюда корабли.

В навигационный период рейс из Владивостока в бухту Нагаево продолжается шесть суток. Сроки зимнего плавания впервые установлены моряками товаро-пассажирского парохода «Сахалин». Ровно через месяц после выхода из Владивостока «Сахалин» пробил узенькую дорожку в торосистых полях Тауйской губы и стал рядом с зимующими у «ворот» бухты грузовыми пароходами «Свирьстрой» и «Дашинг».

Первый в истории ледовый поход в сердце Охотского моря был закончен.

Каменные вершины обрывистых сопок мрачно нависли над пароходом. Пурга замела их голые склоны, утопила в сугробах отлогую тропу у подножья, стыдливо запорошила убогую декорацию берегов — побитый морозом кустарник и мохнатую загородь радостно-зеленого ползучего кедра-сланика.

5 февраля 1932 года Берзин сошел на обледенелую землю бухты Нагаево.

— Коррективы к лоции Давыдова необходимы и весьма существенны, — удовлетворенно сказал он, обводя взглядом угол бухты, где, трепеща на ветру парусиновыми стенами, раскинулись кварталы палаток. Несколько деревянных и фанерных домиков на самом берегу дополняли эту картину.

Так выглядел поселок треста «Цветметзолото». Остряки называли его «Ситцевым городком».

Никто из местных руководителей никогда всерьез не думал о возможности и необходимости постройки города на пуржистых берегах бухты, отрезанной шесть месяцев в году от всего мира. Люди, приехавшие сюда, чувствовали себя на бивуаке. К Утинке, к Таскану, к Среднекану, к Орутукану, к несметным колымским россыпям были направлены их помыслы.

Последние палатки «Ситцевого городка» граничили с тайгой. Тайга подступала к реке Магадан, впадающей в бухту, простиралась на сотни километров вглубь материка, глухая, непроходимая.

Будущее Колымы не трогало представителей различных организаций, ведавших снабжением края. Кроме разговоров о жутком бездорожье, невыносимых морозах и губительных наледях они ничего не смогли сообщить Берзину.

Дальстроевцам пришлось начинать сызнова. На просторной колымской земле не было никакого порядка. Порядка не было и в Нагаево. Грузы, доставленные морскими пароходами, валялись на берегу под сугробами снега. Ни одна тонна грузов не была отправлена в тай-

гу. Отряды приискателей, вышедшие на прииски, остались за Яблоновым перевалом без продовольствия и теплой одежды.

— Работы прекращены. Через двое суток лишаемся радиосвязи: нет продуктов, нет горючего, нет одежды и обуви! — сообщал управляющий приисками на устье Утиной.

Старатели бросали шурфы и уходили в Нагаево.

А в «Ситцевом городке» завоевали права гражданства клондайкские нравы.

Работники треста «Цветметзолото» расплачивались за свою беспечность. Вербовщики оказали им медвежью услугу. Они завезли в Нагаево, наряду с кадровыми рабочими, всевозможных искателей легкой наживы, соблазненных рассказами о колымских богатствах и легкой доступности золотых жил. Те и не думали о работе. Они издевались в глаза над представителями «Цветметзолото», а на все уговоры отвечали требованием отправить их обратно во Владивосток. Требование было невыполнимым до открытия навигации. «Ситцевый городок» сидел на отличном полярном пайке, отказывался даже от спасения погибающих грузов и пьяно распевал частушки:

Колыма, Колыма,
Новая планета.
Двенадцать месяцев зима,
Остальные — лето...

«Ситцевый городок», как удав, пожирал продовольствие для колымских приисков. В палатках метали банк. «Двадцать одно» заменяло в Нагаево клондайкский поккер. В банк принималась любая вещь: деньги, бидоны со спиртом, ящики с консервами, тюки с одеждой. На берегах бухты было чем возместить проигрыш.

И в этот разгул незванно вклинился басовый гудок «Сахалина».

Представители растерялись. Приезд Берзина был для них полной неожиданностью. Радиограмма, посланная им еще в день отплытия из Владивостока, вызвала лишь иронические замечания: ни-

кто из зимовщиков не сомневался, что «Сахалин» застрянет во льдах.

— Нашего полку прибыло, — шутили представители. — Еще один хозяин едет. Какой-то Берзин.

Кое-кому из них это имя было знакомо. По «Ситцевому городку» поползли слухи, малоутешительные для любителей легкой наживы.

— Да он у нас на Вишере работал, — радостно хвастались уральские дорожники. — Крепкий человек и вполне доступный. Каждого, кто заслуживает, уважит. А Вишера — река на Северном Урале, недалеко от Соликамска. Вокруг нее сплошь лесные места. Такое же гиблое место, как и Колыма. Вот Берзин приехал и начал бумажный комбинат строить. Народ вначале не шел: харчи неважные, овощей нет, а каждый летом зелень любит. Мы спустя год, как к строительству приступили, попали туда и удивились: и помидоры растут, и горох, и капуста, и картофель, и огурцы, и фрукты всякие, и розы цветут. До этого нам говорили всякую всячину: даже ехать туда страшно было. А приехали, и уезжать неохота. И фабрики построили, бумагой весь СССР снабжают, и дороги провели.

— Берзин самого Владимира Ильича Ленина охранял, — вот какой это человек, — гордо добавляли они. — Ленин его крепко уважал.

— Вспоминаю эту фамилию, — сказал представитель Интегралсоюза. — Когда левые эсеры устроили в Москве восстание, Берзин командовал артиллерийским дивизионом латышской бригады. Кто из эсеров жив остался, до сих пор его не забыл.

— Охотское море с ним не считается, — утешались некоторые. — До весны не выберутся, а мы тем временем свяжемся с приисками и забросим туда грузы.

Но «Сахалин» пришел зимой.

— На первом же пароходе вон с Колымы, — мягко, не повышая голоса, приказал Берзин «представителям», едва ознакомился с положением. — Хватит разбазаривать государственные

средства. Это вам не Клондайк и не Калифорния.

Он обошел палатки и встретился там с уральцами.

— Приветствую старых друзей, — сказал им Берзин. — На Вишере не плохо работали, а здесь споткнулись. Тоже обратно хотите? О чем раньше думали? Страна урывает средства от обороны и содержит вас, а вы рады случаю.

— Вы это напрасно, товарищ директор, — обиделись уральцы. — Все мы люди и грешны понемногу. На Урале хорошо, на Колыме денежно, такая думка у нас есть, верно. Но сидеть без дела не согласны. Если будет работа по сердцу, не уедем. Условия для жизни здесь неважные, но для пользы государственного дела потерпеть можно.

— Вот и хорошо, — потеплел Берзин. — Условия мы вам создадим. Еще претензии есть?

— Начальников много, — наперебой отвечали ему, — а пользы ни на фунт дыму.

— Начальников мы отправим во свояси, — обещал Берзин. — А разговаривать с ними будут на материке.

Большинство обитателей «Ситцевого городка» поддержало уральцев.

— Согласны остаться, только уберите от нас бандитов, — просили в палатках. — Жить не дают. Из-за них на корзинах сидим, как куры на яйцах. Все уносят.

Любителей легкой наживы дальстровеццы переселили в трюмы пароходов.

— Уговаривать вас не буду, — попрощался с ними Берзин, — отправляйтесь во Владивосток. Для Колымы ваша профессия не подходит.

На второй день «Ситцевый городок» вышел на работу.

Когда все грузы, разбросанные на берегах, были укрыты от непогоды и порчи, Берзин созвал чекистов, инженеров и техников. Речь его была программой действия Дальстроя на год вперед.

— Тайга голодает, — сказал Берзин,

в мечтательных глазах его появился оттенок страдания. — Нужны радикальные меры помощи. Вьючная тропа на Элекчан — первоначальное звено, за которое нам надо ухватиться всеми средствами. Элекчанский вариант, в результате данных разведок, мыслится так: немедленно наладить сообщение с Элекчаном на тракторах. Мне подсказывают, что подобный замысел заранее обречен на неудачу, что использование тракторов на сравнительно небольших участках северной тайги и прежде терпело крах. Скеп-ти-ки не требуются на Колыме. Гужевой транспорт не обеспечит прииски, прошу не забывать об этом. Надежды на туземное население пока не реальны. Эвенки еще не уяснили себе цель нашего приезда. Среди них придется терпеливо работать. Усвоить их привычки, считаться с их традициями, завоевать молодежь, уважать стариков, использовать до конца их знание края.

Первая тракторная колонна выйдет на Элекчан с продовольствием и теплой одеждой, следующие повезут технические грузы.

— Затем связь, — обратился он к техникам. — Без телефона здесь существовать нельзя. Проведем проволочную линию, будем разговаривать о постройке дороги.

Не забывайте о людях. Людей у нас в обрез, а значит, к каждому человеку должен быть особый подход. Создайте ему соответствующие условия, чтобы он легче переносил тяжесть разлуки с привычными местами. Учтите его способности. Поощряйте инициативу и пример. Наша задача — стереть с карты Советского Союза колымское пятно, то-есть помочь краю стать на самостоятельные ноги.

Не только заниматься золотодобычей, а превратить Колыму в производящий край, в котором будет кипеть жизнь и после того, когда в недрах его иссякнут золотые запасы.

Насчет трудностей говорить не буду. Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. На то мы и большевики.

11. Поход железных оленей

На картах горной Колымы нет этого названия. Оно приводится лишь в летописях освоения края, как память о мужестве и упорстве замечательных советских людей, именуемых дальстроевцами.

Элекчан!

Три героических эпизода связаны с названием старинного поселка у неприметной тропы, ведущей к верховьям Колымы, к Утиному стану и Среднеканским приискам:

поход тракторных колонн, под руководством Абрама Герштейна, — с грузами для голодающего населения верхних приисков;

поход связистов через наледи и пургу;

поход дорожников в болотистые топи колымских долин.

29 марта 1932 года сталинградские тракторы, будоража гулом моторов таежную тишину, вползали на лысую сопку за рекой Магадан. Берзин двинул их на штурм Элекчана.

С покатою вершины сопки перед колонной открылось захватывающее зрелище. С одной стороны, опоясанная кольцом высоких холмов, лежала Магаданская долина, заросшая редким лесом. Река делила ее на две неравные части. У бухты кольцо холмов было разорвано, и долина тянулась дальше широким коридором береговой полосы, на которой пестрели разноцветные пятна палаток «Ситцевого городка». Отвесные скалы вздымались над бухтой и замыкали долину с моря. Возвышаясь грядой гигантских обломков над ослепительным ледяным покровом Тауйской губы, величественно стояла на вахте гора Каменный Венец.

Долина жила. Посредине ее, в трех километрах от бухты, Берзин выбрал место для города Магадана. Вдоль извилистых просек сновали грузовые машины, плавно жужжали тракторы, ухали топоры плотников, доносился визг пил. Дальстроевцы безжалостно вырубали чахлый лес, готовя в долине площадку для будущей столицы горной Колымы.

По другую сторону сопки до горизонта стояла вековая нетронутая тайга: ко рабельные стволы и серебряные под снегом ветви гигантских кедров. Тайгу прорезали седые вершины Карамкенского перевала. За ними, как утренние туманы, курились над бесчисленными долинами розовые в лучах расплывчатого солнца испарения далеких наледей.

Тракторы гуськом спустились с Магаданской сопки и один за другим утонули в тайге. Через неделю зимующие в долине за Карамкенским перевалом эвенки услышали нарастающий шум. Будто все летние слепни летели с колымских алас в долину. Затем с обледенелых отрогов скатились и увязли в глубокоем снегу невиданные железные олени.

Высота снега в долине достигала трех метров. Герштейн распорядился рыть в снегу траншеи и выслал вперед разведку. Разведчики вернулись на следующий день. Они всю ночь плутали в снегах, обморозили лица и принесли неприятную новость:

— Дальше пути нет. Сплошная наледь, а в ней человек.

— Какой человек? — сомневаясь, спросил начальник и приказал отогреть застывшие на морозе моторы.

Разведчики не ошиблись. У самого края наледи виднелся человек в заячьей шапке, с трубкой во рту. Он протягивал трактористам руку, словно предупреждая о близкой опасности. Подойти к нему было невозможно. Вокруг, занесенная снегом, парила стынущая вода, выжатая льдом из ложа реки. Вода залила и сделала непроходимой долину. Войти в наледь было равносильно самоубийству. Она засасывала людей, животных, машины и наслаивала на них вязкую влагу, которая моментально обмерзала ледяными веригами. Человек в заячьей шапке, с трубкой во рту и судорожно вытянутой рукой был окоченелым трупом. Он, очевидно, пробирался с приисков на побережье и незаметно для себя оказался в смертельной колымской ловушке.

Едва тракторы подошли к наледи, позади колонны раздался гортанный крик. Все повернулись. От стана эвенков по следам тракторов мчался меховой ком. Он подкатился к колонне, с опаской обогнул фыркающие тракторы и остановился перед дальстроевцами.

— Там, русский, нельзя. Там кончал жить, — быстро, коверкая слова, заговорил он.

Трактористы изумленно смотрели на маленького эвенка.

Это был Эгет, сын старого Панка. Старик послал его предупредить русских, чтобы они не утопили в наледи железных оленей, и вывести их на безопасное место.

Начальник повернул колонну обратно и усадил Эгета на головной трактор. Эвенк испуганно закрыл глаза, сейчас же открыл их, осторожно притронулся к холодному металлу катерпиллера и вдруг рассмеялся.

— Железный олень, — почтительно сказал он.

Трактористы заулыбались. Эгет быстро освоился.

— Не знаешь, русский, Игната? — спросил он.

— А кто такой Игнат? — поинтересовался Герштейн.

— Кто Игнат?

Эгет припоминал слово, часто произносимое Панком.

— Игнат — русский, — сказал он и вспомнил: — Игнат — большевик.

Начальник внимательно посмотрел на эвенка и отрицательно покачал головой.

— Нет, — сказал он, — не знаю Игната. Мы тоже большевики.

Тогда он услышал странную историю о Слипко и плохих людях, которые хотели застрелить Панка, когда Эгет был совсем маленьким.

У стана Эгет слез и помчался к чумам, чтобы рассказать эвенкам о железном олене.

Колонна долго кружила по склонам долины и, наконец, вышла к подножью

Яблонового хребта. Начался мучительный подъем на ледяные стены. Трактористы не раз прощались с жизнью. Колыма защищалась от дальстроевцев шестидесятиградусными морозами, предательскими наледями и неприступными горными перевалами. На семнадцатые сутки колонна, победно рокоча моторами, вступила в безветренную долину Элекчана. Сталинградские тракторы выдержали экзамен.

Трактористы вошли в Элекчан с песней, которую сложили на коротких ночевках в падах Яблонового хребта.

Головной затянул:

Что смотришь на море невесело, друг?
Чего затуманился взгляд?..
Последний корабль отплывает на юг,
Последние чайки летят.

Трактористы дружно подхватили:

Возьмем карабины, подтянем пимы,
Собачью упряжку возьмем,
Пойдем на разведку полярной зимы,
На белые пятна пойдём.
На белые пятна, за синие льды.
Исследуем недра до дна.
И бурей повитые наши следы
Положит на карты страна.

Снова взвился над колонной, над рокошущим гулом моторов звонкий голос головного тракториста:

Далеко-далече родная страна,
Крепчая, над миром встает.
Далеко-далече, но с нами она
Походную песню поет.

Песня всколыхнула глубокую тишь таежной тропы. Она звучала в ней, как девиз:

И бурей повитые наши следы
Положит на карты страна...¹⁾

Призрак голодной смерти навсегда покинул прииски. Нескончаемым потоком двигались на штурм Элекчана колонны дальстроевцев. Берзин мечтательным взором провожал их до легкой сопки Магаданского перевала. Великое наступление большевиков на отрезанную бездорожьем Колыму продолжалось с востока.

12. Ночь в поварне

— Тагам!

Повелительное слово ударом бича рассекло морозный воздух. Олени задрали кудые хвостики и послушно ускорили шаг. Вскоре они перешли на дробную рысь. Копыта их звонко стучали по ледяной корке лежалого снега. Монотонно, жалуясь на бесконечный путь, скрипели полозья нарт. Устало кричал каюр-якут:

— Тагам! Тагам!..

Слишком бежал рядом с упряжкой. Одной рукой он держался за скользящие рога жоака, другой закрывал полуоткрытый от частого дыхания рот.

За головной нарткой вприпрыжку семенил Бочек. Пушистый капор из заячьих шкурок, огромные волчьи рукавицы, оленьи пимы выше колен и вывернутая собачьим мехом наружу кушлянка превратили маленького капитана в неуклюжее и громоздкое существо.

Длинная цепочка из оленьих упряжек и груженых нарт растянулась на кочковатой равнине пустынной тундры. Возле каждой нарты бежал укутанный в меха человек.

Прошло два месяца с того дня, когда Бочек закончил перевозку вверх по реке грузов, доставленных морскими пароходами с востока. «Бесхлебница», «бесчайница», «бестабачница» исчезли из колымских разговоров. Капитан увел судно в безопасный от ледохода затон Лабуя и, провожаемый всем населением, покинул Среднеколымск.

Морской состав экспедиции Бочка возвращался на запад. Путь был тяжел и утомителен даже при сравнении с ледовым рейсом «Ленина» через пунктиры моря Лаптевых. На протяжении трех тысяч километров кочковатой тундры и тайги между Колымой и столицей Якутии моряки встретили только два жилых пункта — Верхоянск и Абый. На картах они значились как города. На деле это были крохотные поселки: несколько десятков почерневших от времени изб, защищенных от морозов тройными рамами в окнах; несколько сотен бородатых людей, живущих охотой, рыболовством и давно отшумевшими ново-

¹⁾ Текст песни — В. Тихонова.

стями. Они промышляли песка, ходили с заговоренным ножом на сохатого и медведя, жадно слушали редкие капсе¹⁾ ямщиков, везущих почту из Якутска в Среднеколымск. Ямщики посещали эти места два раза в год, в месяцы больших холодов. Летом Верхоянск и Абый были окружены неприступными болотами, и случайный путешественник мог попасть туда лишь со стороны ледового моря Лаптевых, поднимаясь против течения диких порожистых рек Индигирки и Яны.

На переходе из Верхоянска в Абый морозы измучили моряков. Невидимые иглы больно кололи грудь.

Бочек из любопытства развязал рюкзак и взглянул на градусник. Серебряная жилка застыла на минус 63 по Цельсию. Градусник неожиданно лопнул в руках капитана: на этой равнине, в предгорьях Верхоянского хребта, находился мировой полюс холода.

Моряки пересекли равнину и, задыхаясь от крутого подема, поднялись на Верхоянские сопки. Дышать стало легче. Слипка не преминул удивиться этому и поделился открытием с остальными.

— Который раз прохожу здесь зимой, и всегда одна история, — сказал он, отдирая сосульки с бороды и усов. — Наверху свободнее дышится, чем в тундре. Никак не пойму причину.

— Шутка природы, — объяснил Бочек. — Неизученные еще нами законы движения арктического воздуха: Молодых предупреждал меня о такой несуразности. Холодные слои оседают в долинах. По рассказам участников высокогорных экспедиций должно быть наоборот. Однако мы с вами, несмотря на разреженный воздух, чувствуем себя легко и приятно. Жаль, градусник лопнул.

— Куда интереснее другое обстоятельство, — сообщил капитан. — Ляховские острова, где мы недавно были, севернее Верхоянска на тысячу двести километров, но там теплее, чем здесь...

— Тагам!..

Упряжки перевалили через сопки и

снова помчались по равнине на запад, где Слипка заметил низкий сруб поварни. В ней предстояло провести новогоднюю ночь — шестьдесят первую ночь берегового путешествия.

Поварня одиноко торчала на равнине. Это была полукрытая снегом мрачная избушка без окон, колымская гостиница, как шутливо называли ее моряки, — одна из редких вех, желанных для каждого человека, блуждающего в безлюдных пространствах северо-востока. В таких «гостиницах» коротал часы отдыха писатель Гончаров, когда возвращался с фрегата «Паллада» зимним путем в Петербург. Первобытность этих мест и примитивность бытовых условий потрясли русского барина.

— Где же останавливаются? Где ночуют? — с ужасом спрашивал автор «Обломова».

— В иных местах, — отвечали ему, — есть поварни.

«При этом слове, — ехидно писал Гончаров, — конечно, представится вам и повар, пожалуй, в воображении запахнет бифштексами, котлетами. Поварня, говорят мне, — пустая, необитаемая юрта, с одним искусственным отверстием наверху и со множеством природных щелей в стенах, с очагом посередине — и только. Следовательно, это quasi-поварня. Прямо на тысячу или больше верст пустыня, налево другая, направо третья и так далее».

Но Гончарову не приходилось ночевать в снегу. Поварни на Охотско-Якутском тракте попадались сравнительно часто, и он проводил каждую ночь у благодатного тепла камелька.

Моряки не мечтали о подобной роскоши. Спальные мешки из заячьих шкур были для них постелью и домом. Обычно ночь настигала их вдали от жилья. Какоры распрягали оленей и устраивали на равнине загородку из нарт, защищающую от пурги. У нарт копытили снег и нетерпеливо чмокали голодные олени. Скудный мох составлял единственную пищу неприхотливых животных. В кругу из нарт располагались моряки. Они стелили на снегу кукули и залезали в них, не снимая одежды: в шапках, кухлянках и пимах.

¹⁾ Разговор о новостях.

Изредка они набредали на поварни, где удавалось разжечь камелек и согреть воду, и однажды ночевали в смрадной уресе гостеприимного якутсковогода. Поварня была пределом их желаний.

Слипко радостно торопил упряжку:

— Тагам!..

И, воткнув хоррей в снег, остановил нарты у дверей поварни.

Сумерки заволокли тундру дымчатой мглой. Караван стал на ночевку.

Был канун 1932 года, и моряки хотели отпраздновать его у живительного огня камелька.

— Если посчитать, сколько новогодних ночей каждый из нас провел в пути, — сказал старший механик, — в душу тоска заползает. Крутишься на белом свете, плаваешь, штормуешь, а годы быстрее оленей бегут.

— Такая наша профессия беспокойная, — равнодушно отозвался боцман. Боцман был молод и еще не успел обзавестись семьей. Под каждой крышей он чувствовал себя дома.

Бочек грустно вздохнул и подумал о детях.

Каюры принесли охапку сучьев тундрового кустарника. Весело вспыхнул огонь, озарив закопченные промерзшие стены, полусгнившие половицы и мусор в углах поварни.

— Пора подумать и о житейском, — сказал радист. — Давайте встретим новый год по крайней мере чистыми.

Он с брезгливостью осмотрел свои руки.

Его ладони были покрыты серым загаром грязи.

Неделю моряки не умывались и не снимали кухлянок.

— Хорошо сейчас в бане попариться! — завистливо протянул радист. — Есть же счастливые люди на свете. Сидят дома в тепле, каждый день умываются и даже не подозревают, что на старушке-земле существует какая-то Колыма. Больше я сюда не езду. Такое удовольствие испытывают раз в жизни.

Слипко с неодобрением взглянул на него.

— Милый, — сказал он притворно-ласковым тоном. — Кой чорт заставил вас сунуться в нелюбимое дело?

Радист промолчал.

— Длинные рубли, — ответил за него боцман.

Слипко негодуяще фыркнул и, захватив ведро, вышел из поварни за снегом.

Через минуту он вернулся и повесил ведро над камельком.

— Умывайтесь, Александр Павлович, — предложил боцман Бочеку.

К полночи моряки привели себя и помещение в относительный порядок. Стол в поварне отсутствовал, и они приспособили чемоданы. Скатерть заменили полотенца. На чемоданах, радуя глаза колымских каюров, стояли бутылки со спиртом, разбавленным водой, банки с консервами, сухари. Возле каждой кружки лежали плитки шоколада.

— Выпьем, — сказал Слипко. — Выпьем за тех докторов, которых мы везли от Якутска до Жиганска, — вспомнил он женщин-врачей экспедиции Наркомздрава, избравших после окончания Московского института местом работы якутские наслеги и займки колымских низовий.

— Отличные барышни! Не побоялись ни дальности, ни бездорожья.

— Ничего, друзья, — ободряюще сказал капитан. — Будут еще здесь и доктора, будет и дорога. Наши дети с благодарностью вспомнят о нас. Мысль о будущем Колымы мирит меня с неприятностями колымского сегодня и делает перед самим собой оправданной разлуку с семьей, с привычками и культурной жизнью. Без жертв ничего не бывает в мире. А трудности преходящи. Мы строим социализм. В этом величайшее счастье всех людей советского времени.

13. Колымское капсе

— Нет, что вы ни говорите, но меня восхищает это сравнение! — прокричал Слипко на ухо Бочеку. — За одни сутки по Колымскому шоссе перевозится ровно столько груза, сколько перевезено за двести девяносто лет с того дня,

когда казаки открыли край, и до тех пор, пока здесь не появились дальстроевцы.

Бочек молча кивнул. Он был ошеломлен виденным.

Капитан не узнавал гиблой Колымы. В месяцы зимовки во льдах Чукотского моря он пытался представить себе перемены, происшедшие в крае, но действительность превзошла самые невероятные предположения.

За стеклом кабины мчалось шоссе, заботливо огороженное столбиками, пояснительными знаками и семафорами. Шоссе кружило на горном перевале, под облаками. В тысяче метров ниже вилась серая лента реки, уменьшалась и отступала назад дымки пароходов, приведенных Бочekom с Лены, желтые кубики строений Утиногo стана: новое здание обогатительной фабрики, мачты радиостанции, стеклянные рамы парников, зеленые квадраты дозревающей капусты, приисковые поселки, веером сбегające к Утинке, — Юбилейный, Заманчивый, Холодный, Глубокий, Кварцевый, Гнилой, построенные на месте лагеря экспедиции горного инженера Билибина.

— В тридцатом году, — сказал Слипка, проследив за направлением взгляда капитана, — мы били на устье Утиной медведей и сетовали на дикую безлюдность. Билибин рассказывал нам о феерической быстроте роста городов и поселков на Аляске, едва стало известно, что на берегах Юкона обнаружено золото. Инженер сомневался в наших возможностях. Он говорил, что русские туги на раскачку. Надо будет написать ему в Ленинград: пусть придет и взглянет на дело рук советских людей — дальстроевцев. На Клондайке и не мечтали о подобном расцвете.

Бочек радостно слушал прежнего соплавателя и удивлялся не только расцвету края, но и росту этого человека, с которым коротал пуржистые ночи зимнего путешествия по глухой и пустынной тундре. Слипка рос вместе с Колымой. В его ведении было сложное машинное хозяйство одного из лучших судов речного флота.

Старые знакомые встретились после чухлётней разлуки на устье реки,

куда Бочек привел караван речных судов, построенных на Тюменской верфи, по частям доставленных в Качуг на Лене и там собранных. Пятая речная экспедиция прошла через ледовое море Лаптевых. Десятки пароходов бороздили широкие плесы Колымы, на которых совсем недавно — в 1931 году — не плавало ни одно паровое судно.

Пунктиры ленско-колымского побережья исчезли с географических и морских карт. На кочках болотистой тундры и нежнобелом ковре ягеля вырос Усть-Ленский порт — выход Якутской республики в море. Напротив отепленных барakov, плотины мола, механических мастерских, узкоколейной дороги Усть-Ленского порта сонно клевали бушпритами шкуны изыскательных экспедиций. Старейший ленский лоцман-жук Афанасий Данилович Богатырев гордо говорил Бочечу:

— Вам, людям Большой земли, нечему удивляться. Но я доживу до той навигации, когда на причалах Усть-Ленского порта запоют порталные краны. Растет и строится отрезанная бездорожьем моя страна. Вот они покачиваются на рейде, морские шкуны, и скоро уйдут на остров Дунай, на восточный Таймыр, к Новосибирскому архипелагу выводить белые пятна с лица моей страны. Я — старик, много прожил, много видел. И с каждым годом мне становится радостнее жить. С каждым годом везу я вверх по реке, в улусы и наследи, богатое капсе — большие новости о настоящей жизни, которая расцвела на гнилых берегах бухты Тикси, о настоящих людях, присланных Сталиным подобрать ключи к моей стране со стороны ледового моря.

Разбуженная Якутия смотрела в мир через окно Усть-Ленского порта.

Караван благополучно пересек море Лаптевых, и капитан увидел бухту Амбарчик, где отстаивался в штормовые дни северо-восточной экспедиции. Берега бухты заросли складами, на рейде кружились на якорях пароходы, пришедшие из Владивостока, и лесовоз «Рабочий», путь которого в Колыму лежал с запада, через Карское море и пролив Вилькицкого.

Бочек взволнованно отсалютовал «Рабочему». Это был самый фантастический из рейсов, когда-либо совершенных к устью Колымы.

Капитан вспомнил скептические слова Нансена. Великий друг человечества и отважный арктический мореплаватель говорил, что грузовое движение по Северному морскому пути — утопия. Категорическое заключение Нансена было догмой полярников, подкрепленной тяжелыми условиями колымских рейсов с востока. Моряки не верили в возможность плавания с запада и возвращения назад без зимовки. Они ссылались на математику. Цифры с убийственной точностью свидетельствовали в пользу доводов Нансена: между Владивостоком и Колымой надо было преодолеть во льдах девятьсот километров, между Колымой и Архангельском либо Мурманском — вчетверо больше. Западный вариант оставался недоступным и соблазнительным абсолютной краткостью: он втрое сокращал путь в Колыму.

И вот, «Рабочий» пришел с запада.

Миновало четыре года с момента разговора Бочка и Молодых в Иркутске. Достоинием летописцев стали походы советских кораблей в ледовые моря — Чукотское, Восточно-Сибирское, Лаптевых. Челюскинская эпопея была призмой, сквозь которую человечество разглядело будни завоевателей восточного сектора Арктики, отделенного от европейской части Союза одиннадцатичасовой разницей времени: самоотверженную работу дальневосточных моряков. Они совместно с дальстроевцами положили начало блестящему расцвету горной Колымы — края, призванного сыграть ведущую роль в быстрейшем развитии всего советского северо-востока. Легендарная Одиссея капитана Бочка в Чукотском море — наряду со сквозными походами «Сибирякова», «Литке», «Челюскина» — одна из красочных глав истории арктического мореплавания. Будни экспедиций капитанов Бочка, Миловзорова, Сергиевского, Мелехова и водителя краснорыбного ледореза «Литке» Николаева были полны романтики, которая неотделима от пафо-

са большевистского освоения отдаленных пространств нашей родины.

Бочек вновь плыл вверх по Колыме и считал поселки и города, выросшие на берегах таежной реки. Там, где был пустынный залив Лабуя, в котором он оставил на зимовку первый пароход, приведенный с Лены, виднелись здания цехов судоремонтных мастерских, антенна радиостанции, кварталы жилых домов. Ежедневно радисты Лабуи сообщали судам, находящимся в плесе, о глубинах и горизонте воды: новшество, не известное даже на европейских реках. Вниз по Колыме спускались пароходы с голубой маркой Дальстроя на трубах. Они приветственно салютовали ленскому каравану и проплывали на Колымский бар, к бухте Амбарчик. За ними ползли вереницы барж. Дыхание горной Колымы слышалось на каждом из тысячи восьмисот километров судоходного плеса реки, от Утинки до понизовий, и даже серый Среднеколымск выглядел веселее и обжитее. Позорная кличка «Пропадинск», заслуженная им в годы царизма, звучала теперь анахронизмом. Границы края, точно по волшебству, раздвинулись, и Среднеколымск стал промежуточным портом колымской водной магистрали, связывающей устье реки с Утинским золотопромышленным районом. Оттуда струилось на юго-восток, к берегам Охотского моря, к столице Колымы — Магадану, к порту бухты Нагаево, автомобильное шоссе, проложенное на вечной мерзлоте, в тайге, на ледях и бездонных болотах.

14. Романтика Ольской тропы

Колымское шоссе протяжением в девятьсот километров начинается на побережье Охотского моря, у бухты Нагаево, тянется вдоль бывшей Ольской тропы, пересекает сплошную тайгу, болота и горные перевалы в северо-западном направлении и за рекой Колымой сворачивает в сторону Якутска.

На третьем километре от бухты Нагаево в просторной котловине расположен город Магадан, временный центр горной Колымы и крупнейший населенный пункт советского северо-востока.

На тринадцатом километре находится поселок Дужча, основная база пригородного хозяйства Магадана. Здесь молочная ферма, совхоз, электростанция, клуб, электродоилки, инкубаторы.

В долине на Яблоновом хребтом, на двести восьмом километре, вырос город Атка, второй по величине населенный пункт Колымского края. В нем свыше трех тысяч жителей, огромный гараж-пропускник, авторемонтные мастерские, электростанция, клуб, школы. Атка лежит недалеко от той долины, где не так давно существовал поселок Электран — несколько серых от древности зимовий. Они преграждали путь дорожникам. Дальстроевцы снесли поселок. На его месте протянулось Колымское шоссе.

На двести тридцать четвертом километре раскинула ветви столетняя лиственница. Жарким колымским летом под ее тенью с наслаждением отдохнет проезжий. Рядом с ней Черноозерский косогор. Его болото тянется на двенадцать километров. На постройку дороги через косогор было затрачено сорок шесть дней.

На двести шестьдесят втором километре дорога вторично пересекает Яблоновый хребет. С легкой руки строителей за перевалом осталось название «Дедушкиной лысины».

Через четырнадцать километров в сторону от шоссе убегает, теряясь в чаще, проселочная тропа к реке Талой и целебному источнику Горячий Ключ. На реке Талой, в одноименном с ней поселке находится оленеводческий совхоз и национальный центр горной Колымы. У реки двумя источниками пробивается из-под земли горячий ключ. Это место издавна известно кочевым эвенкам, которые приходили сюда лечиться от всевозможных кожных болезней. Дальстроевцы возвели у источника домик и поставили в нем две ванны. Вода ключа, напоминаящая вкусом тухлое яйцо, по желобкам наполняет ванны. На Горячий Ключ приезжают ревматика. Подземная температура ключа плюс 83 градуса по Цельсию. Поэтому река Талая, забирающая его воды, никогда не замерзает. Зимой окрест-

ности ключа скрыты густым туманом, а земля лишена ледяной корки, обычной на западе от Яблонового хребта. Под привоздушным слоем почвы 45 градусов тепла. Такая температура позволяет выращивать близ ключа фрукты и овощи в течение всего года. Десятки гектаров утепленной подземными водами почвы будут использованы под теплицы, парники и оранжереи. Даровое топливо колымской природы поможет круглый год расти на вечной мерзлоте Колымы нежнейшим плодам юга — низеньким японским мандариновым деревьям и лимонам, формозским ананасам, мускатной дыне, волжской антоновке, розам, магнолиям.

На двести восемьдесят пятом километре дорога спускается в заросшую лиственным лесом, окруженную сопками, котловину. По дну котловины струится река Мяжит, приток Буюнды, несущей свои воды в Колыму. У реки поселок Мякит: управление строительством трассы, полторы тысячи жителей.

Шоссе приближается к приискам.

На триста сорок пятом километре от Нагаева раскинулся поселок Стрелка, главный продовольственно-перевалочный пункт горной Колымы. Он весь заставлен огромными корпусами складов. Отсюда идет снабжение приисков, раскинутых по течению верхнего плеса Колымы и ее многочисленным притокам. Таежные тропы уводят караваны к Среднекану.

Трасса вьется вдоль приисковых площадей и на четыреста первом километре подходит к поселку Лариковая, связанному проселочной дорогой с приисками южного горного управления — Орутуканом, Таежным, Пятилеткой.

Пятилетка — крупнейший механизированный прииск района. На нем экскаваторы, механическая самотаска, конвейер-вагонеток, подвозящих золотоносный слой почвы из забоев к промывочным колодам.

На Пятилетке свыше тысячи человек населения.

На четыреста сорок пятом километре, у поселка Спорный, возникшего, как и все населенные пункты горной Колымы, в пионерский период деятельности

Дальштроя, шоссе разветвляется на два пути, один из которых проложен через горный перевал к устью реки Утиной.

По этому пути начал свое береговое путешествие капитан Бочек. Он сидел в просторной кабине пассажирского автобуса и невольно сравнивал сегодняшнюю быль Колымы с незабываемыми буднями трехмесячного перехода на оленьих нартах из Среднеколымска в Якутск.

Рыжий барьер тайги окаймлял дорогу. Тихая солнечная осень стояла над Колымой. Оголенные вершины окрестных сопок напоминали прибрежные скалы Чукотки. Между ними, взбираясь на склоны, кружа в долинах, пересекая таежные реки, нескончаемым потоком мчалось на юго-восток колымское шоссе, тесное от встречных караванов автопоездов.

— Талая, — предупредил шофер и затормозил машину.

В кабину вошел молодой эвенк. Слипко пристально оглядел его. Эвенк поднял глаза и расплылся в улыбке.

— О, Игната Василич! — поздоровался он. — В город Магадан едешь, да?

— Здравствуй, Эгет. — Слипко протянул эвенка к себе. — Какой стал взрослый! — вскричал он, тормоша его. — А что подельывает старина Панк?

— Панк вчера на колхозный съезд уехал, — ответил эвенк. — Эдуарда Петрович Берзин автомобиль прислал Панку.

Слипко повернулся к Бочечу.

— Не забыли, Александр Павлович, мой рассказ о маленьком Эгете с золотыми камешками и старом Панке, который спас меня от бочкарецев? Полюбуйтесь: Эгет, сын старого Панка, студент Магаданского педагогического техникума, будущий проводник социалистической культуры в колымской тайге. А старина Панк давно перестал кочевать, вступил в оленеводческий колхоз и больше не верит, что земля подобна человеческому лицу и обрабатывать ее все равно, что ковырять лицо человека. Недавно мы виделись с Панком в Талой, где он председательствует в колхозе. Старик вновь рассказал мне леген-

ду о стране Кулу. Но конец легенды новый, не тот, что я слышал от Панка в двадцать первом году. По словам Панка, Кулу не ушел на высокую ахору, то-есть на небо, а отправился далеко на запад посмотреть, правильно ли там живут люди, увидел много худого и остался с ними, чтобы научить их правильно жить. И зовут его теперь по-иному — Сталин, но Панк знает, что это Кулу, ибо никто так не заботился об эвенках и юкагирах, чукчах и ламутах, коряках и чуванцах, камчадалах и якутах, как мудрый Кулу. И дошло до него капсе, что погибает страна Кулу. Послал он сюда своих помощников-большевиков и назначил над ними начальника Берзина. Построили большевики города, проложили дорогу, стали крепко помогать всем народам. И начала процветать страна Кулу.

Капитан ласково смотрел на Эгета и думал, что пройдет еще несколько лет, и, — кто знает, — может, встретятся на бывшей Ольской тропе два советских гражданина — сын старого Панка и сын капитана Бочечка, — вспомнят о буднях своих отцов, о суровых и неповторимых годах освоения, которые уже теперь принадлежат истории. Ибо стремительна, как таежные реки, в своем победоносном движении, облагораживающая дела и поступки человеческие, великая эпоха социалистического строительства.

Они переночевали в гостинице города Атки и на следующий день прибыли в Магадан.

Этот город мог удовлетворить даже требовательного человека. Капитан жил в комфортабельной гостинице, питался в уютном ресторане, где столики были накрыты белоснежными скатертями, а на эстраде играл джазовый оркестр, смотрел в городском театре «Отелло». Магадан шесть месяцев в году был отрезан льдами Охотского моря от всего Союза, вплотную примыкал к тайге, но в нем Бочек нашел все, к чему привык житель советского города: телефон и радио, водопровод и канализацию, ванны в квартирах и трехэтажные жилые дома, парк культуры и два звуковых кино-театра.

Осмотр музея обобщил впечатления капитана. Он снова услышал страстные слова Молодых, которыми тот напутствовал его отъезд в первую ленско-колымскую экспедицию. Слова инженера сбылись. На месте вьючной Ольской тропы возникли города и автомобильная дорога. Города стояли на золоте. Дорога была тем ключом, которым большевики открыли кладовую колымских недр.

В открытое окно кабинета директора Дальстроя доносился приглушенный гул города: свистки паровозов, резкие sireны автомобилей, веселье перестуки тоисеров плотников.

— Магадан похож на Мурманск, — подытожил капитан свой разговор с директором. — Есть нечто общее между этими двумя заполярными форпостами Советского Союза, расположенными на разных концах нашей страны на расстоянии четырнадцати тысяч километров друг от друга. Их роднит индустриальный вид и овал угрюмых гор. Магадан — вылитый Мурманск начала первой пятилетки: растущий, как гриб, припортовый городок, те же двенадцать тысяч жителей. Правда, в Мурманске ныне в десять раз больше населения.

— Но за Магаданом молодость, — возразил Берзин. — Столица горной

Колымы вчетверо моложе рыбного Клондайка. Я не был в Игарке, но думаю, что город, заложенный Лавровым на Енисее, обязательно такой же, как Магадан. Однако не пытайтесь сравнивать его с давнишними жилыми местами здешних широт. Возьмите Охотск. Он существует двести лет, а в нем всего третья часть населения Магадана. Там церковь, здесь звуковое кино.

— Не считите сентиментальными мои слова, — сказал на прощанье Бочек, — но я всегда буду гордиться тем, что работал бок-о-бок с людьми, которые вдохнули жизнь в мертвые просторы Колымы, расшифровали геологические загадки и победили суровую природу.

— Причислите к ним и моряков, — заключил Берзин, пожимая руку Бочка. — Ледовые походы морских и речных экспедиций к устью Колымы, зимовки и дрейфы в Чукотском море, штормовые авралы в бухте Амбарчик говорят за себя. Большевики вдохнули жизнь в Колымский край и вырастили замечательных советских людей, — геологов, капитанов, дорожников, штурманов, связистов, врачей, матросов, приискателей, с которыми нестрашно никакое таежное бездорожье и отдаленность от центра страны. В этом, капитан, главное.

Бухта Нагаево — Магадан — Колымский Бар — бухта Тижси.

3. ПОЛЯРНИК ГЕОРГИЙ УШАКОВ

Глава из книги о походе «Садко»

(Фотоснимки — Г. А. Ушакова)

Э. Виленский и М. Черненко

Встреча произошла в 1929 году в приемной одного из отделов Центрального Комитета партии. Коренастый молодой парень еще с порога увидел сидевшего в углу человека в пенсне. Широколобое, загорелое лицо, освещенное спокойной улыбкой, подтянутая фигура в полуспортивном костюме были столь характерны, что не узнать их было невозможно.

— А, врангелевец! Как живешь?

Люди, стоявшие рядом, недоумевающе переглянулись. Моряк и врангелевец о чем-то оживленно заговорили. Потом, когда разговор окончился, один из свидетелей этой сцены спросил человека в пенсне:

— Вы что, у Врангеля служили?

— Нет, я и сейчас там служу.

— Как?..

— Я с острова Врангеля. Я — Ушаков..

В 1933 году человек подошел к зданию ЦК партии и предъявил партийный билет. Часовой просмотрел листки, где отмечается уплата членских взносов, и нравоучительно заявил:

— Что же вы, дорогой товарищ? Два года членских взносов не платили, а еще в ЦК ходите.

В бюро пропусков выяснилось, что человек с просроченным партийным билетом — представитель народа, населяющего один из самых северных островов нашей страны. Численность народа — четыре человека с партийной прослойкой в 25 процентов.

Это был все тот же Георгий Алексеевич Ушаков, полярник, человек с подкупающим, внимательным взглядом, умный и простой...

На «Садко» каюта начальника расположена рядом с капитанским мостиком. Сюда приходят не только с докладом о результатах проведенной станции, о работе машин или запасах угля и воды. К Ушакову приходит каждый, у кого назрела потребность поделиться своей радостью, горем или просто новостью.

На мягком, глубоком кресле, в котором никто никогда не сидит, гора книг и пепельница, набитая окурками. На стене браунинг и охотничьи ружья, малица, китель с тремя орденами: Ленина, Трудового Красного знамени, Красной Звезды. Награда за остров Врангеля, Северную Землю и за руководство работами по спасению челюскинцев. Стол и диван завалены фотоэтюдами. Ушаков не только хорошо стреляет, но и отлично фотографирует. Тот, кто видел его снимки с зимовок, знает, что каждый из них надолго запоминается, как отличное, живописное произведение.

Почти всегда начальника можно видеть бодрствующим ночью. Мы знаем — когда окончится томительная ночная научная станция, Ушаков придет к нам на палубу или в кают-компанию. Особенно любит Ушаков приключенческие книги. Попадись ему роман Киплинга, Майн-Рида, Жюль-Верна, Джека Лондона — и... пропала ночь. Он не любит спокойной, размеренной, сидячей жизни и не терпит книг, в которых герои умирают от старости. Люди его ро-

манов должны скитаться по свету так же, как и он сам. Если когда-нибудь в книге будет изложена жизнь Георгия Алексеевича, пожалуй, книга эта затмит многие увлекательные путешествия и рискованные приключения куперовских следопытов и лондонских золотоискателей...

Робинзоны острова Врангеля

В 1924 году, пробиваясь сквозь тяжелые льды, к острову Врангеля подошла советская экспедиция. На берегу



Сергей Журавлев.

она обнаружила следы хищнического хозяйничанья. У небольших избушек, сложенных из плавника, были развешены для просушки медвежьи шкуры. Валились гнившие туши моржей со спиленными клыками. Их убивали, очевидно, только из-за клыков. Хищники были задержаны. Среди них оказалось 13 эскимосов и один американец. Все они были высажены на остров предприимчивым канадцем Стефансоном, заверившим эскимосов, что остров принадлежит Канаде. Местным аборигенам было это почти безразлично. Они привыкли видеть в белом человеке, приходящем с Большой земли на их Малую землю, купца, грабителя и колонизато-

ра, который всегда угнетал в них человеческое достоинство, спаивал их и издевался над ними. Они привыкли видеть в белом человеке врага.

Прошло еще два года. Советское правительство решило организовать на этом богатом пушниной и зверьем острове полярную станцию, которая начала бы освоение природных богатств и научные наблюдения. Начальником ее был назначен Ушаков, молодой коммунист, работник дальневосточного Госторга, питомец старой амурской казачьей семьи.

Ушакову предстояло закрепить боевой стяг нашей родины на далеком северном островке, завоевать уважение и любовь эскимосов, вернуть белому человеку благородную дружбу этого маленького северного народа.

Впервые человек с Большой земли пришел в ярангу эскимоса как товарищ и друг. На далеком Севере с того дня зародилась легенда о новых белых людях — большевиках. О большевиках, «которых боятся черти». Но о чертях позднее. Сначала — о первой встрече Ушакова с эскимосами.

Она произошла в бухте Провидения на Чукотке. Ушаков проходил мимо небольшого чума. Из него неожиданно выскочили две совершенно голые девушки. За ними гнался старик с гарпуном. Ушаков подставил старику ногу. Старик упал. Падая, он что-то кричал. Затем встал и внимательно осмотрел незнакомого белого человека.

— Ты всегда так делаешь? — спросил он, наконец.

— Всегда.

Старик еще раз внимательно оглядел его, затем сказал:

— Ну, пойдём...

Так началась дружба. Потом из этого становища 11 семей — 50 эскимосов — переселились с материка на остров Врангеля.

15 августа 1926 г., высадив колонистов на необитаемый остров и не ожидая окончания постройки дома, ушел обратно во Владивосток пароход «Ставрополь». Корабль уходил от наступления льдов, столь опасных в этом районе Восточно-Сибирского моря.

Новые поселенцы, достраивая дом, жили в палатках. Они были то плотниками и печниками, то столярами и кровельщиками. Навешивали двери, вставляли окна, складывали печи, возводили пакгауз для грузов.

Как-то днем Ушаков заметил, что поверхность ручейка, протекающего вблизи дома, незаметно покрылась тоненькой корочкой льда. Грозный сигнал. Зимовщики поспешили перенести с берега в дом и в пакгауз консервы, сгущенное молоко, чеснок, все наиболее ценные продукты. Ночью ударил мороз и выпал глубокий снег. Высокие сугробы выросли на берегу, где лежало оставшее снаряжение станции.

Пришла зима, первая зима полярника Ушакова. Никто из 60 поселенцев не знал острова. Охотников было мало, — человек десять. Эскимосы не могли жить без мяса и жира. Сотня собак тоже требовала пищи. На всю долготу полярную зиму надо было заготовить моржовое мясо.

Северо-восточный ветер густой массой гнал вдоль берега лед, когда зимовщики организовали первую охоту на морского зверя. В миле от берега Ушаков заметил льдину с небольшим стадом моржей. Эскимосы, сбившись в кучу, угрюмо рассматривали море. Ветер стлкнул льды и ломал их на тысячи осколков. Ушаков отозвал в сторону храброго Иерока, эскимоса, славящегося по всей Чукотке как лучший рулевой.

— Иерок, у нас нет мяса.

— Да, умилек (по-эскимосски — начальник), у нас нет мяса.

Разговор эскимоса лаконичен и нетороплив. Позор, если умилек будет говорить более многоречиво.

— Надо ехать.

— Да, надо ехать.

— Почему же никто не едет?

— Они боятся. Видишь, лед.

— Но без мяса зимой еще страшней?

— Да, умилек, без мяса зимой страшней.

— А ты поедешь?

— С тобой поеду.

— А они?

— Скажем надо, поедут.

Когда Ушаков, Иерок и молодой охотник Таян, захватив ружья, направились к своему старенькому вельботу, к ним присоединилось еще 5 человек. Иерок сел на руль. Подхваченный попутным ветром, ботик помчался среди грохотающих льдов. Приходилось надрывно кричать, чтобы сосед расслышал слова. Лыдины то-и-дело сталкивались друг с другом и при столкновении разлетались на куски. Позади вельбота не-

дины на теле льдин. Осторожно, почти вплотную, охотники подбирались к моржам. Залп. Нужно быть отличным стрелком, чтобы с одного выстрела уложить огромное животное, попасть в узкое отверстие междуглазья, единственное уязвимое место в могучем бронированном лбу моржа. Один неудачный выстрел, и охота пропала. Стадо стремительно ринется в воду. Даже раненый морж не дастся в руки охотников. Его унесут товарищи, поддержи-



В походе по острову Врангеля. Завтрак.

ожиданно перевернулся огромный ледяной гриб. На месте его падения завертелась бурлящая воронка. Потом из воды вырос высокий ледяной столб. Он постоял всего несколько мгновений и с треском упал набок, обдав охотников водопадом брызг.

Моржи лежали у кромки льда. Сразу за льдом начиналось бешеное неистовство волн. Сумасшедший вихрь захватывал льды и заставлял их отплясывать вакхический канкан. Иерок прирос к рулю. Им овладело вдохновение. Без рукавиц, без шапки, с развевающимися волосами, он был похож на морского пирата. Руль слушался малейшего движения его руки. Вельбот пролезал в неподаваемые щели, оставляя свежие сса-

вая на воде. Часть из них может пойти даже в контратаку, орудуя своими страшными клыками-таранами. На этот раз после залпа на льдине осталось два огромных самца. Свежевать их не было времени. Обратный путь к острову закрывали льды. Охотники пришвартовали добычу к бортам вельбота и двинулись назад вместе со льдом. Время от времени удавалось раздвинуть две соседних лыдины и приблизиться на несколько десятков метров к берегу. Когда вельбот попадал в тиски между двумя лыдинами, все с замиранием сердца ждали, что вот-вот он треснет, как орех. Туши, привязанные к бортам, действовали, как буфера. Прошло несколько часов, пока охотники, вконец измученные,

ступили на берег. Две моржевые туши чуть было не стоили жизни восьми человекам. Но угроза голода зимой требовала риска.

Основной поселок колонии располагался в бухте Роджерса. Пять голых холмов. С моря только в подзорную трубу можно разглядеть на берегу одинокий домик, пакгауз и несколько эскимосских яранг.

В четырех комнатах, обставленных мебелью, привезенной с материка, жил Ушаков с женой, врач А. С. Савенко с женой, кладовщик Павлов И. П. с женой и двумя детьми. Каюта Ушакова (на зимовках закрепляются морские названия) была заставлена книгами, коллекциями и многочисленными охотничьими трофеями. В углу плита, сооружение которой стоило Ушакову немало сил. И крошечное зеленое растение, вывезенное из Японии и благополучно прожившее на острове вместе с Ушаковым три года.

В первую зиму в бухте Роджерса удалось убить всего 20 моржей. Лучшей охоты здесь не предвиделось. Поэтому Ушаков расселил эскимосские семейства по всему острову, в частности по северному побережью, где моржей было гораздо больше.

В октябре молодой лед сковал море у берегов. Ушаков, Иерок и группа эскимосов, обследуя северную часть острова, неосторожно вышли на этот молодой лед. Лед провалился. Потом они установили: здесь проходило сильное течение, подтачивавшее снизу льды.

Эскимосы в таких случаях обычно втыкают в лед ножи, набрасывают на них ремни и подтягиваются, как на лассо. Так поступили и на этот раз. Тянули друг друга, проваливались и снова тянули. Размочалили весь лед. Спасла маленькая старая льдинка, вросшая в молодь. С огромными трудностями удалось на нее вылезть.

70 верст ехали обратно до станции. Смерзлись в один комок измокшие малицы. Ледовый панцырь при каждом движении резал тело, рвал кожу.

Вскоре после ледяной ванны захворал Иерок. Ушаков тоже заболел — воспалением почек. После двухмесячной

борьбы со смертью он пришел в сознание и спросил:

— Что у эскимосов?

Товарищи долго мялись. Они не хотели отвечать, а потом признались: нет мяса. Собак начали кормить вареным рисом, собаки дохнут. Начинается цынга. Эскимосы боятся ездить на север для охоты.

— На севере, — говорят они, — чорт.

— Почему?

— Иерок поехал — заболел. Начальник поехал — заболел. Иерок умер, ты болен.

Суровая северная природа властвовала над умом туземцев. Грозные опасности, подстерегавшие их на каждом шагу, казались им делом рук добрых и злых духов.

На северном побережье эскимосы поселили злого и хитрого духа Тугнагака. Борьбу с ним эскимосы считали безнадежным делом.

Надо было спасти зимовку от голода. Что делать? С нетерпением ждал Георгий Алексеевич, когда к нему хоть немного вернутся силы. Ему удалось выйти на похороны Иерока.

— Со мной поедете? — спросил он эскимосов.

— Да.

— Почему?

— Ты большевик. Тебя чорт боится.

Ушаков ходил, пошатываясь. Кое-как он натянул кухлянку, приготовился к охоте. Но охотники вдруг заявили:

— Не поедем.

— Почему?

— Ты шатаешься. Тебя чорт не боится.

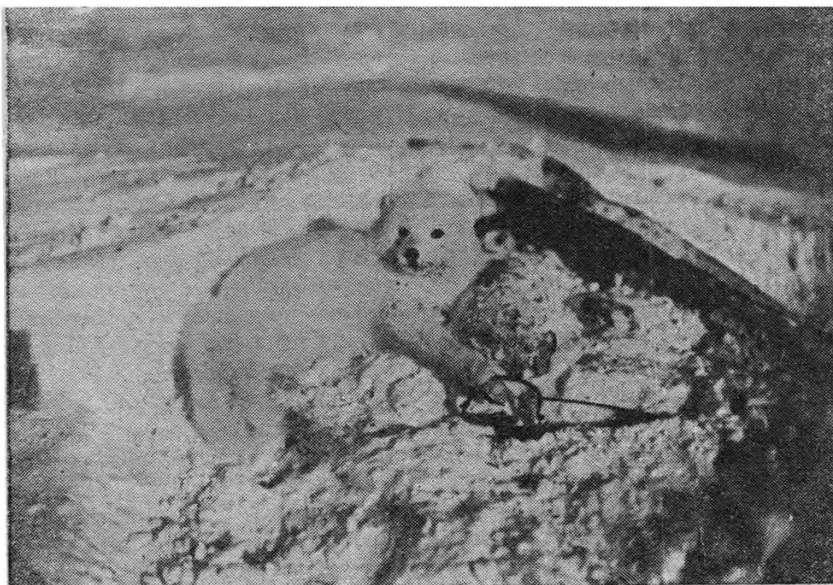
Надо было во что бы то ни стало восстановить свой авторитет. Ушаков решил ехать один. В случае чего к нему доберутся по следам нарт. Он знал силу суеверия, но все же где-то бродила подсознательная мысль: может быть, охотники, увидев, что начальник уехал, поедут за ним. Он ехал и оглядывался. Но снежная пустыня молчала. Кроме Ушакова, в ней никого не было. На счастье попался прекрасный большой золотистый медведь. Ушаков уложил его с первого выстрела. Начал снимать

шкуру, согнулся, а разогнуться не смог. Еле дополз до нарт, привязался к ним. Собаки привезли его на станцию в обмороке.

Но медведь сделал свое дело. По следу нарт его отыскивали эскимосы. Уже на следующий день уехало три человека. Затем отправились остальные. Перелом был создан, и сезон не был упущен. А Ушаков три недели провалялся с воспалением почек.

из поселка упряжки. Застигнутые пургой охотники отлеживались под нартами или заезжали в ближайшие яранги. Нередко, вернувшись домой, промышленник снимал кожу с носа и скул. Северный ветер и 30 — 35-градусный мороз шутить не любят.

Первая зима многому научила. На вторую и третью зиму полярники заготовили запасы мяса заранее. Забота о продовольствии отошла на второй план,



Зимой в калканы попадались пушистые белые песцы.

Так исподволь завоевал Ушаков доверие и уважение маленького северного народа.

23 ноября показался лишь верхний край солнечного диска. Небо горело, а вода казалась черной вороненой сталью. Снег переливался розовыми, оранжевыми, синими и фиолетовыми цветами. На следующий день солнце исчезло. Поблекли все краски, ландшафт посерел, словно осыпанный пеплом.

Началась первая полярная ночь. Морозы доходили до 60 градусов. Жестокие бесперывные метели буйствовали над островом.

Уменьшились запасы мяса. Надо было наряду с промыслом песца вести активную охоту. Ежедневно выходили

и все свободное время зимовщики отдавали научным работам, исследованиям и картографированию острова, сбору коллекций горных пород, растений, животных. Эскимосы деятельно помогали в этой работе людям с Большой земли. 28 дней в жесточайшие морозы производилась маршрутная съемка острова. Распльвчатые границы, прочерченные лишь пунктиром, на новой карте уступали место четкой линии берегов, бухт и мысов. Гористый, суровый остров, затерявшийся на востоке северных морей на рубеже Ледовитого океана, имеющий длительную историю безуспешных «открытий», навсегда потерял славу неприступного белого пятна. Наука получила неоспоримые доказательства

былой общности острова и материка. Только в четвертичном периоде море затопило перешеек, соединяющий остров с материком, и образовало пролив Лонга.

Тридцать шесть месяцев жил на острове Ушаков со своими товарищами, жил бок о бок с эскимосами, сталкиваясь каждый день с ними в быту, на работе и охоте. Ушаков увидел, насколько порочно и ошибочно мнение об эскимосах, как о бездельниках и лежебоках.

Обсуждаясь на территории острова, эскимосы предполагали селиться в своих ярангах. Но они очень внимательно следили за тем, как русские устраивают себе из плавника теплые избы. Месяца через два в становищах рядом с юртами появились сложенные из плавника избышки.

Вечером в кают-компаниях заводили патефон.

Эскимосы слушали музыку. И как-то после одного из таких концертов Ушаков услышал, что эскимосы напевали мотив, слышанный ими только один раз.

Однообразие одежды и обуви делает на первый взгляд одноликими всех этих темноволосях, темноглазых, широкоскулых людей. Но, присмотревшись, можно видеть индивидуальное в каждом из этих лиц; многие из них характерны правильными и приятными чертами. Особенно много милостивых девушек. Они носят меховую одежду, в которую стараются вшить куски белого меха. Свои камлейки они расширяют разноцветными полосками материи. Все, что попадает яркого, — то ли блестящая пуговица, то ли бисер, — все это неизменно влетает в костюм эскимоски. Этим они стремятся скрасить однообразие северной природы.

Эскимосы вспыльчивы. Но они в то же время добродушны и незлобивы. В их словаре почти нет ругательных слов. Самое сильное ругательство, которое эскимос произносит очень редко, это:

— Ты не умеешь жить.

Они правдивы и преданы, их слову можно верить. Обманщикам они дают

краткое вразумительное прозвище — «врательник»¹⁾.

Но суеверия и родовые обычаи цепко держали в руках наивное сознание эскимоса.

Своеобразный обычай наблюдали Ушаков и его товарищи во время погребения Иерока. Лишь только старик скончался, его одели в обычный рабочий костюм. Высокие торбасы из оленьей кожи натянули на ноги. Надели шапку, рукавицы. Покойника положили на оленью шкуру и покрыли одеялом. Сверх одеяла вдоль тела положили деревянный брус. Затем, завернув концы постели и одеяла, тело вместе с брусом увязали тонким ремнем из нерпячьей шкуры. Началась прощальная трапеза. Блюда с мясом ставили на покойника. Кончив еду, пили чай. Об'едки собрали в блюдо и затем, ухватившись за петли ремня, вынесли покойника ногами вперед из яранги и опустили на снег. Начался «разговор» с покойником. Два ближайших его друга — Етуи и Кмо — задавали вопросы:

— Отчего ты умер?.. Не шаман ли принес тебе смерть?

Взявшись за концы шестов, Етуи и Кмо делали вид, что тело приподнять невозможно. Это — отрицательный ответ. Если тело покойника легко поднималось, это значило — «да».

— Ты один пойдешь?

— Да.

— А после тебя никто не умрет?

— Нет.

— Будет ли у нас мясо?

— Да.

— Закопать тебя в землю?

— Нет.

— Разве ты собираешься куда-нибудь уйти?

— Да.

— Ты, наверно, пойдешь на ту землю, где похоронена твоя жена?

¹⁾ Много сделали для улучшения быта эскимосов полярники Минеев и его жена Власова, пять лет зимовавшие на острове Врангеля после Ушакова. Эскимосские женщины, под руководством Власовой, переняли многие культурные европейские привычки. Они научились опрятности, начали носить белье, одели в белье детишек, которых раньше обычно заворачивали в меховые мешки.

— Да.

Допрос окончен. В нарты впрягли собаку, и при свете фонарей траурная процессия ушла в гору. Женщины остались внизу. На остановках провожающие обходили вокруг нарты, терлись о труп кто боком, кто плечом, потом снимали с себя верхнюю одежду и трясли ее над трупом. Они передавали покойнику все свои недуги.

В узкой, неглубокой снежной яме Иерок нашел свое последнее пристани-

кусок кирпичного чая и жевательный табак — весь несложный провиант охотника.

Покойнику надо было отрезать путь в поселок. И, возвращаясь обратно, эскимосы «путали дорогу». Отойдя немного, они повернули назад и сделали петлю, как бы завязывая узел, затем завязали второй узел, третий, пятый. У самого поселка процессия вышла на лед. На берегу разожгли костер, каждый из провожавших, покувыркавшись на глад-



Островок Домашний, на котором два года прожил Ушаков с тремя своими спутниками.

ще. Все, что было на покойнике надето, сняли и разорвали на куски. Сломали нарты, доски, полозья, разрезали ремни. Кучу обломков придавили камнями. «Если оставить все целым, Иерок скоро вернется обратно и уведет с собой еще кого-нибудь. А сейчас, пока он все исправит, забудет дорогу и не придет» — поясняли Ушакову старики.

У головы покойника выложили круг из камней. Его заполнили вещами Иерока, тоже тщательно изломанными и приведенными в негодность. Обломки ножа, точильного бруска, продырявленный чайник, черепки чашки и трубки, кисет с табаком, спички легли вниз. Наверх положили сухари, горсть сахара,

кой ледяной поверхности, старательно тряс и выбивал свою одежду над костром. Все, что пристало к ним от покойника, должно было исчезнуть в огне костра.

Суеверия эти старательно поддерживались шаманами, искренно и откровенно ненавидевшими белых пришельцев — большевиков, — несущих крах старой жизни, власти шамана над эскимосом.

Поселившись во время одной из экспедиций в палатке, внутри которой проедники-эскимосы разбили свою ярангу, Ушаков рано утром обнаружил отсутствие одного из эскимосов. Он осторожно отдернул полог палатки и увидел

у самого выхода согнувшегося человека, который оживленно с кем-то говорил. Перед ним стояло блюдо, в котором лежали печенье, колбаса, сахар, конфеты, чай, табак, только за день до этого подаренные ему Ушаковым. Разбуженный охотник перевел разговор своего товарища.

— Серт, ты слышишь меня, Серт, — говорил он. — Мне все это дал начальник. Ты ведь не ел таких лакомств. Но я тебе дам и буду всегда давать. Но ты меня тоже не обижай, Серт, слышишь. Ты пошли мне зверя и нерпу, а я много тебе дам таких лакомств, как мне дал начальник...

С севера дул злой ветер, с севера приходили холод и пурга. Следовательно, там живет злой дух — серт (чорт по-русски), — так веровали эскимосы. Этого злого духа они представляли в виде черного полярного ворона, который даже зимой оставался на острове.

— Душа человека живет в белом медведе, — говорил шаман.

И, убивая медведя, эскимос уверял его в своей невиновности. Прежде, чем подойти к убитому зверю и снять с него шкуру, он говорил зверю, что убил его не он, а кусочек свинца, случайно выскользнувший из винтовки. Когда убитого зверя привозили в ярангу, ему воздавали почести, перед ним расстилали оленьи шкуры, раскладывали чай, сахар, табак, хлеб. У головы мишки садились охотники. Они били в бубен, рассказывали сказки, чтобы занять душу медведя. Все становище приходило на праздник, который тянулся 3—4 дня, несмотря на то, что охота была в разгаре.

Убитому моржу так же, как и медведю, отрезали голову. Укладывали ее на разостланной шкуре перед ярангой, носом к входу: тогда зверь не убежит от человека. А для того, чтобы он не учуял неприятного ему человеческого запаха и не сердился, меж ноздрей его разрезали кожу.

Среди эскимосов лучшими охотниками считались Паля, Таяна и Аньялин. Когда-то, еще на материке, Паля вместе со своим отцом ушел на моржовую

охоту. Нагрянул шторм, и охотников унесло в море. Тогда отец Паля, шаман, помолившись богам, объявил, что боги ждут его смерти и Паля должен застрелить его. Паля не смел послушаться, хотя любил отца. Он застрелил старика, и по случайности буря скоро утихла, а льдину с Палей и трупом отца прибило к берегу.

Спустя несколько лет зимовщики попросили Палю убить редкую на острове птицу — большую белоклювую гагару. Паля смутился:

— Умилек¹⁾. Я не могу ее убить. Это мой все равно отец. Если я его убью, мне будет плохо.

Оказывается, гагара — тотем семьи, к которой принадлежит Паля...

Много пришлось белым людям воевать с суевериями эскимосов. Медленно отмирали нелепые верования, обоже- ствлявшие природу и зверей. Отмирали по мере того, как разрастался охотничий промысел, а деньги и мясо, полученные за сданную шкуру, приносили в ярангу достаток и славу о «больших охотниках». Неравнодушные к славе эскимосы забывали дедовские обычаи и все реже и реже навещали своего шамана.

Охота отнимала все время. Зимой в любую погоду охотники об'езжали песцовые капканы. На медведей ходили осенью, когда они выходили на берег, и весной, когда самки покидали берлоги. Весной во время взламывания льда к берегам приходили тысячи моржей. Они паслись вокруг острова на мелком иловатом дне, богатом прибрежными морскими растениями и животными.

Зимой, когда на острове Врангеля морозы доходили до 60 градусов и на остров обрушивались бешеные метели и ветры, люди, выходя из домов, привязывались ремнями друг к другу. Натянув косматые меховые сапоги, переброшив через голову широкую малицу с капюшоном, они не шли, а почти ползли, низко пригнувшись к земле. Кожа покрывалась ледяной маской. Крупинки льда и снега кололи незащищенное лицо. Но эскимосы выезжали на охоту...

¹⁾ Умилек — по-эскимосски начальник.

Однажды в середине марта Ушаков отправился с группой эскимосов на северную сторону острова. Было ясное утро. Дул легкий юго-восточный ветерок. С раннего утра сильно морозило. Отъехав километров десять, они почувствовали, что ветер перешел на восточный, затем начался встречный норд. Даль затуманилась. Под ногами закружился снег. Навстречу потекли узкие снежные ручейки. Они росли на глазах, и над ними, словно пар, все выше и вы-

рвал с лица снежную маску и... замер от удивления. Полузанесенная снегом нарта прочно, как вкопанная, стояла на месте. Вокруг лежали, свернувшись клубочками, собаки. Они были почти занесены снегом. Пытаясь укрыться от снежного вихря, собаки, очевидно, повернули сани на 180 градусов и ушли под их прикрытие. Седок, облепленный снегом, не заметил маневра. Повернутый к ветру, он переживал полнейшую иллюзию бешеной езды. Ушаков весело



Лагерь на Северной Земле.

ше поднималась мельчайшая снежная пыль. Началась метель. Собаки уже склонны были остановиться. Ветер крепчал с каждой минутой. И вдруг почти остановившаяся нарта Ушакова внезапно повернула куда-то и понеслась с быстротой курьерского поезда. Вихрь снежной пыли забивал глаза. Собаки растаяли в белой пелене.

«Должно быть, медведя учуяли. Понесли» — мелькнула мысль.

Ушаков потянулся к винчестеру. Надо было прекратить эту бешеную скачку. Он напряг все свои силы и повалился на тормоз. И тут произошло невероятное. Тормоз подался вперед без всяких усилий, без отдачи. Ушаков со-

посмеялся над проделкой своих четвероногих друзей и пошел к двум другим возницам. Оба они пребывали в том же неведении, в каком находился несколько минут назад их начальник. Сани стояли на месте, собаки улеглись в снег, а возницы безумно мчались куда-то, подпрыгивали на месте, громко понукая собак криком «эк-эк», уверенные, что нарты вихрем несут их вперед.

Дальше двигаться было нельзя. Собаки вышли из повиновения, не слушались команды, бросались из стороны в сторону. Надо было возвращаться. Путники пошли сквозь дикую пургу. А над ними стояло яркое солнце и бездонное нежноглубое, ясное небо. Ни одной

тучки, ни одного намека на облака. Лишь на высоте десяти метров от земли — завывание ветра и бешеная вакханалия снежного вихря. Через полчаса путники подехали к колонии. Ясное небо, еле заметный северо-западный ветерок и... никакой метели.

Ушакову приходилось привыкать к капризному и суровому климату. Он знал — эскимосы больше всего ценят в человеке силу, выносливость, находчивость. Величайшим презрением окружают они не только лгунов, но и лентяев. И начальник сам запрягал собак, погонял их в пути, сам ездил на охоту, на промысел. За три года на острове Врангеля было убито 500 песцов, 300 медведей, собрано 2½ тонны моржовых клыков. В этой добыче не мала «личная» доля Г. А. Ушакова.

— Он все делает, как эскимос, лучше самих эскимосов, — говорили охотники, и в их устах это было лучшей похвалой.

В 1927 году Ушакову пришлось стать на время военачальником маленького народа. К острову подошла американская шхуна. Крейсиря вблизи колонии, корабль не выполнял обычных правил, игнорировал хозяев острова. Тогда Ушаков вооружил зимовщиков. Он готов был встретить боевым огнем любого нарушителя неприкосновенных границ Советской страны. Вскоре иностранец скрылся. Остров был насторожен.

Прошли три года, и эскимосы поняли, какие новые люди пришли к ним с Большой земли. Они полюбили большевиков. Приехав на остров полунищими и оборванными, без теплых шкур, со старыми, проржавевшими ружьями, охотники в первые три года крепко стали на ноги. Эскимосы сдавали фактории шкуры убитых песцов, медведей, моржовые клыки и бивни мамонта, которых немало было в низменных песчаных районах острова, и взамен получали меха и постели, брезент для палаток, одежду, ружья, огнестрельные припасы и пищевые продукты. За время зимовки Ушакова умер только старик Иерок и несколько новорожденных. Большинство детей выжило.

Белый человек — большевик — стал другом и учителем трудолюбивого себерного народа. Об этом лучше всего

говорит радиограмма охотников-эскимосов острова Врангеля, опубликованная в середине 1936 года в «Правде». Спустя семь лет после отъезда с острова Ушакова охотники-эскимосы писали:

«Десять раз зимой пряталось солнце, и было десять больших ночей. Десять раз солнце летом долго оставалось на небе, и было десять больших дней. Десять раз приходили летом моржи и прилетали птицы. Столько мы живем на острове Врангеля.

Иногда мы смотрим назад, чтобы увидеть нашу старую жизнь на Чукотке. Всем нам было тяжело оставлять землю наших отцов и ехать на неизвестный остров, куда нас звал умилек Ушаков. С каждым из нас долго говорил Ушаков. Мы ему поверили. Поехали. Он нам сказал правду. Мы нашли хорошую жизнь.

Когда мы смотрим назад, мы видим, как с умилеком Ушаковым, потом с умилеком Минеевым мы учились узнавать дороги, места, где живет зверь, учились добывать зверя, которого не встречали на нашей земле. Еще, когда смотрим назад, видим, как один раз мы с Ушаковым шли пешком через остров. Началась пурга, потом сильный туман. Мы шли очень долго, устали, думали — умрем. Тогда Ушаков нашел у себя в сумке и делил с нами маленькие кусочки мяса и хлеба, и мы остались живы. Тогда мы узнали, что советские люди не боятся опасности. И мы узнали, как большевик относится к эскимосу.

Теперь мы знаем остров, как свою ярангу. И горные перевалы знаем, и реки, и ущелья. Мы хорошо научились охотиться на морского и пушного зверя. Таяна убил много медведей, и Нюко добыл много песцов. Мы все хотим быть, как Таяна и Нюко. Мы их все равно догоним.

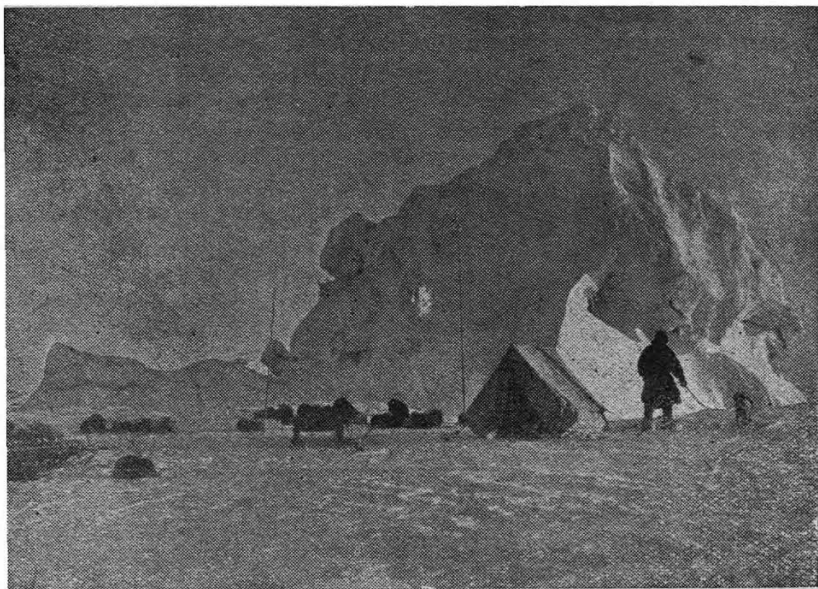
Раньше, до советской власти, в наших головах было темно, как в большую ночь зимой, когда нет солнца. Нас не учили и школ нам не давали. Теперь мы грамотные. Сейчас есть школа — учатся 8 детей и 7 взрослых. Мы читаем книжки на нашем эскимосском языке. 5 человек изучи-

ли мотор, они пойдут на моржовую охоту на катерах. Еще хорошо, что организовали женскую пошивочную артель, которая шьет одежду нам и зимовщикам.

Мы все видим, что стали другими. Лучше охотимся, лучше живем. Мы теперь ходим в баню, лечимся только у врача, чисто моем посуду, умеем печь хлеб. Нам понравилось носить нижнее белье, и мы его стираем. У нас есть европейское платье, и, когда

кто живет и хорошо работает на советской земле.

В наших головах теперь светло. Только прошлую зимовку нам было худо, потому что был плохой, худой Семенчук — чужой и злой человек¹⁾. А советская власть — это как Ушаков, Петров, Казанский и Минеев, с которым мы жили пять зим. Он нам помогал, мы помогали ему. Летом он нам прислал карточки, книги и конфеты нашим детям.



Пролив, разделяющий два острова Северной Земли, назван именем Красной Армии.

не холодно, мы его носим. Оно чистое и удобное. У нас есть 37 свиней, а фактория дает нам разные продукты и товары.

1 мая мы много танцевали наши северные танцы. Мы немножко учим танцевать по-нашему и зимовщиков с полярной станции. А они учат трех наших эскимосов на радистов и метеорологов.

Мы, эскимосы, всегда говорим правду, и нам нравится рассказывать о нашей жизни. Мы думаем, нас услышат хорошие люди на Большой земле и поймут нас. Мы уже не инородцы, как называли нас до революции. Теперь мы граждане, как все,

Нам Казанский и Петров читали, и потом мы сами читали телеграмму о том, что в финляндских газетах пишут, будто у нас на острове восстание против советской власти. Мы искали на карте Финляндию, и нам было очень смешно. Мы, эскимосы, всегда смеемся над людьми, которые врут, и не любим врунов. Они, как

¹⁾ Семенчук, бывший в 1934 — 35 году начальником врангелевской зимовки, назначенный туда во время отсутствия в Москве О. Ю. Шмидта и Г. А. Ушакова, оказался авантюристом и бандитом, пытавшимся развалить зимовку и воскресить на острове старые колонизаторские нравы. Семенчук был вывезен с острова и по приговору Верховного суда СССР расстрелян.

собаки, которые много попустому лают. Наверно, это врут такие же купцы, как те, которые нас грабили до советской власти.

Советская власть ведет нас к радости и к хорошему. Хорошими были люди, которых посылали нам советская власть. Они были товарищами и друзьями нашими. У них мы научились любить свободную жизнь, труд и беречь народную советскую власть, а дураки-купцы не понимают этого. И кто будет драться с советской властью, мы с тем тоже будем драться. А стрелять мы умеем так, что тюленю в глаз попадаем.

Мы все решаем остаться на острове; он теперь наш родной, советский остров.

Самая старая из нас — Инкали — сегодня сказала: «Жалею, что старая». Это потому, что промысел хороший, много друзей и много радости. Мы шлем рабочим привет и спасибо за помощь и советы.

Пусть долго живет наш самый большой и родной умилек и отец Сталин. Мы его любим больше всех на земле.

Охотники-эскимосы: Таяна, Нюноко, Кюо, Кивьяна, Паля, Аналько, Накимак, Нанукали, Анакак, Попов, Инкали, Таслекак, Паипа, Наканек, Наканак, Акунга, Нанка, Наби, Панаук, Таня и наши семьи.

На Северной Земле

... Вечером 28 августа 1929 года, расталкивая льды, к острову подошел ледорез «Литке». Он привез смену — Минеева, Власову и новый состав зимовщиков. Ушаков со своими товарищами уехал назад. Они были грустны и опечалены не меньше, чем их друзья — эскимосы.

Но еще в дороге, узнав о готовящейся экспедиции на Северную Землю, Ушаков послал в Москву телеграмму. Полярник не мог устоять против нового соблазна. Он просил включить его в состав первой североземельской зимовки...

... Весной 1930 года в Москве заседала правительственная арктическая комиссия. На столе лежала карта далеких северных островов Северной Земли. Но что это была за карта? Только с востока острова были намечены прерывистым робким пунктиром. Он начинался, этот пунктир, как-раз против мыса Челюскина, хищный клюв которого выдавался на севере Азиатского материка. Когда-то экспедиция Вилькицкого на кораблях «Вайгач» и «Таймыр» (это было в годы империалистической войны), наткнувшись случайно на эти острова, пыталась обойти их. «Таймыр» долго шел на север, все время боясь потерять землю, лежавшую в тумане. Он шел упорно, настойчиво до 81° северной широты и не смог найти точки, где земля поворачивает на юг. Корабль вернулся, и на карте появилась извилистая линия пунктира.

— Надо ткнуться в западные берега Северной Земли и в конце-концов посмотреть, что это за острова, — сказал С. С. Каменев.

— А почему, если можно ткнуться, нельзя высадиться? — спросил Ушаков. — Высадиться? Что вы, Георгий Алексеевич. Это вам не Врангель.

Как потом выяснилось, прежние планы экспедиций на Северную Землю требовали до двух с половиной миллионов рублей. Предполагалось комплексно осмотреть всю Северную Землю и обойти ее на корабле.

В 1930 году таких денег для экспедиций правительство отпустить не могло. Тогда Ушаков предложил: дать ему 60 тысяч рублей и трех сотрудников для полной географической и геологической описи Северной Земли.

На него смотрели, как на сумасшедшего. Некоторые сочли его предложение авантюрой, и только личная поддержка С. С. Каменева и О. Ю. Шмидта спасла смелую идею.

Забавно вспомнить один из разговоров, который вел Ушаков в правлении Госторга в дни подготовки этой необыкновенной экспедиции.

— Я — полярник Ушаков. Хотел бы получить у вас товаров в кредит, примерно тысяч на 10 — 15.

- Чем платить будете?
- Пушниной с Северной Земли.
- Она там есть?

— Должна быть... хотя не знаю, ведь там никто не бывал.

Госторговцы покачали головами, но через несколько дней Ушаков получил отношение в архангельскую контору о выдаче ему в кредит товаров на 15 тысяч рублей.

На Северную Землю уехали, кроме Ушакова, трое: геолог, блестящий знаток Таймырского полуострова, Николай Николаевич Урванцев; зверобой и промысленник, одиннадцать лет зимовавший на Новой Земле, не выезжавший по 2—3 года с зимовок, прекрасный проводник в любых условиях Севера Сергей Прокопьевич Журавлев и молодой 19-летний радист, впервые отправлявшийся в Арктику, Вася Ходов.

Мы спрашивали Ушакова:

— Почему вы, Георгий Алексеевич, взяли именно Ходова? Ведь вы не знали еще тогда, что он будет одним из лучших радистов Севера, что он впоследствии построит радиоцентр Диксона, что он станет тем самым Ходовым, которого сейчас знает и любит вся Арктика.

— Знаете, по интуиции решил. Как-то сразу почувствовал, что он сроднится, сживется с Арктикой и закрепит себя за ней на всю жизнь...

40 собак. Продовольствия на три года. Домик рубленый, размером с обыкновенную кают-компанию. Моторный ботик с подвесным мотором. Вот и все снаряжение, с которым ехали четверо смелых североземельцев.

Никто не знал, где кончается на севере и на западе эта земля. Никто не знал, сколько времени потребуется для ее обследования. Тянется ли она массивом, или островами. У берегов — ни одного измерения глубин. Как подойти кораблю?

По приказу правительственной комиссии Ушаков с товарищами уезжали на два года.

На крайний случай рассчитывали вернуться на материк кочевым образом,

пробираясь с острова на остров, по льду и берегу 1 500 километров до острова Диксон.

Доставил их «Седов». Отто Юльевич Шмидт, правительственный комиссар, ехал вместе с ними. У Северной Земли их встретила кромка непроходимых льдов. Попытались пройти на север. Наткнулись на острова. Назвали их архипелагом Сергея Каменева. Первый из островков, низкий, пологий и угрюмый, они окрестили Домашним. Здесь было решено построить певый дом первых людей на Северной Земле.

Шесть дней продолжалась выгрузка. Пока команда «Седова» сгружала в шлюпку и баркас ящики с консервами, мешки с мукой, крупой, сахаром, на берегу научные работники экспедиции строили дом для зимовки. Под ударами ломов и заступов мелкими брызгами разлеталась смерзшаяся земля. Архангельский печник Аркадий Коновин и профессор Р. Л. Самойлович выкладывали печь. Глина мгновенно превращалась в камень. Ее приходилось отогревать в руках.

Вскоре вырос свежий, пахнувший смолой бревенчатый домик. А рядом под сенью искусственной пальмы стояли два холмогорских быка, привязанные к пеленце дров.

Страна молчания впервые заговорила 31 августа 1930 года. В одной из комнат домика, похожего на древние избушки первых лесорубов, открылась правительственная радио-метеорологическая станция.

«Слушайте, говорит Северная Земля! Флаг, реюший над Кремлем, взвился на Северной Земле, до сих пор остававшейся белым пятном на географических картах. Горжусь доверием советского правительства и трудящихся СССР, обещаю быть вместе с товарищами достойными этого доверия. Сквозь льды, снега, туманы и полярные метели будем продвигать наш флаг все дальше и дальше к северу.

Георгий Ушаков».

«Седовцы» проводили на острове последние часы. О. Ю. Шмидт, расцеловав Ушакова, передал ему полномочия:

«Георгий Алексеевич Ушаков назначается начальником Северной Земли и всех прилегающих к ней островов, со всеми правами, присвоенными местным административным органам советской власти.

Г. А. Ушакову предоставляется, в соответствии с законами СССР и с местными особенностями, регулировать охоту и промысла на вверенной ему территории, ввозить и вывозить всякие товары, а также устанавливать правила въезда и выезда и пребывания на Северной Земле иностранных граждан».

Последний прощальный гудок. Четверо сошли в шлюпку. «Седов» начал отступать в туман.

На душе североземельцев не все было спокойно. Сергей Журавлев без надобности громко разговаривал и передвигал в ботике разные предметы. Вася Ходов деланно-весело посвистывал.

Развлекли нерпы. Они начали высывать свои маленькие зализанные головки среди льда, и люди открыли стрельбу. Вместе с выстрелами пришла душевная разрядка. Шлюпка подошла к Домашнему. Через две-три минуты далеко в тумане скрылся «Седов».

Началась первая североземельская зимовка.

Острова С. Каменева были запущены плотным, высоким до колен снегом. Иногда пробегали зловещие струйки поземки. Полярники знали: скоро придут метели, зима не за горами. Надо поскорей привести базу в порядок. Вооружившись рубанком, Урванцев строгал доски для коек. Ушаков укладывал линолеум. Ходов устраивал радиорубку. На ужин — по банке консервов и чашке чая. Спали на полу.

Потом конопатили щели, обивали войлоком и фанерой стены. Начали заготовку корма для собак: били нерп и морских зайцев. Опробовали моторы. Так в работе незаметно прошел месяц.

Жили домоседами. Что поделаешь — в гости ходить не к кому. Правда, иногда, отрываясь от молотка, кто-либо из полярников выглядывал в окно, стремительно хватал карабин и выскакивал наружу. Выстрел — и у дома лежал

убитый медведь. Мишки наведывались очень часто и долго не могли привыкнуть к тому, что на острове появились какие-то двуногие существа.

Ветер с моря взломал лед и отрезал остров Домашний от архипелага. Пока не окрепнет ледяной покров, о санных экспедициях нельзя и думать. В часы штиля вдоль берега огромными пятнами стояла снежура и сало. Между пятнами — полоски и каналы воды, блестящие, как зеркало. Они напоминали широко раскинутую паутину. Паутина эта уходила далеко на юг и там упиралась в снежно-белую, усеянную башенками, стену кромки льдов, надавших на берег.

Однажды ночью разбудил Ходов:

— Хотите послушать? Поймал, наконец, ленинградскую широкоэвещательную, говорит Самойлович.

Из наушников летит шум, треск. Трудно уловить слова:

— Новую Землю... Семидесятый градус... на север... Открыли остров... курс на восток... открыли острова... видели берега Северной.

Урванцев оборудовал небольшой ветродвигатель. Выкопали яму и на глубине 70 сантиметров уперлись в скалу. Забили железные колья для оттяжек. Вместо кувалды прикрепили на деревянной ручке небольшую наковальню. Изрядно отбили руки, заколачивая в древнюю скалу железные пики.

Запись из дневника Г. А. Ушакова

22 сентября.

«Ходов не спал всю ночь — будоражил эфир и наконец добился того, что его услышал какой-то радиостюбитель в Кологриве. Где это Кологрив? Никто из нас не знает. Ветряк из-за свежей погоды лежит неподнятым. Окончательно установил психрометрические будки и приборы. Начал регулярные наблюдения. Вечером Ходов снова засел в радиорубку и скоро получил ответ. Отозвался опять тот же Кологрив. Узнали, что он находится в Московской

области, стали искать на карте, не нашли. В Кологриве, очевидно, ищут на карте нас — острова Каменева. Они-то наверняка не найдут».

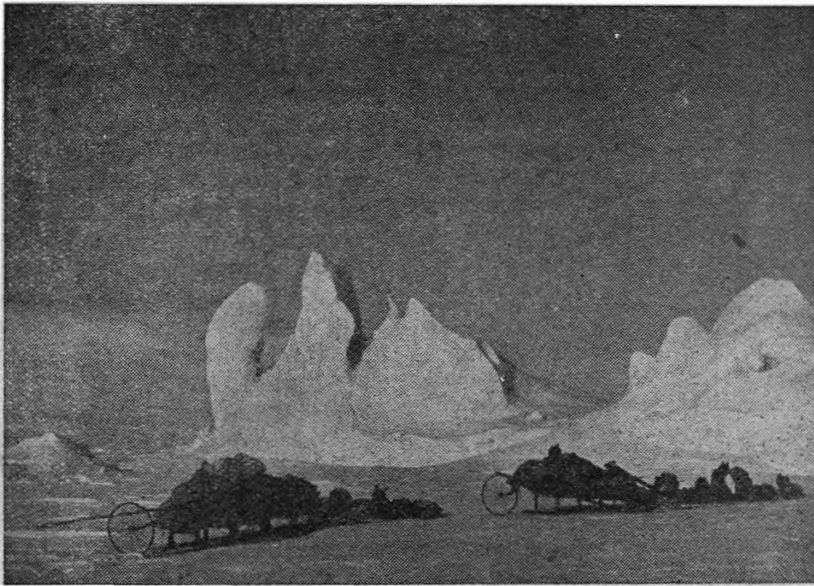
На востоке за островами в ясную погоду иногда виден был сияющий ледяной щит. Это была та самая Северная Земля, к которой так долго и безуспешно стремились люди.

1 октября 1930 года вышла в поход первая экспедиция. На зимовке остался Вася Ходов.

значило каждую минуту подвергать себя опасности быть оторванными и унесенными в море.

Люди шли. Земля негостеприимно встречала первых посетителей. За 12 часов они прошли шесть миль. Разбили палатку. Зашумел примус. На нем растапливали снег. От жажды люди в Арктике страдают больше, чем от голода.

К утру метель занесла добрую половину палатки, собак, сани. Все исчезло.



Айсберги.

Милях в пяти от зимовки началась снежная вьюга. Встречный северо-восточный ветер нес мельчайшую пыль сплошной, казалось, непроходимой пеленой. Трудно дышать. Через каждые 10—15 минут — вынужденные остановки. У собак на мордах ледяная маска. Они ничего не видят, часто ложатся отдыхать. Потом, подгоняемые ударом хоррея, неохотно встают, пытаются бежать, срываются, падают на землю, разбивая до крови лапы и морды.

В метель промышленник обычно ставит палатку или зарывается в снег. Но Ушакову, Урванцеву и Журавлеву оставаться нельзя. Они еще были близко от воды, и оставаться на льду

В пургу собаки свертываются калачиком и, повернувшись спиной к ветру, лежат, словно мертвые, не шевелясь. Так меньше забивается снега в подшерсток. После пурги на поверхности ничего не видно. Все занесено. А под снежной коркой, в сугробе вытаивает от тепла и дыхания маленькая берлога, в которой животному спокойно и тепло.

Полярники начали откапываться. Они усердно работали в две лопаты, но не успевали сбросить даже тот свежий снег, который наметал ветер. Только к концу дня стихло.

Впереди маячил гористый берег земли. Неожиданно берег поднялся и поплыл вверх. Это были облака. За лже-

горами открылась настоящая горная вершина. Она казалась совсем близкой.

После часового отдыха продолжали путь. На снегу оставался кровавый след изрезанных фирном собачьих лап. Люди работали наравне с животными. Первый поход совпал с днями исключительной видимости, когда можно за несколько километров разглядеть кайру. Полярники рассматривали гору в бинокль. Они видели каждый камешек на склонах и шли к горе... два дня.

Но вот и земля. Ее почувствовали как-то сразу, без всяких внешних признаков. Вспомнили слова великого Амундсена:

— Будет счастливец тот, кто первым достигнет этой земли.

Когда Амундсен зимовал на мысе Челюскина, четыре человека дошли до Малого Таймыра и видели землю, но дальше льды их не пустили. С юга на собаках стремился сюда победитель полюбов Амундсен. С запада — дирижабль Нобиле. Но Северная Земля продолжала быть заколдованной царевной. Норденшельд на «Веге» видел гусей, летевших на север. Он понимал, что гуси летели к земле, но земли не было, ее закрывал туман. Здесь проходили «Фрам» Нансена и «Заря» Толя. Был лед, было пасмурно, и они прошли всего лишь в нескольких километрах от земли, не заметив ее.

Советские люди первыми вступали на эту землю.

После метельного Врангеля, блестящей красавицы Земли Франца-Иосифа с ее потоками голубых льдов, эмалевым небом и гордыми скалами, после плачущей туманами Новой Земли, — поражала суровость Северной Земли, ее гнетущая безжизненность. Редко, на несколько часов показывалось солнце, но небо всегда оставалось серо-свинцовым. И только ночью, обычно на севере, виделась узкая, словно ножом прорезанная, щель, окрашенная багровой зарей.

Из-под снега, словно обуглившись пни, поднимались глыбы ржаво-красных песчаников. Берег быстро повышался и переходил в горную гряду. Земля приветствовала пришельцев звездной ночью и полярным сиянием.

На следующий день снова подула метель. Пришлось отсиживаться в палатке. Пыхтел примус. Он горел всю ночь и день. Сверху было дымно и жарко, а внизу так холодно, что у людей замерзали пятки. Обогревались чаем из топленого снега.

Когда кончилась пурга, путешественники пошли на штурм высокого мыса. Когда Ушаков поднял советский флаг на горе, которую назвали мысом Серпа и Молота, два других палили из карабинов. Это был негромкий, но искренний салют. Казалось, исчезли тысячи километров льда, тундры, леса. Красивые, возвышенные минуты. Флаг, который высоко поднят над всей страной, взвился сияющим багрянцем над далекой северной горой. Флаг был освещен солнцем, и тень его падала далеко на снежные склоны.

Ушаков, Урванцев и Журавлев пошли дальше к северу по береговой линии. Был туман. Близилась «большая ночь». Когда они увидели ледниковый щит и убедились в наличии большой земли, уходившей на север, было решено возвращаться обратно.

На подступах к ледниковому щиту они оставили базу с запасом продовольствия для людей и собак. Погода ухудшалась с каждым днем. Одежда и спальные мешки оледеневали. Подходили к концу продукты.

В тумане все искажалось. Совершенно неожиданно впереди вырастал горный хребет. Его можно было хорошо рассмотреть в бинокль. Люди недоумевали. Они трогали собак, подезжали вплотную, и хребет оказывался невысоким снежным заступом, высотой всего лишь в 15 — 20 метров.

Или: выростала скала. Ее видят все. А подойдешь, оказывается, бежал песок и наскреб небольшую кучу снега.

Снежные миражи преследовали путешественников. Они боялись ошибиться на незнакомой дороге. Поздно ночью, пройдя за день 65 километров в густом тумане, сокращавшем горизонт до 200 метров, полярники подошли к залитой электрическим светом базе на острове Домашнем.

18 октября выглянуло в последний раз солнце. На несколько минут оно показалось над горизонтом, сильно сплющенное, с бахромой по краям.

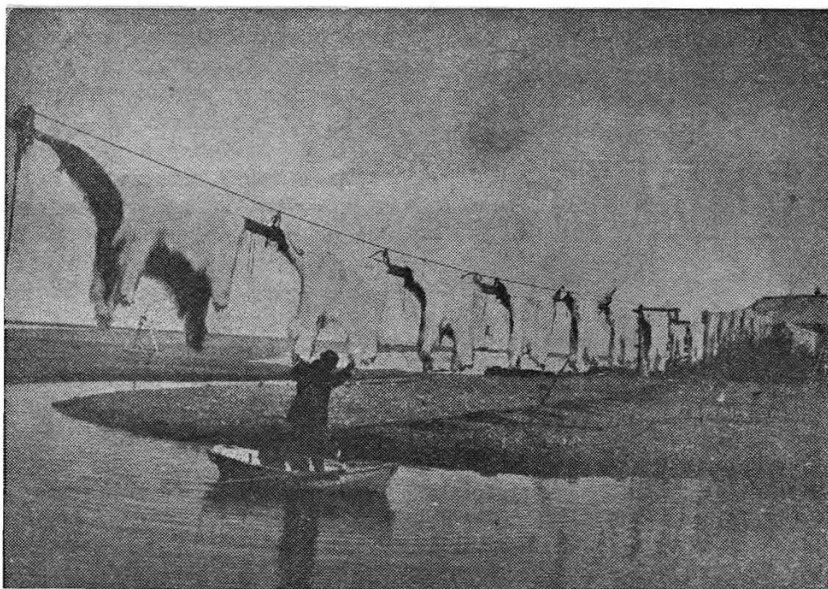
— Собаки солнце изгрызли, — саркастически заметил Журавлев.

Через три дня наступила полная полярная ночь.

Зимовщики продолжали научную работу. Круглые сутки горело электричество. Хронометры сообщали о наступлении

Перед наступлением полярной ночи построили домик — обсерваторию. Вели метеорологические, астрономические и магнитные наблюдения.

В первых числах ноября температура упала до 30 градусов ниже нуля. Море, сплошь покрытое льдом, вздыбилось хаосом непроходимых торосов. Арктика казалась мертвой. Только вой ветра нарушал тишину. Все живое исчезло. Улетели розовые и белые чайки. Исчезли



Трофейные шкуры белых медведей развешаны для просушки.

плению утра, ночи. Они звали на работу, приглашали к обеду. Раза четыре в день топили печь. В домике были шахматы, домно, радио, библиотека. Запоем переходили от одного увлечения к другому. То все сидели с книгой, то входили в моду шахматы, то домино.

Не было повара и хлебопека. Сами пекли и варили.

Прекрасно работало радио. Иногда сутками слушали передачи. Начинали с Америки, затем по мере того, как день отступал на восток, — слушали Японию, Индию, Центральную Азию, СССР, Европу, Атлантику, снова Америку. Вслед за движением часовой стрелки перемещалась рукоятка настройки.

тюлени. 25 октября был убит последний медведь.

Стоял день, черный, как полночь, а люди не забывали аккуратно застилать постели, во-время садились к столу. Они не впадали в молчание и, что еще хуже, в трудно переносимую интимную болтливость. Все дни проходили в работе. Вечером в кают-компании слушали концерт.

Однажды Вася Ходов поймал Харьков. Пела прекрасная певица. Все слушали особенно внимательно. И вдруг перерыв. Долго Вася Ходов искал в эфире пропавшую станцию, но тщетно. Поймал голландский Хьюйзен. Унылая церковная мелодия. Госка. У всех вытянулись физиономии.

Тогда Журавлев, всегда непосредственный и нетерпеливый, крикнул:

— Даешь «Кирпичики».

В ту же минуту оборвалось пение, и диктор сказал: «Русские романсы» и заиграли... «Кирпичики». Полярники замерли от изумления. Потом они долго дразнили Журавлева:

— Закажи «Конную Буденного». Тебя радио слушается.

Журавлев сам вырос в собственных глазах, но делать радиозаказы больше не решался.

— Чтобы не осрамиться, — объяснял он.

Радио связывало Малую землю с Большой землей. Оно стирало представления об огромных расстояниях, приносило вести от друзей, родных.

После одной из переключек Урванцев сказал, насупясь:

— Не нравится мне голос жены. Видно, расхворалась.

Долго пришлось его успокаивать.

А однажды в разгар полярной ночи Ходов принес телеграмму на имя Журавлева:

«Дети безнадежно больны тифом. Маоия».

Полярная ночь. Человек напряжен. Он натянут, как струна. Где ни тронь, он быстро и болезненно реагирует. Ушаков знал: Журавлев очень тоскует по семье. Отдать ему телеграмму — значит отравить жизнь всей зимовке. Ушаков положил депешу в карман. Он предупредил Ходова.

— Когда будет еще телеграммы, отдашь мне.

Следующей ночью во время метели сорвало антенну и электропроводку. Связь с Большой землей прервалась. Ни слова на материк, ни слова с материка.

Депеша жгла в кармане. Ушаков не мог о ней забыть ни на минуту. Что делать? Сказать? Нет, нельзя! А Журавлев ежедневно, садясь за стол, рассказывал, что видел во сне дочь Валю. Днем он говорил о том, какое у нее замечательное новое платье. Вечером вспоминал, как детишки в первый раз пошли в школу. Он припас им в подарок

первого песка и старательно выдывал его.

Проходили дни. Ушаков напрягался, боясь проговориться.

Снова заговорило радио. Пришли телеграммы с материка. Дети Журавлева умерли. Надо было сказать ему об этом.

Ушаков ушел с Журавлевым в поход. Была пурга. Когда они ушли от жилья за 20 километров, Ушаков остановил собаку и рассказал Журавлеву о постигшем его несчастье. А затем, не обращая внимания на метель, они отправились дальше, шли до упада, до полного изнеможения и, разбив палатку, свалились спать от усталости.

Когда окончилась полярная ночь, наступила пора детальных исследовательских работ. Путешественники не знали, где на севере кончается Северная Земля. Сколько потратит времени, чтобы достигнуть ее северной конечности? Условно решили — полтора-два месяца.

Вперед, на трассу своих будущих походов надо было выдвинуть продовольственные базы. Было страшно уходить из гостеприимного дома в тьму ночи. Опасались, что каждую минуту налетит снеговой вихрь. Вначале ходили с фонарем вблизи дома. Первыми осмелели Журавлев и Ушаков. Они уходили на полмили и дальше, ставили капканы.

Полярную ночь обманывали, выбирая полнолуние. Серебряный свет луны заливал лед. Льды казались светящимися, словно облитыми фосфором. В часы великолепных северных сияний человек среди льдов шел, как в чаше из полированного серебра.

Однажды в походе в такой сказочной обстановке путешественники прошли километров 20 — 25. Потом из-за горы неожиданно пришли облака. Потемнело. Упряжки шли неровно. Полярники начали терять друг друга. Пришлось стрелять. Когда не помогало, зажигали магниевые факелы. Пурги еще не было, но собаки словно чуяли ее, вели себя неспокойно, не слушались.

Назад было идти далеко и страшно. Пошли вперед. С огромным трудом обнаружили гору Серп и Молот и ле-

дяной ручей, где оставили продовольствие.

Через день в обратный путь. Мороз достиг 36 градусов с резким ветром. И тут пришла метель.

— Два удовольствия: метель и ночь, — улыбаясь, вспоминает Ушаков. — Что ж, мы шли и думали: промахнемся или нет? Острова наши Камневские низменные, неприметные, можно пройти рядом с ними, не заметить и забраться в море. Один раз чуть было так не случилось.

Все же добрались благополучно. Обмерзли только собаки. Некоторых, отказавшихся идти, пришлось погрузить в сани. Метель кончилась, и снова стали завозить продовольствие.

Особенно запомнился четвертый рейс 22—26 февраля. Мороз — 47 градусов. Пронизывающий северный ветер. Одиноким примус не мог обогреть на привале палатку. Стеариновая свеча выгорела в середине, образовав полый цилиндр. Масло хрустело на зубах. Спальные мешки к утру пропитывались инеем.

В марте начались походы для с'емки Северной Земли. Это были походы, которые дали название заливам, горам и островам великого северного архипелага. На карте появились имена людей, которых чтит страна, имена которых вписаны в историю Великой социалистической революцией.

Недалеко от архипелага островов Каменева обнаружили пролив, разделяющий два острова Северной Земли. О существовании его не подозревали. Это было вскоре после празднования годовщины организации рабоче-крестьянской Красной армии. Пролит был назван именем Красной армии. Он оказался забитым айсбергами, высотой в 10 — 20 — 25 метров. Между ними шли узкие коридоры, заполненные рыхлым снегом или открытой водой. Человек мог заблудиться в них, как ребенок в незнакомом городе. Решили пройти через пролив. Накрыл туман. Бесперывно попадались снежные сугробы. Проваливались, тонули в пушистом глубоком снегу. Иногда среди ледяных глыб открывался приветливый долгождан-

ный коридор. Люди уходили туда, пробирались дальше, и перед ними вдруг вырастала гладкая, высотой в 10-этажный дом, стена. Надо возвращаться. Но коридор настолько узок, что повернуться в нем невозможно. Собак и сани перебрасывали через голову. Все это делали в снегу, не снимая, конечно, неуклюжей тяжелой малицы.

С боем осилили пролив и подошли к противоположному берегу острова. Глетчер, покрывающий остров, двигался даже зимой, заполняя пролив ледяными горами. По леднику разбросаны капканы трещин, укрытые снегом. Их не заметили. Первым в страшную ловушку попал Журавлев. Он принял холодную ванну при 34-градусном морозе. Хорошо, что вблизи был Ушаков. Он подал хоррей.

— Ванна все же лучше, чем пойти под лед, — стоически заметил Сергей Прокопьевич на очередной остановке.

Утро. Журавлев, обычно очень осмотрительный, на этот раз без всякой предварительной разведки выскочил пулей из палатки. Все услышали его радостное восклицание:

— Настоящая скала!

Действительно, перед палаткой, которую разбили в тумане, высилась огромная скала. За пиком Ворошилова, поднимающимся на 670 метров, открылось море Лаптевых. Это была самая восточная точка центрального острова Северной Земли. Позднее этот остров назвали Комсомольцем. На леднике разбили палатку. Поставили ее так, чтобы не задувал ветер. Откуда ветер — узнавали по собакам. Как только нарты останавливались, собаки ложились отдыхать. Хребтом они поворачивались туда, откуда дул ветер.

Люди спали, раздеваясь до белья и залезая в меховые спальные мешки. Утром они выкраивали несколько приятных минут отдыха. Разжигали примус, грели на нем руки, кипятили чай и только потом одевались, вылезая из заиндеветшего мешка. Горло мешка обмерзало.

Намокали малицы. За ночь они срастались в ледяную глыбу. Их отогрева-

ли около неизменного спутника — при-муса.

Путешественники не знали, что лучше — мороз или оттепель. В морозы несчастьем становилась борода. Она обмерзала, стягивала кожу, боль приводила в ярость. Люди готовы были рвать бороду вместе с кожей. Нужно было обязательно бриться. И это в условиях североземельского климата и срочного похода. Предпочитали стричься.

В походе варили суп «Мечту». Началось с того, что смесь из патентованного датского пеммикана, масла, риса и шоколада, перетертая в порошок, оказалась неудобоваримой. Тогда решили сварить суп с макаронами. Лучше. Потом подбавили мясных консервов. Еще лучше. Добавили пеммикана. Ничего. И когда однажды в суп пошла еще свежая медвежатина, возникло это произведение североземельского кулинарного искусства — суп «Мечта».

Варили «мурцовку» — своеобразный полярный компот. В большой эмалированной чашке растирали молочный сухой порошок, несколько ложек какао, сливочного масла и сахара. Заливали топленным снегом. Получалось довольно вкусное блюдо.

Были и «медвежки» бульоны с галетами. Ели не только вареную, но и сырую мороженую медвежатину, настроганную тонкими розовыми ломтиками. Медвежатина содержит живительные витамины.

Постепенно на карты ложились очертания земли. Пунктиром и линиями прочерчивалась карта на снежном покрове земли. Пунктиром ложились следы человечьи и собачьи, линиями — следы нартов. Между глубокими санными впадинами — круглая вмятина. Позади саней, отсчитывая километры, бежало велосипедное колесо, надетое на горизонтальную железную ось и снабженное счетчиком.

В походе собаки изрядно уставали. Собачий пеммикан, полученный от всемирно известной фирмы «Расмуссен и компания», строго экономился. К счастью, на западе от островов Каменева вскрылись льды и обнажились полыньи:

появились белые медведи. Трех удалось убить. Свежее мясо быстро восстановило силы собак.

На «Садко» знают, как любит Георгий Алексеевич собак. Часто в свободные часы его можно застать на верхней палубе, окруженного четвероногими друзьями.

Дружба эта началась издавна, еще на островах Врангеля и Северной Земле.

— Собак надо знать не хуже, чем людей. Среди них есть ударники, есть лодыри. Есть предатели и отличные товарищи, — говорит Ушаков.

Передовиком на Северной в упряжке у Ушакова ходил пес «Мишка». Он хорошо слушался голоса: право — «подьподь», лево — «кххр», вперед — «ка», стой — «тай». Впоследствии его убил медведь.

Отчаянным лодырем был пес «Мазепа». Он разжирел и нахальничал без меры. Пока его лупили — лямка натянута, лишь перестанешь — он соразмерял свой бег так, чтобы лямка не провисала, создавая только видимость работы. Однажды, измучившись понуканиями, его бросили в дороге. Он пришел на зимовку через двадцать три дня и стал с тех пор примерным ездовым псом.

Другой пес, «Махно», был хулиганом, предводителем группы наиболее вороватых и драчливых собак. Заводила в общей грызне и драках, он всегда носил на своей шкуре следы многочисленных клыков.

«Собаке, которую не взлюбил «Махно» приходилось плохо. Улучив момент, когда людей на «улице» не видно, он налетал вихрем на жертву и сбивал ее с ног. Остальные из шайки довершали начатое. «Махно» же сидит в стороне и улыбается, — да, да, собака умеет смеяться, — смотрит на свалку, как ни в чем не бывало. Когда мы высказывали на шум, то находили «Махно» всегда лишь в роли спокойно наблюдающего, и хотя все знали, что он главный виновник свалки, придать к нему было нельзя» — вспоминает Урванцев в своей книге «Два года на Северной Земле».

Но работал «Махно» отлично. 120-километровые переходы были ему нипочем.

Был «Ошкуй». Один раз он забастовал на берегу и залег. Запряжка оставалась. «Ошкуя» пришлось выпрячь. Он забился под сани и не вылезал оттуда, несмотря на удары. Это было глухое и глупое упрямство. При первых ударах «Ошкуй» повизгивал, потом замолчал. Человеку нужно было во что бы то ни стало восстановить дисциплину, заставить пса жалобно, покорно вскрикнуть, ползти на брюхе и подчиниться. Пес молчал. Ушаков выхватил нож. Он резанул им по уху, ухо осталось в руке. Пес не шелохнулся, он кровоточил, но молчал. Человек был побежден. Упряжка ушла без «Ошкуя». Через тринадцать дней пес вернулся в зимовку. И с тех пор не было пса более дисциплинированного и более усердного в работе.

В упряжке Урванцева саботажниками были «Осман» и «Аната». «Стоило только выйти на улицу и пошевелить нарту, как эти два пса поднимались и уходили с полным сознанием собственного достоинства за 1—2 километра от дома, где с вершины тороса или возвышенности острова спокойно наблюдали за происходившим. Домой собаки обратно возвращались, только твердо убедившись, что все происходившее явилось лишь ложной тревогой, а до этого достать их можно было только пулей, что, конечно, совершенно не входило в наши расчеты. Приходилось поэтому беглецов ловить заранее, накануне, во время очередной кормежки и сажать на цепь, но и тут подкрадываться следовало незаметно, а хватать быстро» (Урванцев. «Два года на Северной Земле»).

За «Османом» шла слава нелюдима. Когда нарезали мясо собакам, он всегда сидел поодаль и терпеливо ждал своей порции. Однажды на привале «Осман» незаметно подкрался сзади Ушакова, просунул под локоть морду и выхватил лучший кусок мяса. Ушаков обернулся и ударил его черенком ножа по носу. Ударил не сильно. Пес одну только секунду смотрел на человека, затем сделал несколько шагов в сторо-

ну, положил мясо в снег, ушел за снежный бугор и лег. Его звали, но пес не откликнулся. Пришлось уехать без него. Больше он не вернулся.

И все же, несмотря на капризы, четвероногие друзья не изменяли полярникам...

2 апреля Ушаков и Журавлев вышли в новый поход поперек Северной Земли — от западного берега до восточного. Перевалили в сплошном тумане через плоскогорье на высоте 350 метров. За перевалом обнаружили верховье реки, текущей к северо-востоку. Спуск в русло из-за необычайной крутизны и высоты берегов производили на цепях. Пройдя ущелье, река образовала большое пресноводное озеро. Вблизи него встретили первых в том году птиц — стаи лериков, чистиков и чаек. На восточном берегу нашли астрономический пункт — остаток флагштока гидрографической экспедиции 1913 года, открывшей Землю. Бамбуковая мачта флагштока оказалась сломанной медведями, а знак они изрядно изгрызли. Через пятнадцать дней Ушаков и Журавлев, убив медведицу и забрав живьем медвежонка, вернулись на зимовку.

Все было подготовлено для большой санной экспедиции по обследованию всей северной части Северной Земли. Стояла солнечная погода. Термометр устойчиво показывал около 30 градусов.

22 апреля трое полярников — Ушаков, Урванцев, Журавлев — вышли на Северную Землю.

Первомайский праздник они встречали на острове Комсомолец, на берегу пролива Красной армии. Первое мая. В этот день особенно чувствуешь отрыв от близких и друзей. Над льдами и снегами часто поднимался розовый туман. Заря вставала, как отблеск знамен с Красной площади.

Потом выкатилось солнце — огромный красный, немного сплюснутый шар. Весь горизонт горел. От него загорелся снег, загорелись снежные поля и марево пыли над ними. По долинам текли реки расплавленного металла.

Нельзя было оторвать глаз от «пожара».

По пути Журавлев отделился от товарищей и поехал за продовольствием на ближайшую базу. На обратном пути он попал в поземок, снежный ураган, бушующий близ земли, на высоте человека. Через день, вернувшись в лагерь, Журавлев ослеп. Снежная слепота. Все время песок в глазах и яркий, никогда не потухающий малиновый, режущий свет. Страшная боль. Глаза открыть нельзя. Их заливают слезой.

Пришлось разбить лагерь. Журавлеву завязали глаза. Они должны отдохнуть, иначе человек может совсем ослепнуть. Лагерь был под айсбергом, под отвесной стеной, высотой в 37 метров.

С Комсомольца неожиданно подул ветер. Его силу измеряли, лежа на льду. Стоять было нельзя. Ветер валит человека на землю. Анемометр показал скорость 37 метров в секунду. И это под защитой айсберга. Трудно представить, как ветер бушевал на воле, на оголенной плоскости ледникового щита или на береговом припае. Палатка билась, как птица, пойманная в капкан. Каждую минуту ее приходилось стягивать ремнями.

Через сутки ветер стих так же неожиданно, как и возник. Экспедиция продолжала свой путь.

Люди шли по береговой границе острова Комсомолец, на 90 проц. покрытого ледовой шапкой. Край земли они установили по трещинам. У берегов лед не срастался, ибо его подымал и опускал прилив. Шаг за шагом люди выписывали карту. И, наконец, 16 мая они вышли на мыс, откуда земля сворачивала к югу. Это была северная оконечность Северной Земли, названная мысом Молотова, поднимающаяся на 70 метров над уровнем моря.

Впереди, к полюсу, к востоку и западу лежала открытая вода. Она расстилалась до предела видимости, темная, спокойная, с блестками небольших льдин, спокойно проплывающих на юг, мимо мыса.

Открытая вода была, очевидно, для этих мест не случайной. Иначе не селились бы на ближайших мысах большими базарами чистики¹⁾, которые кормятся на воде и без нее существовать не могут.

Три дня путешественники ожидали солнца. Они должны были во что бы то ни стало закрепить астрономический пункт для того, чтобы привязать к нему все свои прошлые наблюдения. Но солнце пряталось.

Люди решили перехитрить солнце. Они выстроили снежный домик и ждали. В этом домике даже купались. Поверх палатки натянули брезент. Внутри разостлали шкуры нерпы. Воду кипятили в котелке и нескольких банках. Это был торжественный день: день бани на самой северной точке советской страны. К концу мытья, однако, у путешественников смерзлись волосы.

Но вот определены координаты. Широта $81^{\circ}16'1''$ и долгота $95^{\circ}42'8''$. Как опознавательный знак поставили бамбуковую вежу, а в лед закопали бидон из-под керосина, в котором поместили герметически закупоренную бутылку с запиской. Ненадежные приметы. Но другого материала нет. За плавником надо ехать миль 50—60 по меньшей мере.

Обратно шли по восточному берегу острова Комсомолец. Снова туман, снова метели. Заметили залив. Потом он оказался проливом Юнг-Штурм, отделяющим Комсомолец от Пионера.

Пунктир, ничего не говорящий пунктир экспедиции Вилькицкого, становился четкой линией границ. Впадина залива Шокальского выросла и оказалась проливом. Восточную часть этого пролива, скрытую низменность, не мог заметить Вилькицкий.

Ушаков вспоминает:

— Откровенно признаюсь, я люблю снежные метели. Кажется, что вселенная сорвалась со своей основы и несется с визгом, с громом, куда-то в бес-

¹⁾ Один из ближайших небольших островов Ушаков назвал островом Чистиков. В новых картах картографы переименовали этот клочок суши в... остров Чистякова.

конечность. Метель — это величайшее проявление динамики, мощности, силы. Она покоряет человека своим могуществом.

36 суток, 800 километров на собаках. Вот, наконец, и мыс Крупской. Проходили совсем близко от дома. Там Ходов. Что у него? 36 дней в одиночестве. Это не легко.

Подошли к Домашнему. Метели до неузнаваемости изменили пейзаж. Там, где была равнина, выросли горы. Первым заметил домик Журавлев. На него обрушились с вопросами:

- Дом цел?
- Цел.
- Собаки есть?
- Есть.
- А человек?
- Кажется, есть.
- Кажется?

Путешественники бросился вперед. Беспокойство, однако, было напрасным. Вася Ходов прекрасно обосновался в домике, почти занесенном снегом. Нередко ему приходилось прорывать туннель, чтобы выйти наружу. Иногда во время передачи очередной метеосводки у дверей раздавался дикий визг, лай собак и рев медведя. Тогда Вася выскакивал из домика, стрелял, а затем возвращался продолжать передачу или прием телеграммы. В перерывах между передачами он свеживал добычу. Если телеграмма была длинной, убитый медведь успевал замерзнуть, и его приходилось затаскивать «отогреваться» в домик.

Ушаков и Урванцев спешили. Близка была распутица. Она грозила потерей собак.

Путешественников нагоняла весна. Нередко они шли, шлепая по воде и талому снегу. Когда ночью перед сном они разгевались, приходилось выжимать белье и затем, надев его сырым, залезать в мешок.

Вышли 20 июня, когда уже началась распутица. Температура поднялась до 5 градусов тепла. Путь стал одинаково мучительным для людей и собак. Маленький караван тонул в снегу, в котором с каждым днем скоплялось все больше воды.

Вот что записал в своем дневнике Г. А. Ушаков о дальнейших событиях этого поистине беспримерного похода:

«Снег отказывался держать сани, собака и даже лыжи. Часто приходилось один участок проходить несколько раз, сбрасывая груз, пробивая дорогу и возвращаясь обратно. 25 июня вскрылись все реки. Движение по берегу стало невозможным. В море лежали непроходимые торосы с глубокими озерами или еще более глубокими снегами. Единственно возможной дорогой казалась узкая полоса прибрежных ровных льдов, залитых водой.

День за днем экспедиция шла в ледяной воде, часто на протяжении десятка километров не встречая льдины, на которой можно было бы дать отдохнуть и согреться замерзающим собакам.

30 июня экспедиция была близка к катастрофе. Пересекая один из многочисленных мелких заливов, караван проходил вблизи кромки торосистых льдов, оставляя ближе к берегу льды, где скоплялось слишком много воды. Неожиданно подувший с берега резкий ветер погнал воду, прижал ее к стене торосистых льдов. В течение пятнадцати минут уровень воды поднялся до половины человеческого роста. Всплывшие сани погнало ветром, собаки начали захлебываться. С трудом удалось повернуть упряжки против ветра, оттянуть на более мелкое место, затем выйти на прибрежный лед, с которого вода совершенно исчезла. На следующий день ветер прижал воду к одному из мысов, лежащих на пути экспедиции. Дорогу к берегу отрезал поток. Попытка перейти его выше по течению не дала результатов. Экспедиция попала в сеть непрерывавшихся глубоких потоков и принуждена была вернуться на побережье и ожидать перемены ветра.

Пять суток туман, снег и дождь, сменяя друг друга, держали нас на одном месте. Собачьего корма оставалось на пять суток. От главной базы отделило расстояние в 150 км. Состояние дороги позволяло проходить максимум 10 км. в сутки. Перспектива была или,

прекратив работу, гнать форсированным маршем ослабевших собак на главную базу, или, продолжая работу, начинать кормить собак собаками, или, наконец, итти и тащить сани самим.

Выход подсказала сама Арктика: 6 июля на льду был замечен медведь. После продолжительной погони по озерам накопившейся между торосами воды зверь был убит и вывезен на берег. Через несколько часов по следам крови пришел к лагерю и был убит второй медведь. На следующий день к лагерю подошли три новых медведя, в которых нужды уже не было. Располагая мясом, экспедиция могла ожидать необходимых условий для работы и провела в лагере четверо суток. 10-го астрономические наблюдения были закончены. На следующий день пошли дальше.

Путь шел вдоль берега ледникового щита. В прибрежных льдах появились широкие трещины. В конце дневного перехода размытый лед стал напоминать кружево, узкие перемычки между сквозными пробоинами часто пробивались шестом. Каждую минуту ждали обвала льда. С трудом вышли на берег, вдоль которого образовалась большая прибрежная полынья.

На следующем переходе дорога еще более ухудшилась. Вновь трещины, полынья, сплошная вода, снова ледяной барьер. Собаки начали отказываться работать; к концу перехода некоторые лежали в санях. У других на разбитых лапах стали обнажаться кости. На протяжении многих километров не было ни клочка льда для бивуака. Сильный ветер пронизывал совершенно мокрые одежды. Наконец, был достигнут залив Сталина, лежащий к югу от мыса Серпа и Молота; на северо-западе узкой лентой показались острова С. Каменева. Выход на берег отрезала полынья, поэтому лагерь разбили на льдине, отколовшейся от глетчера и окруженной трещинами. Путь к заливу тоже оказался отрезанным скопившейся здесь благодаря ветру сплошной водой.

14 июля перенесли груз, сани и собак через трещину и поднялись на лед-

никовый щит, по которому прошли к совершенно обнаженному от снега берегу. Здесь в сани поочередно впрягали всех способных работать собак, впрягались сами и тащили по голой земле, переправлялись через реки, затем возвращались за вторыми санями. Проходя таким образом по 20 километров, продвигались в действительности на 5 километров. После перемены ветра вода очистила льды залива Сталина. Построив ледяной мост через трещину, снова вышли на лед и пересекли залив.

В течение двух суток непрерывно шел сильный дождь. 18 июня на полуострове Парижской Коммуны сомкнули маршрут последней точкой, нанесенной на карту осенью прошлого года. На льду появились трещины и полынья, через которые, за отсутствием лодки, уже нельзя было переправиться. Две собаки издохли от истощения, пять вместе с передовиком лежали в санях, остальные, отдавая последние силы, начали падать в воде. Корм кончился, отдали остатки сливочного масла и шоколада, сами питались одним рисом, который приходил к концу.

На пятидесятый день пути, двадцатого июля, главная база была достигнута».

Вскоре, по прошествии первого года зимовки, Ушаков рапортовал правительственной комиссии и О. Ю. Шмидту о проделанной работе:

«Результаты работ экспедиции следующие. Пройдено на собаках, включая подготовительные работы, свыше 3 000 км., проведено 1 500 км. маршрутной с'емки, охватывающей площадь около 25 000 кв. км. и опирающейся на 13 астрономических магнитных пунктов. При астрономических наблюдениях долготы определялись по радио... Походный радиоприемник с питающими батареями и всеми принадлежностями весом 28 кг. составлял нагрузку одной собаки. Метод, впервые примененный в условиях экспедиции в высоких широтах, блестяще выдержал испытание. Экспедицией выяснены: простираение Земли к северу, ее общая конфигурация, площадь, рельеф, геоморфология.

Главную массу Земли составляют три больших острова, получившие наименования: центральный — остров Октябрьской Революции, южный, отделенный от центрального проливом Шокальского, — остров Большевик; северный, отделенный проливом Красной армии, — остров Комсомолец.

К ним примыкает ряд мелких островов, собранных большей частью в небольшие группы. Самую значительную из последних представляют острова Сергея Каменева. Пролив Красной армии забит многолетним льдом, айсбергами, выходы его закрыты мелкими островами. Второй открытый экспедицией пролив — Шокальского — в самом узком месте имеет ширину в 20 км. По всем данным, он часто вскрывается от льдов и проходим для судов. В момент прохождения экспедиции пролив на всем протяжении был заполнен однолетним льдом, и на южном выходе — льдом, образовавшимся во вторую половину зимы.

Выяснено в основном геологическое строение Земли, представляющей древнюю, складчатую страну весьма сложного строения, с опрокинутыми, местами разорванными и надвинутыми друг на друга свитами. Собраны материалы, доказывающие опускание страны в четвертичную эпоху, затем новое поднятие по целому ряду разломов, определяющих в основном современное очертание Земли. Признаки продолжающегося поднятия в настоящее время обнаружены во многих местах.

Экспедицией обследован геологически весь пройденный берег, на протяжении которого осмотрено около 200 обнаружений, собрано несколько сот образцов горных пород, открыты признаки ряда рудных месторождений. При пересечении Земли получены данные для полного геологического разреза. Собраны материалы по оледенению Земли, режиму окружающей ее льдов, а также материалы о флоре Земли, фауне, в частности по промысловому зверю (белый медведь, песец, морской заяц, нерпа); метеорологические наблюдения и передача сводок ведутся непрерывно. Общий результат работы: обследо-

вано и заснято 70 процентов всей Земли.

Высаживаясь у острова Каменева, экспедиция имела 41 ездовую собаку, к началу полевых работ количество собак сократилось до 31, в период полевых работ потеряно 6. Оставшиеся собаки требуют продолжительного отдыха. Работы экспедиции сосредоточиваются на главной базе, начинается подготовка к следующей зимовке, для которой экспедиция располагает достаточными запасами продовольствия и топлива. Корм собакам будет добываться охотой. Основной зверь, дающий мясо, — белый медведь. Много нерпы. Имеется морской заяц.

Ушаков».

Подходила вторая «большая» полярная ночь. У «Сучки» — второе прибавление семейства. На этот раз родилось 8 щенят: 5 самцов и 3 самки. Решили подкармливать их консервированным молоком. Один из щенков, пестрой масти, за свой буйный нрав был вскоре прозван «Бандитом». У берегов появилась огромными стаями сайка. Она подходила к берегам для нереста. Рыбу глушили выстрелами в воду. Кухня резко перестроилась на рыбные блюда. Вкусом сайка напоминала навагу. Во время поездки на соседний Голомянный остров встретили стадо белух. Шли они со скоростью до 20 километров в час. А моторка зимовщиков развивала всего 10—12 километров. Не догнали... Потом белухи появлялись еще несколько раз. По ним открывали долгую, сумасшедшую, как говорил Урванцев, стрельбу. И не всегда безуспешную.

Снова подбирались к зимовке белые медведи, привлеченные запахом сала и белушских внутренностей.

Когда наступила ночь, занялись обработкой собранного материала. Вычисляли астрономические пункты. Вычерчивали карты. Сортировали геологические образцы.

Журавлев долгое время весьма скептически относился к работам Урванцева, во время походов записывавшего что-то у инструментов, заносившего в свой полевой журнал зарисовки и мар-

шрутные ходы. Но вот на листах бумаги выросли очертания берегов, изгибы мысов и бухт. Вечерами Журавлев по долгу рассматривал их, узнавая места, где он охотился, где стоял ночевкой. Урванцев получил внимательного и настойчивого ученика. Любознательный охотник страстно заинтересовался маршрутно-глазомерной съемкой, принципами составления карт, их вычерчиванием.

Перед большим апрельско-майским походом 1932 года в обход южного острова Большевик на станции трагически окончилась жизнь одного из прирученных медвежат. Он научился освобождаться от цепи, стаскивая лапами через голову ошейник. Точно так же освобождался от ненавистного ошейника и собаки. Однажды медвежонок обнаружил наверху острова около радиомачты. Осажденный сворой щенков, он прижался к мачте, жалобно повизгивал и в то же время довольно успешно отбивался от нападения. Через несколько дней медвежонок снова удрал. Его заметили взрослые собаки и моментально разорвали. На станции осталась только пара медвежат — брат с сестрой: «Маша» и «Миша». Они жили очень дружно и спокойно в берлоге, которую выкопали для них зимовщики в снежном забое, позади дома.

Два острова, Большевик и Пионер, обошли вдвоем Ушаков и Урванцев. Карта Таймыра, заснявшего восточные берега острова Большевик, оказалась до смешного неточной — высокие горы, тянувшиеся в глубине Земли, таймырцы приняли за настоящие очертания Земли. Низменные берега, запущенные снегом, остались незамеченными. Во время походов продолжали охотиться. В одном из убитых медведей обнаружили старую пулю, принесенную им то ли с Диксона, то ли с Земли Франца-Иосифа.

Ночью 13 августа 1932 года у острова Домашнего стал на якорь «Сибиряков», совершивший свой прославленный рейс сквозным северо-восточным проходом.

На борту — Шмидт, Визе, Воронин. Еще накануне зимовщики тщательно по-

брились, подстригли волосы, надели свои лучшие праздничные костюмы.

Через сутки, когда отошел «Сибиряков», к острову пришел «Русанов». Его встретили в море. И Журавлев, как лоцман, провел судно почти вплотную к берегу.

Закончилась вторая героическая зимовка славного полярника Георгия Алексеевича Ушакова.

От Приамурья до лагеря Шмидта

... В горах Яблонового хребта, в бедной приамурской казачьей станице Семеновской, была дана закалка воли, настойчивости и ума этого неустрашимого и мужественного человека. С гор открывались далекие, манящие края. Шустрый, остроглазый мальчонка привыкал ходить к ним по узким звериным тропам. Дикая тайга не пугала одинокого маленького путника, а звала куда-то все дальше и дальше — через дебри дремучих лесов и быстрые горные потоки. Вдыхая свободный воздух лесов и гор, мальчонка мечтал о заморских странах, о путешествиях...

Деревня жила простой, суровой и ровной жизнью. В деревне не было школы. В доме не было букваря. А мальчик рано стал проявлять склонность к учебе. Тогда отец — хозяйственный, деловой казак — придумал своеобразный и чрезвычайно наглядный способ обучения сына. Он сгибался до полу колесом и говорил:

— Буква «О».

Вытягивался в струнку, подбирал голову, выбрасывал вперед правую руку, чуть согнув ладонь:

— Буква «Г».

Сгибал руку в локте:

— Буква «У».

Расставив ноги, делал рукой перекладину:

— Буква «А».

Отец изображал буквы, и маленький Ушаков быстро их заучивал. Он сам потом не раз демонстрировал живую азбуку, лишь только в село приезжали почетные лица: поп или станичный атаман.

Но вот окончена с отличием сельская школа. Казачонка забирают домой. Каждая рабочая рука на счету. А мечта об учении не оставляет в покое. Дождавшись праздника, когда пьяно и весело гуляло село, мальчонка выкрал из табуна лошадь, забрал документы и за несколько десятков верст помчался к своему учителю. Якобы от имени родителей он попросил послать в реальное училище прошение.

Разрешение держать экзамены пришло в пакете со штампом и сургучной печатью. Семья приняла его за приказ, и мать сама отвезла сына в город.

Дорога не ближняя. Ушаковы опоздали всего на один день. Экзамены окончились.

В приемной маленький деревенский мальчик, в рубашонке, подпоясанной веревочкой, расплакался навзрыд. Помог один из учителей. Он посоветовал матери отдать мальчика в другое училище.

На экзамене по закону божьему произошла заминка. Вместо того, чтобы сказать: «Дева Мария беспорочно зачала младенца Иисуса», маленький Ушаков выпалил: «Мария забеременеда».

Класс загоготал, а законоучитель прочел экзаменующемуся строгую нотацию.

Но мечта осуществилась. Мальчик начал учиться. Он жил по углам, в подвалах, иногда даже в ночлежке, зарабатывая на хлеб продажей газет, на разгрузке пароходов, рытьем могил на кладбище.

Старшеклассник Ушаков ближе по-

знакомился с революционерами. Он зачитывался нелегальной литературой, попал под обыск.

Потом он учился в университете. С приходом интервентов ушел в тайгу, к дальневосточным партизанам. В дни меркуловщины перешел на полулегальное положение, включился в работу владивостокского большевистского подполья. Но вот Приморье снова советское. Молодой партработник и коммунист идет в Красную армию, затем работает избачом, кооператором.

Проходят годы зимовок на Врангеле, на Северной Земле, и Ушаков — заместитель Отто Юльевича Шмидта в Главном управлении Северного морского пути, один из организаторов работ по спасению «челюскинцев». В прославленный лагерь Шмидта во льдах Чукотского моря он прилетает на самолете, совершив почти полное кругосветное путешествие. Он входит в лагерь, как в свою комнату на Никитском бульваре. Через день он читает доклад о работах XVII партс'езда, расчищает вместе с челюскинцами аэродром, составляет списки для вывозки и, переходя из палатки в палатку, рассказывает о новостях с Большой земли.

На «Садко» Г. А. Ушаков приехал с небольшой библиотечкой. В ней всего лишь пять книг: «Вопросы ленинизма» Сталина, устав и программа ВКП(б), томик Нансена, «Евгений Онегин» и киплинговские «Джунгли». В этом скромном списке весь этот спокойный и молчаливый человек с большими ясными глазами и пламенным сердцем.

Литература и искусство

1. АН. ВОЛКОВ — Художественное наследие Герцена. 2. П. РСЖКОВ — О программах ИКП литературы. 3. Е. СИКАР — Новая жизнь в Парме

1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ГЕРЦЕНА

АН. Волков

Герцен принадлежит к числу тех великих мыслителей и художников прошлого, чье наследие особенно близко советскому народу, свергнувшему буржуазно-крепостнический строй, с которым так страстно и пламенно боролся великий революционер-демократ. «Герцен, — писал Ленин, — принадлежал к поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века. Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество «пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников», да прекраснодушных Маниловых. «И между ними, — писал Герцен, — развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованые из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия». К числу таких детей принадлежал Герцен. Восстание декабристов разбудило и «очистило» его. В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени¹⁾).

Наследие Герцена велико и многогранно. Его кипучая творческая деятельность проявлялась в различных видах и формах. Блестящий публицист, философ, критик и, наконец, художник слова, автор романа «Кто виноват», повестей «Сорока-воровка», «Доктор Крупов», автор «Былого и дум», замечательный энциклопедист целой эпохи, — таков Герцен.

Художественное творчество, — если исходить из объема, написанного Герценом, — занимает сравнительно небольшой удельный вес в его литературном наследстве: публицистика и философия значительно перевешивают беллетристику. Но тем не менее герценовской беллетристике суждено занять почетное место в истории русской художественной литературы. Имя Герцена история поставила рядом с именами великих русских писателей-классиков.

«Ежели бы, — писал Л. Толстой, — выразить значение русских писателей процентно, в цифрах, то Пушкину надо бы отвести 30 проц., Гоголю — 20 проц., Тургеневу — 10 проц., Григоровичу и всем другим — около 20 проц., а все остальное надо отнести на долю Герцена. Он изумительный писатель! Он глубок, блестящ и пронизателен».

Известно, как высоко ценил художественный талант Герцена А. М. Горький, ставивший его в ряд с талантами

¹⁾ Ленин. Соч., т. XV, 3-е изд., стр. 464.

Тургенева, Некрасова, Салтыкова, Лескова, Успенского, Чехова. В недавно опубликованной работе о Герцене Горький писал: «Герцен — первый русский мыслитель, до него никто не смотрел

литературному языку у Герцена, равно как и у других классиков.

Осваивая художественное наследие прошлого, советская литература не может пройти мимо произведений



А. И. ГЕРЦЕН

так разносторонне и глубоко на русскую жизнь. Его ум — ум исключительный по силе, как его язык исключителен по красоте и блеску». И Горький постоянно рекомендовал молодым писателям учиться

Герцена. Советские писатели также могут многое почерпнуть в публицистике Герцена, отделанной с большим художественным блеском. Известно также высокое мастерство Герцена в создании

очеркового жанра. Художественное и публицистическое слово Герцена обладает огромной силой воздействия на читателя. Не даром Некрасов писал Тургеневу об очерках Герцена «С того берега»: «Я плакал, читая «После грозы», — это чертовски хватает за душу». Искусством «хватать за душу» Герцен владел в совершенстве. Его произведения овладевают мыслью и чувством читателя, — и это лучший показатель их высокого художественного уровня. Даже те произведения Герцена, которые по замыслу «не претендуют» на художественность, как, например, «Письма из Франции и Италии», написаны с большой художественной силой.

Вообще в творчестве Герцена стирается грань между «публицистикой» и «беллетристикой» в старом, традиционном смысле этих понятий. Это не нужно доказывать, ибо сразу бросается в глаза читателю, берущему в руки роман «Кто виноват», не говоря уже о «Былом и думах». Публицистические сентенции органически входят в образную, художественную ткань. Само название герценовского романа подчеркивает его проблемный, глубоко идейный характер. Здесь Герцен выступил смелым новатором, преодолевшим традиции семейно-бытового романа, положившим начало новому жанру прозы. Новаторство Герцена послужило поводом к многочисленным нападкам на него со стороны блюстителей старых эстетических канонов, поборников литературного консерватизма. Были попытки, идущие из славянофильского лагеря, поставить беллетристику Герцена за пределы русского литературного языка, объявить ее явлением чужеродным и просто дискредитировать. Критик «Москвитянина» Шевырев в статье с характерным названием «Словарь солецизмов, варваризмов и всяких измов современной русской литературы» писал: «В числе деятелей нашей современной словесности является псевдоним Г. Исскандер (псевдоним Герцена. — А. В.). Никто, конечно, не отвергнет живого, замечательного ума в этом писателе; но личность, излишне развитая во вред русским понятиям и русской речи, чрезвычайно вредит ему

самому и его произведениям. Роман его: «Кто виноват», вышедший в прошедшем году спутником первого номера «Современника», доставил нам обильную жатву для начала словаря. Мы позволим себе назвать эти выражения, в честь их изобретателя, искандеризмами» («Москвитянин», № 1, 1848 г.). И дальше в виде «приложения» идет список «искандеризмов». Характерно, что отступление от правил «русской речи» Шевырев увидел даже в таких выражениях, как, например: «Он унаследовал от отца удачу», «Попадья была непроходимо глупа», «Дом спал от конюшни до чердака», «Негров под другой фамилией», «Он занимался бессистемно», «Рыхлые объятия верной супруги» и т. д.

То, что Шевырев называл «варваризмами», прочно вошло в русскую литературу. Будущее показало правоту Герцена в его споре со славянофилами. Вспомним, что подобным нападкам за художественное и языковое новаторство подвергался в свое время и Пушкин: его язык сравнивался с языком мужика в армяке, попавшего в дворянский салон со словами: «Здорово, братцы». Герцена так же, как Пушкина, поборники самодержавия, православия и «народности» обвиняли в том, что у него «излишне развитая личность» «во вред русским понятиям». Борьба за эмансипацию личности от крепостнического гнета была составной частью общей борьбы с самодержавием и крепостничеством, которую вели Пушкин, Герцен и декабристы, — и это было не «по душе» их реакционным противникам! Произведения Герцена, по мнению Шевырева, — «исчадие современной беллетристики».

Новаторство Герцена состоит не только в языке, в стиле, но и в содержании. Герцен, — писал Белинский, — «изображает с поразительной верностью сцену действительности для того, чтобы сказать о ней слово, произнести суд», в то время как «Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своей способностью рисовать». И далее Белинский указывает, что «в таланте Исскандера поэзия — агент второстепенный, а глав-

ный — мысль; в таланте Гончарова поэзия — агент первый, главный и единственный».

Подобный вид литературы, как показало будущее, вполне имеет все права на существование. Качества герценовской беллетристики, отмеченные Белинским, присущи в разной степени Чернышевскому, Успенскому, Горькому и другим представителям реализма в русской литературе. И Герцену, и Чернышевскому, и Горькому были чужды созерцательность, чистая игра воображения и самодовлеющий эстетизм. Их художественное слово было орудием произнесения приговора над действительностью, орудием воздействия и переделки действительности. Их литература отмечена высокой идейностью, проблемностью. Для Герцена, как и для других революционеров, живших в условиях мрачной николаевской эпохи, художественная литература была единственной областью, где можно было более или менее открыто вести борьбу с господствующей идеологией и политикой, хотя и здесь приходилось пробираться сквозь рогатки цензуры. Герцен, рвавшийся к открытой политической борьбе с крепостническим бесправием и не имевший возможности вести эту борьбу, прекрасно использовал область художественной литературы: в беллетристические произведения он вложил свой публицистический пафос. Вспомним, как страдал Белинский, также стремившийся к публицистике и вынужденный ограничиться сферой литературной критики. Однако этот факт никак не умаляет роли и ценности критики Белинского, точно так же он ни в какой степени не бросает тени на беллетристику Герцена.

Герцен обладал крупным и своеобразным литературным мастерством. Литература для него являлась не случайным занятием, а органическим призванием его таланта. Весьма показательно, что расцвет литературно-художественной деятельности Герцена относится к 40-м годам, годам ссылки и полицейского надзора. От ранних беллетристических опытов 30-х годов он переходит к таким зрелым произведениям, как «Кто виноват», «Сорока-воровка»,

«Доктор Крупов». Также показательно, что после выезда за границу Герцен с головой уходит в публицистическую деятельность, возможность которой была исключена в царской России. Написанные в годы заграничных странствий очерки «С того берега», «Письма из Франции и Италии» и, наконец, крупнейший труд «Былое и думы» основаны на реальных политических и жизненных фактах, о которых нельзя было говорить в подцензурной литературе. Возможностью открыто писать о реальных фактах, прежде всего, воспользовался Герцен.

Итак, в разные периоды своей деятельности Герцен прибегает к различным литературным жанрам, отдавая предпочтение тем, которые наиболее отвечают его главной цели — борьбе с деспотизмом и тиранией. Отсюда «тенденциозность» Герцена. История литературы дает нам немало примеров «тенденциозной» беллетристики. Весь вопрос в том, куда направлена «тенденция» произведения — зовет ли она вперед или, наоборот, стремится повернуть колесо истории назад. В последнем случае мы имеем дело с дурной тенденциозностью, идущей вразрез с ходом объективной действительности, результатом чего неизбежно является художественная фальшь и ходульность.

Беллетристика Герцена звала вперед, была исторически прогрессивной, хотя Герцен во многом ошибался, хотя его положительные «социалистические» идеалы не содержали в себе, по словам Ленина, «ни грана социализма».

Ленин дал блестящую характеристику Герцена, дающую правильный ключ к пониманию и исследованию его художественных произведений. Отмечая порок герценовского «социализма», Ленин тут же указывал на историческую заслугу Герцена, состоящую в том, что «он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени. Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет из себя «алгебру революции». Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом... Герцен вплотную подошел к диалектиче-

скому материализму и остановился перед — историческим материализмом»¹⁾.

В 40-х годах философия в руках Герцена наряду с беллетристикой была орудием, которым он нанёс удар по идеологическим твердыням крепостничества. В своих блестящих «Письмах об изучении природы» он со всей страстью обрушился на идеализм — эту опору средневековья, реакции и мракобесия. Герцен подвергает резкой критике западноевропейский идеализм. «Феодализм, — пишет он, — пережил реформацию — он проник во все явления новой жизни европейской». «Феодализм грубый, прямой заменился феодализмом рациональным, смягченным; феодализм, веровавший в себя, феодализм крови — феодализмом денег». Идеализм — это схоластический феодализм в философии. «Дуализм схоластический, — пишет Герцен, — не погиб, а только оставил обветшалый мистико-каббалистический наряд и явился чистым мышлением, идеализмом, логическими абстракциями».

Отвергая идеализм, Герцен приходит к материалистическому разрешению основного философского вопроса о взаимоотношении бытия и мышления: «Отсюда неминусомо должно развиваться единство бытия и мышления; мышление делается аподиктическим доказательством бытия; сознание сознает себя неразрывным с бытием, — оно невозможно без бытия».

Встав на материалистические позиции, Герцен сумел правильно оценить положительные стороны гегелевской философии и одновременно увидеть ее недостатки. Рациональное зерно гегелевской философии Герцен видит в методе Гегеля, в его диалектике. В «Былом и думах» он писал: «Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей. Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира

христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, может быть с намерением, дурно формулирована». Это очень меткое замечание.

Герцену делает честь тот факт, что он сумел увидеть, что диалектика Гегеля ближе к материализму, нежели к правоверному гегельянству, к идеалистическим последователям Гегеля. Вместе с тем Герцен выступает против «дурного формулирования» гегелевского диалектического метода, не останавливаясь перед критикой самого Гегеля. В «Былом и думах» есть очень меткие строки о Гегеле: «Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти ставятся довольно безразлично, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая от правляется от снятия дуализма, легко понять. Гегель держался в кругу отвлечений для того, чтобы не быть в необходимости касаться эмпирических выводов и практических приложений; для них он избрал очень ловко тихое и безбурное море эстетики; редко выходил он на воздух, и то на минуту, закутавшись, как больной, но и тогда оставлял те вопросы, которые более всего занимали современного человека. Чрезвычайно слабые умы, окружавшие его, принимали букву за самое дело, им нравилась пустая игра диалектики. Вероятно, старику иной раз было тяжело и совестно смотреть на недалёковидность через край удовлетворенных учеников своих. Диалектическая метода, если она не суть развитие самой сущности... становится чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической

¹⁾ Ленин. Соч., т. XV, 3-е изд., стр. 464—465.

гимнастике». (Подчеркнуто мною. — А. В.).

Герцен выступает против политически-реакционного истолкования гегелевской диалектики, показывая при этом громадную прозорливость: «Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии, — «все действительно разумно», — была иначе высказанное начало достаточной причины и соответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, чем некогда были слова Павла: «Нет власти, как от бога». Но если все власти от бога и если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана». Герцен оказался более прозорливым в оценке гегелевской диалектики, чем, например, Белинский, который вместе с ее положительными сторонами принял (правда, не надолго) формулу: «Все действительно разумно», в ее реакционном истолковании. На этой почве даже произошел на некоторое время разрыв отношений между Герценом и Белинским.

Положительно оценивая гегелевскую диалектику, Герцен сам развивал диалектические взгляды на развитие природы, утверждая, что в природе «двух раз не встретишь одни и те же черты». Само стремление Герцена к познанию закономерностей развития природы, особенно сказавшееся в «Письмах об изучении природы», весьма показательны. В противовес идеализму, ориентирующему философию на религию, Герцен подчеркивает связь философии с естествознанием. «Философия без естествоведения так же невозможна, как естествоведение без философии». Как указывал Ленин, Герцен «пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом». Впоследствии он сам в «Былом и думах» описал, какое огромное воздействие на него оказала «Сущность христианства» Фейербаха. «Прочитав две страницы, — пишет он, — я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье

и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы». Приняв материализм по Фейербаху, Герцен, подобно своему учителю, не сумел применить диалектический метод, когда речь шла об истории человеческого общества, об установлении законов движения и изменения в общественном устройстве. Сам Герцен свидетельствует об этом в «Былом и думах», вспоминая об эпохе сороковых годов. «Диалектическим настроением пробовали тогда решить исторические вопросы в современности; это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию». Так Герцен остановился перед историческим материализмом. И это порок всего домарковского материализма, — его не избежал и Герцен. Но, несмотря на этот существенный недостаток, громадной заслугой Герцена перед историей общественной мысли остается то, что он в крепостной России 40-х годов дал смелый и решительный бой идеалистическому мракобесию, поповщине и схоластике — этим оплотам крепостнического общества.

Ту же борьбу Герцен продолжил и в беллетристике 40-х годов. Широкий теоретический горизонт Герцена сказался в его художественных произведениях. Его беллетристика насыщена идейным содержанием, большим умом. «У тебя, — писал Белинский Герцену, — как у натуры, по преимуществу мыслящей и сознательной... талант и фантазия ушли в ум, оживленный и согретый, так сказать, о с е р д е ч е н н ы й гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя страшно много ума, так много, что я не знаю, зачем его столько одному человеку».

Беллетристика Герцена, ставящая большие философские проблемы своей эпохи, неразрывно связана с герценовской философией, — они дополняют друг друга. Если в «Письмах об изучении природы» Герцен дает критику философии феодально-крепостнического общества, то в романе «Кто виноват» он в образной форме подвергает критике общественные отношения и формы, вы-

росшие на фундаменте этого общества.

Главным героем романа выступает «лишний человек». Знакомый образ 30—40-х годов. Почему Бельтов в данном обществе стал лишним человеком? Кто виноват в этом? Может быть, причина кроется в его личных качествах, в его «неуживчивости» со средой? Идеалист, конечно, свел бы все дело к «личным», «психологическим» неудачам Бельтова. Точно так же идеалист объяснил бы причину семейной драмы Круциферских. Но Герцен дает на все эти вопросы определенный материалистический ответ.

Вот характерное рассуждение автора о Бельтове: «Неужели, — спрашивает он, — силы у человека развиваются в таком определенном количестве, что если они потребляются в молодости, так к совершеннолетию ничего не останется? Я его не умею и не хочу разрешать, но думаю, что решение его надобно искать в атмосфере, в окружающем, во влияниях и соприкосновениях, нежели в каком-нибудь нелепом психическом устройстве человека. Как бы то ни было, но примета исполнилась над головой Бельтова. Бельтов с юношеской запальчивостью и с неосновательностью мечтателя сердился на обстоятельство...».

Всей логикой образов романа Герцен утверждает, что в роли «виноватого» выступает «среда», т. е. крепостническое общество. Оно душит и губит честных людей, людей с иным складом мышления, не укладывающимся в его жизненный кодекс. Оно, это общество, делает их лишними, ненужными и даже приводит к гибели. Герцен противопоставляет своих положительных персонажей, — Бельтова, Любоньку, Круциферского, — людей с высокими моральными стремлениями, тупой, пошлой среде чиновничества города NN, поднимаясь при этом до больших социальных обобщений. С сарказмом, в едких тонах и мрачных красках рисует Герцен помещичью семью Негровых, в которую попадает «нежный и добрый, образованный и чистый» юноша Круциферский. Уже с первых дней пребывания в этой среде Кру-

циферский чувствует свою отчужденность от нее. «Странное дело: в доме Негрова ничего не было ни разительного, ни особенного; но свежему человеку, юноше, как-то неловко, трудно было дышать в нем. Пустота всесовершеннейшая, самая многосторонняя царила в почтенном семействе Алексея Абрамовича. Зачем эти люди вставали с постели, зачем двигались, для чего жили, — трудно было бы отвечать на эти вопросы. Впрочем, и нет нужды на них отвечать. Добрые люди эти жили, потому что родились, и продолжали жить по чувству самосохранения. Какие тут цели да задние мысли? Это все из немецкой философии!» В изображении быта этих людей, живущих «по чувству самосохранения», Герцен широко использует приемы иронии и гротеска, поднимаясь до злой, бичующей сатиры. Так иронически противопоставляется жизнь «добрых людей» (тоже ирония!) Негровых правилам «немецкой философии».

Ирония переходит в сарказм, в злоую, бичующую сатиру, когда Герцен рисует портрет одного из героев помещичье-чиновничьей среды, по ироническому замечанию автора, «сильнейшей головы» в городе — председателя уголовной палаты Антона Антоновича. «Сильнейшая голова в городе был, бесспорно, председатель уголовной палаты: он решал окончательно, безапелляционно все вопросы, занимавшие общество; к нему ездили совещаться о семейных делах; он был очень учен; литератор и философ». По убеждению городских дам, Антон Антонович «один способен решать вопросы нежные, где замешано сердце женщины». А вот «метод» работы этого городского «умницы»: «Он обыкновенно говорил протяжно, с ударением, так, как подобает говорить мужу, вершающему окончательно все вопросы; если какой-нибудь дерзновенный перебивал его, он останавливался, ждал минуту-две и потом повторял снова с нажимом последнее слово, продолжая фразу точно в том духе и характере, в каком начал. Возражений он не мог терпеть, да и не приходилось никогда их слышать ни от кого, кроме доктора Крупова; остальным в голову не приходило спорить с

ним, хотя многие не соглашались. Сам губернатор, чувствуя внутри себя все превосходство умственных способностей председателя, отзывался о нем как о человеке необыкновенно умном и говорил: «Помилуйте, ему не председателем быть уголовной палаты, повыше бы мог подняться. Какие сведения! Да и потом вы послушайте его рассуждения — это просто Массильон! Он много по службе потерял, посвящая большую часть времени чтению и наукам».

Автор тут же иллюстрирует умственные способности и научные познания этого Массильона, превосходящего по уму «самого» губернатора. Вот его «литературные» взгляды: «Не люблю с новых книг. Вот и теперь перечитывал «Душеньку» в сотый раз и, истинно уверяю вас, с новым удивительным наслаждением. Какая легкость, какое остроумие!». Особенно ярко тупость этого «умного литератора и философа» вскрывается в его словах о Пушкине: «Знаю и очень знаю, все повременные издания хвалят Пушкина. Читал я и его. Стихи гладенькие, но мысли нет, чувства нет, а для меня, когда здесь нет (он ошибкою показал на правую сторону груди), так одно пустословие».

Так перед читателем встает во всю ширь образ тупого, ограниченного чиновника, и здесь Герцен дает понять, что этот образ и есть типичный герой николаевской эпохи. Ведь Антон Антонович самый умный в городе. Что же спросить с остальных — многоликих Карпов Кондратьевичей! Невольно вспоминаются гоголевские слова: единственный порядочный человек в городе, да и тот подлец! Герценовский метод изображения дворянско-чиновничьей среды сильно напоминает метод Гоголя. Описание сцены дворянских выборов, подготовки к ним, ирония и гротеск в изображении портретов отрицательных персонажей — все это заставляет нас постоянно вспоминать «Мертвые души» Гоголя. На эту близость романа «Кто виноват» к гоголевской поэме обратил внимание еще А. Веселовский в своей монографии «Герцен-писатель» (М. 1909 г.). «Роман Герцена, — пишет А. Веселовский, — в своей бы-

товой части основанный на богатом запасе наблюдений из жизни Вятского края, так же связан в описательных приемах и в расценке людей и быта при свете юмора с «Мертвыми душами», как впоследствии «Губернские очерки», летопись нравов того же края, будут носить даже в середине 50-х годов живые следы влияния гоголевской поэмы. Не говоря уже об идейной стороне этого влияния на роман («Кто виноват». — А. В.), сходство проникает и в детали выполнения» (стр. 47).

Но вместе с тем следует сказать, что Герцен в критике феодальных общественных отношений идет дальше Гоголя. Его выводы более радикальные, чем выводы Гоголя. Это понимал и Герцен, когда в «Былом и думах» отмечал известную непоследовательность своего предшественника: «Гоголь, — читаем мы в «Былом и думах», — приподнял одну сторону занавеси и показал нам русское чиновничество во всем безобразии его; но Гоголь невольно примиряет смехом: его огромный комический талант берет верх над негодованием. Сверх того, в колодках русской цензуры он едва мог касаться печальной стороны этого грязного подземелия, в котором куются судьбы бедного русского народа».

В отличие от Гоголя Герцен не только показал тупость и пошлость чиновничье-помещичьего бытия, но и показал образы иных людей, противостоящих этой среде, людей с благородными думами и высокими этическими стремлениями. Как известно, образы положительных героев, носителей и поборников справедливости не удалась Гоголю: за исключением Костанжогло, он уклонился от их изображения. Герцен, наоборот, в центре романа «Кто виноват» поставил положительных персонажей — Бельтова, Любоньку и Круциферского, в разной мере противостоящих господствующим общественным кругам. Бельтов сразу же пришелся не по душе помещичьему обществу города. «Не прошло и месяца после водворения Бельтова в NN, как он успел уже приобрести ненависть всего помещичьего круга, что не мешало, впрочем, и чиновникам, со-

своей стороны, его ненавидеть. В числе ненавидящих были такие, которые его в глаза не знали; другие, если и знали, то не имели никаких сношений с ним; это была с их стороны ненависть чистая, бескорыстная, но и самые «бескорыстные чувства имеют какую-нибудь причину».

И автор объясняет причину ненависти к Бельтову, а тем самым и причину отщепенчества Бельтова от господствующей среды: «Помещики и чиновники составляли свои, более или менее замкнутые круги, но круги близкие, родственные; у них были свои интересы, свои ссоры, свои партии, свое общественное мнение, свои обычаи, общие, впрочем, помещикам всех губерний и чиновникам всей империи». Последние слова очень знаменательны: Бельтов противопоставит не только «дурным» помещикам города NN, но «помещикам всей губернии и чиновникам всей империи». Он изображен как отщепенец своего класса, как протестант. Обитатели дворянских салонов и гостиных увидели и «поняли чувством», что Бельтов — «протест, какое-то обличение их жизни, какое-то возражение на весь порядок ее».

Бельтов противопоставит дворянской среде, но он в то же время сам типичный продукт этой среды, вернее, жертва ее. Воспитанный в условиях праздной, пресыщенной жизни, Бельтов, обладающий талантом, имеющий знания, познавший освободительные идеи Запада, в то же время бессилён все это применить на практике и потому неизбежно обречен на праздность. Его гуманизм, благородные, высокие стремления в конечном счете остаются прекраснодушной фразой. В этом виновато то общество, продуктом которого он является. Бельтов не находит социальной опоры в народе — он очень далек от народа, но в то же время он никак не может ассимилироваться в дворянско-чиновничьей среде, ибо он слишком ощущает свое интеллектуальное превосходство перед этой средой. Герцен подробно рассказывает биографию Бельтова. Вот Бельтов хочет стать чиновником канцелярии, но из этого ничего не вы-

ходит. «Бельтов вскоре охладил к занятиям канцелярии, стал раздражителен, небрежен. Управляющий канцелярией призывал его к себе и говорил, как нежная мать, — не помогло. Его призвал министр и говорил, как нежный отец, — так трогательно, так хорошо, что экзекутор, случившийся при этом, прослезился... — и это не помогло». Бельтов бросает канцелярию, от скуки пробует заниматься медициной — и из этого ничего не выходит. Таково прошлое Бельтова до его приезда в город NN, куда он приехал с целью служить по выборам, но оказался «прокаченным на воронных». «Что же делал Бельтов в продолжение этих десяти лет?» — спрашивает автор и отвечает: — «Все или почти все. Что он сделал? Ничего или почти ничего». Итак, пустоте дворянской жизни Бельтов противопоставляет благородное безделье.

В интерпретации образа Бельтова сказались слабость и тщетность положительных идеалов Герцена. Бельтов — не выдуманный романтический герой. Это типичный, вполне реалистический образ человека 30 — 40-х годов, родной брат Рудина, Онегина, Печорина. «Онегины, Печорины, — писал Герцен значительно позже, — были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный тип лишнего, потерянного человека — только потому, что он развился в человека, являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах».

В «Былом и думах» Герцен показал нам целую галерею такого рода людей — благородных, глубоко симпатичных, высокоинтеллектуальных, не признанных в николаевской России и оказавшихся «лишними». Таков Станкевич, «тоже один из праздных людей, ничего не совершивших», как характеризует его Герцен. Станкевич в изображении Герцена очень напоминает Бельтова. «Срочные занятия окончены; он предоставлен себе; его не ведут, но он не знает, что ему делать! Продолжать нечего было, кругом никто

и ничто не звало живого человека. Юноша, пришедший в себя и успевший оглядеться после школы, находился в тогдашней России в положении путника, просыпающегося в степи: ступай, куда хочешь, — есть следы, есть кости погибнувших, есть дикие звери и пустота во все стороны, грозящая тупой опасностью, в которой погибнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно, с любовью, — это учение».

«И вот Станкевич натягивает ученые занятия; он думает, что его призванье быть историком, и он начинает заниматься Геродотом; из этого занятия, можно было предвидеть, ничего не выйдет». Черты Бельтова во многом присущи самому Герцену эпохи 40-х годов. Вспомним, как Герцен описывает свою службу в качестве чиновника во время ссылки в Вятке и Новгороде. «Я недолго служил,— пишет он, — всячески лынял от дела, и потому многого о службе мне рассказывать нечего». «Прием», оказанный Герцену в Новгороде, во многом напоминает аналогичные истории с Бельтовым. Герцен описывает в «Былом и думах» свою встречу с новгородским губернатором. «Не вызванный ничем с моей стороны, он счел нужным сказать, что он не терпит, чтоб советники подавали голос или оставались бы письменно при своем мнении; что это задерживает дела; что если что не так, то можно переговорить, а как на мнение пойдет, то тот или другой должен выйти в отставку. Я, улыбаясь, заметил ему, что меня трудно испугать отставкой, что отставка — единственная цель моей службы, и прибавил, что, пока горькая необходимость заставляет меня служить в Новгороде, я, вероятно, не буду иметь случая подавать своих мнений... Сколько я мог заметить, впечатление, произведенное мною на губернатора, было в том же роде, как то, которое он произвел на меня, но ведь мы настолько терпеть не могли друг друга, насколько это возможно было при таком недавнем и поверхностном знакомстве». Как все это напоминает нам Бельтова!

Слабость позитивных идеалов, вернее, неспособность применить освободительные идеалы Запада в практической деятельности, — это трагедия не только Бельтова, но и самого Герцена. Сила Герцена — в критике действительности, слабость — в методах осуществления положительных идеалов, хотя в 40-х годах он еще был далек от теории русского общинного социализма, к которой пришел впоследствии, разочаровавшись в западной цивилизации. Западнические идеалы Герцена 40-х годов оказались во многом бесплодными, хотя они были в то время глубоко прогрессивными. И это не вина, а беда Герцена и ему подобных революционеров, не имеющих социальной опоры в народе. «Не вина Герцена, — писал Ленин, — а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидел его в 60-х — он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма¹⁾. Герцен обращал свой взор в сторону западноевропейских освободительных идей, но это не могло дать ему ответ на вопрос «что делать» в условиях крепостнической России.

В своей блестящей статье о Герцене Ленин писал: «Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирноисторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела²⁾».

В статье «Лишние люди и желчевники», относящейся к заграничному периоду деятельности Герцена, он очень метко уловил причину духовной трагедии русских дворянских революционеров николаевской эпохи, и, добавим мы, — в частности причину собственной трагедии. «Не только правительство против них, с виселицей и шпионами, с обручем, которым палач сжимал голову Пестелю, и с Николаем, надевавшим этот обруч на всю Россию, но что и народ не с ним и, или по крайней мере, что он совершенно чужой; если он и недово-

¹⁾ Ленин, Соч., т. XV, 3-е изд., стр. 468.

²⁾ Там же, стр. 465.

лен, то совсем не тем, чем они недовольны. Рядом с этим подавляющим сознанием, с другой стороны, развивалось больше и больше сомнение в самых основных незыблемых основаниях западного воззрения. Почва пропала под ногами; поневоле в таком недоумении приходилось в самом деле итти на службу или сложить руки и сделаться лишним, праздным»¹⁾.

Таким образом, «лишнего человека» в реальной действительности и в произведениях Герцена, Тургенева, Лермонтова следует рассматривать исторически. Герцен дал исторически верное изображение дворянского революционера 40-х годов. В 50-х годах этот герой уже сходил с исторической арены. Приходили новые люди — разночинцы. Герцен во многом расходился с людьми этого поколения, он защищал от их нападков «лишнего человека» 40-х годов, но к чести Герцена надо сказать, что он не задержался на пройденном этапе, он сам прекрасно осознал, что время «лишнего человека» прошло и, попав за границу, получил возможность практического действия. Он развернул кипучую публицистическую деятельность, направленную на разоблачение русского деспотизма и западноевропейского капитализма. «Теперь, — писал Герцен в 1859 г. в «Колоколе», — в России нет лишних людей, теперь, напротив, к нашим огромным запашкам недостает рук. Кто теперь не найдет дела, тому пенять не на кого, тот в самом деле пустой человек, свищ или лентяй».

Конкретно-исторический взгляд дает нам возможность правильно и исторически объективно оценить положительные и отрицательные черты человека 40-х годов, которого в последующие годы некоторые из представителей нового поколения революционеров в пылу полемики склонны были третировать и изображать лишь в мрачных красках. Герцен был неправ в своей полемике с людьми нового поколения, но в его заступничестве за человека 40-х годов было здоровое, рациональное зерно. В своей уже

цитированной работе о Герцене Горький писал: «Мечтатель — он являлся пропагандистом идей революционных, он был критиком действительности, он, так дин лицо не жалкое, как принято к нему времени мог сделать практик? Нет, Рудин лицо не жалкое как принято к нему относиться, это несчастный человек, но — своевременный и сделавший немало доброго. Ведь... Рудин — это и Бакунин, и Герцен, а отчасти сам Тургенев, а эти люди, вы знаете, недаром прожили свою жизнь и оставили для нас превосходное наследство».

В отличие от людей 60-х годов, от Чернышевского, Герцен в 40-х годах лишь поставил вопрос (и поставил правильно): «кто виноват?», но он оказался неспособным поставить и разрешить вопрос: «что делать?», как это сделали революционеры последующих поколений, как это сделал Чернышевский, призывавший мужика к топору, нашедший путь в крестьянской революции. Но и шестидесятники, ограниченные своей эпохой, выступившие до начала пролетарского революционного движения, не могли найти правильный путь, и это также не вина, а беда их. Но и те, и другие — и дворянские революционеры, и революционеры крестьянские — делали исторически прогрессивное дело.

Они также делали большое, революционное дело в русской литературе. Замечательная плеяда писателей-реалистов 40-х годов и выступившая за ней в 60—70-х годах плеяда писателей-разночинцев сделали огромный вклад в русскую литературу. «Фонвизиним, — писал Горький, — начата великопнейшая и может быть, наиболее социально плодотворная линия русской литературы: линия обличительно-реалистическая». Беллетристика Герцена — один из значительных этапов в развитии критического реализма — является как бы мостом от реализма натуральной школы к реализму шестидесятников. Они расчистили путь Салтыкову-Щедрину, Чернышевскому, Помяловскому, Успенскому.

Роман «Кто виноват» — наиболее значительное произведение герценовской беллетристики 40-х годов. С ним тесно

¹⁾ «Еще раз», сб. статей Искандера, Женева, 1866 г., стр. 204.

связаны другие произведения Герцена этих лет: повести «Сорока-воровка», «Доктор Крупов» и оставшаяся неоконченной повесть «Долг прежде всего». В «Сороке-воровке» ставится проблема человеческого достоинства женщины, да к тому же крепостной женщины — актрисы, затравленной крепостником-помещиком. Здесь получает свое развитие линия, начатая в романе «Кто виноват» в образе Любоньки Круциферской. Реакционные критики и цензура были шокированы тем фактом, что в числе положительных героев романа «Кто виноват» показана женщина, да к тому же незаконнорожденная дочь крепостной девки. Этот факт послужил причиной многочисленных злых нападок на Герцена.

В «Сороке-воровке» Герцен пошел еще дальше: он изобразил талантливую крепостную актрису как высокоблагородную личность и возложил вину за ее гибель на крепостническое общество. Создавая образы Любоньки и Анеты, Герцен выступал горячим поборником освобождения женщины, знаменосцем женского равноправия, а это в годы николаевского деспотизма было большим прогрессивным, революционным делом. Любонька Круциферская является прямой предшественницей Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?». Герцен изобразил в ней благородного, сильного человека. Вот как характеризует ее Бельтов: «Изумленный необычайной силой ее, я склонялся перед ней. Удивительное существо! Как это сделалось с ней, что те результаты, за которые я пожертвовал полжизнью, которых добился трудами и мучениями и которые так новы мне казались, что я ими дорожил, принимал их за нечто выработанное, были для нее простыми, само собою понятными истинами: они ей казались обыкновенны. Не знаю, я со многими людьми встречался; у каждого рано или поздно дойдешь до его горизонта. Какие мгновения истинного блаженства я испытал в эти вечера, когда мы долго беседовали!». В изображении своей героини Герцен выступил смелым новатором, разрушившим традиционный взгляд на женщину. По словам

А. М. Горького, Люба — «первая женщина в русской литературе, поступающая, как человек сильный и самостоятельный, — до нее литература знала лишь любовниц на разные лады и вкусы и не занималась внутренним миром женщины».

В «Сороке-воровке» дана исповедь замученной женщины, исповедь, полная отчаяния и трагизма, и перед читателем раскрывается внутренний мир, благородный облик крепостной девушки, ставшей актрисой. И в этой исповеди слышится горячий протест против строя, основанного на крепостничестве, и угнетения женщины. «Он привык к раболепию, — говорит она о князе, — он протягивал свою руку охотникам целовать; дворецкий и толпа его фаворитов старались подражать ему в обращении. Тяжело было на сердце, очень тяжело, но были еще и отрадные минуты; меня берегли за талант, и я умела еще так предаваться искусству, что забывала окружающее». Благородная душа Анеты не мирится с мерзкой средой, в ней сильно развито чувство человеческого достоинства, но она бессильна бороться с этой средой и становится жертвой ее. И в этой гибели автор видит моральное превосходство жертвы перед ее губителями, так же, как это превосходство выражено в образе Любоньки Круциферской. «Бедная артистка, — думал собеседник Анеты, — что за безумный, преступный человек сунул тебя на это поприще, не подумавши о судьбе твоей! Зачем разбудили тебя? Затем только, чтоб сообщить вещь страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант, не известный тебе самой, не мучил бы тебя; может быть, подчас и поднималась бы со дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной». Как видим, тот же мотив, что и в интерпретации образа Бельтова: моральное превосходство человека перед средой становится источником мучений, ибо общество, базирующееся на порочных основах, не может оценить ум и талант, а, наоборот, топчет их в грязь.

Порочная основа общественных отношений подвергается резкой, злой крити-

ке в повести «Доктор Крупов». Эта повесть, пожалуй, наиболее социально заостренная из всей беллетристики Герцена «русского» периода. Доктор Семен Иванович Крупов, знакомый нам по роману «Кто виноват», в повести выступает в совершенно новой роли — специалиста по душевным болезням. Он делает многочисленные наблюдения над отдельными экземплярами человечества и, шире, над человеческим обществом и приходит к, казалось бы, фантастическому выводу, что общество, его окружающее, есть не что иное, как скопище умалишенных. Отношения между людьми лишены элементарного здравого смысла. Однако за внешней фантастической оболочкой рассуждений доктора Крупова кроется реальная критика общественных отношений, основанных на угнетении большинства меньшинством. «Продолжая мои наблюдения, — рассказывает Крупов, — я открыл, что между собой нередко сумасшедшие признают друг друга: они уже ближе к обыкновенному гражданскому благоустройству. Так, в V палате жили восемь человек легко помешанных в большой дружбе. Один из них сошел с ума на том, что он сверх своей порции имеет притязание есть по полпорции у всех товарищей, основывая пресмешно свои права на том, что его отец умер от объедения, а дед опился. Он так уверил своих товарищей, что ни один из них не смел есть своей порции, не отдав ему лучшей части, не смел ее взять украдкой, боясь угрызений совести».

Эта сцена из жизни умалишенных напоминает «обыкновенное гражданское благоустройство», а вот как описывает Крупов «обыкновенное благоустройство»: «В нашем городе считалось 5 000 жителей; из них человек двести была повергнуты в томительнейшую скуку от отсутствия всякого занятия, а четыре тысячи семьсот человек повергнуты в томительнейшую деятельность от отсутствия всякого отдыха. Те, которые дено и ношно работали, не вырабатывали ничего, а те, которые ничего не делали, непрерывно вырабатывали и очень много».

Как видим, сумасшедший дом в глазах Крупова мало отличается от обыкновенного общества. И там, и здесь непропорциональное распределение общественных благ между большинством и меньшинством. Корень зла в тунеядстве меньшинства и в жестокой эксплуатации большинства, — таков вывод Крупова. Крупов довольно последовательно проводит аналогию между «здоровыми» и душевнобольными людьми. Вот его наблюдения над чиновниками канцелярии: «Добросовестно изучая субъекты в обоих заведениях (в сумасшедшем доме и канцелярии врачебной управы. — А. В.), я был поражен сходством чиновников канцелярии с больными; разумеется, наружные различия тоже бросались в глаза, но врач должен идти далее: по наружности долгое время кита считали рыбою. Самое важное различие между писарями и больными состояло в образе поступления в заведение; первые просились об определении, а вторые были определяемы высшим начальством вследствие публичного испытания в губернском правлении. Но однажды помещенные в канцелярию писаря тотчас подвергались психической эпидемии, весьма быстро заражавшей все нормально-человеческое и еще быстрее развивавшей искаженные потребности, желания, стремления...»

А. Веселовский совершенно правильно обратил внимание на близость герценовской иронии в «Докторе Крупове» к иронии Свифта с его повальным осуждением человечества или мрачно насмешливыми доказательствами высокой пользы безумия в государстве». Так же, как у Свифта, у Герцена внешне фантастические рассуждения скрывают реальную критику общественного устройства. В «Докторе Крупове» Герцен выступает продолжателем сатиры Свифта и Гоголя. «Записки сумасшедшего» Гоголя в идейном и жанровом планах близки герценовской повести.

Беллетристика Герцена 40-х годов завершается повестью «Долг прежде всего», написанной в 1848 году и оставшейся незаконченной. Эта повесть была послана Герценом из-за границы в Россию, где подверглась цензурным репрес-

сиям и послужила причиной к запрещению всего написанного Герценом. В повести дан обильный жизненный материал, вводящий читателя в историю дворянской семьи Столыпиных. В мрачных красках рисует Герцен паразитическую жизнь Столыпиных, напоминающих будущих героев «Пошехонской старины» Салтыкова-Щедрина. По социальной остроте и резкости приговора эта повесть является как бы прологом последующей обличительной литературы шестидесятников.

Подводя итоги литературной деятельности Герцена 40-х годов, нужно сказать, что писатель, уже вполне идейно и художественно сформировавшийся в эти годы, имеющий собственное, оригинальное творческое лицо, выступает продолжателем славных традиций критического реализма. Он решительно преодолевает пороки наивно-романтического изображения действительности, характерного для ранней его беллетристики 30-х годов. Ранняя беллетристика Герцена за отдельными исключениями имеет незначительную идейно-художественную ценность, вот почему мы и считали целесообразным дать характеристику Герцена-писателя по его зрелым произведениям, которыми отмечено его вхождение в большую литературу.

Нарушая последовательность нашего анализа, мы должны в кратких словах остановиться на ранних произведениях Герцена, чтобы дать более полное представление о литературно-художественной деятельности Герцена русского периода. В 30-х годах Герцен написал ряд больших по объему произведений: «Арест и высылка» (1835), «Встреча» (1836), «Легенды» (1835), «Вторая встреча» (1836), «Это было 22 октября» (1837), «Елена» (1838), «Лициний» (1838), «Вильям Пен» (1839), «Записки одного молодого человека» (1838) и «Еще из записок молодого человека» (1839).

Характерными чертами ранних рассказов, набросков и отрывков Герцена являются религиозный мистицизм и индивидуализм. Это результат еще не сформировавшегося материалистического мировоззрения Герцена. Переходной

ступенью к творчеству 40-х годов являются «Записки одного молодого человека» и «Еще из записок молодого человека». «Еще из записок» — уже переход к реалистическому изображению действительности. В «Еще из записок» Герцен впервые становится на путь критического реализма в изображении быта и нравов города Малюнова.

Итак, линия, начатая Герценом в этом наброске, завершается в повести «Долг прежде всего», относящейся к концу 40-х годов.

С переездом Герцена за границу меняются жанры его литературной деятельности. Перед ним открывается широкое поле публицистической и политической работы. Если в России поле революционной деятельности было ограничено сферой беллетристики и философии, то теперь отпала необходимость оглядываться на цензуру, открылась возможность открыто и последовательно высказать свои взгляды. И Герцен широко использует эту возможность. Теперь беллетристике и философии он предпочитает более действенные орудия борьбы с общественным злом — публицистику и художественный очерк. Эти жанры дают возможность более быстрого и непосредственного отклика на общественные события. И весьма показательно, что Герцен, сосредоточивший свое внимание на публицистике и очерке, не нашел времени для окончания широко задуманной повести «Долг прежде всего».

Публицистика Герцена в течение ряда лет была бесцензурной, свободной речью подавленного русского народа. Она наводила страх на царских министров, чиновников и самого царя. Когда необходимо было говорить о реальных фактах, Герцен не считал себя в праве уходить в область художественного вымысла. Ведь Герцену пришлось взять на себя гигантскую работу. Наряду с публицистикой Герцен показывал блестящие образцы работы в жанре художественного очерка, мемуара и «писем», опять-таки основанного на реальных жизненных фактах. В произведениях этого жанра Герцен

говорит о многочисленных политических фактах из жизни России и Западной Европы и произносит свой приговор над ними. Его «Колокол», где печатались статьи и очерки, впоследствии составившие «Былое и думы», имел громадный политический резонанс в России и Европе. Столь же громадный резонанс имели очерки «С того берега» и «Письма из Франции и Италии».

«Былое и думы» — шедевр очерково-мемуарного жанра в русской литературе. Это произведение Герцена до сих пор является образцом, на котором могут многому поучиться советские очеркисты.

«Былое и думы» — главный труд Герцена западного периода. Это грандиозная энциклопедия целой эпохи, написанная умнейшим и талантливейшим современником ее. Отсюда большое познавательное и художественное значение «Былого и дум».

Так же, как и жизнь Герцена, это произведение подразделяется на две важнейшие части — до 1847 года и после — «русскую» и «западную». Пройдя большую жизненную школу («Былое и думы» были начаты в начале 50-х, окончены в конце 60-х годов), Герцен во многом эволюционировал в своих взглядах, и это существенно отличает его мемуары от произведений 40-х годов. К этому времени он ушел далеко от «лишнего человека» и после французской революции 1848 года разочаровался в «западнических» идеалах, увидел всю гниль западноевропейской буржуазной цивилизации. Все это обусловило сильные и вместе с тем слабые стороны «Былого и дум». В «Былом и думах» сила Герцена сказалась так же, как и в предыдущих произведениях, в критике и, наоборот, слабость — в положительных взглядах, хотя эти положительные взгляды Герцена в 50-х годах существенно изменились.

Герцен достигает исключительной силы в изображении «не наших» — многоликих царских чиновников, тупых, бездушных и бездарных, таких же, как и первый помещик России, царь. Вот сцена на коронации Николая I:

«Когда Николай I сходил со ступеней Красного крыльца, две девушки тихо выступили вперед и подали просьбу. Он прошел мимо, сделав вид, что не замечает их; какой-то флигель-адъютант взял бумагу; полиция повела их на с'езжую».

«Николаю тогда было около тридцати лет, и он уже был способен к такому бездушию. Этот холод, эта выдержка принадлежит натурам рядовым, кассирам, экзекуторам. Я часто замечал эту не по ко ле б и м у ю твердость характера у почтовых экспедиторов, у продавцов театральные мест, билетов на железной дороге, у людей, которых беспрестанно тормозят и которым ежеминутно мешают; они умеют не видеть человека, глядя на него, и не слушать его, стоя возле. А этот самодержавный экспедитор с чего выучился не смотреть, и какая необходимость не опоздать «минутой на развод»?».

Портрет «самодержавного экзекутора» дополняется портретами «экспедиторов» меньшего масштаба — губернаторов и чиновников, встречаемых Герценом во время вятской и новгородской ссылок. Наряду с ними перед читателем встают образы «наших» — замученных жертв деспотического режима — и тех, кто не мирился, а поднимал свой голос протеста. Герцен рассказывает потрясающую историю расправы самодержавия с талантливым поэтом Полежаевым, умершим в солдатской больнице. «Когда один из друзей его (Полежаева. — А. В.) явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно; солдатская больница торгует трупами; она их продает в университет, в медицинскую академию, вываривает скелеты и пр. Наконец, он нашел в подвале труп бедного Полежаева, — он валялся под другими, крысы об'ели ему одну ногу». С большой силой изображены портреты Огарева, Белинского, Грановского, Чаадаева, Станкевича и многих других современников и соратников Герцена. Перед читателем встает фигура «нистового Виссарiona», страстного, вдохновенного, глубоко идейного борца. Замечательно описана сцена спора Гер-

цена и Белинского с одним «благопристойным» магистром о письме Чаадаева.

«Вдруг мою речь подкосил Белинский. Он вскочил с своего дивана, подошел ко мне и, ударив по плечу, сказал: «Вот они высказались — инквизиторы, цензора — на веревочке мысль водить...» — и пошел и пошел. С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями.

— Что за обидчивость такая — не обижаемся, в Сибирь посылают, — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, заценил народную честь, — не смей говорить, речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить. Отчего же в странах более образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами?

— В образованных странах, — сказал с неподражаемым самодовольством магистр, — есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос. Он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

Сказавши это, он бросился в кресло, изнеможенный, и замолчал.

В этой характеристике — весь Белинский. Никто из современников не смог так правильно понять главного в Белинском и так ярко нарисовать его образ.

В «западных» главах «Былого и дум» Герцен показал всю гниль буржуазного «порядка» и «культуры». Он был свидетелем разгрома революции 1848 года в Париже и в злых, саркастических тонах показал торжество буржуазии. «После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены; ред-

ко-редко где-нибудь встречался экипаж; надменная национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили ходили по бульварам, распевая «Mourir pour la patrie»; мальчишки шестнадцати-семнадцати лет хвастались кровью своих братьев, запекшейся на их руках; на них бросали цветы мещанки, выбегавшие из-за прилавка, чтоб приветствовать победителей. Кавеньяк возил с собой в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуазия торжествовала».

Картина классовой расправы буржуазии с пролетариатом в Западной Европе, нарисованная Герценом в «Былом и думах», дополняется замечательными, яркими очерками «С того берега» и «Письмами из Франции и Италии».

Как только Герцен столкнулся лицом к лицу с Западной Европой — этой «синей птицей» его былых мечтаний, как только он воочию увидел торжество тупых лавочников в 1848 году, он понял, что «половина надежд, половина верований была убита», он почувствовал, как «мысли отчаяния бродили в голове, укоренялись». И Герцен навсегда прощается со своим «западничеством» в том виде, в котором оно ему мыслилось вчера. И он приходит к новой вере — вере в спасительное будущее русской крестьянской общины, становится пропагандистом русского общинного социализма. Это было, по словам Герцена, его духовным возвращением на родину. В «Былом и думах» Герцен писал: «Артель и сельская община, раздел прибытка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой, — все это краеугольные камни, на которых зиждется храмينا нашего будущего свободнообщинного быта». Именно здесь, в положительных идеалах, в «социалистических» мечтаниях о спасительном будущем русской сельскохозяйственной общины, — слабость Герцена. «Герцен, — писал Ленин, — видел «социализм» в освобождении крестьян с землей, в общинном землевладении и в крестьянской идее «права на землю». Свои излюблен-

ные мысли на эту тему он развивал бесчисленное количество раз.

На деле в этом учении Герцена, как и во всем русском народничестве — вплоть до полинявшего народничества теперешних «социалистов-революционеров» нет ни г р а н а социализма»¹⁾.

В «Былом и думах» социалистическо-утопические идеалы Герцена представляют собой наиболее слабые места книги. Они не нашли такого же образного, художественного выражения, как критическая сторона его мировоззрения. И это весьма знаменательно. Живая, реальная действительность не давала конкретного материала для подтверждения и обоснования герценовских утопий. У позднейших народников-беллетристов утопические идеи, поскольку они проникали в образную ткань произведений, приводили к художественной фальши и ходульности. Так, нетрудно заметить у Г. Успенского фальшивые ноты в интерпретации образа Ивана Ермолаевича, когда он начинал идеализировать его «общинные» качества. То же самое мы видим в произведениях Каронина, Наумова, Златовратского. Если бы Герцен вздумал написать повесть или роман, идеализирующий общину и «общинного» крестьянина, он не избежал бы художественной фальши. Подлинное искусство не терпит насилия над реальной действительностью, его сила — в правдивом изображении действительности. Герцен был чуткий и умный художник, писатель-реалист, и он не встал на путь фальши. Он был теоретическим основоположником народничества в России, но беллетристом-народником он не стал. К числу слабых сторон «Былого и дум» следует отнести неправильное, ложное изображение Маркса, с которым Герцен резко полемизировал. Однако к чести Герцена нужно отнести тот факт, что к концу своей жизни он «обратил свои взоры не к либерализму, а к И н т е р н а ц и о н а л у, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс, к тому Интернационалу, который начал «с о б и р а т ь п о л к и» пролетариата, объединять «м и р р а б о-

ч и й», «покидающий мир пользующихся без работы»¹⁾.

Большую художественную ценность представляют собой те главы и места «Былого и дум», в которых изображаются факты личной биографии Герцена. Здесь яко сказался повествовательный талант Герцена. Совершенно незабываемо описание сцены смерти жены и друга Герцена Natalie.

Личная биография такого человека, как Герцен, сама по себе представляет большую общественную значимость.

В «Былом и думах» литературный язык Герцена выступает во всем своем блеске. «К поре широкой разработки мемуаров развилось окончательно и сокровище Герцена — его слог. То, что внесли в него герценовская беллетристика русского периода, гибкость и блеск его прежнего журнального стиля, осложнилось свободой, сатирической солью, остроумием и гражданственным воодушевлением его публицистики. Обширный опыт жизни, художественный вкус, изощренный знанием мировой литературы, оригинальность мысли, требовавшая и свободной оригинальности формы, смелость новообразований, неологизмов... и сочетаний, от которых потрясаясь правоверный синтаксис, тогда как они пленяют и влекут к себе, необыкновенное разнообразие оттенков, от изящной, образной речи до нервной сжатости грудой набросанных предложений, — все придало слогу небывалую и самобытную мощь»²⁾.

«Былое и думы» — это был новый удар по литературным традициям славянофилов. В этом произведении Герцен выступил новатором в литературном языке. Герцен высоко поднял на Западе знамя русской литературы. Он горячо любил свою родину, свой народ, свою литературу. Он гордился русской литературой. Когда Мишле заявил как-то, что «русской литературы не существует», Герцен горячо вступился за литературу своего народа. Он писал Мишле: «Отчего вы не захотели прислушать-

¹⁾ Ленин. Соч. т. XV, 3-е изд., стр. 465.

²⁾ А. Веселовский. «Герцен-писатель», М. 1909 г., стр. 156.

¹⁾ Ленин, Соч., т. XV, 3-е изд., стр. 466.

ся к потрясающим звукам нашей грустной поэзии? Что скрыло от вашего взора наш судорожный смех, ту беспрестанную иронию, под которой скрывается глубоко измученное сердце, которая в сущности — лишь роковое признание нашего бессилия? О, как я хотел бы достойным образом перевести вам несколько стихотворений Пушкина и Лермонтова, несколько песен Кольцова! Вы

бы тогда нам тотчас протянули дружескую руку, вы бы первый попросили забыть сказанное вами». И Герцен сумел убедить своего адресата. В письме к Герцену Мишле дал обещание «устранить все сказанное им с несправедливой суровостью о русской словесности». Герцен гордился русской литературой так же, как русская литература гордится Герценом!

2. О ПРОГРАММАХ ИКП ЛИТЕРАТУРЫ

П. Рожков

Когда говорят и пишут об отставании нашей критики, то почему-то забывают о том, что вопрос о критике в конечном итоге упирается в кадры. В этой связи весьма важное значение приобретает подготовка новых критических кадров. Как известно, подготовкой новых критических кадров до сих пор занимался ИКП литературы. Ясно, что при существующем положении в литературе на ИКП ложилась большая ответственность. Институт должен был активно помочь советскому литературному движению, он должен был в возможно короткие сроки подготовить критиков-большевиков, способных поднять авторитет нашей критики, способных вооружить критику марксистско-ленинской теорией. Для решения этой боевой задачи институт имел налицо все возможности.

Но одно дело — должное, другое дело — сущее. Практическая деятельность ИКП литературы свидетельствует о том, что в данном случае от возможности до действительности — большое расстояние. Всякий, кто внимательно изучит обстановку в литературе, не может не обратить внимание на следующее странное обстоятельство: при всей остроте положения с критикой, при всей сложности задач, стоящих перед литературой в целом, ИКП литературы остается в стороне от жизни. ИКП литературы не принимает никакого практического участия в постановке и разрешении основных вопросов развития советской

литературы. Чем объясняется это обстоятельство?

Мы думаем, что объяснение этого странного обстоятельства следует искать в характере учебной деятельности института. Дело в том, что учебные программы ИКП литературы не отвечают требованиям, стоящим перед институтом. Эти учебные программы страдают академическим формализмом, оторваны от жизни. Более того. Учебные программы ИКП страдают весьма существенными ошибками политического, теоретического и исторического характера. Чтобы показать справедливость нашего утверждения, обратимся к программам.

Начнем с программы по диалектическому и историческому материализму. Эта программа ¹⁾ страдает целым рядом существенных дефектов.

1) Искусственное нагромождение отделов, дублирование.

а) Раздел 10: «Основные вопросы марксистско-ленинской теории отражения» и этот же вопрос в разделе 15-м трактуется опять: «Марксистско-ленинская теория отражения как основа учения об общественном сознании»...

б) В разделе 11-м трактуется тема: «Буржуазные учения об обществе до Маркса». В разделе 16-м опять, по су-

¹⁾ См. «Программы и планы на 1935 — 36 учебн. год». Гос. соц.-экон. изд-во, Москва, 1935 г.

шеству, та же тема: «Основные направления буржуазной социологии». Наличие двух разделов не оправдано, ибо тему должен исчерпать один раздел. Кроме того, по смыслу программы приходится предположить, что в разделе 11-м трактуются не «основные направления буржуазной социологии», а лишь второстепенные...

2) Схоластика и талмудистика.

У Ленина вопрос об отражении является частью марксистской теории познания. В программе же вопрос об отражении возводится во всеобъемлющую и самодовлеющую теорию.

3) Извращение истории социализма.

В программе великие утописты (например Сен-Симон):

а) перенесены на целое столетие вперед (вранье на целое столетие),

б) из коммунистов и социалистов превращены в буржуазных ученых (идут в разделе: «Буржуазные учения об обществе...») (см. стр. 21).

4) В программе исторический материализм, как наука о законах возникновения, развития и смены общественно-экономических формаций отнесена к разделу: «Буржуазные учения об обществе» (стр. 21).

5) Отсутствие критики взглядов Каутского и других вождей II Интернационала на государство.

В разделе «Государство и революция» есть пункт: «Критика анархистской теории государства», но нет критики взглядов Каутского и других вождей II Интернационала в вопросе о государстве (под углом зрения ленинских работ: «Государство и революция», «Пролетарская революция и ренегат Каутский», «1-й конгресс Коммунистического Интернационала» и др.).

б) В разделе 17-м («Борьба Ленина и Сталина против враждебных марксистско-философских и социологических учений») недопустимо сужена борьба Ленина и Сталина с врагами народа Троцким и Бухариным. В разделе сказано: «Ленинская борьба против мета-

физики Троцкого и эклектики Бухарина во время профсоюзной дискуссии...». Выходит, что против антидиалектики (метафизики) Иудушки - Троцкого и Бухарина Ленин боролся только «во время профсоюзной дискуссии»... Это абсолютно неверно. Против антидиалектики Троцкого Ленин выступал всегда, напр., по вопросу о победе социализма в одной стране (статья о троцкистском лозунге соединенных штатов Европы), по вопросу о диктатуре пролетариата и крестьянства и временном революционном правительстве (1905 — 1917 г.) и т. д. То же в отношении антидиалектики правого реставратора Бухарина. Ленин разоблачал метафизику и эклектику Бухарина в вопросе о переходном периоде вообще, в вопросе о государстве в особенности, в вопросе об империализме (напр., споры на VIII съезде партии), в вопросе о Брестском мире, в вопросе о напе и в ряде других вопросов. Точно так же в названном разделе программы очень глухо сказано о борьбе тов. Сталина с антидиалектикой предателя Бухарина в вопросе о построении социализма в одной стране. В программе сказано: «Сталинская критика теории равновесия». При умении наших «профессоров» (особенно литературных) эту тему легко утопить в дефинициях, поскольку прямо ничего не сказано о борьбе товарища Сталина с антидиалектикой врагов рабочего класса Бухарина и Троцкого в вопросе о победе социализма в одной стране.

7) Основное и главное: программа по диалектическому и историческому материализму составлена в духе академического формализма. Она оторвана от живой жизни, не увязана с основными фактами всемирной и русской истории литературы, с теорией литературы.

Талмудический и политически сомнительный характер программы по диалектическому и историческому материализму тесно увязывается с объективистским, с антимарксистским характером программы по теории литературы. Теория литературы как предмет имеет смысл лишь в том случае, если она, эта тео-

рия, преподносится в качестве теории, освещающей и оплодотворяющей практику современной советской литературы, в качестве основных принципов нашей критики. На такую теорию в программе нет и намека. В программе теория по названию (по форме), а по сути дела — эклектическая водичка, либеральная бесхребетность и беспринципность. Основные факты:

1) Вместо того, чтобы строить теорию литературы на основе учета основных фактов русской истории и русской критики (под углом зрения ленинской теории двух путей развития России, продолжая и развивая линию великих критиков крестьянской демократии — Белинского, Чернышевского и Добролюбова, наследуя некоторые марксистские положения и разоблачая общий меньшевистский характер критики Плеханова), вместо всего этого авторы программы и люди, ответственные за программу, преподносят теорию литературы в отрыве от истории русской критики. Теория литературы преподносится особо, а история русской критики — особо.

2) Выхолощенная таким образом «теория литературы» превращена в музейное руководство, в правила объективистского, профессорского «литературоведения». Согласно утверждению программы, теория литературы есть наука, «устанавливающая принципы и методику анализа художественной литературы», а основные разделы этой «теории» суть: «а) специфика литературы как идеологии, б) принципы анализа художественного произведения, в) принципы анализа литературного процесса».

Из этих установок ясно, что теория литературы трактуется в программе как исключительно об'ясняющая наука и сводится к установлению шпаргалки для «анализа» литературного произведения и «литературного процесса», иными словами, «теория литературы» рассчитана на подготовку литературных архивариусов переверзевского толка.

Теория литературы должна давать не шпаргалку для об'яснения «литературного процесса», а оружие для изменения мира, должна уяснять те основные

принципы, на которых должна быть построена наша критика. А на это в программе нет и намека.

В программе много словесного хлама, много звонких гелертерских словечек («литературный процесс», «типизм сюжетных построений», «типизм языковых форм» и т. п.), но в программе нет основного и главного — нет большевистской партийности:

а) нет анализа плехановского периода в развитии марксистской критики (анализа плехановской школы «литературоведения» под углом зрения ленинско-сталинского метода, под углом зрения борьбы большевизма с меньшевизмом в русской революции);

б) нет постановки проблемы социалистического реализма как основного и главного раздела теории литературы. Нет вообще марксистско-ленинского определения социалистического реализма;

в) нет постановки вопроса о социалистической романтике как одного из основных разделов теории литературы. Далее. Вместо ленинского определения романтики как мечты и фантазии в программе дается безобразная каша: дескать, романтика — это «условность образов», «гипертрофия вымысла»¹⁾ и т. п. гипертрофия глупостей...

г) нет анализа идейных (троцкистских и бухаринских) основ «перевальской» и рапповской критики. В теории литературы об этом абсолютный молчок, а в программе по истории русской критики история критики кончается Луначарским... Хороша теория литературы, в которой нет анализа враждебных рабочему классу троцкистских и бухаринских основ перевальско-рапповской критики, в течение ряда лет оказывавшей на литературу весьма сильное влияние.

Программа по истории русской критики, будучи оторвана от теории литературы, превращена в бесстрастное, объективистское изложение (описание) истории русской критики, начиная от

¹⁾ Вся эта дребедень списана автором программы у Аксельрод-Ортодокс. См. ее книгу «Лев Толстой», стр. 23.

Полевого до Луначарского. Эта программа дает кое-какие сведения о русской критике, но она не вносит ясности в вопрос о том, на каких принципах должна быть построена наша теперешняя критика, в частности, в каких основных вопросах мы должны унаследовать и развить дальше революционно-демократическую критику Белинского, Чернышевского и Добролюбова.

В программе по истории русской критики абсолютный молчок о борьбе идейных течений в нашей критике на современном этапе. Теория литературы оторвана от советской литературы (нет анализа основных произведений советской литературы под углом зрения теории литературы).

В указателях литературы для слушателей по основным вопросам теории литературы (социалистический реализм и социалистическая романтика) тщательно замазываются теоретические споры в литературе на данном этапе.

В общем и целом, программа по теории литературы насквозь эклектическая. В ней много слов о ленинской теории отражения, но на деле в ней нет никакого отражения живой жизни, нет отражения тех задач, которые стоят перед советской литературой. Программы по теории литературы и по истории русской критики не могут служить программами для подготовки критиков-большевиков.

Что же касается программы по истории русской литературы (составленной проф. Храпченко и др.), то необходимо отметить следующее:

1) Ненаучность, надуманность терминологии: напр., «социально-психологический реализм» (о Пушкине), критика «старого порядка» (о Нарезном) и др.

2) Многословие, сумбур, профессорский туман в изложении.

3) Извращения марксизма-ленинизма. Например, из программы следует, что Толстой только после «Войны и мира» и «Анны Карениной» переходит на позиции патриархального крестьянства. Выходит, что в «Войне и мире» и в «Анне Карениной» Толстой не стоит на позиции патриархального крестьянства... Все это противоречит Ленину, который

рассматривал Толстого в целом и, говоря о нем как о «зеркале русской революции», между прочим, прямо ссылаясь на «Анну Каренину» (на размышления Левина о том, что после реформы в России «все перевернулось»). Далее. В программе Толстой правильно дается как шаг вперед в художественном развитии всего человечества (цитата из Ленина) и подчеркивается «мировое значение обобщений Толстого», но в программе нет ни звука о кричащих противоречиях в реализме Толстого, о том, что Ленин подходил к Толстому как к мыслителю и художнику конкретно-исторически, т.-е. не объявляя его шагом вперед в художественном развитии человечества вообще, а шагом вперед в смысле отражения кричащих противоречий буржуазной революции в стране, придушенной крепостниками. Ленин разъяснял, что значение критических элементов в реализме Толстого находится в обратном отношении к историческому развитию. Обо всем этом в программе ни звука.

4) Основное и главное:

а) Программа по истории русской литературы оторвана от теории литературы.

б) Эта программа сумбузна, бессистемна. Программа не построена в соответствии с ленинскими взглядами на русскую историю. (Помещичье-крепостнический строй до 1861 года, эволюция этого строя с 1861 года по пути превращения в буржуазную монархию. Революционно-демократическое крестьянское движение. Пролетарское революционное движение. Надо было по этой линии рассматривать отражение в литературе интересов основных классов России и основных движущих сил буржуазно-демократической революции, перераставшей в революцию социалистическую. На этой канве надо было строить историю русской литературы. Ничего этого в программе нет).

В программе по советской литературе (составленной проф. Серебрянским и проф. Тимофеевым) много названий разных школ, но нет классовой дифференциации и четкой классовой характеристики различных течений в совет-

ской литературе от истоков до настоящего времени. Выпячиваются «заслуги» РАПП, каковой изображается в роли борца с троцкизмом. В программе сказано: «Борьба пролетарской литературы (РАПП) против классово-враждебных течений и влияний в советской литературе (против троцкизма и воронщины, богдановщины, формализма, переверзевщины и Литфронта и т. п.)».

На самом же деле теоретический глава РАПП Авербах и компания пропагандировали троцкистские теории в области культуры и литературы (отрицание социалистического характера пролетарской культуры, теория «живого человека», «срывания масок» и т. п.). Обо всем этом в программе нет ни звука. Глухо говорится о литературно-политических и теоретических ошибках, без какой бы то ни было расшифровки; так что толкование «ошибок» остается целиком на совести преподавателя...

Много бессистемности, сумбура и вульгаризации содержится также и в программе по западной литературе. Например, о Шекспире мы без всяких обиняков узнаем, что «трагедия Гамлета — трагедия дворянства, теснимого новым классом», а «Венецианский купец» —

это «утверждение буржуазного гуманизма и борьба с ростовщическо-ссудным капиталом»...

Общий вывод:

Под программами очень много профессорских подписей: «проф. Храпченко», «проф. Динамов», «проф. Серебрянский» и ряд других профессоров, но в программах нет большевистской партийности, нет живого марксизма-ленинизма. Много слов о «ленинской теории отражения», но на деле нет никакого отражения действительной жизни, отражения основных задач, стоящих перед советской литературой. Программы являются политически ошибочными, поскольку в них не дано развернутой философской критики взглядов врагов народа Троцкого и Бухарина и поскольку отсутствует членораздельная критика бухаринско-троцкистских рапповских теорий, пропагандировавшихся авербаховской бандой и ее агентами.

Мы считаем, что именно этим и объясняется то странное (на первый взгляд) обстоятельство, что ИКП литературы в течение ряда лет пребывает в стороне от основных задач литературы.

3. НОВАЯ ЖИЗНЬ В ПАРМЕ

Е. Сикар

Дворянский поэт Фет отрицал возможность собственной национальной культуры у угнетенных царизмом народностей. На сборнике стихотворений Тютчева он писал:

В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.

Устами Фета довольно ярко выражена веками проводившаяся жестокая колонизаторская политика угнетения и подавления царизмом всех творческих сил народов, населявших царскую Россию. Богатейший край, раскинувшийся на громадной территории: от Северного Урала до Тиманского горного кряжа и от Полярного круга до бассейна реки Вычегды, на дореволюционных географических картах обозначался сплошным белым пятном. Покоренный царскими опричниками коми-народ утратил даже свое имя. Руссификаторы дали ему позорную, ругательную и унижительную кличку «зыряне» (оттесненные). Самодержавные колонизаторы насаждали здесь беспросветную тьму, нищету, невежество, обеспечивая русским и иностранным капиталистам чудовищную эксплуатацию бесправных трудовых масс коми, обрекая их на вымирание, на выселение из родного края. Но мужественный народ коми, не щадя сил, героически боролся с царскими чиновниками за право на жизнь, на свою культуру, отстаивая свое существование. Печальные песни о тягостной жизни, песни, зовущие к борьбе с царизмом, выражавшие чаяния и идеалы трудящихся, передавались в народе из уст в уста, из века в век.

В середине XIX столетия стала зарождаться коми-поэзия, начало которой положил Иван Алексеевич Куратов (1839—1875). Культурнейший и талантливейший человек своего века, первый и самый крупный коми-поэт, Куратов, не имея возможности печатать на родном языке свои стихи и песни, раз-

учивал их и распевал с молодежью, с народом. Куратов в условиях царского режима впервые поднял на известную высоту поэзию народа, по-настоящему развернувшуюся, когда восторжествовало великое знамя Октября. Сын бедного сельского дьячка, отказавшись от духовной «карьер», он пошел в университет, чтобы овладеть вершинами современной ему науки. Окончив Казанский университет, изучив около 25 восточных и европейских языков, Куратов всю свою силу художника и ученого-лингвиста отдал родной поэзии, родному языку. Это был типичный шестидесятник, народник, творчество которого питалось революционными настроениями крестьянства. Куратов выражал революционно-демократическую сторону в народничестве. Это был в ту эпоху первый революционно мыслящий деятель народа коми. Как видно по многим заметкам дневника Куратова, по своим философским взглядам он был близок к Чернышевскому и Добролюбову и, по всей вероятности, несколько раз бывая в Москве, был связан с революционными кругами того времени. Центром внимания в творчестве Куратова становится задавленный и забытый коми-народ. Он был гуманист, проникнутый любовью к угнетенным и обездоленным людям своей страны.

Безотрадно было впечатление Куратова от современной ему жизни, от одиночества и бессилия: царские чиновники всячески притесняли его, печатать свои стихи он не имел никакой возможности; под видом коми-народной поэзии ему в 1866 г. удалось несколько своих стихотворений поместить на русском языке в «Вологодских губернских ведомостях»,—это все, что он сумел напечатать за 20 с лишним лет литературной работы. Но, скорбя о тяжелой доле, о страданиях коми-крестьянина, Куратов в своей лирической поэзии поднимается до уровня протеста против существовавшего порядка, против непосильного гнета самодержавия. Чуткое сердце поэта

верило в светлое будущее своей страны. Он предвидел культурное и экономическое возрождение и развитие коми-народа. Вера в лучшее будущее поддерживала Куратова в темные и мрачные времена его жизни. С этой точки зрения интересно стихотворение «Мрак», написанное в 1865 г. (перевод Дембовецко-го), в котором он пишет:

С незапамятного дня
Над родной землей ночь.
Человека без огня
В ней сыскать не в мочь.
Не найти, нет, нет! Иной,
Хотя и в белое одет,
Но мышей крылатых рой
От него завесил свет.
Вписался в светлое вампир.
Знаю, чую и страшусь,
До зари, будящей мир,
В тьме проклятой захожусь.
Но когда-то в небесах
Вспыхнет солнце в этой тьме,
И небесная роса
Засияет на земле.

Куратов перевел на коми-язык стихи Пушкина, Кольцова, Беранже, Шиллера, Гейне, Анакреона, Горация, Вольтера и др. В переводе Куратова на коми-язык имеются стихи почти всех корифеев мировой поэзии.

Куратов является основоположником современного литературного языка коми: им написано несколько статей о коми-языке, о синтаксических формах его. Он первый серьезно, по-научному подошел к разрешению проблем коми-языка. Куратов базировался на богатом опыте, на изучении живой речи народа. Его лексика, умелое использование народных языковых средств, обогащение богатством народного творчества и фольклора, высокая культура поэтической речи и поэзия являются выдающимися образцами коми-литературы. Он первый сумел применить русское стихосложение к коми-языку. Во многих стихах Куратова доминируют ярко выраженные революционные и социальные мотивы. Добролюбовская оценка самодержавно-крепостнической России, как «темного царства» и «смердной темницы», отразилась и в произведениях Куратова, в частности в приведенном выше стихотворении «Мрак». Исключительно ярко

говорит об этом стихотворение «Лодка (перевод Ив. Молчанова):

Быстрине плыву навстречу,
И гребу, гребу я честно!
Все в работе: руки, плечи,
Лодка ж — хоть разбей! — ни с места.
Вот кусты одни и те же...
Напрягаюсь, ветер свищет...
Леший, что ли, лодку держит
В темном омуте за днище?

Интересны его стихотворения «Муза», «Спор», «Метель» и «Новая песня», которые являются протестом против мракобесия, насажденного самодержавным строем, и рассказывают о высоких общественных идеалах поэта.

Царские сатрапы, повидимому, были основательно раздражены деятельностью Куратова. Он казался им весьма опасным врагом. Куратов был сослан в Среднюю Азию, где после 13-летних скитаний, жизни в тяжелых условиях преждевременно умер 36 лет от роду. Несомненно, на его болезнь, приводящую к смерти, в немалой степени повлиял жаркий среднеазиатский климат, к которому он, житель Севера, не был привычен. После смерти Куратова рукописи его разбрелись по свету, большинство этих рукописей утрачено. Такова была судьба крупного поэтического таланта, колосса коми-поэзии, задавленного самодержавно-крепостническим строем. Куратов в своих записях упоминает коми-поэтов Гугова, Мельникова, Лычкову и Клочкова, но кто они такие и что они писали, — так и неизвестно. Мечты поэта о культуре коми-народа сбылись только после пролетарской революции. Да и творчество самого поэта стало широко известно народу коми только в 1932 г., когда впервые была издана его книга, в которую вошли стихи и поэмы случайно найденной рукописи, содержащей около сотни стихотворений и несколько поэм. Ныне удалось через ВОКС достать новые рукописи стихов, сохранившиеся у его родственников в Финляндии. Коми-Гизом они готовятся к изданию.

Сейчас возрожденный Октябрьской революцией народ коми — равноправный член великой семьи многочисленных народов страны Советов. В Совет-

ской Коми в течение короткого времени выросла и расцвела новая литература разнообразных индивидуальностей, обширных тем и большого диапазона. Литература коми — одна из самых молодых литератур Советского Союза. Русские поэты, русские читатели почти не знают поэзии коми, не имеют представления о поэтическом языке, особой конденсированности, большой сжатости и лаконичности мысли в поэзии коми. Несмотря на то, что прошло пятнадцать лет огромного культурного роста народа коми, литературных произведений этого народа, его талантливых поэтов и писателей, выросших в советские годы, на русском языке до сих пор не было. Это обстоятельство вызывает огромный интерес к выпущенной Гослитиздатом большой книге переводов произведений коми-поэтов и писателей, которая позволит широким массам читателей нашей страны подробно ознакомиться с творчеством коми, с его богатейшим фольклором, собранным большей частью в последние годы. Большая заслуга в выпуске этой книги принадлежит Ив. Молчанову, так как (за исключением одной поэмы) переводы поэзии коми сделаны им. Ив. Молчанов уже четыре года посвятил изучению коми-языка, коми-литературы и достиг в этом серьезных успехов. Переводы, сделанные им частью с коми-языка, частью с подстрочников, говорят о его добросовестной работе в передаче и сохранении особенностей и конкретности коми-поэзии, ее оригинальных черт: ритма, размеров, образности и сжатости. Книга называется «В парме» («В тайге»). Составитель ее — А. А. Попов, редактор — С. В. Кошеваров.

«В парме» — это книга о новой жизни, при которой создается культура народа, поднимаются его таланты; это книга о радостной, светлой истории коми-народа; это реальная действительность, о которой приходилось мечтать Куратову. Советская Коми недавно отпраздновала славное пятнадцатилетие своего существования. За эти пятнадцать лет упорной борьбы и блестящих побед Автономная Коми область пре-

вратилась в цветущий край. Ленинско-сталинская национальная политика обеспечила ему полный расцвет социалистической культуры и экономики.

В тундре, в тайге, в самых глухих дебрях Севера пышным цветом распустились ростки новой жизни. Возникли индустриальные поселки, театры, школы, звуковые кино, клубы, дома культуры.

Выросли свои писатели, поэты, драматурги. Выросли новые кадры строителей социалистического хозяйства и культуры. Об этих великих победах Советской Коми области, ныне сталинской Конституцией преобразованной в Автономную Советскую Социалистическую Республику, радостно рассказывается в «В парме». С именем великого Сталина народ связывает свои успехи, свои победы, свой рост, ему посвящают свои песни поэты. В стихах и песнях поэты выражают безграничную любовь народа к Сталину, великому творцу социализма, вдохновителю братского сотрудничества народов. Мысли и чувства широких масс трудящихся Коми со всей силой выражены в песне крупнейшего поэта Нёбдинса Виттора «Спасибо товарищу Сталину», которой начинается книга.

По лесам, по селам Коми-края,
По полям раскованной земли
Реки нашей радости играют,
И улыбкой лица расцвели,

Так за все,
За счастье молодое
Нашей жизни,
Солнечный простор,
Шлем тебе сердечное, большое
От души «спасибо!»,
Сталин-йорт!¹⁾

Прежде угнетенья кандалами
Мы гремели, горе затая,
Нынче счастья радостное пламя
Обнимает дальние края.

Так за все,
За счастье молодое
Нашей жизни,
Солнечный простор,
Шлем тебе сердечное, большое
От души «спасибо!»,
Сталин-йорт!

Произведения коми-литературы весьма показательны в смысле тематическо-

¹⁾ Йорт — товарищ. На коми-языке ставится после имени собственного.

го кругозора авторов их. Поэты обращаются к жизненным и близким для народа темам. Индустриализации Севера, колхозам и новым людям тундры посвящены помещенные в книге выразительные, искренние, волнующие стихотворения, в которых сквозит глубокий оптимизм: Необдина Виттор — «Коми-море», Мих. Лихачева — «Эгрунь», «Лес шумит», поэма молодого поэта В. Латкина — «Сказка тундры», стихотворение Иву Стёпко — «Письмо» и др. Необыкновенной радостью счастливой жизни, большим оптимизмом, поэтическим полнокровием наполнены эти стихи. Прекрасно, с большой художественной простотой показал в поэме «Сказка тундры» В. Латкин индустриализацию области. Он дал выразительный поэтический образ социалистической тундры и ее новых жителей. В. Латкин выступает в поэме взволнованным, лирическим рассказчиком. Описывая перемены, происшедшие в тундре, он говорит:

Узкоколейка,
Строенья, заборы...
Бред, как во сне, я
С поющей душой.
Румовой тундры,
Тундры вчерашней!
Сегодня на Каменке —
Не нашел!
Каменки бурной
Берег и воды
Стали незнакомыми
Для меня:
Черными ртами
Шахты зияли,
Уголь выбрасывая
В разливы дня...

Перед читателем проходят произведения лучших коми-поэтов и писателей. Здесь следует отметить любимого писателя народа коми — Чисталева Вениамина (Тима Вень), продолжателя и восприемника Куратова; творчество Чисталева по-настоящему развернулось только после установления советской власти. Чисталев — активнейший участник гражданской войны; будучи в рядах красных партизан, он создает замечательную по мастерству формы и богатству языка поэму «Тойьв Варыш», в которой выражает хвалу беззаветному героизму и мужеству революционных партизан коми, помогавших Красной ар-

мии разбивать белогвардейские отряды. Из последующих поэм наиболее значительны «У мавзолея Ленина» (перевод с подстрочника Евг. Сокола), помещенная в книге, и «Время обновения земли». Тима Вень написал также ряд рассказов и много лирических стихов. Один из последних его рассказов, «Трипан Вась», дан в «В парме». Это к Чисталеву можно отнести слова Маяковского: «В грамм — добыча, в годы — труды», «изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Пишет Чисталев непрерывно, но печатает немного: он — исключительно требовательный к себе художник, серьезно работающий над литературным материалом. Ему свойственно выражать мысль точно, ясно и понятно: он один из основоположников доступного массам коми художественного слова. Максимальная сжатость, лаконичность и вместе с тем большая выразительность, образность — характерная черта поэзии Чисталева. У него могут многому научиться русские поэты. В поэме «У мавзолея Ленина», являющейся лучшим образцом коми-литературы, он рисует с искренним вдохновением любовь «всех трудящихся земли» к величайшему гению человечества — Ленину, олицетворившему собой интернациональный характер нашей Великой Пролетарской революции. Чисталев умеет находить богатые образы, сравнения:

Как в веках, давно минувших,
К предку рода на курган
В вешний день сходилась племя, —
Так теперь в единый стан
Все трудящиеся мира
Тут слились сейчас.
Племя мы одно!

Но имя
Новое у нас:
Имя это
Он нам завещал!
Имя нам —
Интернационал!

... Сердце, как туча,
Сердце, как море,
Ливнем и пеной
Рвалось наружу.
Но затаили мы
Слезы глубоко:
Горе большое
В слезы не втиснешь!

Социалистическая революция вырвала и другого талантливого поэта-

большевика — Савина Виктора (Необдинса Виттор). Батрак в прошлом, затем красный партизан, сейчас В. Савин — наиболее видный коми-литератор. Он проявил себя, как критик, драматург и композитор. Им написано большое количество стихотворений, около 100 коми-песен, сатир и до 20 больших пьес. Песни В. Савина распеваются в широких массах народа, в самых далеких уголках Коми. Из его пьес наибольшим успехом пользуется у трудящихся историческая драма «Устькуломский бунт», сделанная хорошо драматически и сценически. Драма построена на историческом факте восстания коми-крестьян в с. Устькулом в 1841 — 1843 гг. Восстание было вызвано непосильным гнетом и грабежом (под видом податей) царских чиновников «по крестьянским делам» и местной администрации из кулаков. Благодаря территориальной отдаленности восставшие продержались почти два года. На усмирение выезжал сам вологодский губернатор с 200 солдатами. Все село было выпорото розгами, а руководители погибли на сибирской каторге. В наказание население обязано было в течение полутора лет кормить 100 человек солдат, расквартированных в селе «для порядка». Замечательны произведения В. Савина: комедии «В раю» и «В аду» (построенные на очень популярном в коми-фольклоре сюжете о том, что душа человека не уживается ни в «раю», ни в «аду», ей надоедает там, и она возвращается на землю) и драма «Цветок, засохший на восходе». В. Савин представлен в книге стихотворением «Спасибо товарищу Сталину», двумя отрывками из поэмы «Сыктывкар» и стихотворением «Коми-море». Его произведения — это редчайшая поэтическая летопись новой эры в жизни народа коми, летопись, начинающаяся с защиты завоеваний пролетарской революции, с первых лет Октября. Большой популярностью пользуется его «Коми-море», маленький отрывок которого мы приводим:

В нашем море,
В песне, в смехе —
За сосной

Летит сосна.
В золотом
Валютном цехе —
Жизни звонкая весна...
Эй, сильней,
В задорном смехе
Пой, лесная сторона!

В первые советские годы стала развиваться коми-проза. Поэзия, как мы упоминали, зародилась еще во второй половине XIX века. Выдвинулось несколько талантливых представителей молодой коми-прозы: Федоров Геннадий (Педь Гень), Из'юров Иван (Из'юр Иван), Г. Шахов (Сандрик Йогор), И. Пыстин и др. Федоров Г. всеми образами своего творчества участвует в социалистической переделке коми-деревни. Он в своих рассказах «Половодье», «Однажды ночью» глубоко вскрывает психологию одиночников-средняков, не освободившихся еще от кулацких влияний, дает ряд ярких картин новой жизни на лесосплаве, в процессе которой изживаются пережитки капиталистического строя.

В обоих рассказах Федоров выступает с большим знанием реальной действительности, удачно подмечая черты нового отношения к труду, к жизни. В его произведениях встречаются интересные сравнения, метафоры и эпитеты. С драматической силой описывает он напряженную классовую борьбу в деревне Коми первых лет коллективизации, открывая читателю сложный мир мыслей и чувств своих героев. Из крупных произведений Из'юрова Ивана следует отметить повести: «Бригада Тимофея», «Поступок Дементия» и рассказ «Счастье». Последний помещен в книге «В парме». Из'юров так же, как и Федоров, усердно, упорно и с любовью работает над языком, отыскивая верные средства для создания подлинно художественных произведений большого мастерства, которые будили бы лучшие мысли и чувства у читателей. Федоров и Из'юров своим творчеством откликаются на думы и переживания трудящихся новой пармы.

«В парме» состоит из трех разделов. В первом помещен только дореволюционный фольклор — песни, сказки, пре-

дания — в литературной обработке Глеба Алексея. Коми-фольклор представляет особый интерес: все народное творчество народа находилось в фольклоре и в устном виде передавалось из поколения в поколение. Второй раздел посвящен годам гражданской войны, борьбе Красной армии, отрядов партизан коми против белогвардейщины. Сюда же включены некоторые произведения, показывающие первые ростки нового. Третий раздел составили произведения, показывающие социалистическое строительство края, освоение природных богатств, формирование людей с новым образом мыслей. В книгу также вошли два стихотворения Куратова: «Муза» и «Спор».

«В парме» позволит русскому читателю познакомиться с одной из интересных, выпестованных революцией литератур народов СССР, народов, о которых тов. Сталин в своей исторической речи на собрании студентов КУТВ в 1925 году говорил:

«... Октябрьская революция, порвав старые цепи и выдвинув на сцену целый ряд забытых народов и народностей, дала им новую жизнь и новое развитие».

Только при диктатуре пролетариата

расцвела национальная культура Коми, к народу пришла подлинная цивилизация. К коми, наперекор Фету, пришли лучшие писатели советской и мировой литературы. Переведены и изданы произведения Пушкина, М. Горького, Маяковского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Островского, Гоголя, Крылова, Фурманова, Панферова, Шолохова. Готовятся переводы драм Шекспира и Шиллера. Благодаря Куратову советский коми-читатель знакомится на родном языке с Гейне, Беранже, Вольтером и др. Ныне число советских писателей коми достигает тридцати.

Вслед за книгой «В парме» готовятся новые переводы коми-литературы на русский язык. В издании библиотечки «Огонька» выходит книжка «Поэзия Советской республики Коми», в которую входят также несколько стихотворений Куратова. В связи с предстоящим столетием со дня рождения И. А. Куратова, Гослитиздат готовит издание большого сборника его произведений, перевод которых заканчивает Ив. Молчанов. «Академия» подготавливает сборник фольклора коми. Коми-Гиз подготавливает издание в собранном виде всего сохранившегося литературного наследия Куратова.

Библиография

1. И. ИЛЬФ и ЕВГ. ПЕТРОВ „Одноэтажная Америка. — Лев Гладков. 2. В. Ф. МИТКЕВИЧ „Основные физические воззрения“ — В. Е. Львов. 3. А. БАРТО, „Стихи“ — Е. Таратута. 4. ТОБАЙАС СМОЛЕТ „Приключения Перегриня Пикля“ — Н. Славягинский. 5. А. ВОЛКОВ. „Поэзия русского империализма“ — Ю. Калашников и Б. Ростодкий. 6. Книжные новинки

И. Ильф и Евг. Петров. — «Одноэтажная Америка». Гослитгиздат. Москва. 1937 г.

Смерть И. Ильфа совпала с выходом из печати в отдельном издании последней книги, написанной им, как всегда, в соавторстве с Е. Петровым.

«Одноэтажная Америка» — это путевые записки двух талантливых советских писателей, умеющих хорошо видеть и увлекательно рассказывать. Своей книгой Ильф и Петров пытаются рассеять обычное представление об Америке, как о стране небоскребов, «где день и ночь слышится лязг надземных и подземных поездов, адский рев автомобилей и сплошной отчаянный крик биржевых маклеров»...

«Америка — это преимущественно страна одноэтажная и двухэтажная».

С естественной в советских писателях жадной видеть и знать авторы этой книги старались увидеть как можно больше, и им удалось, действительно, увидеть многое. Они прожили месяц в Нью-Йорке и затем пересекли Америку на автомобиле от Атлантического океана к Тихому и обратно. Они побывали в Чикаго и Сан-Франциско, и в маленьких стандартных городках, в которых живет большая часть населения Америки; они встречались и разговаривали с сотнями людей разных общественных положений и передали свои впечатления в живых, занимательных очерках. Но их книга — это не просто собрание эмпирических наблюдений, в ней есть своя тема, свое отношение к материалу.

Ильф и Петров широко известны как писатели-сатирики, авторы остроумных романов и фельетонов. Они прошли хорошую школу работы в газете «Правда», и эта школа им очень пригодилась в работе над книгой об Америке. Нисколько не изменяя своему амплуа сатириков, они создали книгу, имеющую значительную познавательную ценность, полную тонких и умных наблюдений над

современной американской действительностью.

Основная тема книги — жизнь «среднего» американца. «Средний американец» — это человек, который имеет приличную работу и приличное жалование и который, с точки зрения капитализма, являет собой пример здорового, процветающего американца, счастливица и оптимиста, получающего все блага жизни по сравнительно недорогой цене».

Авторы книги показывают, как умеет капитализм обслужить бытовые и духовные потребности этого среднего американца, как, обеспечивая его стандартным и недорогим комфортом, он иревращает его в машину, делающую доллары. А как только он перестанет делать доллары, капитализм выбросит его в ряды миллионеров голодных безработных. Поэтому-то, «не взирая на его внешнюю активность, средний американец на самом деле натура очень пассивная». «Только не заставляйте его думать в неслужебные часы», — таков его девиз. И не даром почти все машины и приборы снабжены специальным приспособлением, гарантирующим от человеческой невнимательности и неаккуратности, обидно названным «фул-пруф», в буквальном смысле — защита от дурака. «Высокая техника боится человека и не верит в его сообразительность».

Ильф и Петров на многих примерах показывают, как низок, в сущности, духовный уровень этого среднего американца, единственным стимулом в жизни которого является доллар. Острым пером сатириков они раскрывают всю призрачность «крохотного электрического счастья» этих людей. В веселом и подчас гротесковом рассказе чувствуется настоящий пафос возмущения. «Начинаешь думать, — пишут Ильф и Петров, — что техника в руках капитализма — это нож в руках сумасшедшего». Великолепная американская техника восхищает авторов «Одно-

этажной Америки». Это естественно. Граждане нашей страны, за несколько лет построенные у себя замечательные заводы и технические сооружения, не могут равнодушно относиться к высокому уровню американской техники, достигнутому в результате десятилетий созидательной, творческой работы. Но авторы книги заметили и показали тот неизбежный разрыв, который существует между высокой техникой и социальным устройством современной Америки. В стране, «где народный гений проявил себя именно в изобретении и производстве машин...», часто приходится слышать об уничтожении машин». Ильф и Петров с негодованием замечают, что в Америке «инженеры, строители лучших в мире электростанций и мостов, не знает никто, — знают фирму. Капитализм присвоил их славу». Народными героями там являются не люди техники, науки и искусства, а «люди, которые делают деньги».

Активное отношение к фактам присуще Ильфу и Петрову в этой книге не меньше, чем в их фельетонах в «Превде». Они или восхищаются, или негодуют, равнодушия, пассивного созерцательства в книге нет. Эти чувства вызваны у них не предвзятым отношением к увиденному, а основаны на добросовестном ознакомлении с материалом. Там, где они ощущали себя недостаточно компетентными, чтобы делать какие-нибудь выводы, они ограничивались лаконической передачей своих впечатлений.

«Мы не специалисты, поэтому не сможем описать завода, — пишут они о предприятях «Дженерал-Моторс», — не хочется вместо дела подсовывать читателям один лишь художественный орнамент».

С особенным вниманием Ильф и Петров присматривались к тому среднему стандартному уровню, к которому подгоняется искусство в Америке. Этот уровень чрезвычайно низок. Средние кинокартины «ниже уровня человеческого достоинства, они рассчитаны на птичий мозг и на тяжелодумие крупного рогатого человечества, на верблюдью неприхотливость». Это соответствующим образом воспитывает художественный вкус «среднего» американца, это делает его бездарным и нелюбопытным.

Ильф и Петров стремились понять самую сущность американизма. Подчеркивая резкие контрасты: богатство и нищету, высокий разум и полное духовное бессилие, уживающиеся рядом, они с уважением пишут о больших положительных качествах, присущих американскому народу в целом, о его деловитости и работоспособности. Однако, слишком ограничив себя показом «среднего» комфортабельного, хотя и стандартизованного уровня американской жизни, Ильф и Петров не показали той Америки, в которой 13 миллионов безработных, где революционизирующий рабочий класс все больше и больше организуется для борьбы с буржуазией. Отдельные штрихи, наблюдения и замечания об

этом в книге есть, но они сделаны как бы мимоходом.

С увлечением рассказывая о талантливости негров, об их любви к природе, к искусству, об их любознательности, Ильф и Петров почти полностью лишают этих качеств американцев. Конечно, нельзя требовать от писателей, чтобы они за три с половиной месяца пребывания в стране изучили ее досконально, поняли полностью дух ее населения, но все же картина, нарисованная Ильфом и Петровым, получилась не только не полная, но даже несколько искаженная. «Средний» американец описан мастерски, но он занял слишком большое место, а среднее не есть типическое, — и в результате Ильфу и Петрову не удалось показать многих типических сторон современной американской жизни. Ведь Америка — это не только страна замечательно организованного «сервиса» (обслуживания) и стандартно причесанных белокурых девушек.

Ильф и Петров встречались в Америке со многими писателями и артистами, им удалось ярко показать, в каком положении находится искусство в этой стране, но дать общую цельную картину политической и духовной жизни Америки они не сумели. В этом, по нашему мнению, главный недостаток книги.

Нельзя сказать, что авторы «Одноэтажной Америки» совсем не заметили политических интересов основных классов, не увидели той борьбы, которая там ведется. Они рассказывают о пикетчиках с плакатами на груди и на спине с надписью: «Здесь бастуют», они разоблачают ханжество американской «демократии».

«Официально человека никогда не выгоняют за его убеждения, — пишут Ильф и Петров в своей книге. — Он волен исповедывать в Америке любые взгляды, любые верования. Он — свободный гражданин. Однако пусть он попробует не ходить в церковь, да еще при этом пусть попробует похвалить коммунистов, и как-то так произойдет, что работать в городе он не будет».

Но все эти наблюдения оказались гораздо менее художественно обобщены и подкреплены материалом, чем наблюдения над бытом «средней» Америки, той, которая аккуратно ходит в церковь и мечтает лишь о том, как бы заработать побольше долларов.

Во время двухмесячной поездки на автомобиле по Америке Ильф и Петров побыли в гостях у Форда и в индейской деревне, и в Техасе, и в Голливуде.

Общее их впечатление об Америке выражено в следующей фразе: «Она одновременно ужасает и восхищает, вызывает жалость и дает примеры, достойные подражания».

Несмотря на противоречивость этих чувств, Ильф и Петров не скрывают, что они полюбили Америку. Но они смотрели на нее глазами граждан другого мира, мира социализма, поэтому их впечатления и мысли об этой

стране часто прерываются сопоставлениями с Советским Союзом.

«Мы можем сказать честно, положи руку на сердце, — заканчивая, пишут Ильф и Петров, — эту страну интересно наблюдать, но жить в ней не хочется».

Этот вывод — основной, и он подсказан всем материалом книги, всеми впечатлениями авторов. Другого вывода и не могли сделать советские писатели.

Лев Гладков.

В. Ф. Миткевич. — «**Основные физические воззрения**». Сборник докладов и статей. 2-е издание. Академия наук. 1936.

Второе, расширенное почти в три раза против прежнего, издание статей и выступлений академика Миткевича — документ важнейшего общественно-политического значения.

Нужно понять, что борьба идей в науках о природе играет сейчас общественную роль, не меньшую, чем споры и дискуссии в вопросах литературы, живописи, искусства. Здесь, на этих авангардных участках штурма материи, скрываются дальнейшие судьбы материального прогресса человечества. Сюда, к этим, не имеющим себе равных с времен Коперника и Бруно, событиям, прикованы взоры миллионов советских образованных людей. И нужно удивляться только тому, сравнительно ничтожному, вниманию, которое уделяет до сих пор этим событиям наша обшая, в частности «толстая», журнальная печать.

Так именно, почти незамеченным проходило в течение ряда лет большой важности движение, поднятое еще в 1929 году академиком Миткевичем и заключающееся, напоминая вкратце, в следующем.

Ограниченность и идейная деградация буржуазного теоретического естествознания в первой четверти века привели к внедрению в физику одного из «величайших», как писал еще (в известном письме к Бентли) Ньютон, «абсурдов», к представлению о мире как об абсолютной пустоте, в которой разбросаны «действующие па расстоянии» тела или частицы. Не ограничиваясь чисто беллетристическими рассуждениями на эту тему, буржуазная физика двинулась и дальше. Замалчивая в конкретном описании электрических и магнитных явлений процессы, разыгрывающиеся в промежуточном между зарядами пространстве, запутывая, тем самым, и заводя в тупики электрофизику в ряде практических (как, например, проблема сверхпроводимости) вопросов, — делая всё это, официальная и кастовая наука буржуазии стала на путь сознательной фальсификации и сознательного искажения объективной реальности.

И первый из ученых, поднявших внутри самой науки, во всеоружии фактов этой науки, голос протеста против работы мракобесов в естествознании, был, к нашей гордости, советский ученый. Это член совет-

ской Академии наук В. Ф. Миткевич, бросившийся в бой против воинствующего обскурантизма и неутомимо ведущий этот бой, при идейной поддержке партии и её философских кадров, вплоть до сегодняшнего дня.

И в это же самое время ряд других членов академии, и в том числе — к их позору — и те, что кичатся своими особо «прогрессивными» общественно-политическими воззрениями, не нашли ничего лучшего, как встретить в штыки инициативу В. Ф. Миткевича. Не нашли ничего лучшего, как окружить мужественную работу ученого атмосферой насмешек, замалчивания и прямой идейной травли.

Уже на первых, развернувшихся в декабре — январе 1929—30 г. дискуссиях против В. Ф. Миткевича выступает единым фронтом вся, возглавлявшаяся академиком А. Ф. Иоффе, группка ленинградских физиков.

Как развернулись события дальше? Потерпев неудачу в попытке использовать журнал «Под знаменем марксизма» для научной компрометации академика Миткевича (см. «ПЗМ» №№ 2—6 1933 г. со статьей И. Тамма и с примечаниями редакции к ней), рыцари абсолютной пустоты остаются на время без трибуны. Трибуна находится, однако, вскоре. Презренный и подлый враг народа Бухарин, давно уже и исподволь превращавший редактировавшийся им журнал «Социалистическая реконструкция и наука» в лейборган и в штаб-квартиру наиболее враждебно относящейся к материализму кучки профессуры, организует и спланирует на страницах этого журнала яростную атаку против академика Миткевича. Именно здесь печатаются приобретенные печальную известность статьи Френкеля, Ландау, Бронштейна, Шпильрейна, Тамма. С этих же, наконец страниц (в № 3, 1934 г.) раздается открыто — фашистски* — возмущенно со всю ответственностью это признать — призыв проф. В. А. Фока к... «запрещению» книг академика Миткевича.

«История повторяется, — оправедливо замечает по этому поводу В. Ф. Миткевич, — в некоей стране, считавшейся ранее передовой, ...метод В. А. Фока доведен до логического конца: там просто сжигают «вредные» книги!» («Основные физические воззрения», стр. 150).

История повторяется. И враг народа Бухарин, певец «организованного» капитализма, в идейной кооперации с взыскующим «методов» г Гитлера ученым мракобесом, — это ли не образцовый пример связи между самими абстрактными участками боев в теоретическом естествознании и кипящей на широкой общественной арене идеологической борьбой!

Отсылая интересующегося подробностями читателя к соответствующим страницам книги, остановимся сейчас лишь на важнейшей

непоследовательности, продолжающей всё еще. к сожалению, довольствуйтесь над позицией академика Миткевича, затрудняя и ослабляя эффективность предпринятой им борьбы.

Речь идет о роли, играемой механическими перемещениями в процессах, разыгрывающихся в пространстве, занятом наэлектризованными и намагниченными телами.

Присоединяясь целиком и полностью к заявлениям академика Миткевича о том, что «механическое движение содержится как совершенно неотъемлемая часть во всяком физическом процессе...» (стр. 122), и что

«представление об электромагнитном поле в не обязательной связи с какими-то элементарными механическими перемещениями, — принципиально ошибочно» (стр. 64), —

принимая всё это, мы обязуемся однако ответить на основной и решающий вопрос:

Если в пространстве между взаимодействующими зарядами и магнитами идут какие-то реальные физические процессы (а в этом основа основ позиции диалектического материализма и самого акад. Миткевича), то значит ли это, что в указанном пространстве должны идти механические перемещения, добавочные к перемещениям самих зарядов и магнитов?

Мы знаем, как отвечает материалистическая диалектика природы на этот кардинальный вопрос.

Мы знаем, что один и тот же единый процесс единой физической материи, который в одном, прерывном своем аспекте представляется как механическое перемещение зарядов и магнитов, — что этот же самый процесс, если посмотреть на него с непрерывной стороны, выглядит как немеханическое изменение, идущее во всем непрерывном пространстве эфира. Не может быть, таким образом, речи о существовании каких-либо добавочных механических перемещений неких «эфирных частиц», несущих службу связи между магнитами и зарядами. Но искомая эта связь дается самым фактом единства реальной электромагнитной материи, включающей в себя, повторяю (как две стороны одной и той же реальности), и механические движения дискретных зарядов, и немеханическое поле эфира.

Разоблачение пресловутого «действия на расстоянии» и ключ всех ключей к построению диалектико-материалистически правильной картины мира — здесь!

Первый, достаточно существенный, шаг на пути к этой именно картине и делает, во 2-м издании своей книги, акад. В. Ф. Миткевич. В датированном 1936 годом примечании (к речи от 1 февраля 1933 года, ст

«... Не следует рассматривать эфир по аналогии с обычной так называемой весомой материей и приписывать ему атомную структуру». «Построение теории эфира может быть выполнено лишь на базе постулата о непрерывности эфира».

Превосходно! Но — в это же самое время — на других страницах той же самой книги мы продолжаем встречать безоговорочные утверждения о том, что «объемные элементы мирового эфира... могут претерпевать пространственные перемещения, т.е. находиться в состоянии механического движения...» (стр. 64).

Мы продолжаем читать указания на целесообразность «попыток дать... некоторую общую схему механических движений в электромагнитном поле...» (стр. 123).

Мы устанавливаем, наконец, неизменность надежд на истолкование этого поля, как «совокупности элементарных вихревых нитей в эфире...» (стр. 65).

Величайшая и удивительнейшая абберация! Ибо, раз встав на точку зрения имманентно-непрерывного эфира, как можно продолжать рубить этот эфир в окрошку перемещающихся друг относительно друга «объемных элементов»? Как можно не понимать, что имманентно-непрерывный эфир не может быть вместилищем «вихревых» и прочих механических движений! Что движения эти являются достижением существенно дискретной, корпускулярной, прерывной стороны бытия вещества, уже представленной в существовании электронов и протонов, образующих заряженные и намагниченные тела.

Надежда акад. Миткевича на то, что «признание эфира, в котором могут иметься механические движения, само по себе еще не является свидетельством механистической точки зрения», — эта надежда, в итоге всех итогов, не может быть признана оправдавшейся на деле.

Будем ждаты, что очередной фазис мужественной борьбы ученого с реакционными силами в физике принесет окончательный и бесповоротный разрыв с последними рецидивами механицизма. Беспощадную войну с этим последним сам академик Миткевич объявляет в своих знаменитых тезисах, провозглашенных на общем собрании Академии наук 28 февраля 1934 года. В этой войне на два фронта — войне против открыто фашиствующей физической пововщины и против ограниченной узости механического материализма — ученому обеспечена неизменная поддержка всего народа, давно уже считающего науку своим кровным делом и зорко следящего за всеми событиями на этом фронте.

В. Е. Львов.

А. Барто. — «Стихи». Детгиздат. М. 1936 г. Рис. В. Конашевича. Стр. 72. Цена 5 р.

Живая жизнь наших детей звучит в этой книге. Почти на каждом празднике разговаривают дети задорными веселыми стихами Барто, стихи эти вошли в быт. Барто своими стихами оформляет детский разговор.

Вот веселый марш на зарядку, а вот санитарная комиссия пришла проверить, чисто ли в лагерях. А вот тихий, так называемый «мертвый», час.

Но лучше всего — это, конечно, сатирические фельетоны о разных хвастунишках, болтунях и девочках-ревушках. Барто изображает детей с одной какой-нибудь преувеличенной стороны, высмеивая, но не бичуя эти смешные маленькие недостатки.

И читатель легко узнает себя и своих товарищей в героях Барто, несмотря на то, а может быть, благодаря тому, что они даны в несколько упрощенной гиперболе.

«Болтунья» Лида рассказывает, что она очень занята:

Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок — мне петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали.

И, кроме того,

У меня все нагрузки
По-немецки и по-русски.

Это все она повторяет множество раз, недоуменно разводя руками:

А что болтунья Лида, мол,
Это Вовка выдумал.
А болтать-то мне когда,
Мне болтать-то некогда.

В «Ку-ку» врунишка Сережа на вопрос, почему он опоздал в школу, придумывает в ответ «сто историй и пятьсот причин» и выпаливает их залпом, и, действительно, начинаешь ему верить, что у него во рту застрял аппарат для вранья.

Целый день трезвонит трусишка Таня:

Мы с Тамарой
Ходим парой,
Санитары
Мы с Тамарой,

но, когда требуется настоящая помощь, она плачет:

Вот, ребята, нод и вата,
Вот и марля, и бинты —
Только я не виновата —
Забинтуй, Тамара, ты.

Как же весел и остроумно даны девочка-ревушка, девочка-чумазая, мальчик-наоборот и др.

В этих сатирических фельетонах Барто оригинальна. Основное свойство ее фельетонов — разговорность. Все эти фельетоны — или монологи (как «Болтунья»), или диалоги («Девочка-чумазая», «Ку-ку»). Таня «трезвонит», Лида «болтает», Сережа «сочиняет», ревушка плачет и капризничает.

Для своих маленьких героев автор находит свою речевую окраску. Рисует Барто их именно с звуковой стороны. Там, где она дает описания «от автора», они тоже звучат, как рассказ автора читателям, разговор с ним («Девочка-ревушка»). Эта разговорность делает стихи Барто мягкими, доходчивыми до детской аудитории. Здесь все играет свою роль — и смена ритма, и каламбурная рифма, длинная фраза, которую нужно произносить сразу, без остановки, переходящая в скороговорку.

Благодаря этой же разговорности стихи значительно выигрывают при чтении вслух. Они приобретают тогда полную наглядность. Барто нашла свой голос не сразу. В 1925 году появилась ее первая книжка: «Китайченок Ван-Ли» и «Мишка-ворушка». Это были вялые описательные стихи с нравочениями. В последующие годы выходили книжки о ребячьих проказах, о живых, о детском саде, они мало чем отличались от массы безликих, серых «стихов для детей». В 1928 году вышла книга «Братишки», сразу выдвинувшая Барто в первые ряды детской литературы.

В разных странах живут маленькие ребята с разным цветом кожи. Но судьба у них одна. Отец черненького мальчика «ушел чуть свет. Он придет без сил, он тужи носил». мать желтенького малыша «целый день ткала шелка», отец смугленького сына работает «на болотистых полях», где «не один уже зачах», и мать поет колыбельную песенку:

Подрастай, сынок,
У тебя есть братья,
Ты не одинок,
Где отцам не сладить,
Сладят сыновья...

Четвертому же, беленькому братишке, мать поет о том, как

... Отец в тяжелый год
Отбивал в бью завод
Для того, чтоб ты, сынок,
Для себя работать мог,

и о том, «чтоб не забыл о братьях там, в чужом краю». Идея интернационализма, международной солидарности прекрасно доходит до детей.

Рецензируемым сборником как бы подведен итог десятилетней работы писательницы

Что бы ни говорили некоторые наши критики (и не без основания) о поверхностности, недостаточной углубленной разработке темы, Барто нельзя обвинить в одном из распространенных грехов нашей детской литературы — в равнодушии, в некотором «снисхождении». Барто сама присутствует в своих стихах. Ее интересуют детские заботы, «дела», детский смех. Дети чувствуют ее искренность, заинтересованность ими и платят ей тем же.

И, что, наконец, очень важно, Барто — одна из немногих наших писателей для малышей, которая в стихах дает нашу советскую обстановку. Вы не найдете черин,

граммофонов, корзинок, именин и свадеб. Ее герои окружены детским садом, школой, пионерским отрядом, кружками, у ее героев точный адрес: Советский Союз. И совершенно прав тов. В., инженер одного из московских заводов, говоря, что первыми книгами, которые он даст своему ребенку, будут книги Барто «Девочка-ревушка», «Девочка-чумаемая».

Тем большее недоумение вызывает оформление этого сборника.

Уже форзац заставляет насторожиться — мертвые цветочки, бабочки, зайчики — подзорательно веселенькие обои мещанского антуража.

Цветные фронтисписи уродливы — куклообразные застывшие дети, бутафорская растительность и бутафорские же бабочки, птички, белочки. Штриховые рисунки в тексте несколько лучше, хотя и среди них ребенок не найдет ничего оградного для глаз. Расстрепанные дети с дикими глазами, учительница в виде какой-то «кожаной куртки». Художник Конашевич в книге о детях не дал ни одного детского образа. Такое оформление вызывает тем большее недоумение, что цена книги непомерно высока — 5 руб., что об оформлении говорили не один раз и говорили серьезно. Нельзя давать детям то, что коверкает мировосприятие; то, что коверкает художественный вкус.

И это оформление вызывает тем большее недоумение, что текст не дает абсолютно никаких поводов к такой обывательско-статичной трактовке образов, которую мы находим у Конашевича.

Е. Таруга.

Тобайас Смолет. — «Приключения Перегрин Пикля», тома I и II, стр. 715 — 685. «Academia». Тираж 10 300 экз. Цена за оба тома 18 рублей. Перевод А. В. Кривцовой и Е. Ланна.

В годы расцвета английского реалистического романа XVIII века, расцвета, связанного с именами Ричардсона, Филдинга и Смолета, появление смолетовского «Перегрина Пикля» было значительным литературным явлением. Тобайас Смолет (1721 — 1771), уступая во многих отношениях Филдингу, был самостоятельным представителем того же, что и у Филдинга, авантюрного жанра в английском буржуазном романе, жанра, одним из ранних мастеров которого был Даниель Дефо. Литературная техника Смолета архаичнее техники Филдинга: у него более рыхлая композиция, психология его героев беднее, в этих романах больше голый «авантюризм». Но он ввел в литературу несколько характерных типов и был одним из первых романистов, умело описывавших наряду с человеком окружающую его природу. Он, действительно, «великий мастер карикатуры и гротеска», и от него идет прямая родословная линия к Чарльзу Диккенсу, следовавшему некоторым его сильные и слабые стороны. Одним из первых он прибегает

к этнографическим описаниям, и его учеником становится тут Вальтер Скотт, кстати сказать, написавший биографию Смолета.

Издательство «Академия» очень хорошо сделало, выпустив уже несколько образцов английского романа XVIII века, и оно должно и дальше идти по этому пути, знакомя советского читателя с лучшими произведениями этой эпохи, оказавшими огромное влияние на все последующее развитие европейского романа.

Советский читатель едва ли не впервые знакомится со Смолетом, и потому издательство предпослало роману две статьи: одна принадлежит перу Д. Мирского и озаглавлена «Смолет и его место в истории европейского романа», другая написана переводчиком «Перегрина Пикля» Е. Ланном и называется «Литературная деятельность Смолета и его «Перегрин Пикль». Статья Е. Ланна носит биографический характер. Теоретическое ее значение более чем скромно. Она начинается следующей фразой: «Еще не написано исследование о том, как и в какой мере использовал Диккенс приемы Тобайаса Смолета в характеристике своих гротескных героев». Эта фраза обнаруживает недостаточную осведомленность Евгения Ланна в литературе о Смолете. В капитальном двухтомном труде Вильгельма Дибелюса «Об искусстве английского романа восемнадцатого века» и в его обширной монографии о Диккенсе детально и притом не изолированно, а в контексте всей тогдашней английской литературы обсуждена проблема, судьбу которой Е. Ланн считает столь безнадежной. Сам же он ничем не поспособствовал разрешению этой проблемы, ограничившись лишь одним вздохом.

Что касается статьи Д. Мирского, то в ней проявляется чрезмерная склонность к общим историко-литературным и социологическим рассуждениям в ущерб конкретному анализу произведения, исходя из которого обычно наши великие критики устанавливали исторические связи и восходили к обобщениям. В статье не дано отчетливого, последовательного и сколько-нибудь полного анализа самого «Перегрина Пикля». О герое этого романа Д. Мирский говорит: «Перегрин — хлыщ с головы до ног, дерзкий и самоуверенный». Это в известной мере так, но Д. Мирский совершенно упускает при этом из виду одну из основных идей, играющих роль конструктивного мотива в этом романе (как и во многих других романах того времени, в том числе в «Томе Джонсе, найденных»), — идею воспитания. Перегрин Пикль в начале романа вовсе не тот, что в конце. Критику очень помогло бы последовательное, а не эпизодическое сопоставление характера Перегрин Пикля с характером Тома Джонса. Это резко оттенило бы и разницу в манере обоих писателей и позволило бы Д. Мирскому точнее выяснить границы влияния Филдинга на Смолета, влияние, которое часто, в ущерб Смолету, преувеличивается. Оба героя, в сущности, очень различны по своей

натуре. Том Джонс — это молодой, увлекающийся человек, с горячей головой, но с добрым и отзывчивым сердцем, попадающий однажды на ложный путь, а Перегрин Пикль, напротив, карьерист и эгоист, но ему свойственно добродушие и известное внутреннее благородство, которое, правда, редко проявляется на протяжении первых двух третей романа, вследствие чего Перегрин и теряет свою возлюбленную, Эмилию. Но затем, очистившись в великой школе бедствий и всяческих лишений, закалив свой характер, он обретает Эмилию вновь. Немаловажное различие между обоими вытекает также и из того, что Перегрин — человек городской, герой салонов, внешне более утонченный, чем выросший в деревне и тяготеющий к ней Том Джонс, которому он уступает в благородстве чувств и мыслей. Эта поучительная параллель, которую последовательно и местами очень тонко проводит Дибелпус, может быть расширена, углублена, и она может принести пользу и критику, не в обиду ему будь сказано, и читателю. Никогда не следует пренебрегать результатами работ своих предшественников, в особенности крупных специалистов, пускай и буржуазных, десятилетиями работавших в данной области.

Д. Мирский, уделяющий в своей статье много места общим указаниям на влияние испанского плутовского романа (с его героем «пикаро») на английский роман XVIII века, не потрудился, однако, конкретно разобрать тип пикаро в «Перегрине Пикле» — Кребтри.

Отсутствует анализ комических и гротескных образов мужчин и женщин в «Перегрине Пикле». О характере гротеска и комизма у Смолета Д. Мирский говорит так же мало, как и Е. Ланн.

Смолет ввел в роман тип моряка, существовавший уже до него в драме. Что нового внес он тут, по сравнению, с Учирди, Конгривом и другими своими предшественниками? Коммодор Траньон, Джек Хэтчуй и ряд других персонажей «крепости» заслуживали подробного разбора.

Нет в статье Д. Мирского и попытки анализа сатирических образов Смолета: невежественных судей; жадных до денег педантов-врачей; офицеров, вроде того, что заработал свой чин женитвой на любовнице богатого человека; тщеславных литераторов; пустоголовых аристократов с их ничтожеством при показных достоинствах и внешнем благородстве, усваиваемом в несколько недель неглупой уличной девкой. А сцены в тюрьме, лучше и разнообразнее написанные у Смолета, чем у Филдинга, сцены, являющиеся объектом политической сатиры Смолета! А взяточничество, а парламентский фарс — почти все эти социально важные элементы творчества Смолета обойдены Д. Мирским в его статье.

Обратимся теперь к переводу Е. Ланна и А. Кривцовой. Это добросовестный перевод, сделанный людьми, хорошо знающими тот язык, с которого они переводят (а это, как

известно, довольно редкое явление). Но одна, повидимому, принципиальная установка заслуживает, на наш взгляд, резкого осуждения. Это — нарочитая архаизация текста. Конечно, теперешний англичанин, читающий Смолета, ощущает его архаичность. Но это ощущение архаичности стиля во много раз сильнее у нынешних англичан при чтении Шекспира. И правильно поступают те переводчики последнего, когда устраняют эту затрудненность восприятия шекспировского текста там, где она возникает из факта устарения языка Шекспира. Ведь, Шекспир писал на живом современном языке, и переводить его следует тоже на живой современный язык, избегая лишь специфических модернизмов. Если это правильно по отношению к Шекспиру, то с еще большим основанием подобную установку следует считать правильной по отношению к Смолету, язык которого ближе к нам по времени и гораздо проще, обыденнее. Между тем переводчики, подавшись явно формалистическому соблазну, архаизируют текст. Притом эта архаизация, надо сказать, производится довольно наивно и убого. Носителями ее является, если не касаться несколько затрудненного местами (в тех же целях) синтаксиса, архаическая лексика или, говоря проще и точнее, с десяток архаических словечек, преимущественно из старого канцелярского жаргона. Если мы выпишем слова: сей, засим, посему, каковой, ибо, дабы, доколе, коего, — то вот почти все средства лексической архаизации текста, которыми располагают оба переводчика. К этим словечкам можно было бы прибавить также речения, как «буде вы согласитесь...», «буде оно...», ироническое «поведал», и теперь, пожалуй, действительно все. Притом эти словечки употребляются до того часто, что сплошь и рядом текст перевода принимает характер какой-то злостной самопародии. Вот несколько примеров, число которых читатель, при желании, может умножать до бесконечности, обращаясь к тексту книжки: «У живописца не было недостатка в любопытстве в желании ему сопутствовать, но он высказал опасение потерять его на балу, как в а случайность неизбежно окажется в весьма неприятной, ибо он совершенно не знал ни языка, ни города. Дабы устранить это возражение, хозяйка квартиры, участвовавшая в их разговоре, посоветовала ему появиться в женском платье, каковое заставит его спутника заботиться о нем с убогими вниманием, поскольку правила приличия не позволят ему отлучаться от своей дамы» (стр. 464-1 тома).

Или, через несколько страниц (стр. 470):

«Том не обратил никакого внимания на уговоры, пока стража не прибегла к насилью, а с таковыи он попытался бороться собственной пяткой, коей он столь энергически ударил по челюстям первого поступившего к нему солдата, что раздался треск, словно щелкнул сухой грецкий орех

между крепкими зубами школяра-юриста в партере театра. Возмущенный сим оскорблением...» и т. д.

«... она доставила ему то утешение, в котором до сей поры отказывала» (I, 319).

«Записка была доставлена человеком, которого он не знает и каковой удалился немедленно» (I, 569).

Вторым приемом переводчиков является «остранение» текста перевода при помощи введения в него не принятых в русском языке английских слов в русской транскрипции. Если в первом случае переводчики засоряют язык недопустимым внесением в него ряда обветшавших канцеляризмов (притом в nepозволительных дозах), то во втором они засоряют его ненужным введением иностранных слов, не принятых в русском языке, которому они стараются их привить. Этот прием переводчиков «Перегрина Пикля» можно пояснить следующими примерами, не вдаваясь в дальнейшие рассуждения по их поводу: «Здесь, будучи представлен главе колледжа, которому его рекомендовали, обеспечен прекрасным помещением, занесен в книги, как джентльмен-комонер, и отдан под наблюдение рассудительного тьютора...» (I, 259).

«Она отдала его под надзор кьюрита. Этот наставник...» (I, 327).

«... защищая ко его, кьюрит яко бы получил эти ужасные кровоподтеки».

Все эти без всякой надобности употребленные слова: тьюторы, кьюриты, комонеры, атерни и, в сущности, даже джентльмен (там, где это слово равнозначно слову дворянин) — это мусор, засоряющий перевод Кривцовой и Ланна. Оба приема — худшее проявление того формализма снобов, на который их натолкнуло, быть может, ложное теоретизирование и который не к лицу им, как неплохим советским переводчикам.

Принцип народности обязателен и в переводческом искусстве. «Народность» в переводческом деле — это вовсе не упрощенчество, это вовсе не вульгарно-популяризаторское обеднение классических произведений, это не разжижение их текста пояснительной отсебятиной. Проблема народности в переводческом искусстве — это проблема такой передачи классических творений на языки народов СССР, которая делает писателей, писавших для тысяч, доступными для миллионов. Разрешение этой проблемы требует больших знаний в области лингвистики, в области истории и теории литературы, требует наличия вкуса у переводчика, т. е. наличия лингвистического и эстетического такта, требует от переводчика живого ощущения той читательской массы, для которой книга переводится.

Недостатки перевода «Перегрина Пикля» не сводятся только к указанным двум приемам. В переводе много фраз-ребусов вроде следующих:

«Но она обманулась в своих ожиданиях, как ни были они оправданы» (I, 132).

«Покуда его репутация колебалась, таким образом, между осмеянием одних и уважением других, случилось событие...» (I, 226).

Встречается попросту много плохих фраз:

«Его родственники и в особенности дядя, от которого он главным образом зависел, отнесся к нему во время его заключения очень строго» (I, 201).

«Этим помещением явилось нечто вроде гостиной против кухни, с окном, выходившим во двор» (I, 330).

«Пожалуй, не особенно приятный и нескончаемый труд — перечислять все несчастные фокусы, которые он выкидывал со своим дядей» (I, 175).

На этом я закончу. Признаюсь, мне стоит труда удержаться от плохого каламбура: повторить последнюю фразу, выписанную тут из перевода «Перегрина Пикля», изменив лишь конец ее: «переводчик выкидывал со Смолетом». Но это было бы несправедливо. Переводчики сделали ряд ошибок, повторяющихся на протяжении всей книги, от первой до последней ее страницы, ошибок, вытекающих из их неправильных и вредных в переводческом деле методологических установок. Другое дело частные промахи, которые возможны у всякого переводчика, даже у знающего и любящего свое дело. Было бы неправильно, выхватив отдельные плохо переведенные, неудавшиеся фразы, огульно осудить всю работу, над которой двое товарищей добросовестно трудились, вероятно, год или два. Достоинством перевода является его отпосплетельно высокая точность. Есть и другие крупные удачи. — например, в передаче морского жаргона. Но все же, когда станет вопрос о выпуске следующего издания, переводчики «Перегрина Пикля» должны основательно переработать свой труд.

Н. Славягинский.

А. Волков.—«Поэзия русского империализма».

Гослитиздат. Москва. Стр. 220. Цена 3 р. 25 к.

До настоящего времени наше литературоведение слишком мало внимания уделяет истории русской литературы эпохи империализма. Между тем этот исторический отрезок развития русской литературы актуален для нас, поскольку хронологически непосредственно предшествует началу советской литературы.

Всякая серьезная попытка установить основные закономерности истории литературы этой эпохи представляет большой интерес. К таким немногочисленным попыткам относится книга А. Волкова.

Автор не следует привычным школьным традициям в оценке литературных фактов. Отвергая примитивную классификацию по литературным школам, закрепленную этими традициями, А. Волков кладет в основу своего анализа ленинскую историческую концепцию и старается в ее свете разобрать и оценить все течения и школы с их идейной и художественной сторонами.

Соответственно взятому направлению исследования А. Волков распределяет материал соответственно основным историческим этапам русского империализма, охарактеризованным в многочисленных высказываниях В. И. Ленина об этом периоде. Таким образом, история поэзии русского империализма распадается на три главных периода: подготовка революции 1905 года (глава 1-я), эпоха реакции (2-я и 3-я главы) и период империалистической войны (глава 4-я). Такой подход позволяет автору отчетливо выявить трансформацию отдельных течений в зависимости от конкретной исторической обстановки и выделить общие для всего фронта буржуазно-дворянской поэзии черты, определяемые своеобразием отдельного исторического этапа и характерными для него позициями господствующих классов.

Наиболее ярким примером в этом отношении являются страницы, посвященные так называемому «кризису символизма» (стр. 47—62, глава 2-я). «Кризис символизма», провозглашенный в 1910 г. в выступлениях и статьях Вяч. Иванова, А. Блока и В. Брюсова, на деле начался непосредственно после революции 1905 г., когда поэты буржуазно-дворянского лагеря быстро начали терять свои оппозиционные настроения. Автор убедительно опровергает мысль, что новый этап, вызывающий к жизни новые литературные явления (появление акмеизма, футуризма), начинается только с момента провозглашения «кризиса» (1910 г.).

Автор не изолирует русской литературы от мировой и делает интересный экскурс в историю французской поэзии второй половины XIX века, сопоставляя творчество акмеистов с поэзией «парнасцев».

Разбирая творчество того или иного поэта, автор не забывает важнейшего цитируемого им указания Ленина о роковой зависимости художника от «золотого мешка» в условиях империалистической действительности.

Книга отличается обилием конкретного материала. Читатель получает достаточно полное представление об основном круге идей, тематике и художественных особенностях анализируемой поэзии.

Центральной проблемой книги является выяснение процесса «идейно-творческой перестройки» и консолидации буржуазной поэзии на империалистической основе, который «окончательно завершился в эпоху мировой войны» (стр. 81). А. Волков впервые поставил данную проблему на столь широком материале, но, к сожалению, решил ее односторонне.

По Волкову, усиление империалистических тенденций является не только решающим, но и чуть ли не единственным фактором, определяющим творческое лицо буржуазно-дворянской поэзии.

Выходит, что буржуазно-дворянская поэзия складывается вне воздействия всего сложного, противоречивого комплекса общественных отношений. Маркс неоднократно указывал, что идеолог учитывает не только устремления своего класса, но и противодействующие тен-

денции, причем последние могут оказывать на идеолога определяющее влияние, приводящее подчас к разрыву со своим классом.

Это указание не вполне учтено А. Волковым. Он чаще всего ограничивается при характеристике того или иного поэта выявлением черт, идущих в русле «перестройки» и «консолидации» «на империалистической основе».

Поэтому А. Волков, справедливо обрушиваясь на тех, кто превращает поэтов, перешедших на позиции принятия революции, в революционеров «на корню», снимает, по сути дела, проблему противоречия идеолога и класса, создающего необходимые предпосылки для такого перехода.

Так, например, характеристика В. Брюсова в конечном счете укладывается в рамки такой формулы: «Брюсов явился идейным выразителем наиболее активных устремлений своего класса (буржуазии. — Ю. К. и Б. Р.) в борьбе с патриархально-феодалными пережитками, мешающими осуществлению капиталистического «идеала» (стр. 23). Оппозиционные стихи Вал. Брюсова, относящиеся к эпохе первой революции полностью оценены А. Волковым как революционные в кавычках (стр. 39 и след.). Все прогрессивные элементы в творчестве Брюсова рассматриваются как временная и скоротечная дань революции. Такой многогранный художник, как Брюсов, получает несколько одностороннюю характеристику, хотя то, что в нее включено, верно и существенно.

По этим же причинам фактически выпадает раскрытие творческой судьбы крупнейшего поэта этой эпохи — Блока. Между тем понимание русского символизма невозможно без подробного анализа его творчества. Неясной остается внутренняя логика того перелома в творчестве Блока, который констатирует автор. Автор может нам возразить, что его интересовала именно «поэзия русского империализма», но дело как-раз заключается в том, что для понимания этой поэзии необходимо учитывать всю противоречивость процесса ее становления. Тогда А. Блок станет не «лишней», а центральной фигурой темы. Приходится еще раз подчеркнуть, что обязанность исследователя отрываться от реальных фактов, не уставая дополнять созданную концепцию.

Отмеченная нами известная схематичность подхода связывает автора также и при разборе поэтической практики футуристов, которой автор уделил незаслуженно мало внимания, особенно если принять в расчет, что в их лагере находился тогда такой поэт, как Вал. Маяковский. Вообще страницы, посвященные футуристам, много слабее всей книги. Автор ограничивается простым разделением их на «левый» и «правый» (ближкий к буржуазной поэзии) лагерь. Получается схема, упрощающая действительное положение вещей. Хлебников заносится в лагерь «правых», и его демократически-бунтарские тенденции вовсе не приняты во внимание.

Без достаточных оснований, по чисто внешним признакам, и в конечном счете противореча самому себе, автор отожествляет мотивы стихотворения Вас. Каменского, помещенного в «Садке судей», № 1, с мотивами творчества акмеистов (см. стр. 173).

Вследствие уже отмеченного нами несколько однобокого подхода к теме, автор попадает в затруднительное положение, когда ему приходится решать вопрос о критическом освоении поэтического наследия эпохи империализма. В этом вопросе автор становится на формалистическую почву, поскольку ценность названной поэзии сведена к отдельным формально-техническим завоеваниям.

Автор недоучел идейно-прогрессивных элементов этой поэзии, нарушавших прямолинейность «перестройки» и «консолидации» ее на «империалистической основе».

Отмечая отдельные, порой существенные недостатки книги, мы отнюдь не собираемся переоценивать их удельный вес. Книга А. Волкова, несомненно, является ценным вкладом в литературу, освещающую проблемы искусства русского империализма.

Книга принципиальна, насыщена материалом и написана простым и ясным языком. Ее смело можно рекомендовать широким кругам читателей.

Ю. Калашников и Б. Росточкий.

6. КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

В. В. Маяковский. Избранные стихи. Под редакцией Л. Ю. Брик. Предисловие И. Беспалова. Изд. «Академия», 1936 Стр. 505. Ц. 13 руб.

В одготомнике собраны лучшие, наиболее популярные образцы творчества поэта, характеризующие все этапы его творчества. Наиболее крупные произведения («Хорошо», «Про это») даны в отрывках. Книга иллюстрирована рисунками М. Синяковой, Д. Штернберга, А. Каневского, Н. Альтмана, А. Дейнеки, Кукрыниксов и др.

Маяковский в Грузии. — Сборник. — Издательство «Заря Востока». Тбилиси. 1937. Стр. 197. Цена 4 р. 25 к.

В книгу входит ряд стихотворений Маяковского, связанных с пребыванием поэта в Грузии, отрывок из поэмы «Люблю» и ряд воспоминаний и исследований Л. Маяковской, Г. Бебутова, К. Надирадзе, В. Кандеяки, В. Каменского, С. Спасского, И. Гамрекели и В. Шкловского. Составили сборник Г. Бебутов и Б. Корнеев.

А. И. Герцен. Избранные сочинения. Со статьей В. И. Ленина «Памяти Герцена». — Гослитиздат. Москва. 1937. Стр. 525. Ц. 8 р.

Одностомник сочинений А. И. Герцена выпущен издательством к недавно отмеченному 125-летию со дня рождения писателя. В разделе художественных произведений помещены роман «Кто виноват?» и ряд рассказов и повестей («Сорока-воровка», «Доктор Крупов», «Долг прежде всего», «Поврежденный» и др.).

Книга содержит также большую часть философских и публицистических работ Герцена — фельетоны, заметки, памфлеты, статьи о русском общественном движении и русской литературе, дневники и важнейшие его письма, содержащие высказывания о крупнейших исторических событиях и деятелях.

Фрэнк Питкэрн. Испания. Заметки журналиста. — Партиздат ЦК ВКП(б). 1937 Стр. 175. Ц. 2 руб.

Книга известного английского журналиста Фрэнка Питкэрна (специальный корреспондент центрального органа коммунистической партии Англии «Дейли Уоркер») представляет собой серию очерков о героической борьбе испанского народа, начиная с первых дней фашистского мятежа до конца 1936 года. Автор, находившийся в Испании в момент мятежа и вступивший в ряды прославившегося беззаветным мужеством 5-го коммунистического полка народной милиции, участвовал во многих сражениях.

К книге приложена заключительная часть речи секретаря Центрального комитета коммунистической партии Англии Гарри Поллита, произнесенной на одном из рабочих митингов в Лондоне, и статья выдающегося антифашистского писателя Гальфа Бейте. Литературная редакция книги — Вс. Иванова.

Легенды о Кришне. Лаппу джи Лап. «Прем Сагар». Перевод с хинди, вступительная статья и примечания А. П. Баранникова. — Изд. Академии наук СССР. Москва — Ленинград, 1937. Стр. 468. Ц. 17 руб.

Академией наук предпринято издание серии книг «Легенды о Кришне», в числе которых будут выпущены как литературные произведения различных веков, принадлежащие отдельным авторам, так и фольклорный материал.

В 1-м томе дан памятник довольно поздний, созданный на рубеже XVIII и XIX веков. Из многочисленных произведений о Кришне, легендарном герое индийских литератур, «Прем Сагар» является произведением наиболее популярным. Это первое крупное произведение, которое переводится на русский язык с хинди — важнейшего новоиндийского языка.

А. Трайнин. Защита мира и уголовный закон. Под редакцией и с предисловием А. Вышинского — Юридическое изд. НКЮ СССР. Москва, 1937. Стр. 214. Ц. 3 р. 50 к.

Книга посвящена вопросу о роли уголовного закона в борьбе за мир. Путем анализа статута Лиги наций, Локкарнского договора и пакта Бриана — Келлога автор подвергает критике весьма распространенные в буржуазной литературе взгляды, что санкции, применяемые Лигой наций, представляют собой уголовное наказание. Этот неверный взгляд на международные санкции сплошь и рядом приводит к пренебрежению национальным законодательством. Автор дает перечень и анализ международных преступлений (пропаганда агрессии, терроризм, поддержка вооруженных банд и др.), в борьбе с которыми уголовный закон — в порядке международных конвенций и национального законодательства — может принести большую пользу.

Ленские приiski. Сборник документов. Под редакцией И. Поспелова. Предисловие А. Серебровского. — Изд. «История заводов». Москва, 1937. Стр. 564.

Сборник выпущен в связи с исполнившимся недавно двадцатипятилетием со дня памятного расстрела ленских рабочих. Документы, помещенные в сборнике, освещают всю историю приисков далекой ленской тайги, героическую историю борьбы ленских рабочих — начиная с середины XIX века до 1919 года включительно. Эти собранные вместе документы — протоколы правления и

общих собраний акционеров, переписка, типовые договоры правления «Лензолото» с рабочими, требования бастующих рабочих и пр. — освещают мрачное крепостное прошлое Ленских приисков.

Большинство помещенных в сборнике документов взято из основного архивного фонда Лензолото. В дополнение к ним привлечены материалы из других архивных фондов (горного департамента, иркутского генерал-губернатора, главного управления Восточной Сибири и др.). Основная масса документов впервые публикуется. Сборник составлен В. Бухиной и Е. Грекуловым. Материалу сборника предшествует обширная вводная статья В. Бухиной, дающая исторический анализ событий.

Овидий. «Метаморфозы». Перевод С. В. Шервинского. Статья о творчестве Овидия А. И. Белецкого. Редакция и комментарий Ф. А. Петровского. — «Академия», 1937. Стр. 360. Ц. 20 руб.

Выпущенная «Академией» знаменитая поэма Овидия «Метаморфозы» является интереснейшим источником изучения античного искусства. Эта грандиозная поэма римского поэта эпохи Августа охватывает едва ли не все мифологические предания, сложившиеся некогда в Греции и перенесенные затем с некоторыми видоизменениями в Рим. Поэма объединяет около 250 «малых» эпических поэм, связанных Овидием в единое целое. Основная ее тема — мифы о превращениях богов и людей в животных, в растения, минералы, созвездия, реки и пр.

Редакция: А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия» ЦИК СССР и ВЦИК.

